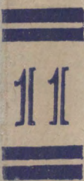


ISSN 0130-7673

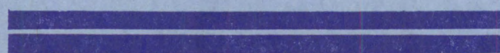
Ж О В Ы И
М И Р



Ж О В Ы И
М И Р

1985

11



1985



НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 11

Ноябрь, 1985 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ВЛАДИМИР СОКОЛОВ — Три стихотворения	3
СТАНИСЛАВ КОНДРАШОВ — В чужой стихии, или Путешествие Американиста	5
НАЗАР НАДЖМИ — Братья, поэма. Перевела с башкирского Елена Николаевская	131
ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	
«РАБОТА С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ...». Из писем Константина Симонова. Публикация, предисловие и комментарии Л. Лазарева	138
ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ	
СИЛЬВА КАПУТИКЯН — Моя тропка на путях к Акрополю. Перевела с армянского Татьяна Смоленская	177
ОЧЕРКИ НАШИХ ДНЕЙ	
ПРИКАМЬЕ — ПРОДОЛЖЕНИЕ ВСТРЕЧ	
ГРИГОРИЙ РЕЗНИЧЕНКО — Бригадир	194
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
М. ХРАПЧЕНКО — Метаморфозы критического субъективизма	225
СЕРГЕЙ ЗЕМЛЯНОЙ — Действительность принципа партийности	243
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i> 249	
Константин Кедров. Столетний Хлебников	
В. Днепров Симонов личность писателя	
Ан. Афанасьев. От простого к сложному	

(См. на обороте)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

Стр.
260

Политика и наука

- И. Левин.** Слагаемые подвига
А. Разгон. Главный рубеж революции
Вик. Ерофеев. Похвала здравому смыслу

КОРОТКО О КНИГАХ:

- Ксения Бродер.—Евгений Ратнер. Вверх по крутой лестнице. Роман. ♦
- Александра Спаль.—Владимир Рынкевич. Пальмовые листья. Повести и рассказы. ♦
- Марк Лисянский.—Владимир Адмони. Из долготы дней. Стихотворения. 1925—1983. ♦
- Наталья Булгакова.—Прекрасная Дама. Из средневековой лирики. ♦
- С. Овчинникова.—Игорь Попов. Почему «город» пал? Страницы истории американского радиотеатра. ♦
- В. Иванова.—А. Баталов. Судьба и ремесло. ♦
- А. Ирин.—Исгвуд Атватер. Я Вас слушаю... (Советы руководителю, как правильно слушать собеседника) ♦
- А. Белорусец.—Герман Хафнер. Выдающиеся портреты античности. 337 портретов в слове и образе. ♦
- Ю. Дмитриевский.—Э. М. Мурзаев. Словарь народных географических терминов ♦
- В. Станцо.—В. Штрубе. Пути развития химии. В двух томах. Т. 1. От первобытных времен до промышленной революции. Т. 2. От начала промышленной революции до первой четверти XX века

265

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

272

ВЛАДИМИР СОКОЛОВ

★

ТРИ СТИХОТВОРЕНИЯ

* * *

Хочу осенним утром встать
Пораньше, около рассвета,
И невзначай перечитать
Полузабытого поэта.

И углубиться до того
В чуть пожелтевшие страницы,
Что, невзначай задев его
Порывом листьев, извиниться

И, на полшага отступив,
Поглядывать, как тротуаром
Ступает он — эскиз, мотив —
Весь в чем-то новом,
в чем-то старом;

Как дождь идет наискосок.
Как он идет, захвачен шумом
Мятежных лип, в сырой песок
Вонзая трость, отдавшись думам.

Он чувствует свою вину,
Что время сжать в горсти не может,
Но он еще, как в старину
Другой поэт, сто песен сложит...

Хочу осенним утром встать
Пораньше, около рассвета,
И, как укор, перечитать
Полузабытого поэта.

Среди земли и между звезд
Предутреннее пробуждение —
Как полуявь, полувиденье,
Как полупропасть, полумост.

* * *

Кому повем печаль мою?..

Другого места не нашел.
Пал на скамью в чужом дворишке
Не как подстреленный орел,
А наподобие воришки.

Он был высок, не стар, но сед.
В пальто с воротником бобровым.
Он съежился, тепло одет,
Почти обласкан псом дворовым.

СТАНИСЛАВ КОНДРАШОВ



**В ЧУЖОЙ СТИХИИ,
ИЛИ
ПУТЕШЕСТВИЕ АМЕРИКАНИСТА**

До отхода самолета оставалось не более пятнадцати минут, лента багажного транспортера замерла, канадец, ставивший на нее чемоданы и дорожные мешки, развел руками: порядок есть порядок, прием багажа закончился.

Оставалось сдать багаж прямо в нью-йоркский самолет. Ему подсказали этот спасительный выход. И наш путешественник побежал — в неизбывной российской надежде на чудо. Побежал, толкая перед собой трехколесную, неловкую в управлении тележку, поправляя сползавший с нее чемодан, придерживая портфель, а также целлофановый пакет, — обернутые в розовое бумажное полотенце, в пакете лежали три буханки московского нерного хлеба, которые, попадая на стол соотечественников за океаном, обретают несбыкновенную ценность причастия к родине. Поглядывая на указатели под потолком, по длинным коридорам монреальского аэропорта Дорвал, мимо пестрящих товарами ларьков бегом толкал он неуклюжую тележку, распахнув пальто, ставшее вдруг толстым и немодным, и первые капли пота выступили на его лбу и заструились по лицу. И наконец в зале, залитом ровным искусственным светом, он наткнулся на некую баррикаду.

Это был пост иммиграционной службы, которая в Соединенных Штатах берет на себя контрольно-пропускные функции пограничников. Пост был выдвинут за пределы американской и далеко в глубь канадской территории. Достоин удивления и, быть может, возмущения, но в конце концов это их двустороннее дело, пусть сами разбираются, и не до критики американской бесцеремонности было нашему путешественнику в тот момент, когда, выхватив из кармана пиджака и на ходу протягивая темно-синий служебный загранпаспорт гражданина СССР, он подскочил к иммиграционному инспектору, освободив тележку от поклажи у заградительного барьера. Вместе с паспортом он предъявил инспектору свой расхристанный вид, втайне надеясь и его заразить своим нетерпением.

Сухонький мужчина примерно пятидесяти лет с чистым, бледным лицом и аккуратным пробором в темных волосах листал тем временем паспорт молодого бородача в джинсах и черной спортивной куртке, из тех, видно, молодых иностранных бородачей, которым почему-то не сидится дома. Он поднял голову и мельком глянул на

нашего героя. Герой ожидал, но не нашел сочувствия. Расхристанный вид его не произвел на инспектора ни малейшего впечатления. Инспектор коротко сделал жест рукой и произнес несколько слов по-английски. Жест как бы отодвигал нашего соотечественника назад, а слова приказывали ему ждать за красной чертой. Тот не сразу понял смысл приказа. В красной черте ему почудилось некое иносказание. Последовал еще один короткий отодвигающий жест, и герой наш слегка попятился, отпихивая ногой чемодан с портфелем. Однако инспектор, не удовлетворяясь этой уступкой, гнул свое: «Ждите за красной линией!» И тогда, глянув себе под ноги, он понял, что никакого иносказания нет, а есть вполне натуральная красная линия, жирно и отчетливо проведенная по полу. За этой чертой и полагалось ждать очереди к инспектору, не дыша ему в лицо своим возбуждением.

Когда бородатый парень подхватил свою сумку и двинулся дальше легкомысленной походкой человека, путешествующего без командировочных предписаний и даже без виз, сухонький инспектор деловито-вежливо произнес: «Следующий, пожалуйста». И наш путешественник придвинулся к его стойке со своим паспортом и багажом, и по лицу его все еще катил пот, выдавая помимо спешки и волнения последствия десятичасового пребывания в герметически закрытой воздушной машине и даже разницу во времени, температуре и влажности между двумя отдаленными пунктами двух полушарий Земли.

Инспектор, быть может, и видел, но не желал замечать всего этого. Сочувствовать советскому гражданину, даже уставшему и спешащему, не входило в его обязанности. Профессионально пошуршав плотными синевато-красными страницами паспорта, на которых водяными знаками проступали буквы «СССР», и найдя большую замысловатую печать визы, поставленную в американском посольстве в Москве, инспектор вытащил из-под своей конторки анкетку не иммигранта, въезжающего в Соединенные Штаты на ограниченный срок. (Для американских иммиграционных властей иностранцы делятся на две главные категории — иммигрантов, которые приезжают, чтобы остаться и стать американцами, и неиммигрантов, которые, побывав в Америке, возвращаются к себе домой.)

Белый листочек означал опоздание, перечеркивал надежду на чудо. И тем не менее листочек пришлось заполнить под скачущие невозмутимым взглядом инспектора. Кое-где подправив корявости взволнованного почерка своим шариковым карандашом, американец прищелкнул листочек металлической скрепкой к паспортной странице, потом поставил на анкетку блестящую никелем машинку, хлопнул ладошкой по верху машинки, и на анкетке вышел знакомый четкий штампель: «Допущен в США»...

Получив этот допуск и уже без тележки одолев еще метров двести коридора, наш соотечественник добрался до нужных воздушных ворот. Но ворота были затворены, и за большими стеклами отваливал прямо на его глазах нью-йоркский самолет, дразня своей недоступной близостью...

Оставалось ждать следующего рейса на Нью-Йорк. Того самого, что и был написан прозорливыми аэрофлотовцами в Москве. Рейс отправлялся через три с лишним часа. В комнате ожидания герой наш рухнул на стул из пластмассы угольного цвета. Чемодан, виновник опоздания, был тут же сдан в багаж и исчез в таинственных служебных недрах аэропорта. Зал ожидания, или накопитель (на странном техническом языке, не признающем разницы между людьми и неодушевленными предметами), был пуст. Перейдя из состояния сутелювого движения к столь же вынужденному полному покою, одинокий транзитник сидел, вытирая платком остывающий лоб. Накопитель потихоньку накапливал мужчин и женщин с дорожной кладью

в руках. За окном просторное небо аэродрома тревожно набухало красками заката. Закат напоминал о годах жизни в Нью-Йорке. Их дом стоял на левом берегу Гудзона, и почти каждый вечер на другой стороне реки так же нестесненно и свободно загорался прекрасный и тревожный закат библейской категории, полыхающий мост из дали исчезнувших веков в наш день, стареющий и умирающий на наших глазах, чтобы присоединиться к ушедшему времени. У него не находилось своих слов для описания такого заката, и, чувствуя бессилие перед красотой мира, он по давней привычке заимствовал слова у великих российских поэтов: «Туда манит перстами алыми и дачников волнует зря над запыленными вокзалами недостижимая заря...»

Однако не пора ли представить нашего героя и, кстати, наделить его именем? По профессии он журналист, и, признаться, у автора с ним много общего. Как и автор, его герой занимается тем, что пишет в свою газету о Соединенных Штатах Америки. Не правда ли, странный способ зарабатывать на жизнь? Хотя занятие стало донельзя привычным, вопрос насчет странности все еще порою приходит ему в голову. Тем не менее этим в меру сил он обеспечивает свою семью и этим же, то есть писанием об Америке, реализует себя как человеческую личность, что, согласитесь, еще более странно. И что совсем странно, если учесть, что в последние годы пишет он об Америке, живя в Москве, и вглядывается в чужую жизнь и политику издаюла, а попытки отобразить эту жизнь на бумаге едва ли не целиком поглощают его рабочее время и даже захватывают свободное время, отнимая его от той жизни, что вблизи, что окружает его со всех сторон и зовется своей жизнью.

Узкие места такой самореализации личности автор знает не хуже, чем его герой, потому что, признаться, автор сам американист. Но жизнь поздно переиначивать, а профессию — менять, и вот еще в одной попытке описания странной профессии автор отступает от привычного ему первого лица, вводит в повествование лицо третье, отдает ему часть своей биографии и отправляет его в командировку в Америку...

Но тут, отделяясь и отдаляясь от автора, герой требует собственного имени. А выбор имени, вдруг осознает автор, есть и выбор жанра: чего же он сам хочет — преимущественно документального или художественного повествования?

При художественном, с героями типа Иванов, Петров, Сидоров автор ступал бы на незнакому ему землю вымысла и должен был обживать и заселять ее, выдумывая и других героев, их обстоятельства, и положения, и даже судьбы. Что и говорить: в таком случае художественное творчество открывало бы перед ним завидные просторы, причудливые возможности проникновения в жизнь, высшие формы правды. Увы, автор — журналист, он не готов к такой творческой свободе. Профессия стала натурой или натура профессией, не суть важно. Важно то, что она подрезала крылья вымысла, отучила парить и, напротив, приучила держаться и цепляться за факты, ставить задачи скромнее. И хотя на этот раз автор отделяется от самого себя, он в то же время боится слишком далеко отпустить своего героя. Пусть останется тот под рукой, даже и в третьем лице, и пусть даже имя его напоминает о профессии и служебной ориентации автора, даже в имени пусть будет нечто функциональное, некое указание на ту планиду, которая заставляет человека, даже находясь дома, описывать текущие события за границей.

Итак, Американист. Американист?! Да, Американист! Как быка за рога. И заметьте, читатель, что слово это не выдуманно и не надумано, взято не из словарей, куда еще не попало, а из жизни. Да, из той жизни, которой живет некая малая толика наших соотечествен-

ников. Американисты — это наши соотечественники, занимающиеся американцами и Америкой, теоретики и практики. И ничего тут нет удивительного, что в сложном и тревожном веке эти люди профессионально вглядываются в другую супердержаву и не могут наглядеться, хотя и тошно им бывает иногда от долгого напряженного вглядывания.

На протяжении последних двадцати с лишним лет Американист не менее полутора десятков раз заполнял анкетку неиммигранта, и ровно столько же раз в ее правом нижнем углу иммиграционные инспекторы ставили разрешение — «Admitted to United States» — «Допущен в Соединенные Штаты». А если брать всю его долгую жизнь зарубежного корреспондента, то она делилась на три периода — карирский, нью-йоркский и вашингтонский. В каждом из этих трех пунктов (или корпунктов) Американист по несколько лет проработал собкором, постоянным корреспондентом своей газеты, прежде чем — после пятнадцатилетнего перерыва — возобновить свою московскую жизнь.

Ни за границей, ни дома дневников он не вел. Характер газетной работы, ставший образом жизни, с утра и до вечера, до позднего выпуска телевизионных новостей держал Американиста в плену и потоке последних мировых событий, и перед сном он не находил сил, выбравшись из потока на берег, обсохнуть и остыть, усесться за стол несуетным летописцем Нестором. Но кое-какой архивишко у него поднакопился. Как каждый пишущий человек, с годами он оброс бумажным хламом. Львиную долю хлама составляли вырезки из американских газет.

Их были тысячи и тысячи, и в каждой его рукой были подчеркнуты мысли и факты, которые когда-то казались ему важными и интересными и касались бесчисленных событий американской жизни, — на торопливое газетное отражение этих событий он не жалел серого вещества своего мозга. Но теперь ни эти вырезки, ни мысли, ни события почти не интересовали его, у него не было времени к ним возвращаться. Как газетчик он работал с сегодняшним днем.

Когда же порою по той или иной служебной надобности он перечитывал свои давние статьи, то с усмешкой думал, что для пишущего человека нет более верного способа устареть, чем изо дня в день самозабвенно отдаваться потребности дня и что, с другой стороны, для всех бегущих по-газетному, ноздря в ноздю с временем, единственный способ спастись от этой мстительной истины как раз и состоит в том, чтобы продолжать бежать и бежать не оглядываясь.

Среди бумажных вырезок в хаотичном архиве Американиста хранилось и несколько тетрадок и блокнотов, им исписанных, — дорожные дневники. Он привозил их обычно из поездок, когда душа наполнялась живыми впечатлениями. Этими записями он дорожил, как дорожат книжные люди знаниями о жизни, добытыми не из книг или газет, а собственноручно. Его тянуло к этим тетрадкам и блокнотам, он держал их в заветном месте, перечитывал, тоже иронически усмехаясь над собой, но иногда вдруг и гордясь, и в такие минуты вдруг возникало желание подбить какие-то литературные итоги. Вне газеты.

Его терзало опасение, свойственное людям в возрасте свыше пятидесяти лет. Так и уйдешь из этого мира, думал он, не рассказав того, что никто ведь за тебя не расскажет, ради чего, быть может, ты и родился и прожил жизнь именно так, а не иначе. В тетрадках и блокнотах его вдруг обжигали его же собственные, давние и забытые слова, родившиеся в дни сильных потрясений, когда трагически прерывался обыкновенный ход времени и он хоронил мать и отца, неожиданно рано умерших друзей. Это были слова о горечи утраты и всякий раз еще и о том, что дорогие люди ушли не высказавшись.

Невысказанность мучила его в эти дни и сразу же после — их невысказанность и его собственная. Потрясенный, он как бы вслушивался и вдумывался в их молчание, ставшее вечным, и пытался понять его. В молчании были урок и упрек. Но набегали новые дни, новые будни, и потрясение сходило на нет.

Однако время от времени, отрываясь от газетных статей и очерков, он силился высказаться, и среди его бумаг было несколько подступов к автобиографической повести.

«За рамой» называлась одна из таких попыток. В тяжелой стальной раме на стальном столе верстается газетная полоса. Все, что не входит в раму, что не нужно газете, беспощадно отбрасывается, как лишний, ненужный металлический набор, остается за рамой. В молодости проблем не было, все умещалось в раму. А теперь он брался за тему, которая в хронике мировых событий и уголовных преступлений не сходила с газетных страниц, но в сокровенном, философском своем смысле всегда оставалась за рамой, — тему жизни и смерти, или, как точно определил ее один современный писатель, тему жизнеспиритизма. После пятидесяти, даже в мирное время, жизнь становится жизнеспиритизмом, остающиеся в живых все чаще хоронят своих сверстников, и вместе с ними — часть за частью — и свою жизнь, готовясь к неизбежному.

«По этой площади я хожу тридцать лет — на работу, с работы и во время работы, а также в выходные и праздничные дни, — писал он, имея в виду знаменитую московскую площадь, на которую выходили фасадами внушительные здания его газеты. — Скольких их уже нет, давних знакомых, что изо дня в день ходили по этому проезду и этой площади и погибали за угол на эту улицу, и казалось, что нам встречаться тут вечно, а теперь нет ни старого душного кинотеатра, ни соседнего старого фамусовского дома, ни пивного бара и аптеки через площадь, ни шашлычной, в которую можно было попасть прямо из пивного бара, ставшего перед своей кончиной молочным. А знакомые неузнаваемо состарились, или ходят по другим улицам и площадям, или уехали на годы и годы. Или ушли навсегда, умерли. А нам пришло время надоедать молодым присказкой: когда мы были молоды...

Когда мы были молоды и редакция помещалась в конструктивистском здании из серого бетона с круглыми окнами-иллюминаторами на верхнем этаже, мы были мальчиками на побегушках, и нам доставались иногда среди прочих обязанности похоронной команды — умерших ветеранов, не ведая одышки, приносили мы в конференц-зал на шестом этаже, а потом после панихиды, после речей, в которые не вслушивались, на молодых и здоровых плечах спускали гроб вниз к автобусу по широкой белой мраморной лестнице. В обычные дни по этой лестнице мы прыгали через четыре-пять ступенек, сбегали вприпрыжку, съезжали по перильцам упругими молодыми задками в мятых полированных единственных брюках. Были веселы и работали по ночам, и газета выходила глубокой ночью, а летом уже и на рассвете, и после дежурств немецкие трофейные кургузые «БМВ» развозили нас по квартирам...

По квартирам? Оговорка сегодняшнего дня. Даже угла не было в первые недели работы в редакции. Выпускник международного института был бездомным в Москве, ночевал в общежитии в Стремянном переулке, где прожил три года, — был август, каникулы, общежитие пустовало, комендант по знакомству все еще пускал ночевать, но постельного белья не давал, и вчерашний студент спал на голом матрасе, грезя о новой жизни, один в комнате на втором этаже, где стояло шестнадцать железных коек в два ряда...

Так жили мы, беспечно и нетребовательно, без заграничных командировок, быстро став в газете мастерами на все руки и знатоками всех стран, и почему-то именно в ту пору легко давался нам жанр пере-

довой статьи. Молодое ощущение бесконечности жизни переполняло нас, и никто никогда не собирался помирать, когда в черно-красных гробах приходилось спускаться нам с верхнего этажа на своих плечах усопших газетных ветеранов.

Как быстро пронеслось время! Теперь другие молодцы, в других сидит ощущение бессмертия. И странное чувство щемит сердце на знакомой площади в теплый день еще одной весны, когда радуешься солнышку и видишь густую улыбающуюся — и преимущественно молодую — толпу московских солнцепоклонников, и в ее гуще, всего лишь седыми и серыми вкраплениями, поколение, которое уходит, и понимаешь, что ты — его часть, что по этой площади мы не просто ходим, но и проходим, и тот, бронзовый, вечный, задумчиво стоящий над толпой, прекрасно сказал и об этом: "Увы! на жизненных браздах мгновенной жатвой поколенья, по тайной воле провиденья, восходят, зреют и падут; другие им вослед идут..."»

Так начиналась повесть «За рамой», начиналась, чтобы оборваться на пятой машинописной странице. Дальше не хватило запала, терпения, времени. Побеждало газетное — короче. Газетное — потом. Потом были, конечно, и другие попытки, но каждой хватало не больше чем на пять — семь страниц, каждая получалась не длиннее газетного куска, выдавая короткое прерывистое дыхание газетчика.

Невысказанность, однако, не отпускала. Газета живет один день и одним днем, и чем больше однодневок рождает газетчик, тем сильнее его тяга к вечным темам. Но наш герой не додумывал этот вопрос до конца. Ибо что такое вечность? Горжественное пустое слово. А жизнь и смерть конкретны у каждого. И если тебя томит невысказанность, попробуй рассказать о своей жизни и о своей работе, какой бы странной она ни была, и перестань витать в эмпиреях жизни-смерти.

Невысказанность, мучившая Американиста, носила, если разобраться, не метафизический, а деловой, профессиональный характер.

И пока в монреальском аэропорту Дорвал он ждет очередного въезда в Нью-Йорк, быстро прокрутим киноленту этого начинающегося путешествия назад до Шереметьева и Москвы, до сборов в дальнюю дорогу. В порядке преодоления невысказанности.

Подоплека — и предыстория — данной поездки Американиста состояла вот в чем. Корреспондент одного известного нью-йоркского еженедельника, аккредитованный в Москве, хорошо знающий русский язык и по-американски настырный, неподобающе вел себя при посещении одной советской среднеазиатской республики, граничащей с Афганистаном, а при посещении другой нашей республики однажды выдал себя за советского журналиста, заместителя редактора областной газеты. Компетентным органам не понравилось его поведение и способ собирания информации. Корреспондента выдворили из Советского Союза.

Коллега Американиста, другой американист, работавший корреспондентом той же советской газеты в Вашингтоне, не знал выдворенного американца и в своих поездках по Соединенным Штатам не пытался прикидываться заместителем редактора какой-нибудь луизианской или северодакотской газеты. Но разве есть место нормальной логике тогда, когда отношения между двумя государствами ненормальны? На шахматной доске межгосударственных отношений произошел размен фигур. В отместку за высылку американского корреспондента из Москвы коллегу Американиста лишили аккредитации в Вашингтоне.

Коллега не искал этой бури и не ведал, что судьба его переменялась без его участия и не по его воле. В то время, когда на доске совершался размен, коллега безмятежно блаженствовал среди небесной и морской лазури где-то на подступах к родной стране между Грецией и Турцией или даже Турцией и Румынией, направляясь в

свой летний отпуск на борту советского теплохода, для которого с большим трудом и хлопотами, подняв и это дело на высокий межгосударственный уровень, выхлопотали право разового захода в американский порт Балтимор неподалеку от Вашингтона, чтобы забрать советских дипломатов и других сотрудников с семьями и багажом.

Нет ничего простого в наших отношениях с американцами и почти ничего личного, ибо не личности общаются, а государства. Даже личности общаются через государства.

Эта малая, не попавшая в газеты история разыгралась летом, а между тем постепенно надвигалась осень и вместе с осенью по политическому календарю — выборы в американский конгресс.

Тогда-то и возник Американист в тиши редакторского кабинета.

Он предложил временно заполнить образовавшуюся брешь, рассудив, что при этом одалживаться у американцев не придется. В Москве уже сидел взамен выдворенного новый, быстро присланный — и пущенный нашими властями — представитель нью-йоркского еженедельника. И если мы дали визу ему, то они не смогут отказать нашему. Летом в случае с коллегой было око за око. Осенью получался баш на баш. Круглый, как Земля, принцип взаимности поворачивался солнечной стороной.

Расчет Американиста оказался верным — они не отказали, они дали визу. Как он и предполагал, в самый последний момент, в последние рабочие часы последнего рабочего дня недели. Тянули бы и дольше, но суббота и воскресенье — нерабочие дни, а вылетал он в понедельник, в понедельник утром. Под штемпелем визы было приписано от руки: «Временное замещение корреспондента».

И вот в стенах его московской квартиры, в окружении домочадцев как-то буднично и потерянно истекает последний перед отлетом вечер. И вот наступает последняя ночь. Индийский чемодан с колесиками почти полностью собран измучившейся и все еще продолжающей что-то стирать и гладить женой. Рубашки, белье, носки и придиричиво осмотренный костюм, водка и баночки с зернистой икрой, консервы и запрещенная к ввозу в Америку (где наша не пропадала!) колбаса. Черный хлеб купят утром, в домовой булочной. Портфель набит книгами и бумагами. Чего еще не хватает Американисту, уже удалившемуся на покой в свою маленькую комнату и плотно закрывшему за собой дверь?

Самого человека труднее собрать в дорогу, чем его чемодан или портфель.

Не хватает спокойствия духа. В душе его бушует незримая буря страстей. Когда он шел к главному редактору, то думал: засиделся! Теперь понимает: ах, как тяжел он стал на подъем! Тяжел на подъем... Пророческое выражение родилось задолго до того, как люди научились подниматься в воздух. Ах, как трудно дается этот еще один отрыв от земли, и не оттого, что боишься самолета, а оттого, что земля — своя. Как тягостно думать ему, что опять придется приживаться на чужой земле, восстанавливать все забытые рефлекссы поведения в чужой среде, где для каждого встречного и поперечного он будет чужестранцем, а для многих — подозрительным красным из Советского Союза!

Звуки в квартире давно умолкли, а он никак не может заснуть. Недвижимый лежит под одеялом, и дух его трепещет над ним в темноте, и каждой секундой этого внутреннего оцепенения, напряженной своей полудремы он ощущает — уезжаю. И в этот ночной одинокий час в мечте своей, уже завершив командировку, в которую сам напросился, уже благополучно перемахнув через нее, он возвращается в Москву и вскоре после аэропорта и встречи с родными катит за город по белой и пустой зимней дороге на дачную квартиру от редакции и там, по-субботному попарившись и пообедав с другом, си-

дит за столом, глядя в окно на мертво блестящие снега, на скупой и холодный зимний закат. И в ночь перед отлетом обычное возвращение из обычной заграникомандировки снова патетически видится ему возвращением блудного сына.

Не было раньше этой бессонной тоски. Не тяжел, а легок был он на подъем, да и в Москве бывал лишь в отпуске, а если что-то и томило тогда в такой же предотъездный день, не отдавался он этому проклятому томлению, и день последний складывался совсем по-другому, приходили молодые веселые друзья, пили, ели, шумели, произносили легкомысленные тосты, и, подвыпив, он проваливался в сон, раб тела, забывший о душе и полагающийся на будильник. А когда простодушные родственники или знакомые из тех россиян, что не ездят и не живут по заграницам, жалеючи, спрашивали: «Как же это ты, горемычный, живешь там целыми долгими годами и домой лишь в отпуск заявляешься, тяжело небось?» — Американист объяснял, как на пальцах считал, легко и привычно: лишь на первых-де порах, в первые-де месяц-два тяжело, а потом привыкаешь, приходит второе дыхание, иссякнет второе, так есть и третье. Ничего не попишешь — работа. Этим объяснялось и покрывалось все, и сердобольные знакомые прекращали расспросы, как будто и впрямь уясняли, что это такое — первое и второе дыхание и специфика работы вдали от дома. Но ведь и в самом деле не обманывал он, так оно и было, и не было тоски.

А теперь, лежа в темноте, он непривычно ощущал одну свою душу, и душа его вся была напряжена какой-то мистической, почти пугающей своей стихийной силой связью с родной землей, родной средой, народом, в котором родился и жил — и терялся, как капля в море. Как это сказал рано ушедший, чистый и грустный поэт? «С каждой избою и тучею, с громом, готовым упасть, чувствую самую жгучую, самую смертную связь...»

Он покидал родной мир и зябко ежился в предчувствии холодных сквозняков на международных перекрестках яростного ядерного века.

Утро вечера мудренее. Поздний октябрьский свет рассеивает и тьму и тоску. В движении ей нет места. В редакционной черной «Волге», с женой и сыном на заднем сиденье, Американист едет в Шереметьево.

И там все образуется без очередей и нервов, быстро и хорошо. Сын — вон какой вымахал — берет тяжелый чемодан, и таможенник великодушно пропускает его до стойки оформления билетов. Американист прощается с женой, целует сына в румяную щеку. Юный пограничник острыми глазами сверяет физиономию в натуре с фотографией на паспорте и хлопает печатью «Вылет». «ИЛ-62» взлетает почти по расписанию, и через пять минут в иллюминаторы празднично вливается голубая надоблачная высь с ослепительным солнцем, не подозревающим, как соскучился по нему на земле, прикрытой тяжелым пологом осени.

Знакомы ли вам эти своеобразные прелести фатализма, эти часы ожидания и безделья в самолете, летящем преимущественно над океаном из одного полушария в другое? Тебя везут, более того — тебя кормят и поят, за тобой ухаживают. Это как краткое возвращение в детство, ни о чем не надо беспокоиться, и так бы летел и летел, доверяясь родительской заботе невидимых в своей кабине летчиков и милых стюардесс и саму судьбу свою как бы поставив на автопилот.

И так они летели и летели — над покрытой облаками родной землей, и над первым снегом на горбах норвежских фиордов, и еще пять часов над Атлантическим океаном, пока не поплыла внизу заснеженная белая твердь Ньюфаундленда.

Эта происшедшая смена картины как-то странно успокаивала: в случае беды земля надежнее и милее ледяной пучины океана для летящих над нею сухопутных существ. С другой стороны, вместе с видом лежащей внизу земли вернулись и земные заботы. Ничего нет простого в наших отношениях с американцами, все упирается в политику, и эта истина касается даже воздушного сообщения между двумя странами. Когда-то под предлогом Афганистана президент Картер закрыл для Аэрофлота Нью-Йорк, позднее под предлогом событий в Польше президент Рейган закрыл и Вашингтон, и вот, как в машине времени, двинувшейся в прошлое, Американист и его попутчики летели в Монреаль и там должны были еще ехать в другой аэропорт и ждать самолета на Нью-Йорк, преодолевая усталость, исподволь накопленную долгим полетом, и до американской ночи продляя тот бессонный, растянувшийся на восемь часов день, который в Москве уже становился утром завтрашнего дня.

Вспыхнули сигнальные табло, усталый женский радиоголос попросил пристегнуть поясные ремни, и в плавно снижающемся, будто планирующем самолете наш путешественник все стремительнее приближался к поверхности другого континента, чтобы встретиться и слиться там с самим собою, с тем человеком, которого автор, сочтя необходимыми кое-какие разъяснения, оставил скучать в монреальском аэропорту Дорвал в ожидании нью-йоркского самолета.

Но он уже не скучал. В некотором роде он уже приступил к исполнению своих профессиональных обязанностей. После долгого перерыва заочного наблюдения и описания Америки из Москвы он не без азарта предавался теперь свежим очным наблюдениям.

Зал ожидания авиакомпании «Истерн» с угольного цвета удобно штампованными стульями, широкими окнами на летное поле и свободными выходами в длинные коридоры аэровокзала к накопителям других компаний уже заполняли пассажиры. И это были в основном граждане США. Американист безошибочно узнавал своих подопечных по яркости и пестроте их одежды, по свободным позам, которые на первый взгляд кажутся развязными, по их, опять же внешне, небрежному поведению без оглядки на других. Знаменитый американский писатель однажды сказал ему, что наметанный глаз всегда отличит американца даже по чисто внешним признакам, что американского негра даже в Африке не спутать с африканским негром, что американца японского происхождения так или иначе не спрячешь среди японцев в Японии, а в Европе, хоть ты специально маскируй американца, нечто неуловимое, но характерное тут же выдаст его. Это верное наблюдение, и Американист любил оттачивать глаз, научившись выделять американцев (меньше — американок) среди других иностранцев, даже не слыша их особого говора, только по осанке, походке, манерам. Приходилось ли вам задумываться над тем, что каждый человек несет на себе особую национальную печать, что даже в повадках своих, во внешних своих приметах он отражает исторически сложившиеся черты своего народа? Ту среду, в которой живет.

И вот теперь в монреальском аэропорту Американист с азартом натуралиста опять входил в мир американцев. Из-за того что он долго не наблюдал их, именно национальные, а не индивидуальные черты прежде всего бросались в глаза. Каждый из первых увиденных американцев воспринимался как тип. Индивидуализм в природе этой нации, ее сильная характерная черта. На свежий взгляд Американиста, каждый американец рисовал и лепил себя в аэропорту Дорвал, желая в отличие от нас выделиться из массы, а не стусеваться, не слиться с ней.

Вот мужчина средних лет с толстой сигарой во рту, не по сезону легко одетый в кремового цвета пиджак с блестящими желтыми пу-

говицами на всех карманах и в песочного цвета брюки, из-под которых выглядывают светло-желтые расшитые ковбойские сапожки,— чем не тип провинциального южанина, на какое-то время попавшего на канадский север.

Вот высокий блондин с крупным волевым лицом раскрыл кодовый чемоданчик-дипломат, уместил его на левой ноге, которую чисто по-американски уложил лодыжкой на колено правой, и как ни в чем не бывало, будто один в своем офисе, углубился в чтение деловых бумаг — тип сравнительно молодого бизнесмена. Но что-то такое выдает его, что-то сомнительное есть в его уверенности, отнюдь не соответствующее образу преуспевающего бизнесмена. Что-то такое заставляет предположить, что на лестнице успеха блондин пока спотыкается.

Человек с рыжеватой бородкой на бледном, бескровном лице, нестриженные волосы выползают из-под черной твердой старомодной шляпы, длиннополое черное пальто, белая рубашка без галстука застегнута на верхнюю пуговицу. Тут и гадать нечего, принадлежность к группе определена одеждой — еврей из религиозной секты хасидов, оккупирующих ювелирные магазины так называемого Бриллиантового ряда на Сорок пятой стрит между Пятой и Шестой авеню Нью-Йорка.

В углу особняком трое молодых людей, и самый богатырски картинный из них — могучий, широкогрудый парень с черной бородой; он, через голову стянув с себя толстый свитер, обнажил лямки комбинезонных штанов и в мини-баре у входа, открывшемся, когда пассажиров поднабралось, покупал банки пива «Бадвайзер» и треугольные сэндвичи с сыром и ветчиной, запечатанные в прозрачный целлофан. Тип нынешнего студента, похожего на рабочего.

И так далее.

И еще был тип свежеепеченного иммигранта, всего лишь кандидата в граждане США, латиноамериканца по обличью, с широким простоватым лицом и черными глянцевыми волосами. Он сидел в углу на краешке стула, сторонясь других, потерянный человек, одиночка, родную среду покинул, а новую среду, новое лицо и индивидуальность еще не приобрел. Приобретет ли? Он был в самом начале нового, манящего и страшного пути и робко поглядывал на остальных, готовый по первому требованию заискивающе признать свою неполноценность и, однако, мечтающий перевоплотиться и стать таким, как остальные...

Закат давно догорел. Лишь темнота и фонари глядели в окна, когда прямо к окну приблизился нос долгожданного нью-йоркского самолета. Из одной двери быстро выполз хвост прилетевших, в другую втянулся хвост ожидавших. Американист очутился в обстановке летающей Америки, узнавая ее, как раньше он узнавал американцев-попутчиков, в самолете, где на креслах были многоцветные, пестрые чехлы, по-другому выдвигался столик из ручки кресла, по-другому захлопывались багажники наверху.

Стоя перед закрытой пилотской кабиной с микрофоном в руке, самоуверенный, как конферансье, стюард извинялся за опоздание, самолет по-американски, свечой, взмыл в темное небо, с мелодичными звоночками мгновенно погасли запретительные табло, и, ни минуты не мешкая, стюард с двумя стюардессами бросились разносить прохладительные и горячительные напитки и крошечные пакетики с миндальными орешками. Зазвучал радиобаритон, представившийся «вашим капитаном». С рабочего кресла капитан напрямую обратился к пассажирам, снова извинился за опоздание, предупредил, что в районе Нью-Йорка свирепствуют порывистые ветры с дождем, немножко потрясет, и заверил, что оснований для беспокойства тем не менее нет.

Побеспокоиться, однако, пришлось. Снова включившись, баритон капитана сообщил, что обстановка, к сожалению, ухудшилась, самолеты садятся и взлетают с опозданием и нью-йоркские диспет-

черы велят на полчаса задержаться в воздухе в тридцати — сорока милях от аэропорта Ла Гардиа. В темных воздушных пространствах, ожидая разрешения на посадку, кружились сотрясаемые порывами ветра самолеты. В пассажирском салоне погасили свет. Двигатели ревели громче и натужнее, как будто сзади, ухватившись за хвост мощной рукой гиганта, кто-то не пускал самолет. Сильно потряхивало.

Наконец пошли на посадку. Прорвались сквозь молочно-белесую тьму. За треплющимся тюлем разорванных облаков являлась и исчезала феерия нью-йоркских огней, и вот она открылась в своей беспредельности, светящаяся, мигающая ночная земля, пульсирующая огнями бегущих машин на автострадах. Американист не успевал опознавать их — и все ближе и ближе к огням домов, к автомашинам на дорогах, и самолет, ударяемый порывами ветра, покачивая крыльями, тяжело плюхнулся на залитую водой посадочную полосу, по которой били струи ливневого дождя, и пассажиров закачало в креслах от резкого торможения.

Эта посадка, подумал Американист, успокаиваясь от пережитого волнения, наглядная иллюстрация к американскому характеру, к той его черте, которую нам надо бы знать и учитывать, — раскованное и, более того, рискованное отношение к ситуациям, на наш взгляд, критическим. У них они умецаются в пределы нормы.

После напряжения штормовой посадки пассажиры еще не успели подняться с кресел и самолет еще не подрулил к своему родному терминалу авиакомпании «Истерн», а у нашего путешественника, глядевшего в омываемое дождем окно, уже возродилось первичное из нью-йоркских ощущений — густоты и напора движения. Сквозь пелену дождя оранжево светились большие вывески не менее десятка авиакомпаний. И пассажиров, поспешно подключая к этому темпу, выпустили из самолета в сутолоку аэровокзала, где знакомые встречали знакомых, а незнакомые — незнакомых, держа в руках листки картона с именами и фамилиями, и где Американист увидел Андрея, молодого корреспондента-правдиста, и понял, что Андрей встречает именно его. Обретя эту точку опоры, он почувствовал себя, как все, уверенно-небрежной частичкой напряженного и хаотичного движения, которое опознал еще в воздухе и которое повелительно подхватило его на земле.

Они сели в заваленный газетами и журналами «крайслер» и, расплывшись у выезда с парковки, сразу же заблудились в дорожных развилках и развязках. Еще теплилась надежда попасть тут же, в аэропорту Ла Гардиа, на последний «челнок» до Вашингтона. Но когда они нашли нужное здание, там не было ни машин, ни людей. Лишь негр в блестящем черном дождевике и форменной фуражке дежурил под навесом у обочины. Он сообщил, что вечерние рейсы отменены из-за непогоды.

Андрей предложил переночевать в его нью-йоркской квартире.

Выбравшись наконец из дорожных хитросплетений аэропорта Ла Гардиа, они попали на широкий Гранд-сентрал-паркуэй, который влажно лоснился в свете вечерних фонарей и фар, неся по четыре ряда автомашин в каждую сторону, и вскоре очутились на горбатой спине старого моста Трайборо, и за сеткой дождя встала и засверкала в ночи неровная линия манхэттенских небоскребов. Фантастическое видение мрачного города под мрачным небом.

Теперь он въезжал в вечерний Манхэттен транзитником, чтобы переночевать и утром вылететь в Вашингтон. Друзья, с которыми когда-то он жил в этом городе, переместились в Москву, и для иных уже кончился и ход и бег времени. Андрей, сидевший за рулем, был в том возрасте, в котором они здесь начинали двадцать лет назад, и шел по жизни с другим поколением. Улыбчивый, почтительный, он расспрашивал старшего коллегу о московских новостях, и Америка-

нист отвечал, но в памяти его тем временем мерцающими ночными слайдами вспыхивали, сливаясь с натурой, снимки знакомых мест.

Вскоре автомобиль нырнул в подземный гараж и встал возле будочки дежурного, в которой, склонившись над своей гаражной бухгалтерией, сидел одинокий ночной негр.

Оставив «крайслер» на его попечение, они двинулись с вещами к входу в дом, который находился тут же в гараже. Дверь дома была заперта, а ключ (их выдают каждому жильцу) Андрей забыл. Запертая подземная дверь свидетельствовала о двух противоборствующих ипостасях нью-йоркской жизни — разгуле уголовщины и одержимости безопасностью. И кстати, не только для удобства в нью-йоркских домах существует внутренняя телефонная связь. Андрей позвонил Наташе.

Они ждали Наташу в пустом вечернем гараже, выходящем на пустую вечернюю улицу, пять минут, не более. Но Американист успел классифицировать еще одно знакомое ощущение — всеамериканскую уличную, гаражную, парковочную, лифтовую вечернюю тревогу. Тайком и как бы невзначай он подносил правую руку к груди, что-то проверяя в левом кармане пиджака.

Откроем его секрет. Зашпиленный на булавку, в кармане покоился довольно толстый конверт с зелеными долларовыми бумажками.

Человек с наличностью — это желанная добыча уголовников, которыми кишмя кишит Новый Свет. Давно придуманы разные кредитные карточки, безопасные банковские или дорожные чеки, ими обычно снабжают и наших путешественников. Но на этот раз Внешторгбанк, видимо, по каким-то внутренним соображениям экономии выпустил Американиста в Новый Свет подопытным кроликом с подотчетной наличной валютой.

И вот он стоял у запертой двери нью-йоркского подземного гаража, украдкой проверяя карман и украдкой же озираясь: не вынырнет ли из-за этих колонн, из-за этих уснувших на ночь машин какой-нибудь головорез или наркоман, чокнутый, какой-нибудь американский «чайник». Мало ли кого сводит с ума этот город. Однако никто не посягнул на казенные деньги Американиста, ни одного уголовника не случилось рядом.

Дождавшись Наташу, они благополучно поднялись на лифте, и никто не напал на них и в коридоре, пока они шли до квартирной двери, по-ньюйоркски окрашенной в черный цвет, и вскоре втроем они сидели за столом и четвертым был экран телевизора, который и снабжал их свежей — и на расстоянии неопасной — уголовной хроникой.

Слово было то же — телевизор. Но помимо десятка обычных каналов этот телевизор имел еще и приставку, в которой каналы обозначались не цифрами, а буквами, всеми буквами английского алфавита.

Опущенные жалюзи изолировали квартиру от тесного двора-колодца, образованного стенами соседних высоких домов. В колодце через другие опущенные жалюзи тускло светились большие окна других квартир. Они эти окна нью-йоркских жилищ, как бы перестали выполнять свою изначальную роль окна в мир. У людей отгородившихся друг от друга было другое общее окно и другой общий мир — пестрый бойкий и быстрый многоцветный мир их телеэкранов.

Передавались поздне-поздние новости Андрей и Наташа знали всех ведущих, изо дня в день подключались к свежим событиям нью-йоркской и американской жизни. Американист когда-то тоже плыл в американском потоке, но давно уже окупнулся в наш поток, а потоки были такие разные, что смешными и легковесными показались ему в первый вечер телевизионные леди и джентльмены, их сума-

спешная скороговорка, рожденная баснословной стоимостью телевизионного времени, их фатоватые прически, крикливые одежды и манеры, которые на его нынешний свежий взгляд представлялись развязными.

В первые часы он сурово мерил американскую жизнь мерками нашей более аскетичной жизни.

Была глубокая ночь и тишина, и трель ожидавшегося им телефонного звонка разрезала ее резко и сильно.

Он быстро схватил трубку, как всегда хватал ее, опасаясь, что ночной звонок разбудит жильцов соседней квартиры, хотя никогда никого не слышал там, за стеной. Голос операторши с международной телефонной станции где-то под Нью-Йорком произнес его фамилию по-английски с ударением на другом слоге, отчего она прозвучала чужой и торжественной, и сообщил, что его вызывает Москва. В трубке послышались приглушенные звуки межконтинентальных радиосфер, отдаленный шорох и гул, и на этом мощном таинственном фоне раздался звонкий голос московской телефонистки. Голос ее не был так профессионально поставлен, как у американки, но зато она произнесла его фамилию по-русски и сообщила, что его вызывает газета. И, завершая эстафету женских голосов, его по имени-отчеству назвала редакционная стенографистка Оля, сидя за плотно закрытой тяжелой дверью одной из телефонных будочек на третьем этаже родного газетного здания. «Что мы сегодня будем делать?» — спросила она. И он ответил что и, придвинув листочки, начал диктовать подготовленную корреспонденцию, произнося не только слова, но и запятые, точки и другие знаки препинания, буквы, чтобы не перепутали, давая имена и названия. При этом он с удивлением убедился, что старый навык не пропал, и одновременно испытывал чувство, тоже старое, неловкости оттого, что передававшийся им текст не мог заинтересовать Олю, не имел, в сущности, никакого отношения к той жизни, которой она жила, к тем житейским новостям и толкам, о которых она, попивая чай, будет разговаривать с другими стенографистками, как только пройдет утренний час пик, соборы и спецкоры передадут свои материалы и выдаться свободная минута.

«Вновь прибывшего человека Вашингтон встречает все еще теплой осенью и, как всегда, суматохой новостей,— диктовал он.— Все вперемешку. Вызывая волны паники и ужаса, по всей стране агенты ФБР ловят и не могут поймать маньяков новой, даже здесь еще неведомой разновидности.— подсыпающих смертельные яды в лекарства и продукты, лежащие на открытых стеллажах магазинов. Маячит на телеэкране в тюремной робе автомобильный магнат Джон де Лорин, вчера еще слышавший воплощением американской предприимчивости и удачливости, а сегодня злоумышленник, обвиняемый в продаже рекордной партии наркотиков...»

Как осенние листья на тротуарах, летают сенсации по страницам газет и в теленовостях. Все вперемешку и все вприпрыжку, в суровом зрелище темпе...»

(Так начал он, завлекая читателя деталями, и тут же обрывая их и экономя место, зная, что пора переходить к чистой политике.)

«...Но в этом калейдоскопе, где причудливо перемешано частное и общее быт и политика, одно событие привлекает общее внимание. Во вторник 2 ноября состоятся так называемые промежуточные выборы. По конституции США они проходят в промежутке между выборами президентскими. Два года истекло с тех пор, как был избран президентом консервативный республиканец Рональд Рейган. И ровно два года осталось до следующих президентских выборов. А пока избираются все четыреста тридцать пять членов палаты представите-

лей конгресса США, тридцать три из ста сенаторов и тридцать шесть из пятидесяти губернаторов штатов.

Таким образом, никто пока не покушается на Белый дом. Но именно к обитателю и политике Белого дома опять привлечено наибольшее внимание. Промежуточные выборы — это промежуточные итоги президентства. От того, как подведет их избиратель, будет во многом зависеть дальнейшее развитие событий и станет ли президент баллотироваться в 1984 году на второй срок.

По мнению здешних обозревателей, при голосовании на местах за республиканских или демократических кандидатов на конгресс сошлется своего рода референдум по Рейгану, по рейганизму как течению американской политической жизни. И так как заботы кармана и желудка важнейшие для типичного среднего американца, прежде всего это будет референдум по «рейганомике», то есть по экономической программе президента...»

Как успел догадаться читатель, Американист, транзитом проследовав через Нью-Йорк, благополучно добрался до Вашингтона. Он написал свою первую корреспонденцию и передал ее в редакцию из дома в вашингтонском предместье Чев-Чейс, где когда-то прожил с женой и сыном пять лет, работая корреспондентом своей газеты. Семнадцатизэтажный дом с несколькими сотнями трехкомнатных и четырехкомнатных квартир, которые в Америке называются двухспальными и трехспальными, с кондиционированным воздухом, огромными, до полу, раздвижными окнами в гостиных, по большей части выходящими на идиллически покойный дачный поселок Сомерсет, назывался Айрин-хауз. По имени Айрин, Ирины, первой жены его первого владельца.

Американист остановился в знакомой квартире. Когда-то он сам ее снял и по умеренным ценам начала семидесятых годов аккуратно платил за нее чуть больше трехсот долларов в месяц. Точнее, платила редакция, квартира была и жильем и корпунктом. Сейчас она временно пустовала, поскольку его коллега и преемник по воле госдепартамента оказался отлученным от Америки.

В гостиной стояли новые диван и кресла антикварного вида, на стенах висела мрачновато выразительная грузинская графика, новым был и цветной телевизор, свидетельствуя о быстро возрастающих потребностях телевизионного века. Но в кабинете все осталось по-прежнему, и Американист сел за свой старый большой и удобный письменный стол.

Спал на старой кровати, у которой была своя история, — они купили ее за бесценок одиннадцать лет назад у одинокой миллионерши, занимавшей в Айрин-хаузе квартиру с роскошными коврами, шелковыми обоями и дорогими зеркалами. Эта богатая квартира на четвертом этаже стала их первой квартирой в Вашингтоне, вызывая восторги других корреспондентов и их жен, но противным вашингтонским летом там было удушливо от влажных испарений деревьев, заглядывавших в окно. И перезаключив арендное соглашение, они поднялись на двенадцатый этаж, над тяжело дышащими деревьями. Но кровать миллионерши перекочевала с ними, и вот, временно вернувшись в Айрин, Американист спал на ней. Или не спал, а молча лежал в темноте, слушая тишину. Тишина перестала быть звенящей. Ночью сонное бормотание ручейка под окном то и дело перебивали неромантические звуки — визг автомобильных тормозов, крик полицейских сирен, доносившихся с Висконсин-авеню и Ривер-роуд.

Окрест поднялись новые привлекательные громады жилых домов. Квартиры в них стоили многие десятки тысяч долларов, и покупали их одинокие пожилые люди, расставшиеся со взрослыми детьми и желающие избежать хлопот и лишних расходов, связанных с содержанием собственного дома.

В семь утра раздавался звук глухого шлепка: мальчишка — разносчик газет, катя свою коляску по длинному коридору, бросал у двери увесистый номер «Вашингтон пост». Американист босяком подходил к двери, осторожно приоткрывал ее, просунув голую руку в коридор, втаскивал толстую кипу газетной бумаги. Аршинные заголовки на первой полосе взрывали покой и тишину утра.

Где и с кем был наш герой, когда, наскоро позавтракав, удалялся в кабинет вместе со свежей газетой? Он был, как и полагается газетному корреспонденту, с событиями дня и их героями.

А между тем за окном его кабинета шла жизнь в своем натуральном темпе, расстилала свой пышный ковер прекрасная теплая осень. Сомерсет как бы утопал в осеннем многоцветном лесу. Отрываясь от газет и журналов, от коричневого поля своего письменного стола, Американист видел за окном не Америку политическую, имперскую, амбициозную, кричащую о себе на весь мир, а совсем другую Америку — спокойную и уютную, да еще среди осенней пасторали.

Вдруг однажды задул сильный ветер, погнав облака по высокому похолодевшему небу. Потом зарядили дожди. Пышный многоцветный ковер осени облез. Сквозь изрядно поредевшую листву за окном проступили, ближе придвинулись нарядные коттеджи Сомерсета из белого эрзац-камня с серой черепицей крыш. Они были знакомы, но знакомы только на вид. В немногих из них побывал он за свои вашингтонские годы и, любя гулять по Сомерсету днем и вечером, лишь со стороны наблюдал, как обитатели домов приезжают и уезжают в своих автомобилях, прогуливают собак, стригут газоны ярко окрашенными стрекочущими машинками или осенью, как сейчас, сгребают упавшие листья в черные полиэтиленовые мешки.

Он скорее угадывал, чем знал, как проходит их будничное существование, лишь предполагал, что стоит пусть даже мимолетно погрузиться в другую жизнь, и тебе откроется бездна ее непохожести с нашей — иного темпа, иной работы и отдыха, иных отношений между людьми, иных понятий, стандартов, требований, законов, налогов, семейных бюджетов и семейных ссор, иного отношения к собственности, недвижимости, иного, **непостижимого** нами, практического знания об акциях **в разных фондах и** корпорациях, кредитах, дивидендах, счетах в банках **и т. д. и т. п.** Как и повсюду, люди тут рождались и умирали, росли дети, страдали и радовались, но все это протекало по-другому, и за стенами аккуратных уютных домиков, где в глубинах комнат слабо мерцали телеэкраны, бушевали при ином, повышенном давлении страсти индивидуалистов и собственников, идущие от извечного, от изначального в человеческой природе, но у нас смягченные устройством общества, а у них усиливаемые.

«Почем он, фунт здешнего лиха?» — спрашивал себя Американист. И мог ответить достаточно точно, хотя американское лихо тоже бывает разным. Мог ответить не хуже иного американца, потому что знал их страну. И все-таки он был лишь наблюдателем, а не участником чужой жизни, не испытывал ее на своей шкуре, не знал своим горбом, и потому возможности его проникновения в нее были объективно — и субъективно — ограничены. Чтобы проникнуть в другую жизнь, надо жить ею.

Не находя собственных определений, он по привычке обращался к поэзии. Привлекал образ, созданный Афанасием Фетом, — стрельчатая ласточка над вечеряющим прудом: «Вот понеслась и зачертила — и страшно, чтобы гладь стекла стихией чуждой не схватила молниевидного крыла...» И дальше: «Не так ли я, сосуд скудельный, держая на запретный путь, стихии чуждой, запредельной стремясь хоть каплю зачерпнуть?»

Не так ли я... Поэта мучила тайна и красота мира, невозможность **в полной мере постигнуть, выразить и тем самым воссоздать** ее.

У журналиста были приземленные, утилитарные задачи. Зато строка Фета наполнялась прямо-таки буквальным смыслом — «стихии чуждой, запредельной (закордонной, заграничной) стремясь хоть каплю зачерпнуть».

Капли чуждой стихии, как и прежде, зачерпывались из быта и политики. В ближайший супермаркет фирмы «Джайант» он ходил пешком, так как в первые дни еще не располагал необходимыми документами, дающими право пользоваться автомашиной корпункта. Возвращался из супермаркета по-американски, в обнимку с фирменным двойным бумажным мешком — в Америке не пользуются авоськами и хозяйственными сумками. В бумажный мешок кассир на выходе ловко и плотно укладывал весь его холостяцкий рацион — консервные банки супов «Кэмбелл», упаковки крупных яиц «первой категории» и сосисок «Мейер», грейпфруты, чай «Липтон» и сахар «Домино», фирменные картонки с молоком, запечатанный в полиэтилен, заранее нарезанный пресный хлеб. Цены, заметил он, сильно подскочили, но понятие дефицита по-прежнему у них отсутствовало. За исключением, разумеется, стойкого дефицита зеленых долларовых бумажек, от него по-прежнему страдали многие миллионы.

Что касается стихии политики, то не капли, а пригоршни он черпал в газетах, журналах, на телеэкране и в личных встречах с коллегами-американцами.

Как человек частный он навецал «Джайант», прогуливался вечерами по пустынному Сомерсету и по Висконсин-авеню, ходил в Элизабет-хауз, в гости к Коле и Рите, вашингтонским москвичам, хранящим верность российским обычаям, у них на столе всегда была картошечка, селедочка и то, что к ним прилагается. Эта его заграничная жизнь существовала для него одного и в какой-то степени для его родных, с которыми, скупясь на слова, он сухо разговаривал порой по трансокеанскому телефону и по которым в иные минуты иступленно сучал.

И он же, живя в Айрин, выступал как человек общественный, писавший для миллионов читателей своей газеты, и в массе своей они видели в нем человека для всех, лишенного индивидуальных черт, винтик в большом механизме общего дела, называемого освещением и разоблачением американской жизни и политики.

В своей ипостаси общественного лица, газетчика он должен был встречаться и встречался с общественными лицами — американцами, прежде всего журналистами, предпочитая известных, умных и знающих, тех, чье мнение имело вес, помогало оценить политическую обстановку и, кроме того, поддержать уважение к самому себе. Не хотел Американист даром есть инвалютный хлеб из супермаркета «Джайант».

Расплатившись с таксистом-негром, он сошел на углу Висконсин-авеню и Пи-стрит, чтобы пройти пешком. Это был Джорджтаун, старый респектабельный район Вашингтона. Американист любил его и разделял тягу американцев к старым, внешне неказистым домам, которые они умеют обживать, сочетая все сияющие, стерильно чистые современные удобства с патриархальным уютом маленьких окошечек с занавесочками и высоких пухлых бабушкиных кроватей под балдахинами. Дорогие дома притворялись скромными, и, шагая по ковру желтых осенних листьев на кирпичных тротуарчиках старой Джорджтаунской улицы, посреди которой сохранились даже давно бездействующие трамвайные пути, он думал, что хорошо, наверное, жить и работать в какой-нибудь светелке, глядящей оконцами в покойный задний дворик, где весной цветет магнолия и собачье дерево, или, по-нашему, кизил.

Один из домов принадлежал широко известному обозревателю Джо К., печатающему свою колонку в сотнях американских газет.

Его статьи в переводе на русский язык частенько попадали в тот вестник ТАСС, который Американист ежедневно читал у себя в редакции. Он и очно был знаком с Джо, но заочно, через его продукцию, куда лучше.

Хозяин встретил его в дверях. Из крохотной прихожей, где висели картины жены-художницы, через гостиную первого этажа, оставленную покойной старой мебелью, они прошли в полуподвал. Там была кухня и непарадная столовая. Из окна под потолком в полуподвал сочился рассеянный дневной свет.

В отличие от журналистов, состоящих в штате газет и журналов, Джо работал дома, и дома же он устраивал свои деловые ленчи.

Ему было под шестьдесят, но он следил за собой, не поддавался возрасту. Худой, чернявый, с легкой походкой и изящными жестами маленьких рук, он говорил примерно так же, как писал свои емкие и умные статьи. Начиная фразу, ораторски возносил правую руку с палочкой расщепленного зеленого сельдерея, заканчивая — опускал сельдерей, макал в подливу и отправлял в рот. Сидя напротив тщедушного на вид, одетого в легкий костюм хозяина, гость тяготился своей массивностью, тяжестью зимнего твидового пиджака, а также неповоротливостью своего английского языка, на котором он к тому же еще не успел разговориться. Эх, лучше быть хозяином, принимать гостей у себя дома, и пусть лучше он говорит на твоём родном языке, неумело ворочая слова и фразы.

Совокупный тираж газет, в которых печатался Джо, исчислялся многими миллионами. Его продукция пользовалась хорошим спросом, и издательская компания, распространяющая по контракту его статьи, наверняка платила ему каждый год шестизначную сумму. Джо входил в первую пятерку известнейших американских обозревателей и уже не одно десятилетие работал в напряженном ритме, выдавая две одинакового размера (не больше трех страниц) статьи в неделю.

Всеми своими нервными окончаниями он был подключен к сложному политическому организму Вашингтона, в котором взаимодействовали и противодействовали люди и учреждения, вырабатывая решения, касающиеся разных штатов, городов, избирательных округов, всей страны и всего мира, потому что политическая элита Вашингтона так или иначе видит Америку в самом центре мира и не оставляет своих попыток навязать миру развитие по-американски.

Инсайдеры и аутсайдеры то и дело меняются местами в этом городе. Каждый президент представляет на ключевых постах своих людей, из вчерашних аутсайдеров они становятся сегодняшними инсайдерами. К тому же после выборов всегда в большей или меньшей степени обновляется состав сенаторов и конгрессменов. Чтобы удержаться на гребне успеха, Джо должен был постоянно оставаться инсайдером, пластично вписываться в любую меняющуюся ситуацию, в любой новый расклад сил (с той же непринужденностью, с которой поднимались и опускались его руки с кусочком сельдерея), устанавливать связи с новыми людьми у кормила власти и предусмотрительно не терять связи с вчерашними калифами на час, кто знает, вдруг их час повторится завтра. Проницательности ума или искусности пера мало. Положение такого журналиста зависит от качества доступных ему источников информации, от его близости к первоисточникам. В своих комментариях Джо источники не называл — достоверность соблюдалась свято, — но, судя по всему, их было много — в Белом доме, на Капитолии, в госдепартаменте, Пентагоне, среди политических групп и лиц, действующих за кулисами, и т. д. и т. п.

В жестком мире политики с ее ходами, маневрами и интригами требуются особый характер, талант, призвание, чтобы не срываясь балансировать на канате и выносить нервные перегрузки с невозмутимой миной на лице, сохраняя грацию и непринужденность. На вид

всего лишь отшельник в уединении своего Джорджтаунского жилища, всего лишь свободный литератор, наделенный даром быстро укладывать свои интересные и своевременные мысли и наблюдения в три странички — не больше, Джо артистически плавал в этой стихии, которая ему давно стала родной и из которой Американист мечтал зачерпнуть всего лишь капли, имел свою собственную дипломатию и вел свои войны и заключал перемирия, совершал свои тайные сделки по обмену и торговле влиянием. Он-то был участником, а не просто наблюдателем. И в отличие от советских корреспондентов, которые в Вашингтоне не могли не быть чужеродным телом и объектом недоверия и подозрительности, свою главную информацию инсайдер Джо, конечно же, получал не из газет (он сам поставлял ее в газеты), а из первых рук. И знал больше, чем предлагал читателю, и при всей внешней размашистой свободе суждений чуял и ведал предел возможного и, когда нужно, наступал на горло собственной песне и репутации, затушевывая свое критическое отношение к администрации Рональда Рейгана, дозируя хулу и похвалу, — фронтальная атака привела бы к разрыву отношений с сегодняшней властью, к отключению от источников информации и жизнеобеспечения, к падению спроса на товар, предлагаемый Джо, и со временем к пересмотру контракта.

Шестизначные суммы даже известным обозревателям платят не за красивые глаза или даже слова.

Но вернемся в уютный полуподвал, куда сочтется с улицы свет осеннего дня и где сидят двое собратьев по одной и той же профессии, которая называется одинаково у нас и у них, но по-разному понимается и практикуется. О чем говорили они? Всего лишь ритуал общения. Не без некоторой, впрочем, пользы для обеих сторон. Испытующе поглядывая на гостя из Москвы и не исключая скрытого мотива в его посещении (ничего случайного не бывает в посещениях «этих советских»), Джо не сказал ничего такого, что он бы уже не написал и не опубликовал или вот-вот не опубликует, хотя доверительный тон его как бы открывал советскому собеседнику истинную Америку со всеми тайными пружинами ее политики. В обмен он ждал хотя бы крошечку новой информации из Москвы. Гость был признателен хозяину за трезвую оценку положения — трезвую, на его взгляд, еще и потому, что она во многом подкрепляла его собственную оценку, составленную по газетам. В порядке обмена, невольно подражая небрежно-доверительной интонации Джо, Американист сообщил кое-какие из московских новостей, из очевидностей. И Джо остался доволен. Ведь своими нервными окончаниями он был подключен к Вашингтону, а не к Москве, и в некоторых из московских дважды два и в самом деле содержался для него элемент новизны, они давали ему возможность перепроверить собственные сведения, оценки и предположения.

На предстоящих выборах Джо, как и многие из его коллег, как и последние опросы общественного мнения, предсказывал приобретения демократов и кое-какие потери республиканцев — партии президента. Он посоветовал Американисту присмотреться к некоторым демократам-победителям вот с какой любопытной стороны: была ли за ними поддержка руководства профсоюзного объединения АФТ — КПП? Такая поддержка — показатель высокой степени антисоветизма, отметил Джо, и этим советом, не без скрытого ехидства, напомнил своему собеседнику, что профсоюзные лидеры, вожаки организованной части американского рабочего класса, любому дадут фору по части антикоммунизма. Ехидство Джо было лишним. Выделяя эту азбучную истину, он обнаруживал собственный пробел, недооценку наших знаний об Америке.

К внешней политике промежуточные выборы прямого отношения не имеют, указывал Джо. Главное, что определяет настроения масс,—

не внешнеполитические заботы, а тяжелое положение в экономике. В стране глубокая депрессия. Но Рейгану она сходит с рук. Каким-то чудом, с раздражением и тайным восхищением отметил Джо. Чудо частично объясняется тем, что у демократов, соперников президента, нет альтернативы, которая переманила бы избирателя на их сторону. И еще нечто вроде чуда — Рейгану везет. В политике не все объяснишь логическими категориями. Джо сожалел, что Рейгану везет, но сожалей не сожалей, а этим делу не поможешь. Рейгану везет в том смысле, развивал свою мысль Джо, что никто на него — ощутимо — не давит. В стране недовольства хоть отбавляй, но организованной оппозиции нет. И так же во внешней политике, сказал он. Смотрите сами. В Западной Германии у власти теперь Коль и консерваторы, а они идут путем Рейгана. Во Франции социалист Миттеран, но отношения и с ним складываются совсем недурно. С Пекином? Да, есть кое-какой конфликт из-за Тайваня, но и это не меняет сути дела, настоящего давления нет и из Пекина. Остается Советский Союз. Отношения из рук вон плохи, но и тут пока не прослеживается ничего такого, что принудило бы Рейгана сейчас же изменить свой жесткий курс, тем более что западноевропейские союзники поддерживают его в вопросе евrorакет, а недовольных фермеров Среднего Запада он ублажил и привлек на свою сторону, отменив, как и обещал перед выборами, эмбарго на продажу зерна Советскому Союзу, введенное Картером.

Между тем гость решил прощупать реакцию Джо на одну из своих любимых критических мыслей. Америка с ее быстро меняющимися президентами, которые отвергают договоры типа ОСВ-2, выработанные при их предшественниках в итоге долгих американо-советских усилий, с ее политикой воинственного имперского экстремизма будоражит и болезненно лихорадит всю международную жизнь, примерно так развивал свою мысль Американист. Америка становится своего рода аномалией, нарушающей ту необходимую последовательность и преемственность в развитии глобальной обстановки, без которых обстановка не может стать нормальной. А при Рейгане все это усугубилось. Вы как бы не считаете себя частью мира, а ведь он один на всех, общий, жаловался гость, по привычке обращением «вы» объединяя Джо с официальной Америкой, к которой обозреватель был критически настроен. Напротив, весь мир Америка считает своим приложением, своим продолжением, и этот самонадеянный, упорствующий в заблуждениях имперский эгоцентризм к добру не приведет, дорого обходится всему миру и, не дай бог, обойдется еще дороже.

В своем обличительном запале Американист хотел обрести поддержку знающего, умного американца, искал с ним общую почву логики и здравого смысла.

И Джо ответил, что готов согласиться с этой мыслью, с этой критикой. Верно! Но ведь все сходит Рейгану с рук, добавил он прагматически, как человек, считающийся с фактами больше, чем с абстрактными истинами. Сходит, и потому президент продолжает вести себя таким же вызывающим образом. Нравочениями и призывами к логике, дал понять Джо, в межгосударственных отношениях редко кого проймешь и мало чего добьешься. Потому что есть еще и такое понятие, как сила, а она — пока не натолкнется на должный отпор — придерживается своей собственной логики — логики силы.

Они пили кофе и закруглялись. Американист сказал, что хотел бы повстречаться с типичными рейгановцами, прочувствовать их, понять их психику, их мотивы. Что движет их антисоветизмом? Страх? Ненависть?

Джо исключал страх. Джо не принимал топорную философию рейгановцев, но и для него обидным было предположение, что его соотечественники, современные цезари, супермены, сильные мира

сего, могут испытывать страх — это чувство слабых и обездоленных. Нет, не страх видел Джо в отношении рейгановцев к Советскому Союзу и ко всему советскому, а непримиримость, враждебность.

Все уходит корнями в очень простое, подчеркнул он, в частную инициативу, в систему собственности.

Так вашингтонский прагматик добавил вдруг чисто марксистские краски в импрессионистское полотно своего анализа. Новоиспеченные богачи, калифорнийские миллионеры в первом поколении, они пробились к деньгам, успеху и власти благодаря американскому капитализму, американской системе частной собственности и ничего, кроме вражды, не испытывают к обществу, которое эту систему отвергает. Примерно так ответил Джо, который и сам, конечно, был почти миллионером или уже миллионером. Они оттуда, с Дальнего Запада, отмежевался он от этих захвативших Вашингтон людей. Их нельзя считать частью прежней структуры власти, «восточного истеблишмента», традиционно правившего Соединенными Штатами. У них отсутствует широта взгляда, более или менее типичная для многоопытных людей с Восточного побережья, нет терпимости, качества потомственных богачей.

Администрация Рейгана с ее консерватизмом, подытожил Джо, останется в истории как еще один американский эксперимент. Как еще одна, если хотите, болезнь, которой пришлось переболеть.

Он опустил на стол пустую чашку и поглядел на собеседника и поверх собеседника на льющее свет оконце под потолком, дав понять, что деловой обед подошел к концу, а его рабочий день с разными заботами и обязанностями еще далеко не кончен. И поднес салфетку к губам жестом, который мог ничего не означать, но в котором Американист мог прочесть и следующее: я ведь тоже не последний здесь человек, тоже из правящей элиты, и вот видите — сижу и говорю с вами, и хотя с вашим образом жизни, само собой, никогда не соглашусь, выступаю в международных отношениях за начало разума, за терпимость, или, по-вашему, за мирное сосуществование, в мире нет абсолютного добра или абсолютного зла, а раз все относительно, то надо прилаживаться друг к другу, и понимать друг друга, и разговаривать друг с другом, что я и делаю, пригласив вас к себе в дом.

Гость встал из-за стола, поблагодарил хозяина, попрощался с ним и вышел на улицу в теплый и солнечный день. День покорял, день властвовал, не разъединяя, а объединяя людей. Тут не могло быть двух мнений — день был прекрасным.

В городском автобусе он ехал по Висконсин-авеню, возвращаясь к себе в Чевин-Чейс, и мимо тянулся типичнейший пейзаж американских городских магистралей — магазины, рестораны, бензозаправочные станции, кинотеатры, филиалы банков и страховых компаний. Опять знакомые места. Но здесь он редко ходил пешком и еще реже ездил автобусом, все за рулем «шевроле», потом «олдсмобиля», а за рулем не вглядываясь и не оглянешься, чтобы получше разглядеть, и все пять с лишним вашингтонских лет как бы промелькнули за окном автомашины, а он все сидел за рулем, и этот городской пейзаж вдоль Висконсин-авеню плохо отпечатался в памяти и не вызывал сильного отклика.

Автобус был порядком заполнен, и ему досталось место на заднем сиденье. Негритянское, подумал он. Два десятка лет назад на Юге США только задние места отводились в автобусах чернокожим, и Мартин Лютер Кинг взламывал многолетнюю систему сегрегации автобусными бойкотами и другими массовыми ненасильственными действиями. Сообщениями об этих действиях пестрели американские газеты, когда он впервые приехал в Нью-Йорк. Молоденькая

белая девушка с прелестным чистым профилем сидела неподалеку от него на боковом диванчике автобуса. Ее еще не было на свете, когда в рождество 1961 года, арендовав автомобиль в Чаттануге, они прокатились по штатам Теннесси и Алабама вместе с другом, нью-йоркским корреспондентом ТАСС. В маленьких городах подъезжали к автобусным вокзалам и видели то, что уже кануло в Лету,— только через заднюю дверь садились чернокожие американцы в междугородные автобусы компании «Грейхаунд» с изображением распластавшейся в беге борзой на дюралевых боках, а двери туалетов и фонтанчики с питьевой водой на вокзалах и в аэропортах тогда были еще снабжены надписями «Для белых» и «Для цветных».

День был прекрасен, и беседа с Джо вроде бы удалась, и девушка на боковом сиденье радовала глаз свежестью и прелестью молодости. Под солнечными лучами на верхней ее губе и на щеке светился золотистый пушок, и рядом, наклонившись, стоял молодой, безусый и так очевидно влюбленный паренек. Первая любовь. Какова она, первая любовь по-американски? Этот вопрос не входил в круг газетных интересов Американиста. Но в прекрасный теплый осенний день ответ был так же ясен, как влюбленность на лице смущавшегося паренька. Первая любовь? Как у нас. У всех по-разному. И у всех похоже...

Когда автобус останавливался, над дверью вспыхивала зеленая лампочка, и пассажиры входили и выходили. Друг для друга они были просто люди, а для Американиста — американцы, и в автобусе, негром сидя на заднем сиденье, он не мог избежать знакомого чувства постороннего. Городской автобус тоже был каплей чуждой запредельной стихии. Он зачерпывал и ее. И с автобуса тоже можно было начать рассуждения на тему, которая все время занимала его,— мы и они. У этого их автобуса ход был более плавный и мощный, чем у наших, и более удобно расположены кресла в салоне, герметичнее и мягче закрывались двери, и лучше был обзор из окон, но проезд стоил не пять копеек, а семьдесят пять центов, цена пачки сигарет, что сразу вывело Американиста на следующий вопрос: что же важнее — более удобный автобус или более низкая плата за проезд? Вопрос не такой простой. Привычно рассуждать по поводу асимметрии в ядерных вооружениях двух стран — у них больше ракет морского базирования, у нас — наземного, на их превосходство в ядерной авиации мы отвечаем ракетами средней дальности в Европе и т. д. Но ведь асимметрия пронизывает и другие проявления разных систем и другие стороны жизни. В идеале важен и более удобный автобус и более низкая цена, но легко так ответить, а как достигнуть — не на словах, а в жизни. Важны, конечно,— и еще как важны! — и эти проплывающие за окном магазины, заваленные товарами. И бензозаправки с их просторными подъездными площадками и классным сервисом. И дома наподобие Айрин-хауза с трехэтажным гаражом под землей и бассейнами для плавания в поднебесье.

Как бы перенять этот сервис, это качество, но чтобы квартиры были по-нашему дешевые или заработки по-американски высокие — и главное, без врожденных пороков капитализма, без крысиных гонок, в которых преуспевают сильные и гибнут слабые. Ура обилию товаров! И долой буржуазную страсть к вещам, потребительскую вакханалию, которая захватывает и опустошает людей, развивая хватательные рефлекс в тех жестоких состязаниях жизни, из которых победителями опять же выходят корыстные и злые!

С другой стороны, думал он, сколько раз было сказано и повторено: только силой примера может победить социализм. Наши недостатки и недоделки, наши пробелы в мире вещей, изъяны нашего быта рождают по ту сторону психологию превосходства, а она, в свою очередь, работает против нас, на наших ненавистников.

Простую, но коренную, марксистскую мысль высказал немарксист Джо, получающий свое шестизначное жалование за искусную защиту современного капитализма: рейгановцы питают к нам вражду и органическую неприязнь, потому что мы отрицаем их святая святых — систему частной инициативы, частной собственности на орудия и средства производства. Не забываем ли мы порой за сложностями политики, что именно из этого простого семени произросла — и каждодневно обновляет себя — их вражда и непримиримость? Они ненавидят нас, потому что своей революцией мы отвергли такой образ жизни у себя и своим существованием, с которыми они ничего не могут поделать, как бы угрожаем их образу жизни. Ненависть всего сильнее у нуворишей, у тех, кто из грязи прыгнул в князи, доказав своей жизненной практикой, что Американская Мечта о миллионах и успехе все еще осуществима, что бедный, со скромным достатком, но не лишенный амбиций человек все еще может разбогатеть и подняться не вместе с другими, а в одиночку, по законам индивидуализма, эгоизма, частной инициативы. И эта ненависть многократно умножается, сочетаясь с невежеством, самой прочной броней, предохраняющей от сомнений и убийственных истин.

Если мы отстаем в мире магазинов, вещей и быта, наш ненавистник — буржуа получает оправдание и для того, чтобы и в мире межгосударственных отношений не признавать нас за равных. Советско-американское военное равновесие, стратегический паритет мы считаем историческим достижением последних лет. А американские ультраконсерваторы — вопиющим недосмотром, временным поражением, исторической несправедливостью, которую нужно скорее устранить, следствием мягкотелой политики и непростительного ротодействия тех обитателей Белого дома, которые дали русским сравняться с Америкой в военном отношении. Они требуют реванша и новыми раундами гонки вооружений рассчитывают сразу убить двух зайцев — восстановить превосходство своей страны в ракетно-ядерных делах и измотать нас экономически.

Вот о чем примерно думал Американист, снова напад на вечную тему мы и они и продвигаясь в комфортабельном автобусе из Джорджтауна в Чеве-Чейс. При этом он не забывал поглядывать на юную девушку с влюбленным пареньком и переносился мысленно в свою молодость, в свою первую ослепительную любовь в далеком заводском поселке в далекий послевоенный год. Как он ждал тогда свиданий, и красивее его девушки никого не было в целом мире, и он еще не мог представить, как долга жизнь и как причудливо она им распорядится.

В качестве типичного рейгановца Джо рекомендовал Чарльза Уика, личного приятеля президента и директора информационного агентства США, верховного распорядителя «Голоса Америки» и ста с лишним американских пропагандистских центров на всех долготах и широтах земли. Лучшей кандидатуры не придумать — главный официальный рупор Рональда Рейгана.

С мистером Уиком Джо был на короткой ноге и обещал похлопотать за Американиста.

История, однако, затянулась. Сначала Уика не было в Вашингтоне. Когда он вернулся, когда до него удалось дозвониться, голос в трубке заклокотал нечиновничьими эмоциями. Мистер Уик сразу же бросился в контрпропагандистскую атаку, обвинив Американиста в том, что американские корреспонденты в Москве не имеют допуска к советским официальным лицам. Казалось, что он чего-то недопонял и что-то перепутал. Американист не ведал этим допуском и был озабочен проблемой противоположного свойства — именно в Вашингтоне советских журналистов не хотели принимать высокопоставлен-

ные американские лица. И эту озабоченность он излил в телефонную трубку в ответ на клокотание с другого конца провода.

— А я, что же, не высокопоставленное лицо?! — взвился мистер Уик.

— Совсем напротив, — успокоил Американист президентского приятеля. — Я потому и прошу о встрече, что вы — очень важная персона.

Телефонные страсти на этом не кончились. Уик пригрозил тут же, немедля выяснить, какого сорта красный добивается встречи с ним. Это походило на грубоватую шутку, но оказалось бесцеремонной откровенностью. Не вешая трубки, Уик и в самом деле начал что-то у кого-то выяснять по каким-то селекторам американской правительственной связи. Неужели наводит справки в недрах ФБР? Это было бы, пожалуй, удачей — какой журналист не хочет хотя бы по телефону познакомиться со своим невидимым куратором из Федерального бюро расследований. Но нет, Уик соединил Американиста с другой важной персоной из госдепартамента, который ведал отношениями с Советским Союзом. В голосе господовца звучало недоумение: какого черта его вдруг отрывают от дел и против желания включают в какую-то комедию? Вслух он, однако, этого не сказал, может быть, у президентского приятеля в числе прочих было и право на бесцеремонность. Вслух он ответил, что у госдепартамента возражений против встречи нет.

И вот в назначенный день и час Американист явился в стандартно-внушительное здание на Пенсильвания-авеню, в пяти шагах от Белого дома, и произошел примерно тот переполох, какой вызывает внезапный прорыв противника на надежно охраняемую территорию. В приемную, где он, сидя на диване, листал фирменные пропагандистские журнальчики, один за другим как бы невзначай заглядывали любопытствующие клерки. Но вызова к Уику он не дождался. Подошел один из клерков и со смущенным видом сообщил, что мистер Уик, к сожалению, занят на Капитолийском холме, о чем пытались, но не смогли вовремя предупредить гостя.

Американист ушел несолоно хлебавши, но не потеряв надежды, ожидая обещанного свидания в другой день и час. Не тут-то было. В тот же вечер в шестом часу, едва кончился вашингтонский рабочий день, как ему позвонил помощник мистера Уика и сообщил, что встреча не состоится. Вообще. Отменяется. Такого еще не случалось в американской практике Американиста. Без извинений и объяснений. От ворот поворот.

Может быть, запросив подробную характеристику, мистер Уик просто-напросто передумал. Может, главный вашингтонский пропагандист, воспользовавшись случаем, решил свести какие-то свои счета, выразить какое-то неудовольствие, послать некий «сигнал Москве», шибко преувеличив значение журналиста и не зная, что такие сигналы в Москве не проходят. Или побоялся попасть на зуб советскому журналисту? Сам решил задеть, уколоть, обидеть?

Так или иначе, в его отказе смысла было не меньше, чем в самой встрече.

Ненавидеть — не видеть. По звучанию эти слова стоят рядом. По смыслу перекликаются. Не видя легче ненавидеть. Не видя и не зная. Почему бы не допустить, что мистер Уик изо всех сил хранил в чистоте свою ненависть и берег ее, не подвергая испытанию на прочность встречами с заочно, прочно и свято ненавидимыми людьми. Увидя, ненавидеть труднее.

Не увидев мистера Уика, задетый и оскорбленный Американист охотно его возненавидел. Теперь он верил самым нелестным характеристикам, всему, что работало на возникавший из газет и рассказов образ хлыщеватого, самоуверенного и дремучего техасского мещанина. Типичный нувориш, сколотивший миллионы на вульгарной

дешевке шоу-бизнеса с примесью, как говорят, порно. Фат и любитель сладкой жизни. Самовлюбленный Нарцисс. В поездки берет с собой парикмахера и по нескольку раз на дню меняет наряды. Неужествен легендарно. Американская фортуна, как вульгарная герл из бурлеска, вдруг повернулась к нему лицом, и вот вам главный рупор Америки.

Примерно так представлял теперь Американист Чарльза Уика. И так мстил ему, заочно ненавидя.

Это любовь не поддается искусственному насаждению, а ненависть можно разводить целыми плантациями.

Все-таки одного рейгановца из госдепартамента удалось раздобыть, тридцатилетнего, красивого и симпатичного американца, кредо которого сразу же стало ясным — что хорошо для его Америки, то хорошо для всего мира. В его Америке его родной брат славился как один из пентагоновских боссов с репутацией ястреба, который стоял за возвращение бывшего безраздельного американского господства на морях и океанах. А сам тридцатилетний работал в правительственном агентстве по контролю над вооружениями и разоружением (так оно называется) в должности пресс-советника.

Молодой человек из богатой семьи охотно улыбался мягкой улыбкой, открывавшей большие и здоровые зубы. Улыбка, знак приветливости воспитанного человека, была почти виноватой. Глядя на улыбку, думалось, что он еще не поднаторел и не ожесточился в идеологических баталиях, что двух пришедших к нему советских журналистов ему не хочется обижать, лично против них он ничего не имеет. Но правдой-маткой ради вежливости он тоже не желал поступиться.

И он резал ее, правду-матку американского консерватора начала восьмидесятых годов двадцатого века. Хотя она не так уж и отличалась от консервативной правды-матки прежних лет. Пресс-советник винил нас в том, что до сих пор мы не отмежевались от заявлений о неизбежности победы социализма во всем мире и — следовательно! — продолжаем стремиться к мировому господству.

Он также предъявил старый список: «революция» 1956 года в Венгрии, «берлинская стена» 1961 года, «оккупация» Чехословакии в 1968 году, добавив «вторжение» в Афганистан и военное положение в Польше. В его интерпретации картина событий выглядела чрезвычайно упрощенной: не было никакой политической борьбы в этих странах и вокруг них, интриг, происков и атак контрреволюционных элементов, подстрекаемых его Америкой, а была лишь одна зловеющая «рука Москвы». Из свежих примеров он взял Никарагуа: да, Сомоса не украшал «свободный мир», и мы его, не к нашей чести, поддерживали, рассуждал он, но разве можно смириться с эволюцией сандинистской революции в сторону от демократии (как ее, демократию, представляют в его Америке), с господством радикалов, отстранением умеренных элементов от руля управления и так далее. И снова ни слова не сказал красивый молодой человек с извиняющейся улыбкой о том, что империализм янки, демонстрируя свой нрав и незаписанное в международном праве право сильного, не хочет терпеть революционную Никарагуа, как и любую другую, не угодную и не покорную ему страну в Центральной Америке, вооружает, обучает и натравливает контрреволюционеров-сомосовцев, действующих с территории Гондураса, усиливает морально-политическое и военное давление на сандинистов, громоздя препятствия на пути их революции, вынуждая их на меры самозащиты, порою крутые и жесткие.

Что хорошо для его Америки, не может быть плохо для никарагуанцев — вот где он черпал свою убежденность. Более того, если учесть их гораздо более низкий жизненный уровень, для никарагуан-

цев американские порядки будут даже лучше и благотворнее, чем для американцев.

Перед Американистом был человек, мысливший, как те, кто влезал в свое время во вьетнамскую трясиину, послал туда сначала тысячи, а в конце чуть не полмиллиона солдат и не знал, как оттуда выбраться. Знакомый тип американского империалиста, спешащего облагодетельствовать весь мир. Да-да, облагодетельствовать. Молодого человека обижало предположение, что он и ему подобные цивилизованные люди хотят навязывать кому-либо американский образ жизни, и, конечно же, у него был свой довод: посмотрите, к нам идут, ильвуют, летят беженцы на лодках из Вьетнама, мексиканцы, тайком перебирающиеся на заработки через пограничную Рио-Гранде, из Европы, Азии, Африки — все стремятся в Америку, чтобы стать американцами и жить, как американцы. Вот оно: что хорошо для Америки, хорошо для всего мира. И разве не может такая Америка сама позаботиться о любом уголке мира, объявить его жизненно важным для своих интересов — ведь ее интересы никогда не могут противоречить интересам народа или народов, населяющих этот уголок, а, напротив, выражают их самым дальновидным и высшим образом?

И поскольку все намерения Соединенных Штатов бескорыстны, а все действия благородны и пронизаны заботой о мире, свободе и демократии, их баллистические ракеты с ядерными боеголовками, будь то наземного или морского базирования, межконтинентальные или средней дальности, не могут представлять угрозы для Советского Союза, а стратегические бомбардировщики, по численности в три раза превосходящие советские, — это безобидные устаревшие тихоходы, о которых и говорить-то смешно, особенно вам с вашей превосходной противовоздушной обороной... Вот куда зашел пресс-советник агентства по контролю над вооружениями и разоружением.

Но ему нечем было защищаться, когда возник вопрос о непоследовательности американской внешней политики. Каждый новый хозяин Белого дома воображает себя богом, заново творящим мир, и в результате с их стороны здание американо-советских отношений не строится этаж за этажом, а разрушается сменяющимися президентами, потому что каждый начинает с демонтажа уже возведенного, а если и строит потом, то с нуля, с фундамента.

— Советско-американские отношения? — переспросил Строб. — Ужасные — и, увы, надолго. В нынешнем Вашингтоне, нравится вам или нет, существует настоящая враждебность к Советскому Союзу.

Строб — дипломатический корреспондент популярного общественно-политического еженедельника. В первую пятерку американских обозревателей пока не входит, но, как знать, может, и войдет, избавившись от нынешней своей почти научной основательности и начав писать короче, острее и злее.

Американист познакомился с ним лет десять назад, когда одной сенсационной публикацией Строб сразу же громко заявил о себе как перспективный советолог. Потом он с головой ушел в тему американо-советских переговоров об ограничении и сокращении ядерных вооружений, важнейшую тему — на годы и десятилетия, которую, как шутят разоруженцы, можно передавать даже по наследству.

Последний раз Американист видел Строба в зале московского ресторана «Прага». Его еженедельник специально арендовал большой самолет, чтобы отправить в кругосветное турне несколько десятков руководителей виднейших американских корпораций и банков. И бизнесменам полезно и журналу — реклама и связи. Это было, как выразился Строб, путешествие типа завтрак в Кувейте, обед в Каире, ужин в Варшаве. Молниеносное, для занятых людей. Они не могли миновать Москвы, и в московском ресторане, где американцы — ор-

ганизаторы турне устроили ужин в честь своего прибытия, пригласив советских деловых людей, худой и быстрый Строб в дорожном помятом вельветовом костюме помогал знатым путешественникам в качестве бывалого гида...

Человек не только деятельный, но и способный, он учился в Йельском университете, затем по специальной стипендии в Англии, в Оксфорде. Предметом его была русская литература, поэзия Тютчева и Маяковского. Диплом писал о раннем творчестве Маяковского и когда-то наподобие студента филфака или Литинститута любил читать наизусть из «Облака в штанах».

Потом, как многие американцы и англичане, избалованные международной распространенностью их родного языка, Строб подрастерял свой русский.

Они сидели в ресторане гавайско-полинезийской кухни в экзотических сумерках подвала отеля «Кэпитол Хилтон» и говорили не о поэзии, а о политике. Отношения ужасные, повторил Строб, но надо сохранять надежду. Да и Рейган не посмеет бесповоротно испортить их. Это подорвало бы его репутацию, а следовательно, и политическое будущее. Каким бы ни был любой американский президент, он хочет почетного места в истории, а его не добьешься, доведя до опасной грани отношения с другой ядерной державой.

Дипломатический корреспондент частенько навещал Советский Союз, был знаком с рядом наших работников в международной области и дорожил этими знакомствами — как и Джо, он нуждался в хороших источниках информации, от них в известной степени зависел его вес и влияние в собственном журнале. В репортажах и очерках, которые он публиковал после поездок в Москву, ему хотелось бы создать живую, движущуюся и острую, не лишнюю элементов сенсации картину советской политической жизни. Удавалось это не всегда. И теперь, рассчитывая на понимание профессионала, он жаловался Американисту, что информацию в Москве трудно добыть, не хватает интересных деталей и подробностей о формировании советской внешней политики и о советской жизни вообще. И это вредит не только ему, но и нам, утверждал он, так как делает пресной его журнальную продукцию.

В Вашингтоне на Шестнадцатой улице живет и работает единственный в своем роде человек, который среди временных или постоянных жителей американской столицы едва ли не острее всех чувствует неустойчивую и капризную кривую американо-советских отношений. Человек этот не американец, а русский советский человек — Анатолий Федорович Добрынин. Работает он чрезвычайным и полномочным послом СССР в США. Более двух десятков лет. Бесшумно. И живет в особняке посольства на Шестнадцатой улице, откуда рукой подать до Белого дома, где он бывал неоднократно и по самым разным поводам.

Свои верительные грамоты А. Ф. Добрынин вручил президенту США в 1962 году. Президентом был тогда Джон Ф. Кеннеди. Самому молодому в истории американскому президенту не было и пятидесяти лет (он так и не дожил до этой вехи), а советскому послу едва перевалило за сорок. Давно уже посол ездит по Вашингтону в черном «кадиллаке» с запоминающимся дипломатическим номером «1». Он теперь дуайен, старший по стажу пребывания из послов примерно ста пятидесяти стран, аккредитованных в американской столице. Когда отмечали двадцатилетие посольской работы Анатолия Федоровича, в Москве заглянули в обширные мидовские архивы. И не нашли ни одного подобного случая за десятилетия советской и целые века русской дипломатии.

Москвич, ставший вашингтонским старожилом, представлял нашу страну при шести президентах Соединенных Штатов Америки и имел

дело с семью государственными секретарями и не меньше чем с полдюжиной помощников президента по национальной безопасности. А других министров, сенаторов, конгрессменов, промышленников, банкиров, деятелей культуры и так далее не сосчитать.

Американист порою отчаянно завидовал послу. Сам собой, своим ходом ему шел в руки богатейший, уникальнейший материал — и пропал, не попадал на глаза массовому читателю, широкой публике. Ах, если бы у посла был досуг — и охота и возможность — писать книги, мемуары! Какую картину в лицах и важных эпизодах текущей истории можно было бы создать, исполненную скрытого и явного драматизма, картину притяжения и отталкивания двух общественных систем и национальных психологий, и все это на фоне небывалых реалий ядерного века, в драматических ситуациях, порожденных им. Характеры и личности, меткие словечки, в которых накал исторических минут, и сцены, сцены, сцены двух десятилетий, включая и те, когда пахло ядерным конфликтом, как, к примеру, при том же Кеннеди в октябре 1962 года, в дни знаменитого «карибского ракетного кризиса».

Особой прочности должен быть человек, чтобы так долго пропускать через себя высоковольтное напряжение международной жизни.

С давних пор Американист наблюдал посла и знал, что, внешне простой и демократичный, он дипломат до мозга костей. Из своего кладезя знаний, опыта, мыслей вынимает лишь то, чем хочет поделиться. А свое перо, живое и пронизательное, не чуждое изящной словесности, отдает тому единственному в своем роде жанру литературы, у которого самый узкий круг читателей, — жанру закрытых дипломатических депеш.

Государству, а не себе принадлежал этот государственный человек...

Американист вошел за двойную плотную дверь глухого, без окон, кабинета, где все было сделано так, чтобы исключить малейшую возможность подглядывания и подслушивания, ибо в любую политическую погоду, как при взлетах, так и при падениях отношений, американские спецслужбы не переставали оттачивать свое электронное зрение и вострить электронный слух, благо особняк посольства находился в центре Вашингтона и со всех сторон окружен домами, чьи хозяева вряд ли отказывают в патриотических услугах ФБР.

В своем кабинете посол обычно был либо за широким, сделанным по росту пюпитром в углу, где стоя листал газеты, либо сидел за столом и что-то писал. В конце концов, чем-то работа вошедшего человека и человека, сидевшего за столом, была схожа, оба были советскими американистами. Оба следили за положением дел на американской сцене, хотя Американист был газетным корреспондентом, одиночкой, а вместе с послом на государственное дело работали еще два его заместителя в должности советников-посланников, советники, первые, вторые и третьи секретари, атташе и, наконец, молодые стажеры, только что вышедшие из стен Института международных отношений, пока еще мальчики на побегушках, но, кто знает, быть может, с честолюбивыми мечтами о посольском кресле. Оба были пишущие люди и писали о своих американских наблюдениях. Писали, правда, в разные адреса, и телеграммы посла читали те, у кого не всегда есть время на газетные корреспонденции, но как пишущий человек журналист был в более выгодном положении, чем посол, которого отрывали от стола многообразные заботы руководителя. И посетители. Иногда и такие, от которых вроде бы и нет прямой пользы делу.

Посол прервался, поднял от стола большое, одутловато-бледное и усталое лицо человека, проводящего долгие часы в четырех закупоренных стенах, и приветствовал Американиста как старого знакомого,

с которым в одном и том же чужом городе одной и той же чужой страны переживали и обдумывали разные времена. И задал свой первый вопрос: что нового? Информация — пища как дипломатов, так и журналистов, и приезжий москвич не без профессиональной зависти сразу же убедился, что дела дома, дела в государственных сферах вашингтонский старожил, конечно же, знает лучше его.

Что касается американских дел, ничего утешительного посол не сказал о настоящем и не обещал на ближайшее будущее. Он считал, что неустойство советско-американских отношений продлится долго, что оно переживет и Рейгана.

Через улицу напротив здания советского посольства стоит шестиэтажный дом. Знающие люди говорят, что на чердаке или на верхнем его этаже — круглосуточный наблюдательный пост ФБР. Это оттуда, но не только оттуда, простые и электронные глаза и уши направлены на советское посольство.

Когда Американист остановился у железной решетчатой калитки в железной решетчатой ограде посольства, кто-то невидимый как бы уперся ему в затылок в затылок, и он физически ощутил, что весь на виду, что его просвечивают. На этом месте у медной старой посольской вывески на русском и английском языках всегда возникало именно это ощущение, хотя никогда он не мог проверить, насколько оно верное. Шедший по тротуару мужчина-американец поглядел на него с оторопью: такой особый взгляд всегда был у американцев, когда они видели человека, собирающегося войти в советское посольство. Полицейский в черном костюме специального подразделения секретной службы, охраняющего в Вашингтоне официальные учреждения и иностранные посольства, как ни в чем не бывало продолжал свое неспешное патрулирование, разгуливая вдоль железной ограды.

Американист попытался повернуть ручку железной калитки, но она не поддавалась, и дверь не открылась, и вдруг из ниоткуда, из окружающего воздуха раздался молодой мужской русский голос: «Нажмите кнопку и назовите себя!» Он понял, что меры предосторожности усилились за время его отсутствия, и, поискав глазами, нашел кнопку и микрофон, прикрепленный к железному косяку калитки. «Открывайте!» — приказал невидимый голос, когда он назвал фамилию и должность, и одновременно послышался резкий звук зуммера, и на этот раз ручка и железная дверь поддались под рукой.

Теперь, пройдя с десяток шагов через крошечный дворик, где разбито подобие газона, он подошел к двери в само здание, которая тоже была закрыта, и снова взялся за ручку, и тогда раздался еще один зуммер, и тяжеленная дверь медленно и тяжело открылась. И сразу за дверью он увидел стену, вернее, зеркало до потолка, разделенное на мелкие квадраты, и в этом зеркале самого себя и еще одну дверь, которая без зуммера отворилась в знакомый ему посольский вестибюль, и он не успел толком рассмотреть новое, без него появившееся помещенье между первой дверью и зеркальной стеной, в котором, упрятанный и защищенный, сидел дежурный дипломат, занимающийся не своими, а иностранными посетителями.

В дальнем конце знакомого вестибюля, в котором он очутился, пройдя через калитку и две двери, находился уже не дежурный комендант шестидесятых или начала семидесятых годов, одетый в обыкновенный гражданский костюм, а молодой подтянутый прапорщик в форме пограничника. Прапорщик не сидел, как бывало, комендант, а стоял наготове за большой полукруглой, высотой по грудь конторкой. Конторка, как увидел подошедший к ней и давший паспорт на проверку Американист, была технически богато оснащена и, надо думать, укреплена на манер бастиона. Стены не были помехой зоркому, всевидящему взгляду пограничника. На полудюжине маленьких экранов внутреннего телевидения мерцали перед ним железная ка-

литка в посольской ограде, вход в пристройку, где были служебные помещения советников по прессе и культуре, и другие важные с точки зрения пристрастия участки передней, задней и боковых стен здания. А зеркало при входе было с секретом, теперь, очутившись с другой его стороны, Американист видел вовсе не зеркало, а как бы прозрачную стену и сквозь нее тех, кто вслед за ним вошел в дверь и стоял теперь перед тем, что оттуда, с той стороны, казалось всего лишь обычным зеркалом.

В шестидесятые годы, помнил он, железной ограды не было, не было, конечно, и всего остального — дистанционных дверей, чудозеркала, внутреннего телевидения и пограничника в форме. Не было, странно подумать, даже полицейского, охраняющего посольство. Впрочем, тогда и думалось по-иному. Почти не опасались террористических актов, взрывов, вооруженных провокаций. Однажды ночью в середине шестидесятых годов громыхнуло: кто-то подбросил завернутую в газету взрывчатку к фасадному углу посольского особняка. Пострадал кабинет советника-посланника: вылетели стекла, покорежило мебель. Такие были невысказанно беспечные времена, что кабинет заместителя посла размещался на первом этаже и выходил на улицу. Как любой другой дом на Шестнадцатой улице, посольство ничем не ограждало себя, кроме разве что узенького газона.

А потом по миру пошли волны терроризма, левого и правого. Угоняли и взрывали самолеты, по почте посылали бандероли с пластиковыми бомбами, принялись похищать и убивать генералов и министров и даже захватывать посольства.

Большая часть советской колонии в Вашингтоне жила теперь в изолированном, охраняемом пограничниками комплексе — в принадлежащих посольству, недавно выстроенных жилых домах неподалеку от Джорджтауна, в хорошем тихом районе. Там сам собою уже складывался быт московских дворов — с детьми, играющими в песочницах, и с мамами, которые, собравшись вместе, судачат о покупках и новостях.

На въезде в комплекс — шлагбаум, которым на расстоянии управляет дежурный пограничник, сидящий в высоком бетонном бастионе.

Америка лежит по другую сторону шлагбаума.

Во избежание провокаций и разных неприятностей женщины за территорию комплекса не выпускаются в одиночку. Даже за картонкой молока или коробочкой аспирина.

Делегация ученых-политологов была веселой и беззаботной, как *бывают* веселы и беззаботны командированные люди, удачно поработавшие, выполнившие задание, сделавшие все, что положено, и перед возвращением в Москву получившие право на отдых и разрешенные заграничные удовольствия. Они пришли в гости к одному нашему дипломату, седому и красивому мужчине. Жена дипломата, энергичная привлекательная дама, оставив стол холодными и горячими закусками, потчевала гостей. С тарелками и стаканами в руках компания расположилась полукругом у телеэкрана. Был день, вернее, вечер дня выборов, и телекомментаторы во все возрастающем темпе освещали их ход и первые итоги.

В восьмом часу вечера с избирательных участков уже поступали первые фактические подсчеты. На их основе делались электронные прогнозы. Как бы перескакивая из штата в штат и из города в город на больших картах-схемах, комментаторы, ссылаясь на компьютеры, предсказывали итоги и одного за другим уже провозглашали победителей среди сенаторов, конгрессменов, губернаторов и мэров.

Для Американиста, тоже гостя приветливой четы, это были девятые по счету американские выборы, и с неожиданной ностальгией он отмечал про себя, что *самый уважаемый* им, поистине легендарный телеведущий компании Си-би-эс Уолтер Кронкайт уступил

свое место напористому Дэну Разеру, к которому трудно было с ходу привыкнуть. Не без удовольствия знатока разъяснял он ученым москвичам непонятные термины телевизионной скороговорки и завидовал их веселому артельному духу и тому, что, разом сделав дело, они возвращаются домой. А для него эта суматошная election night — ночь выборов была той работой, ради которой он прилетел в Вашингтон, а не просто любопытным диковинным зрелищем.

Он ушел раньше других к себе в Айрин-хауз. Уже один продолжил бдение перед телевизором, заноса в блокнот цифры и факты из продолжавшихся репортажей. На следующее утро дополнял их сведениями из газет, которые, однако, не успели дать полные итоги, и снова сидел у телевизора. Писал, зная, что газете нужно от силы пять страниц, пил чай, нервничал. В работе прошел день, и за окном вечер сменился ночью. Он дремал, и в дреме все боялся, что Москву не дадут, что в редакции про него забыли, что труд его пропадет. Но в четвертом часу утра телефонный звонок раздался.

Слышимость была хорошей, он быстро отдиктовал свою корреспонденцию. Потом соединился с редактором отдела и сообщил, что передал, как условливались, об итогах выборов примерно шесть страничек. Спросил у стенографистки, какая погода в Москве, и положил трубку.

Итак, промежуточные выборы, ради которых он приехал в США, пришли и прошли, и он осветил их, причем оценки и предсказания его первой, до выборов, корреспонденции, в общем, оправдались.

Он не сразу уснул. Лежал в темноте и в уме перебирал строки своей корреспонденции, которая исчерканными листочками осталась на столе в кабинете, и уже была на столе редактора в Москве, и шла в набор, и к тому времени, когда он, одинокий, проснется в доме, нависшем над дачным Сомерсетом, в миллионах экземпляров его газеты уже разойдется по его стране.

Перед выборами, о которых Американист писал в свою газету, и после выборов, но прежде чем они забылись — забылись же они очень быстро, — кандидатами, всякого рода политиками и наблюдателями (и меньше всего самими избирателями) были сказаны и написаны, наверное, триллионы слов. Американист прочитал и услышал ничтожную их часть, но и ее оказалось более чем достаточно, чтобы оценить ситуацию. Его оценки перекликались с оценками известных американских обозревателей либерального направления. Либералы, будучи критиками Рейгана, больше обнадеживали — и лучше годились для цитат.

«Президент потерпел неудачу в нескольких отношениях, — писал в своей колонке знакомый нам Джо. — Прежде всего оказались ошибочными утверждения его сторонников о том, что выборы 1980 года, приведшие его в Белый дом, означали коренную перегруппировку сил на политической сцене — долговременный сдвиг от либералов к консерваторам, от демократов к республиканцам. Они предсказывали успех республиканцев на промежуточных выборах и видели в нем доказательство своей правоты. Но выборы не принесли приобретений республиканцам. Совсем напротив».

В редакционной статье влиятельная газета либерального плана выражала удовлетворение: «Либерал — это слово перестало быть ругательным... Теперь внимательно следите за маятником — он качнулся в сторону центра. Многие умеренные и консервативные республиканцы потерпели поражение».

Что означало это колебание маятника, это движение избирателя к политическому центру с той точки зрения, которая в американских выборах не отвлеченно, а практически интересуется нас, — с точки зрения наших отношений с этой державой и, соответственно, перспективы мира и войны? Ровным счетом ничего. Во всяком случае, в ближайшей перспективе.

Одна деталь в итогах выборов особенно поразила Американиста своей скрытой иронией и как яркая иллюстрация изменчивости и прагматичности американской политической жизни. На юге, в штате Алабама, губернатором в четвертый раз был избран Джордж Уоллес. В свое время Джордж Уоллес был чуть ли не символом американского реализма. В 1972 году он предпринял попытку баллотироваться в Белый дом как независимый кандидат, апеллирующий к расистским предрассудкам обывателя, но на одном предвыборном митинге его тяжело ранил полусумасшедший юнец, решивший прославиться таким чисто американским способом. Уоллес выбыл из игры, был парализован до пояса, но сохранил волю к жизни и к продолжению карьеры. И вот, уже пожилой, в инвалидной коляске, он снова был избран губернатором штата Алабама. С помощью... негритянских голосов. И газеты пишут, что именно Джордж Уоллес воплотил «последнюю великую мечту» Мартина Лютера Кинга об избирательной коалиции белых и черных бедняков.

Они были непримиримыми противниками — великий поборник равенства и живой символ расовой сегрегации. И вот через полтора десятка лет после убийства Кинга негры отдадут Уоллесу свои голоса. Поистине все течет и все изменяется — и американский прагматик из расиста превращается в защитника и опекуна обездоленных чернокожих, если только такое превращение дает ему силу удержаться на волне успеха.

Железная решетчатая калитка, и железные ворота по бокам для автомобилей, и парадная дверь в здание посольства были распахнуты настежь. И само здание ярче всех светило огнями в ранних сумерках улицы, опустевшей по окончании рабочего дня. Нарядные дамы под руку с приодетыми мужчинами входили через раскрытые двери в светлый праздничный вестибюль, и у них был вид гостей, настроившихся на то, чтобы хорошо и весело провести время. На втором этаже возле главного парадного зала, прозванного Золотым из-за позолоченных лепных украшений, приветствуя гостей, стояла улыбающийся посол и военные атташе посольства в парадной форме трех родов войск, с орденами и медалями на груди.

Это был главный в году прием в посольстве по случаю нашего национального праздника — годовщины Великой Октябрьской социалистической революции. Торжественные слова золотым тиснением английских букв были напечатаны на приглашениях посла. Большинство пришедших дам и мужчин, живя в столице другой страны и другого мира, не разделяли идей коммунистического преобразования земли. Приняв приглашение, они пришли в советское посольство не для того, чтобы вместе с нами отпраздновать годовщину великой революции, радикально изменившей Россию и давшей мощный толчок развитию мировой истории, а для того, чтобы поздравить с национальным праздником посла и других представителей великой державы, признавая ее место в мире и важность поддержания с ней нормальных отношений.

Многие из гостей были в Вашингтоне иностранцами, главами или сотрудниками посольств других стран. Многих из гостей-американцев связывали с нашей страной разные деловые узы, тот или иной практический интерес. В приходе некоторых из американцев содержался как бы вызов их правительству или некое извинение за его поведение, за нежелание понять, что в этом тесном мире, даже находясь на разных континентах и политических полюсах, мы все равно живем бок о бок друг с другом и потому должны вести себя общительнее и благоразумнее. Наконец, были среди гостей, хотя и в небольшом числе, стойкие друзья Советского Союза, американские коммунисты, руководители прогрессивных и антивоенных организаций, их было много еще и потому, что по большей части эти организации действуют

в Нью-Йорке и приглашаются на ноябрьский прием советским представительством при ООН.

В трех залах второго этажа тесно было у столов с закусками и возле баров по углам, где ловко орудовали стаканами, бутылками и ведерками со льдом нанятые на вечер американские бармены вкупе с нашими помощниками. Народу, на удивление, собралось видимо-невидимо.

Как водится, пришли на прием и репортеры светской хроники. Для них посол позировал в Золотом зале, стоя у самого большого стола перед шедевром посольских поваров — искусственными розами из овощей. Потом оригинальный натюрморт исчез в желудках гостей, но еще раньше исчезла знаменитая русская икра. В залах стоял слитный гул, смех, говор, позвякивание вилок, треньканье кусочков льда в стаканах смешалось воедино. Из массы людей выделялись военные атташе разных стран — своей национальной формой, орденскими колодками и голубенькими пластиковыми полосками на груди, которыми для опознания снабдили их американские власти.

Отмечалось многозначительное отсутствие министров, сенаторов, помощников президента.

Был один невесть откуда взявшийся оригинал, пожилой разговорчивый и веселый американец, который передвигался в инвалидной коляске, пробивая себе дорогу так ловко и непринужденно, будто и не было плотной толпы. У веселого инвалида сразу появились поклонницы и помощницы из числа посольских женщин, удивлявшихся, что этот человек чисто по-американски нисколько не стеснялся своей физической неполноценности и всеобщего внимания к своей коляске.

Был еще один оригинал, не такой заметный, — профессор-американец, похожий на молодого Горького и культивирующий это сходство; житель Нью-Йорка, он увлекся произведениями русского писателя, дивился, как точно накладываются босяки горьковского дна на обитателей дна нью-йоркского, и стал пропагандистом Горького, чтецом-декламатором.

Был ко времени оказавшийся в США советский киноактер, играющий обычно прославленных героев и государственных деятелей, и от него не отходили посольские сотрудники, желающие не пропустить случай и сфотографироваться на память со знаменитостью.

В людском столпотворении выделялся также один бывший видный сенатор, демократ либерального направления. Своим здравым смыслом и широтой подхода к американо-советским отношениям он отличался от многих коллег и одно время подавал надежды, будучи председателем влиятельной сенатской комиссии по иностранным делам. Но перед прошлыми выборами в его штате на него накатила консервативный девятый вал, и либерал, побоявшись утонуть, вдруг возглавил на Капитолийском холме шумную кампанию за вывод с Кубы несуществующей «советской бригады». Но это его не спасло. Маленький провинциальный штат, прославившийся сортом картофеля, подаваемого к американским бифштексам-стейкам, променял своего просвещенного либерала на ястреба-консерватора. Все еще молодой, высокий и видный, с живописной прической красиво седеющих волос и неестественно прямой, будто затянутый в корсет, экс-сенатор стоял теперь в толпе на приеме, откинув голову, и так, с откинутой назад головой, протягивал подходящим руку для приветствия — как будто в этой позе легче переносилось политическое небытие.

В праздном гуле и веселой суете шла между тем большая работа установления и поддержания знакомств, обмена мнениями, проверки, перепроверки и сбора политической информации...

Когда часы приема, указанные в приглашениях, истекли, гости еще не разошлись, толпа редела медленно. Проделав нелегкую работу дипломатического приема, наши люди хотели остаться одни, чтобы среди своих отметить свой праздник на кусочке своей территории.

Ждали, когда все посторонние уйдут, и посол среди своих провозглашает здравицу родной земле и родному народу...

На следующий день главная вашингтонская газета в разделе светской хроники поместила фотоснимок улыбающегося советского посла с улыбающимся французским послом. Жена французца стояла рядом и тоже улыбалась. Репортер писал о напыле гостей и о том, что высокопоставленные лица на советские приглашения ответили сожалениями, сожалениями, сожалениями, то есть отказом прийти.

«Толпа заполнила торжественные залы, декорированные золочеными листьями, и с аппетитом угощалась,— писал репортер.— Два огромных стола ломились от икры, пирожков с мясом, салатов, сосисок и затейливых русских закусок. И, разумеется, от русской водки. «Я слышала,— шепнула одна гостья другой, пробиваясь к столу,— что икру сразу разбирают и больше не приносят»... «И ее разобрали сразу и больше не принесли» — так заканчивался этот репортаж, такими холодными глазами посмотрели на советский прием и репортер и пославшая его редакция.

Важнейший показатель работы корреспондента — урожай информации и впечатлений, собираемый каждые сутки. Низкие урожаи угнетали Американиста. Он знал, что лучший способ уплотнить и сделать продуктивным время — это передвижение, путешествие. Надо пропустить время через пространство.

И сразу после праздников коллега отвез его в аэропорт имени Даллеса. Был ноябрьский, но теплый, южный вечер. В чистом небе ровно горел закат. На фоне заката чернел силуэт контрольной башни, похожий на олимпийский факел. Крыша аэровокзала напоминала крыло и при попутном ветре, казалось, могла воспарить в небо вместе с самолетами.

Специальный автобус, у которого корпус поднимался или опускался до нужной высоты, прокатил пассажиров по летному полю и высадил в гигантское чрево широкофюзеляжного лайнера компании «Транс уорлд эрлайнз», следующего без посадок в Сан-Франциско. И в этом герметически закупоренном чреве они поднялись в небо и погнались вслед за солнцем с востока на запад, продляя уходящий день. Но на пути длиной примерно в четыре тысячи километров солнце они так и не догнали, оно умчалось к Тихому океану, чтобы начать там новый день, а их накрыли сумерки и тьма, и за двойным стеклом иллюминатора встала глухая ночь, которую не отличишь от стратосферной ночи в любой другой стране.

Из новых самолетов-гигантов по распространенности на американских авиалиниях «Ди-Си-10» занимает второе место после «Боинга-747». Американист и раньше летал на нем, но был заново поражен габаритами машины. Потолок как в довоенной квартире, в каждом ряду девять кресел — пять в центре и по два по бокам. После привычной самолетной тесноты пространство казалось излишним, впустую пропадающим. К тому же пассажиров было мало, и Американист выбрал хорошее место у окошка.

Полет через континент длился пять часов; чтобы скоротать время, в салоне после ужина притушили свет, развернули небольшой экран и тут же заселили его персонажами пустынной кинокомедии.

Американист пренебрег фильмом и даже не приглядывался к пассажирам. Он провел в Штатах две недели и уже не мог так же жадно впитывать впечатления и классифицировать американцев, как в часы монреальского пролога в аэропорту Дорвал. Кроме того, он совершал такие перелеты над североамериканским континентом и раньше и все это вроде бы описал: быстроногих стюардесс в домашних передничках, пассажиров, пустые кинокомедии, которые давным-давно крутят в воздухе над Америкой. Отработанная тема. Чисто человеческая

любопытность с годами уступила место профессиональной. Он теперь замечал лишь то, что шло в дело, в работу. Работа как будто отняла у него естественную природную зоркость людей, которым не надо писать в газету.

В полете он нашел себе занятие, связанное с работой. В его портфеле лежал номер бостонского ежемесячника «Атлантик». Ему исполнилось сто двадцать пять лет, о чем сообщали юбилейные цифры на голубовато-серебристой обложке. Но не почтенная дата побудила Американиста купить свежий номер. Кто-то из вашингтонских собеседников настоятельно рекомендовал одну интересную статью именно в этом номере. Он раскрыл журнал и нашел рекомендованную статью.

Статья принадлежала перу некоего Томаса Пауэрса и называлась «Выбирая стратегию для третьей мировой войны». Жуткая деловитость заголовка заставила поначалу заподозрить нечто сухое и несъедобное, наукообразное — ни уму, ни сердцу. Вчитавшись в статью, Американист понял, что ошибся. Нет, незнакомый ему Томас Пауэрс не принадлежал к бесчувственным псевдоолимпийцам из политических профессоров, которые любят одарять простых смертных своей заушной мудростью. Статья влекла магией страшной правды и дышала потаенной страстью.

Разумеется, это была не славянская, откровенно и взволнованно выражающая себя страсть, а англосаксонская, скрытая, обжигавшая, как сухой лед. Страсть прикидывалась всего лишь журналистской догадкой — сведения из первых рук от военных и штатских генералов, от ядерных плановиков и стратегов, описание президентских секретных меморандумов и директив, множество фактов. Всплески литературных образов и эмоциональных деталей были редки и скупы, но вместе с фактами хорошо работали на замысел автора, который состоял в том, чтобы дать картину инерционного хода слепой и чудовищной военной машины, которая как бы и не подчинялась человеческой воле, вышла из повиновения у своих создателей и неотвратимо подвигалась к ядерной пропасти.

Жуткое чтение затягивало, и, отрываясь от статьи, Американист уже не в обыденном, а как бы в философском, историческом плане воспринимал приглушенный рев двигателей, мерцание на экране человеческих фигурок, домов, деревьев, машин и лица попутчиков, которые тянулись к экрану. Каждый из этих американцев нес в себе свою историю, начинающуюся с истории его предков, и вместе эти истории образовывали часть истории их нации. На ее движение с востока на запад, на покорение и освоение нового континента ушли не часы, а столетия. Великие усилия покорили его, великое мужество и великая жестокость, на которую способны люди, стремясь к своему богатству, довольству и счастью в сознании своего права истреблять других людей, представлявших препятствия на их пути. И вот континент был покорен и внизу, под крыльями самолета, каждая минута их скоростного передвижения оставляла позади не только полтора десятка километров равнин и гор, ферм и городов, но и немислимые, не поддающиеся никакому описанию сгустки, пласты, клубки жизни миллионов людей великой, богатой, многообразной страны. Движение истории продолжалось, и те дрожжи, на которых поднялся этот новый, смелый, авантюрный народ, те характеры, которые заявили о себе в фургонах пионеров, продвигавшихся на Дальний Запад, сказывались теперь в тех, кто профессионально не исключал третьей мировой — ядерной — войны и выбирал для нее соответствующую национальной психологии стратегию.

В первые послевоенные годы ядерное оружие исчислялось всего лишь единицами и было чрезвычайно громоздким и неудобным для транспортировки. Первая американская водородная бомба, повествовал Томас Пауэрс, имела в диаметре более полутора метров, в длину

семь с половиной метров, весила двадцать одну тонну. Бомбардировщик, чтобы взять ее на борт и поднять в воздух, нуждался в увеличенном бомболюке, удлиненной взлетной полосе и усиленных двигателях. Первые образцы межконтинентальных баллистических ракет не отличались точностью попадания, ложились за многие мили от цели, и поэтому отсутствие точности возмещалось чудовищным мегатоннажем их единственных боеголовок. Теперь это археология стремительно развивающегося ядерного века, первобытные неуклюжие пробы науки массового уничтожения. В нынешних ядерных боеголовках современный дизайн и господство своеобразного вкуса. О да, со вкусом конструируют и орудия массовой смерти. Изысканный конусообразный боезаряд высотой всего лишь по пояс человеку, с угольно-черной поверхностью и закругленной полированной вершинкой так невелик, что три-четыре таких штучки свободно войдут, предположим, в багажник легковой автомашины типа «универсал». Но в каждой таится двадцать три Хиросимы! Ракета «МХ», новая любимица Пентагона, несет каждая по десять таких боеголовок, а точность их индивидуального наведения на цель такова, что в другом полушарии, преодолев расстояние примерно в десять тысяч километров, попадают они не просто в город и не просто в улицу этого города, избранную мишенью, а в нужный дом на нужной стороне этой улицы (отчего, правда, не легче — при двадцати трех Хиросимах — соседним улицам и домам).

Ядерные боезаряды, имеющиеся у Соединенных Штатов, исчисляются десятками тысяч. Ядерное сдерживание, то есть наличие такого арсенала ядерного оружия, который сдерживал бы противника и предотвращал возможность войны, на словах все еще считается основой американской стратегии, отмечал Томас Пауэрс, но теперь оно пропитано практической подготовкой к ядерной войне. Американские генералы, правда, щадят самолюбие и тщеславие американских ученых и политических стратегов, выдумывающих новые военные доктрины. Но на практике не политикам и доктринам, а генералам и прежде всего новым системам ядерного оружия принадлежит решающее слово. Изобретаются — не могут не изобретаться! — новые и новые, дьявольски изощренные ракеты и боеголовки, придумываются — не могут не придумываться! — под них все новые и новые военные доктрины, и в интересах практической целесообразности все чаще исходят они из возможности и допустимости ядерной войны. Не разомкнешь это колесо и не остановишь, и катится оно к ядерной бездне.

Подтекстом в статье шло отчаяние, крик души. Герои его эссе, генералы и политики, были разумны и рациональны, каждый на своем месте всего лишь делал свое дело — добросовестно, умело и профессионально, но вместе, по совокупности своего труда они творили конец света. Творцы апокалипсиса — это был бы по смыслу точный и вполне деловой заголовок для его статьи-исследования.

Одним из примеров он приводил трансформацию бывшего президента Джимми Картера. В январе 1977 года Джимми Картер вселился в Белый дом с намерением несколько наивным, но искренним остановить пугающий ход военной машины, прекратить наращивание и, более того, добиться сокращения ядерных арсеналов. На первой же встрече с членами комитета начальников штабов, пятеркой высших американских генералов и адмиралов, новый президент сказал им, что, на его взгляд, Соединенные Штаты могут обойтись всего лишь двумя сотнями единиц ядерного оружия, которых будет достаточно для ответного удара в случае ядерного нападения другой стороны. Тем самым он заявил себя сторонником минимального сдерживания.

Выслушав заявление нового главнокомандующего, начальники штабов лишились дара речи. Слова президента поразили людей, слушающих мечу, а не оралу. Новый подход, кроме прочего, делал их

ненужными людьми. Отказаться от тысяч и тысяч единиц ядерного оружия и удовлетвориться всего лишь двумя сотнями? Как саркастически сравнил Пауэрс, предложить такое высшим военным чинам это все равно что предложить крупнейшим банкирам закрыть банки и раздать капиталы беднякам во имя торжества справедливости.

Можно ли перевоспитать президента? В таких случаях можно и даже должно. И началось перевоспитание — и самовоспитание — Джимми Картера. Помогли привычки бывшего инженера, любовь к деталям. Его предшественника Ричарда Никсона детали утомляли, даже детали ядерных сценариев, в которых с максимально возможной точностью представлялся ход и исход разных вариантов ядерного конфликта. На президента Никсона такие разработки нагоняли скуку, и, как ни уговаривали его, он ни разу не досидел до конца на сверхсекретных совещаниях в Белом доме, когда подробно разбирался единый объединенный оперативный план, по которому утверждались главные и вспомогательные мишени для любого стратегического боезаряда в американском ядерном арсенале. Джимми Картер с его биографией военно-морского инженера-подводника хотел знать все. По его указанию проводились специальные учения по аварийной эвакуации президента в случае начала ядерной войны. Он все хотел знать — как себя вести, каковы будут его обязанности главнокомандующего в этой чрезвычайной ситуации.

Однажды его помощник по национальной безопасности Збигнев Бжезинский, выступая в роли президента, внезапно объявил чрезвычайное положение и потребовал, чтобы его тотчас же эвакуировали из Белого дома. Началась паника и полная неразбериха. Застигнутые врасплох агенты секретной службы едва не обстреляли садившийся на лужайке Белого дома президентский вертолет, эвакуационная команда действовала из рук вон плохо, и вся операция заняла недопустимо много времени.

Президент сделал из этого все необходимые выводы. Он усердно репетировал свою роль на случай начала ядерной войны, изучал все сценарии. Разбудите его в любое время ночи, и он мгновенно ориентируется в обстановке, сохраняет полную ясность, на все он реагирует как должно, знает, что вот-вот услышит в телефонной трубке, как будет звучать голос на другом конце особого телефона и т. д.

И все эти свойства дотошного и охочего до деталей инженера способствовали сдвигу в оборонной политике президента Картера — в сторону практического планирования ядерной войны.

Он начал с мечты ограничить и сократить ядерные вооружения. Но к концу своего президентства, побывав в ракетно-ядерных лабиринтах, вышел из них сторонником «ограниченной» ядерной войны и, по существу, усилил опасность катастрофы.

Рональд Рейган пришел не сокращать, а наращивать вооружения. С самого начала И детали которые увлекли и совратили его предшественника, были для него не нужны и не обязательны.

Томас Пауэрс сообщал, что в декабре 1947 года едва ли не единственной атомной мишенью американцев была Москва. Ей предназначили восемь бомб. Уже через пару лет план «Дропшот» предусматривал использование трехсот бомб против двухсот целей в ста индустриально-городских районах Советского Союза. Давняя история! В 1974 году пентагоновские плановики намечали на советской территории двадцать пять тысяч мишеней для ядерных ударов. К 1980 году — сорок тысяч! «Теперь все включено в этот список, — писал Пауэрс. — И список все еще растет». Заглядывая в будущее, Пауэрс так заключил свое исследование: «Стратегические плановики не берутся в точности предсказать, как будет выглядеть мир после ядерной войны. Допустимо слишком много вариантов. Но, исходя из задачи планирования далекого будущего, они сходятся на том, что обе стороны в какой-то степени «восстановят» свои силы и что наиболее вероят-

ным итогом всеобщей ядерной войны будет подготовка ко второй всеобщей ядерной войне. Следовательно, если рассуждать практически, всеобщая ядерная война отнюдь не покончит с ядерной угрозой. И если довоенный и послевоенный мир и будут в чем-то схожи, то скорее всего в том, что угроза войны сохранится».

Американист вынырнул из статьи, закрыл юбилейный журнал в серебристо-голубой обложке и убрал его в портфель — пригодится.

Проклятый век, отравляющий жизнь кошмарами будущего!

Американист вынул из портфеля тетрадь, записал: «Военно-политические технократы и ястребы не только мыслят о неммыслимом, они хотят и сладить с неммыслимым, а именно — рационализировать ядерную войну. В этом направлении и работает их мысль. Обыкновенный подход обыкновенных людей: ядерная война — это мрак, перед которым человек должен наконец остановиться. Вот где спасение — на роковом рубеже остановить движение мысли, работающей над изобретением все более ужасных орудий смерти. Хватит! Доработались! Дальше — бездна, в которой вместе с нами, в нас погибнут и грядущие поколения. Но этот подход обыкновенных людей, непрофессионалов ядерные стратеги отвергают как наивный, дилетантский, детский. Их мысль и тут, у последней черты, не останавливается. Нет, надо освоить и обжить этот мрак, научиться видеть сквозь него, не дрогнув перед катастрофой. Мрак пребудет с нами, тьма не скроется — вот в чем их реализм. Практичный американец перестанет быть практичным американцем, если не расчленит, не разложит на составные части мрак крошечный. При этом он может убедиться, что мрак еще страшнее, чем он думал, но зато это будет освоенный, обжитой мрак, мрак с ориентирами. Вот почему американский генерал готовится к сражениям ядерной войны, тем самым ее приближая. А наш? Что делать нашему, если американец готовится?»

Память уводила его в недавнее прошлое, уже подернутое туманом забвения, и он пробирался сквозь туман, пытаясь восстановить подробности. Нет, не сон. Это было. Было раннее, зябкое утро. На воде. Примерно в середине мая.

Ради предстоящего события редакция расщедрилась на специального корреспондента, и он прилетел в Вашингтон, куда еще пускали Аэрофлот и где Американист был еще собкором. Собкор повез спецкора в Бостон, к месту события. Без происшествий, минуя Нью-Йорк, одолели шестьдесят с лишним километров и лишь под конец, у самого Бостона их задержал дорожный полицейский за превышение скорости. Но и полицейский отпустил их с богом и без штрафа, когда Американист вышел к нему с повинной головой: да, виноват, превысил, но знаете... Полицейский знал. Знал и то, что событие ожидается завтра, что оправдания для спешки нет, но смиловившись...

И на следующий день ранним-ранним утром, потеплее одевшись, в одной автомашине с советским военно-морским атташе, тоже прибывшим в Бостон, они отправились из отеля на какой-то специальный причал. И в компании американских пограничников и советского военно-морского атташе они вышли в океан на катере береговой охраны, поживаясь от свежего ветра и холодных брызг и волнуясь перед необыкновенной встречей.

...Как жаль, что не записал он подробности по горячим следам. Ничего не осталось, кроме скупых пляшущих строчек в репортерском блокнотике и двух крохотных заметок в газете, под которыми стояли их две подписи...

Так вот, на катере береговой охраны они вышли в океан, и когда небоскребы Бостона превратились в призрачные дымчатые видения далеко за кормой, утренними призраками встали впереди еще и силуэты двух военных кораблей. Сливаясь с рассветной свинцовой

рябью воды, их ждали с ночи два советских эсминца. Это и было необыкновенное событие: не просто очередной гражданский (им было несть числа тогда), а военно-морской визит в США. Конечно, подготавливался он долго и тоже нелегко. Но свершился. Согласно межгосударственной договоренности советские эсминцы пришли в порт Бостона как раз в тот день, когда два американских военных корабля навестили Ленинград. Май 1975 года. Все еще разрядка. В духе разрядки происходил обмен военно-морскими визитами, первыми и единственными за послевоенные годы.

И вот по трапу они влезают на борт флагманского эсминца, и вот они на командирском мостике, и вокруг лица офицеров-североморцев, их фуражки с крабами, их парадные мундиры и их вопросы, их волнение — большой переход позади, но впереди самое главное. И корабли начинают движение, сбоку идет американский катер, зарываясь в волну, и небоскребы приближаются и растут, уже не дымчатые призраки, а сверкающий на солнце металл и стекло.

Церемония встречи. Салюты наций. Адмиральские салюты.

У правого причала того же пирса, скрытая пакгаузом, стояла громада крейсера «Олбани», флагмана Атлантического флота США. Крейсер специально пришел в Бостон, чтобы встретит и как бы уравновесит два советских эсминца. Когда командующий Атлантическим флотом подъехал на черном служебном «шевроле» к флагманскому эсминцу «Бойкий», парадный трап устилал красный ковер, духовой оркестр экипажа играл приветственный туш, и советский адмирал рапортовал старшему по чину американскому адмиралу, и тот с рукой у козырька слушал рапорт через переводчика. Потом два адмирала обменялись мужским рукопожатием, помнитса, даже улыбнулись друг другу и скрылись в командирской каюте, сопровождаемые старшими офицерами. У каюты в ожидании сигнала застыл взволнованный вестовой, неумело держа в руках поднос с запотевшими рюмками холодной водки.

У нашего адмирала было типичное, можно сказать, народное русское лицо, обезоруживающе простое под широким козырьком шитой золотом фуражки.

Из Вашингтона прибыл советский посол. Он сопровождал адмирала в его бостонских визитах, и от этого адмирал терялся и смущался, поскольку посол был выше его по положению. В первый день они нанесли визиты вежливости губернатору штата Массачусетс и мэру Бостона. Корреспонденты, американские и советские, следовали по пятам. Губернатор любезно выразил удовлетворение тем, что Бостон — это первый американский порт, который посетили советские военные корабли. Мэр шутливо предложил адмиралу вдвоем прогуляться по бостонским улицам и поговорить с жителями, дабы лично убедиться в их приветливости.

Не обошлось без пресс-конференции, и в тесную кают-компанию «Бойкого» набилось с полсотни репортеров. Новость облетела Америку. В вечерней программе новостей потелеканалу Эн-би-си известный комментатор воскликнул: «Русские пришли!» В годы «холодной войны» восклицание «русские идут!» звучало как караул, как ночной крик о помощи. «Русские пришли!» — повторил известный комментатор. И добавил: — Пришли весело и шумно».

...И все это, взглядываясь в туман ушедших дней, вспомнил Американист.

Для наших моряков устроили экскурсии в город, а для горожан — дни открытых дверей на советских кораблях. И бостонский люд повалил посмотреть, что за русские пришли и на чем они пришли, сфотографировать их и сфотографироваться с ними, полистать и унести советские буклеты и брошюрки. Народ повалил дружно, и в этой гуще, в людской толще Американист наблюдал однажды сценку,

ради которой и отвлеклись мы от его воздушного пути из Вашингтона в Сан-Франциско.

В этом людском круговороте на борту «Бойкого» увидел он вдруг совсем юного нашего морячка, который в своей форменке с треугольником полосатой тельняшки и в бескозырке с ленточками стоял с такой же юной простенькой американкой. Как они друг друга нашли? Как познакомились, не зная языка друг друга? Что их друг к другу потянуло? Кто ответит? Но стояли они рядом, близко, тесно, если не прижавшись, то, во всяком случае, прислонившись и взявшись за руки, глядели друг на друга влюбленными глазами, стесняясь других людей и, однако, как бы паря над ними, как бы взлетев над их интересом, любопытством.

То одного, то другого человека несло на эту пару в людской толчее, и он должен был вот-вот с ними столкнуться и, быть может, наподобие какой-нибудь элементарной частицы их расщепить, раздробить этот новый, непонятный, внезапно образовавшийся атом,— и вдруг, взглядевшись и поняв, как вкопанный остававшийся этот человек, упирался и противился нажиму толпы, не хотел быть элементарной частицей, расщепляющей морячка с девушкой. Людской круговорот обессиливал возле влюбленных...

Эта сценка никак не помещалась в короткую газетную заметку, но Американист про запас долго хранил ее в своей памяти, их беззащитные, чистые, омытые молодым влечением лица и выражение на лицах людей, ставших свидетелями этой внезапной и обреченной влюбленности. Ромео и Джульетта в драме отношений двух народов и двух государств. Они были одиноки и беспомощны с частным делом своей любви. Их случай не был предусмотрен в программе обмена военно-морскими визитами. Не человек пришел к человеку, а флот к флоту, держава к державе...

И он тотчас вспомнил еще один эпизод из тех майских дней, который тоже всплыл, как сновидение.

Там, в Бостоне, он держал свой «олдсмобил» на платной стоянке недалеко от отеля. Однажды утром пришли, чтобы взять машину и отправиться в порт к «Бойкому» и «Жгучему». И как раз на парковку вкатилась машина, и из нее вышел пожилой, но хорошо сохранившийся джентльмен. Поставив свою машину в ряд других, поприветствовав дежурившего негра, джентльмен уходил по своим делам походкой занимающегося спортом человека. И глядя вслед ему, дежурный как-то приподнято спросил: «А вы, ребята, знаете, что это за человек?» И гордый тем, что он-то знает, что не грех этим знанием и похвастаться ему, негру, зарабатывающему гроши на парковке, он сказал, что это большой человек, полковник Пол Тиббетс, тот самый, который... Знаете? Слыхали про Хиросиму? Гром среди ясного неба. А небо в самом деле было ясное, и под ним, как и все остальные, шел, держа в правой руке обыкновенный чемоданчик, называемый кейсом, пожилой человек с прямой еще и крепкой спиной, адвокат или бизнесмен, похожий на других процветающих джентльменов его возраста. Полковник Пол Тиббетс. Командир особой пятисот девятой авиагруппы ВВС США, 6 августа 1945 года сбросивший атомную бомбу на Хиросиму...

Пол Тиббетс — давно уже принадлежность истории, но вынырнул вдруг целым и невредимым в майское бостонское утро всего лишь в качестве человека, который поставил свою машину на автомобильную стоянку и, помахивая чемоданчиком, скрылся за углом в припортовом районе, который находился как бы между прошлым и будущим, кое-где там еще стояли темные и мрачные старые кирпичные дома, а в других местах их снесли и превратили в пустыри и автостоянки, чтобы позднее построить современные здания из нержавеющей стали и полированного, отражающего и землю и небо зеркаль-

ного стекла. Негр разъяснил, что Тиббетс работает где-то рядом и всегда оставляет у него свою машину.

Прошел — и забылся. Не оставил никакого следа даже в том зелененьком блокноте Американиста, куда пляшущими каракулями на ходу были занесены слова о советском контр-адмирале и американском вице-адмирале, массачусетском губернаторе и бостонском мэре и еще чье-то высказывание: «Моряки — типичные туристы». Журналист должен на ходу ловить такие мгновения. Догнать этого человека, остановить, озадачить, извлечь из него хотя бы пару слов. Липь одно может извинить Американиста — в те годы тема ядерной угрозы как бы испарилась. Не верите? Полистайте газетные подшивки.

В семидесятые годы Хиросима отодвинулась. В восьмидесятые — приблизилась.

Перед угрозой всеобщего небытия теряет смысл бытие прошлое и настоящее — история и культура, подвиги и свершения, любовь и нежность и уходящая во мрак веков бесконечная череда поколений. Ибо только тогда сохраняется смысл во всем этом, когда есть будущее. И смерть имеет смысл, если останется жизнь после нас. Но какой, скажите, смысл у всего этого шествия через века и тысячелетия, которое называется историей, если конечная, финальная его точка — самоуничтожение человечества?

Американисту опять не хватало своих слов, опять он обращался к помощи поэзии. Но классики жили в другое время. Их волновали вечные вопросы жизни и смерти, но это были вопросы жизни и смерти человека в отдельности, а не человечества. Мудрецы не занимались тем, что в наши дни не дает покоя даже глупцам. Ему помог Тютчев. Строчки, которые поэт написал однажды на заседании цензурного ведомства. И забыл, оставил листок на столе. Но кто-то подобрал листок, опубликовал стихи через много лет после смерти поэта. Вот эти строчки: «Как ни тяжел последний час, та непонятная для нас истома смертного страданья. но для души еще больней следить, как вымирают в ней все лучшие воспоминанья...»

«Истома смертного страданья». Не одного человека. Все-го человечества.

«...последний час, та непонятная для нас истома смертного страданья...»

Как многие из его коллег, Американист обзавелся с некоторых пор новой папкой в своем хаотичном досье и назвал ее старым словом, неожиданно ставшим популярным, — «Апокалипсис». Апокалипсические откровения, выраженные в специальных военно-политических терминах ядерного века, не сходили теперь со страниц газет.

В новую папку складывались суждения политиков и политологов, дипломатов, военных, ядерных физиков, медиков, педагогов и собратьев-журналистов. И писателей.

Будет ли будущее? — так стоял вопрос. Писатели из досье Американиста слышали цокот копыт четырех всадников Апокалипсиса. Но в другой папке его досье хранился оптимистический прогноз одного известного футуролога. Тот не сомневался, что будущее будет. Американиста не радовал его оптимизм, потому что футуролог обещал будущее после ядерной войны. Он не считал, что ядерной войны можно избежать и в то же время не считал, что ядерная война покончит с человечеством. Он был уверен, что как биологический вид мы ее переживем. Как и военные плановики из статьи Томаса Пауэрса, футуролог не исключал даже второй ядерной войны, заглядывал своей мыслью в промежуток между двумя ядерными войнами.

Этого американца Американист хорошо помнил. Он не был тенью или сном. Круглое пухлое лицо в белой бороде, как у шки-

пера, и всхолмленный морщинами большой лоб все еще живо стояли перед глазами, хотя больше двух лет прошло после их последней встречи. К тому же на печатных страницах Американисту тоже попадалось лицо футуролога: к нему, как к модной ясновидице, всегда стояла очередь желающих узнать будущее, и состояла она из журналистов, ибо — в отличие от ясновидиц — он предсказывал не личное, а общее будущее. Наконец, собственные записи Американиста об их последней встрече были довольно обширны — двадцать страниц на машинке.

Интервью они брали вдвоем с Геннадием, другом еще от института и, вернувшись в Москву, не без труда переводили его на русский, гоня взад-вперед магнитофонную ленту. У футуролога с годами выработалась привычка невнятно бормотать себе под нос: пусть разбирают, если хотят. И припадавшие к источнику его мудрости должны были хорошенько потрудиться, чтобы разобрать. А припадать все-таки стоило. Редкий был человеческий экземпляр, недюжинного ума и варианты будущего прорабатывал с вызывающим бесстрашием и бестрепетностью.

Взяв то последнее интервью, Американист и так и сяк прикидывал, можно ли приспособить его для газеты, даже придумал хлесткий заголовок — «Разговор с людоедом». Но прикидки так и остались прикидками. Слишком много надо было рубить, чтобы людоед уместился в газетное прокрустово ложе. А чтобы колорит его слов и оценок не пропал, надо было как раз не жалеть места, цитировать не скупясь, чтобы лучше донести, достовернее передать впечатление от большого ума и жутковатой откровенности. Взять хотя бы такой отрывок из их беседы.

— ...А во-вторых, стратегическая ядерная война очень дешева. Она не требует огромных денег...

— Выходит, что средства взаимного массового уничтожения дешевые? И становятся все дешевле и дешевле?

— В том-то и проблема, в том-то и соблазн.

— Выходит, дешевый путь на тот свет, отсюда — в вечность...

— Ну нет, это попросту неверно, что сейчас есть возможности для свержения, для поголовного уничтожения человечества.

— Вы считаете, что человечество может пережить ядерную войну?

— Да, если только не случится каких-то непредвиденных последствий от применения ядерного оружия. Если брать имеющиеся обычные оценки, то, вне всякого сомнения, мы сможем пережить такую войну. Вне всякого сомнения...

— Но если даже кто-то и уцелеет, как может человечество психически выжить, пройдя через этот акт безумия, помешательства?

— Потому что оно выживало раньше. Возьмите историю Джеймстауна и Плимут-Рока, первых двух английских колоний в Северной Америке. Обе потеряли по половине жителей в первый же год от болезней и голода. Но ведь выжили и продолжали расти, и взгляните, какая страна у нас получилась. И такие случаи не раз бывали в истории человечества.

— Но я не об этом. Я о другом: при таком количестве самим себе причиненного зла смогут ли выстоять человеческие существа?

— Мой ответ — могут. И не раз это доказывали. Приспособлялись. Дело просто в том, что нынешняя молодежь ничего подобного не испытывала. Ее от всего оберегали. Она не знала второй мировой войны...

— А разве вообще американцы знали ту войну?

— Я уже говорил, что американцы испорчены тем, что богаты и сильны и потому, даже делая глупости, привыкли не расплачиваться за них. Но учтите, что в массе это религиозные люди, которые все вынесут... Да, мы очень испорчены. Но, знаете, у нас есть такое

изречение: древо свободы должно орошаться кровью каждого нового поколения. Так вот, мы испорчены еще и потому, что перестали в это верить. Мы привыкли жить не страдая. А ведь сколько их было, поколений, которые совсем по-другому видели историю человечества. Города осаждали и разрушали, сравнивая с землей, варвары нападали с суши и моря. А цивилизация выживала. И все это было нормальным. Вы что же думаете, что отныне и навеки все стало по-другому, что трагедии и драмы истории миновали и что люди просто должны жить все лучше и лучше? Извините, но именно это — сумасшедшая идея...

Оторопь брала: все пережили и все переживем, даже термоядерную войну.

А доказательства? Судьба двух первых поселений английских колонистов на американской земле. Две-три сотни людей восемнадцатого века, тогдашние холод, голод, напасти и пусть даже мор — и мгновенное уничтожение многовековых центров цивилизации, гибель сотен миллионов людей. Как можно уравнивать эти вещи? Или сам он так же безнадежно испорчен, как и его соотечественники, отсидевшиеся за океаном в последней мировой войне, которые не знают, почему фунт обыкновенного лиха, не могут вообразить и лихо ядерное? Спичкой вспыхнет и сгорит само их хваленое древо свободы и не понадобится больше ему никаких жертвоприношений.

Аргументы появлялись задним числом, и Американист понимал, что не доругался с этим человеком.

Толстого профессора с седой шкиперской бородой звали Герман Кан. Он был основателем и директором мозгового центра правого направления — Гудзоновского института, так называемым стратегическим мыслителем, плодовитым автором нашумевших апокалиптических и футурологических книг, консультантом Белого дома, Пентагона, ряда других правительств и многих американских и иностранных корпораций. Нового типа философ-практик, он вместе со своими учениками и сотрудниками активно предлагал товар мысли в самых разных практических областях на рынке спроса.

Это Герману Кану принадлежит словосочетание века — *мысль о нем мыслимом*, — давшее заголовок одной из его книг и обозначившее его главное призвание, страсть его жизни. Простому смертному представляется лишь один мыслимый вариант в случае ядерной катастрофы, один способ действия, давно рекомендованный любителями черного юмора: завернувшись в белый саван, без паники, не мешая другим, но и не мешкая, ползти в сторону кладбища в последнем акте самообслуживания. А Герман Кан, мыслью о нем мыслимом, запросто отправлял человечество на немислимую войну и даровал жизнь и процветание уцелевшим, если не будет каких-то непредвиденных, еще не проработанных им последствий...

«Сумаспешней идеей» был для него мир без войн, и разве не означает одно это утверждение, что Герман Кан смело менял места-ми разум и безумие? Но спорить с ним было трудно. Приходилось апеллировать скорее к совести, к здравому смыслу, чем к опыту. Ибо кровавый опыт мировой истории был на стороне футуролога. Что пересилит — опыт или мечта, ибо на стороне тех, кто, подобно Американисту, гнал прочь эти мысли о немислимом, была лишь великая и неистребимая мечта об идеальном устройстве человеческого общества и межгосударственных отношений. Мечта подкреплялась огромной мощью его страны и ее социалистических союзников, поставивших своей исторической целью мир, где исчезли бы войны и воцарилась социальная справедливость. Но социалистическому содружеству, как другой, противоположный заряд, противостоял капиталистический мир, и заряды, если брать военное, а не политическое их выражение, были ядерными, и их прикосновение грозило апокалиптической вспышкой. Мечта об идеале была — на практическом

языке — мечтой о стабильном мирном сосуществовании двух систем. Герман Кан исключал его не только по причине политических и идеологических разногласий, но даже и в силу биологической природы человека. Человеку и человечеству, чтобы осуществить великую свою мечту о мире без войн, надо изменить свою историческую и биологическую природу, природу своего ума, сознания, своей неумной гениальности в изобретении орудий вражды и смерти. Герман Кан не допускал такой возможности.

Та последняя их встреча произошла, когда Американист попал в Нью-Йорк в жаркое лето предвыборных баталий между Джимми Картером и Рональдом Рейганом. Он связался тогда с Гудзоновским институтом, обнаружив телефон в старой записной книжке. Герман Кан согласился встретиться, и на следующий день его секретарша прислала по почте подробное объяснение, как добраться до маленького городка Кротон-на-Гудзоне, что находится милях в сорока к северу от Нью-Йорка.

Августовский Нью-Йорк представлял гигантскую парилку, увы, лишенную чисто банных удовольствий. Поездка, кроме прочего, мамила перемещением из городского ада в загородный рай. И вот с Геннадием они покатали по автостраде вдоль Гудзона, блещущего на солнце, и через полчаса, проехав Бронкс и Ривердейл, окунулись в кудряво-зеленую благодать провинциальной Америки, вроде бы и не подозревающей о своем душном, потном, грохочущем соседе.

Через час они были у цели. По пышным, не знающим знойного солнца кривым улочкам и переулкам поднялись на холм, где на ровных изумрудных газонах среди старых кряжистых деревьев стояли каменные строения в тюдоровском стиле. В начале века там помещалась лечебница для алкоголиков из богатых семейств, а на его исходе вселились туда дипломированные любители прогнозировать будущий век.

Бетонные плиты пешеходной дорожки, ведущей от стоянки для автомашин к двухэтажному островежному дому, утопали в траве. Природа застыла в сладкой полуденной истоме. И друзья, измученные летним Нью-Йорком, дружно вздохнули. Геннадий сказал: «Вот тут-то и вынашивают они свои людоедские замыслы...»

Гудзоновский институт — режимное учреждение, оказывающее секретные и сверхсекретные услуги правительству и частному сектору, но в старом здании выдерживался стиль домашнего уюта. В приемной уютная, домашняя девушка предложила им кресла возле стоящих на полу часов с боем и по внутреннему телефону сообщила кому-то, что двое русских репортеров прибыли. Через несколько минут к ним вышла крупная миловидная молодая женщина в красной кофточке и песочного цвета юбке. Ее звали Морин. По деревянной, скрипящей лесенке они поднялись на второй этаж и через залитую солнцем галерею попали в заставленный книжными полками кабинет директора.

Герман Кан поднялся из-за стола в простецкой рубаше с открытым воротом, такой же толстый, как двенадцать лет назад, когда Американист встречался с ним в Нью-Йорке. Лицо постарело и порыхлело. Из-за толстых стекол очков как будто издали смотрели маленькие острые глаза.

Не тратя времени, он предложил гостям задавать интересующие их вопросы. Был откровенен, как всегда, и прям в суждениях, и откровенность располагала к нему, облегчала восприятие его откровений.

Первый вопрос друзья задали общего плана: что он думает об американцах и Америке в нынешнем мире? Герман Кан начал не с деталей той уже ушедшей в прошлое предвыборной борьбы 1980 года, которой были отданы в те дни газеты и телеэкраны, а с общих рассуждений о самочувствии и настроениях нации.

— За последние пятнадцать лет в Соединенных Штатах в основном наблюдается движение в сторону традиционной системы ценностей.— так начал он.— Вы знаете, что каждый год институт Гэллага задает американцам вопрос: кем вы больше всего восхищаетесь? И публикует список из десяти человек, набравших больше всего голосов. Первым в списке всегда идет президент США. Даже если он неважно работает, они все равно им восхищаются — это же президент. Но вторым или третьим человеком вот уже с десятков лет называют проповедника-евангелиста Билли Грэма. А ведь раньше никто не занимал второго места два раза подряд. В чем же дело? А в том, что идет возрождение религии, веры в священное писание. Вы думали, что они отходят от церкви? Нет, они в нее возвращаются. Причем в старую ортодоксальную церковь, которая верит в Библию, а не в либеральную церковь, проповедующую программы вспомоществования. Очень многие из этих американцев не голосуют на выборах, но все равно с точки зрения правительства это очень хорошие люди: платят налоги, когда нужно, служат в армии и всерьез относятся к своей стране. Американцы, с которыми вы, советские, у нас встречаетесь, как правило, атеисты. Но не забывайте, что это меньшинство, что Соединенные Штаты, может быть, самая религиозная страна в мире. Если вы этого не поймете, вы очень многого не поймете в нынешних Соединенных Штатах. Мы возвращаемся к традиционной системе ценностей. Число приверженцев фундаменталистских традиционных религий, к которым я и себя отношу, хотя не посещаю церковь, возросло примерно на одну четверть, — развивал свою мысль Герман Кан и перебрасывал мост от религии к политике, от религиозного консерватизма к политическому.— Растет роль и влияние так называемых новых консерваторов, к которым я тоже себя отношу. К нам прислушиваются серьезные люди, и сейчас мы побеждаем во всех спорах. Не путайте новых консерваторов с правыми. Те догматики, а новые консерваторы в большинстве своем вышли из левых, хотя лично я к левым никогда не принадлежал. Примерно треть неоконсерваторов — евреи, и в этой группе они, пожалуй, самые деятельные. Новые консерваторы — самая быстро растущая группа интеллектуалов в Соединенных Штатах, и они задают тон во всех дискуссиях — по вопросам обороны, экономики, политики и так далее. Могут ли они одержать верх? Да, конечно, если найдут президента, который сможет возглавить и усилить это движение. Такие попытки, по существу, предпринимаются с шестидесятых годов. Сначала они видели своего президента в Никсоне. Однако в первый срок его трудно было отличить от Кеннеди. Его даже прозвали Джон Фицджеральд Никсон. Во второй свой срок Никсон мог бы, пожалуй, оправдать надежды консерваторов, но тут произошла утергейтская история. Никсон ушел в отставку. Пришел Форд, и с консервативной точки зрения он тоже, казалось, выглядел подходящим человеком. Но однажды Форда угораздило заявить, что нет ничего плохого в курении марихуаны, а его жена публично оправдывала добрачные половые сношения. Вот тебе и классическая американская чета! Конечно, ничего особенного в их словах не было, но услышать такое от президента и его жены — увольте! Картер подчеркнул свою глубокую религиозность, к тому же он бизнесмен, фермер, инженер, морской офицер. Чего еще? Самый что ни на есть подходящий кондовый президент с точки зрения среднего американца! Но президентство Картера показало, что и он не отвечает мечте об истинно американском президенте. И вот Рейган — наша последняя надежда. Я — за Рейгана. Картеру я не доверяю. Рейгану тоже, впрочем, не доверяю, но меньше, чем Картеру...

Кан хохотнул.

Шел тот год, когда неоконсерваторы сделали ставку на Рейгана против Картера и выиграли.

Однако не будем прерывать Германа Кана. Дадим ему подробнее высказаться. Продолжим его рассуждения об американцах, их воспитании, об особенностях их патриотизма. При всей эскизности они полезны для понимания протекающих в Америке процессов и, во всяком случае, наводят на мысль о том, что Америку, если хочешь понять, надо мерить американским аршином.

Послушаем Кана в магнитофонной буквальной записи.

— Самая большая наша проблема — это то, что мы невероятно богатая страна с колоссально развитой техникой. Мы делаем глупости и не расплачиваемся за них. И ничего не боимся. Просто ужасно... — Он снова отрывисто хохотнул в своей манере. — А взять нашу систему образования. Чему мы учим детей в своих либеральничаящих школах? Что бизнес грабит природные ресурсы, отравляет окружающую среду, заражает людей раком легких, наживается на эксплуатации природных богатств, словом, что вся система продажна. За такую школу, по идее, надо расплачиваться. Кажется, что, окончив ее, ученики скажут: на черта нам сдалась эта дурацкая система. Но этого не происходит. Они преспокойно идут в тот же бизнес и добросовестно там работают, они хорошо служат в армии и вообще настроены патриотично. Как долго можно избегать расплаты за все это? Десять лет? Двадцать? Быть может. Только не пятьдесят.

Наша общественная система в принципе жесткая, и люди наши жесткие, и вырастают они такими с детства в своих семьях. Мне доводилось читать курсы лекций в Гарварде, Принстоне, Йеле, в Колумбийском университете. Я вел также семинары аспирантов, в которых было по шестьдесят человек. И вот, бывало, я задавал им вопрос: «У кого из вас есть в семьях не меньше трех винтовок или пистолетов?» Сколько, вы думаете, отвечали положительно? Двадцать человек — одна треть. Я спрашивал тогда: «Кто из вас в двенадцать лет получил в подарок от родителей малокалиберное ружье?» Оказывалось, все двадцать. В четырнадцать лет почти все они имели охотничьи ружья. А если у ребенка есть ружье, из которого, между прочим, можно убить человека, это уже не ребенок. В маленьких наших поселениях обращению с оружием подростка учат года два. За это время он еще научится разводить костер, разбивать палатку и вообще выживать на лоне природы. Это очень взрослит молодого человека. Если бы мне пришлось выбирать, мой выбор пал бы на человека, выросшего с оружием. Он надежнее и дисциплинированнее.

Но мы забыли об оставшихся сорока студентах. Их я спрашивал: «Вспомните, приходилось ли вам больше года ожидать исполнения какого-либо разумного вашего желания? Если вы в шесть лет потребуете велосипед, это неразумно. Если в двадцать два захотите поехать в Париж, это разумно, в восемнадцать — нет. Если попросите автомашину в восемнадцать-девятнадцать лет, это разумно, в тринадцать — нет». И вот, представьте, мои студенты не могли вспомнить, чего они ждали бы больше года. Два раза в году — на рождение и на День благодарения — в Соединенных Штатах настоящая вакханалия подарков. Детей балуют. Они не усваивают самый важный из уроков жизни — что сама по себе она не милостива, не великодушна. Но почему-то это не портит детей. Вырастают они, в общем, неплохими. Между прочим, богатые люди своих детей воспитывают по-другому. Если бы вам удалось попасть на день рождения к Дюпонам или Рокфеллерам — а мне удавалось, — вы бы увидели, что детских игрушек там немного и что это все прочные игрушки. Богатые очень боятся испортить своих детей...

Выраженная Каном мысль о том, что американцы ни за что не привыкли расплачиваться, представлялась Американисту существенной, центральной (не отдельные, конечно, американцы, не группы

обездоленных, а держава с имперскими замашками). Этим многое объяснялось в поведении Соединенных Штатов на мировой арене, в более рисковом отношении правящего класса к возможности войны, даже в той ледяной отрешенности, с которой сам Герман Кан допускал ядерную войну и жизнь после нее. Да, расплачиваться не привыкли. Да, жареный петух не клевал. Баловни истории. И война до сих пор была самым убедительным доказательством: другие, в Европе, в Азии, платили, а они в основном выигрывали. Во второй мировой войне понесли людских жертв в пятьдесят раз меньше, чем мы.

В оценке перспектив американско-советских отношений малоутешительные прогнозы Германа Кана, увы, сбылись. Уже тогда, в 1980 году, он видел впереди новые раунды гонки вооружений, ратовал за них и считал, что Рональд Рейган — наилучшая фигура, чтобы председательствовать в Вашингтоне при таком развитии событий.

— Нравится вам или нет, американские вооруженные силы будут намного увеличены,— пророчествовал Кан.— Мы больше не хотим беспокоиться. С 1948 года по 1970 год у нас было огромное превосходство. В 1965 году, к примеру, оно было фантастическим: мы могли уничтожить ваши наземные ядерные силы, даже не уничтожая ваших городов. Теперь мы хотим небольшого превосходства. И мы собираемся навязать его вам. У нас есть деньги, есть технология. На это может уйти пять—десять лет вне зависимости от того, что вы в Советском Союзе будете предпринимать,— угрожал Кан.— Рейган хочет этого добиться—либо потому, что очень умен, либо потому, что глуп. Не знаю. Меня это, в конце концов, не так уж беспокоит. Всего опаснее сойти с дистанции. Бежать так бежать. Вот этого мы и добиваемся...

И Рейган в самом деле побежал. И не сходит с дистанции. Америка предпринимает попытки обратить историю вспять, поломать стратегический паритет двух держав и снова добиться ракетно-ядерного превосходства над Советским Союзом. И в этом суть «неустройства» советско-американских отношений.

Кана больше нет в живых. Знаменитый людовед умер, в 1983 году в возрасте всего лишь шестидесяти одного года, как простой смертный—от болезни сердца. Напоследок он даже как будто подобрел в своих прогнозах, перестал пугать неизбежностью ядерной войны. Последняя его книга, вышедшая при жизни, называлась «Наступающий бум». Он сулил процветание «индустриальных демократий» вплоть до конца нашего века, рост экономических показателей и замедление прироста населения. О себе говорил одному журналисту: «Я умру в 2001 году, не раньше. Я должен знать, как сбылись мои предсказания, и буду очень недоволен, если уйду до срока».

Но свою судьбу загадывать бывает труднее, чем судьбу мира. То ли тучность подвела Германа Кана, то ли слишком обильные траты интеллектуальной энергии, на которые он не скупился, выполняя свои контракты с правительствами и корпорациями.

Последними в магнитофонной записи были такие его слова:

— Я не выступаю за войну. Я лишь говорю, что мы не верим друг другу, что мы не можем полагаться на разумность ваших суждений и оценок. Приведу вам один пример. Года три назад я возглавлял одну группу стратегических консультантов, в которой участвовало двадцать человек, из них шестнадцать—очень правых взглядов, такие, как Пайпс, Литвак и так далее. Я предложил им на рассмотрение такую ситуацию: у Советского Союза между началом и концом восьмидесятих годов будет возможность нанести удар по Соединенным Штатам и уничтожить приблизительно сто миллионов американцев. Мы нанесем ответный удар, но своими уцелевшими стра-

тегическими силами уничтожим у них всего пять миллионов человек. В результате Советский Союз сможет довольно быстро отстроить свои города, тогда как американцам придется переселяться в Западную Европу, Японию, Бразилию. Описав эту вымышленную ситуацию, я конфиденциально, по одному опросил участников совещания. Задал им один и тот же вопрос: «Кто из вас думает, что советские лидеры, зная, что такая благоприятная возможность исчезнет в конце восьмидесятых годов, решат ею воспользоваться, чтобы нанести такой удар?» Ни один участник не допустил, что Советский Союз может воспользоваться такой возможностью. А ведь это были люди очень правых взглядов. Ни один из них не предположил, что Советский Союз пойдет на такой конфликт, даже если шансы будут десять к одному в его пользу. Ни один! Я рассказал им об итоге этого закрытого опроса на открытом пленарном заседании, и они были смущены. Я спросил: «Может быть, сейчас вы захотите изменить свое мнение?» Лишь один человек воспользовался этим предложением, но и тот был ядерным физиком, а не специалистом по русским делам. Тогда я задал присутствующим второй вопрос: «Сколько же из вас в таком случае думают, что можно полагаться на разумность суждений советского руководства?» «Как можно, ни в коем случае, это безумие, безумие» — таким был единодушный ответ. И в нем выразилось наше отношение к вам. А ведь ваше правительство, на мой взгляд, более разумное, более осторожное, чем наше правительство.

Беседу Кан заключил с неожиданным пафосом:

— Мы живем в очень жестоком мире. По ночам, представьте, мне не спится. Как человек, который лишь изучает все эти проблемы и дает советы, я не несу ответственности за принимаемые решения. И все-таки мне не спится.

— А как спит президент, принимающий решения? — спросили они его.

— Говорят, он спит хорошо...

Из дорожной тетради Американиста:

«Сан-Франциско. Отель «Хайятт-Ридженси».

Вчера вечером в аэропорту встречал Слава Ч. Он теперь корреспондент ТАСС в Сан-Франциско. Слава — из цеха американистов, но моложе. Познакомились с ним в Вашингтоне. Теперь люди моего возраста, окончив свои американские кочевья, осели в Москве, а он все еще кочует и перебрался сюда, на тихоокеанское побережье. Для меня, командированного, знакомые прежних лет как спасительные якоря в новых поездках по Америке.

Когда ехали из аэропорта, вдруг попался на дороге указатель — «К Коровьему дворцу». Сразу вспомнилось. Летом 1964-го в Коровьем дворце (бывшая сельскохозяйственная ярмарка) проходил национальный съезд республиканской партии, который выдвинул Гарри Голдуотера, консервативного аризонского сенатора, кандидатом в президенты. Консерваторы уже тогда рвались к власти в республиканской партии — и в Белый дом. Республиканскую партию они захватили, но Белый дом в ноябре — нет. Рейган, тогда всего лишь актер, политически дебютировал в Коровьем дворце. Его речь голдуотеровцам пришлась по душе. Теперь ее считают поворотным пунктом в жизни Рональда Рейгана. Богатые ультраконсерваторы прикинули, что у актера есть талант завлечь избирателя, и сделали на него ставку. Из Коровьевого дворца дорога привела сначала в Сакраменто, резиденцию губернатора Калифорнии, а затем и в Белый дом. Теперь нет голдуотеровцев, есть рейгановцы.

Я дальновидности не проявил, ни Рейгана тогдашнего, ни его речи не заметил, хотя и освещал съезд в Коровьем дворце. Одно оправдание — в конце концов, он был всего лишь киноактер, entertai-

пег — развлекатель, привлеченный в качестве «пламенного оратора»...

С утра на Бил-стрит встречался с Лэрри Томасом, пресс-секретарем гигантской строительной корпорации «Бектел», которую прославили два выходца из ее недр — госсекретарь Джордж Шульц и министр обороны Каспар Уайнбергер. Первый занимал в «Бектеле» пост президента, второй был главным юридическим консультантом.

Лэрри Томас уверяет, что Бектел-отец и Бектел-сын, владельцы корпорации, пальцем не шевельнули, чтобы продвинуть своих людей в министры. Ведь в свое время, напоминал он, Бектел взял их из Вашингтона, где оба и раньше занимали министерские посты в администрациях Никсона и Форда. Шульц, к примеру, попал на глаза Бектелу-старшему при Никсоне, когда был министром труда. Переехав в Калифорнию, он остался при всех своих вашингтонских связях, не говоря уже о богатейшем опыте, — ведь он был и министром труда, и министром финансов, и директором административно-бюджетного агентства.

Лэрри, впрочем, не говорил — Шульц. Всех тут принято звать по домашнему. Шульц — это Джордж. Бектел-старший всего лишь Стив. А Каспар Уайнбергер и того короче — Кэп.

Уход Джорджа и Кэпа, говорил Лэрри, был потерей: «Ведь каждая крупная корпорация подстраховывается на случай чрезвычайных ситуаций, например смерти того или иного из ее руководителей, а тут уход был довольно внезапным». Джордж и Кэп вряд ли вернутся в «Бектел» после Вашингтона: оба и без того много заработали за свои годы в «Бектеле».

Корпорация известна колоссальными объемами работ в арабских странах, в частности миллиардными контрактами с Саудовской Аравией, где осуществляет строительство целого нового города. С Израилем деловых операций не имеет, так как не хочет терять свой арабский бизнес, а арабские страны бойкотируют западные корпорации, подвигающиеся в Израиле. За свой обширный бизнес на Арабском Востоке корпорация, если верить Лэрри Томасу, подвергалась политическому давлению со стороны произраильского лобби в США, но «это не мешает нам считать своими друзьями как Израиль, так и Саудовскую Аравию».

Потом Слава повозил меня по городу и к океану. Мелькали знакомые названия улиц, на которых когда-то бывал и которые, увы, припоминал скорее по названиям, чем по обличью. Вверх и вниз раскачивались на качелях знаменитых сан-францисских холмов, и на каждой вершине я не успевал насытиться прекрасным панорамным видом, как машина, кляя носом, катилась вниз.

Над океаном висела завеса дождя, серые длинные волны бежали к берегу.

Проехали по парку «Золотые ворота» с его вечной зеленью, по Хейт-стрит и Эшбери-стрит, где дома были как декорации на опустевшей сцене — на этой знаменитой сцене в конце шестидесятых годов бурлили толпы хиппи и бунтующих студентов. «Молодежная революция» минула и сгинула. В вечных приливах и отливах этой страны, то обнадеживающих, то озадачивающих нас, иностранцев, в ее меняющихся модах и поветриях соседние улицы приобрели теперь совсем скандальную славу — как обиталища гомосексуалистов.

На Гэри-стрит глаз, конечно, не пропустит желтых в крапинку луковок православного собора — над американскими домами на американской улице, запруженной американскими автомобилями. Ряды выходцев из Советского Союза пополнились в последние годы. Гэри-стрит прозвали Гэрибасовской.

Сегодня же встреча в сан-францисской торговой палате. Гостем палаты меня сделал Гарри О., ее исполнительный директор. Он же проводил встречу с сан-францисскими бизнесменами. Торговая пала-

та расположена на Калифорния-стрит, главной магистрали финансовой части города. Пришли солидные люди, расселись в массивных солидных кожаных креслах. Каждый известен в городе, каждый ворочает немалым делом. Но сразу же выяснилась старая огорчительная истина: они очень мало знают о нас, о нашей стране. Много меньше, чем мы о них. Один из участников беседы — президент крупной страховой компании, седой высокий мужчина с худым и сильным лицом — обезоруживающе откровенно в этом признался. Не знаем и потому опасаемся — вот смысл его выступления. Так узнайте же! Беда, однако, что знания получают преимущественно от тех, кто хочет лишь усилить страхи и опасения.

Один из присутствовавших, профессор-международник, возглавляет местный совет международных отношений. Его беспокоило то, что он назвал отсутствием творческого подхода в американско-советских переговорах о контроле над вооружением. Был еще бывший сан-францисский мэр, встречавшийся с многими крупными международными деятелями. Но и он не показал эрудиции, наивно предположил, что главным препятствием на переговорах служит проблема проверки и инспекции, спрашивал, почему нельзя пользоваться фотоаппаратами и кинокамерами в самолетах Аэрофлота. Самые умные вопросы задавал бизнесмен с сербской фамилией — президент торговой палаты города Сан-Хосе, лежащего к югу от Сан-Франциско, быстро развивающегося центра электронной промышленности.

Со своей стороны я спросил присутствовавших: не надеются ли нынешние руководители в Вашингтоне, усилив гонку вооружений, экономически измотать Советский Союз, заставить нас надорваться? Президент торговой палаты ответил примерно так: если у кого-то в Вашингтоне и есть такие намерения, их нельзя осуществить, потому что американский народ нетерпелив и откажется в течение долгого времени поддерживать политику рекордных военных расходов...

Гарри, кажется, остался доволен встречей.

У американцев тоже ведь любят ставить галочки, и он теперь может записать в свой актив симпозиум по вопросам американско-советских отношений с участием видных представителей делового мира Сан-Франциско и специально прибывшего советского американиста».

Да, Гарри был незаменимым помощником и проводником там, где не могли помочь или провести свои, к тому же занятые люди, в конце концов, никто в койсульстве не обязан помогать газетному корреспонденту, если он не сват, не брат и не заезжий начальник. А Гарри помогал Американисту зачерпнуть из стихии чуждой, запретной. И сам был частью ее, но частью особой.

Ему было около шестидесяти. Среднего роста. Ходил уверенно и прямо. Иногда в разговорах с советскими людьми на лице Гарри появлялось выражение сентиментальное и как бы виноватое. И тотчас менялось на обычное, твердое и уверенное, и он встряхивал остатки длинных седых волос.

— Хочу, чтобы наш народ жил как человек.— Эту смешную фразу Гарри сказал по-русски, сидя перед Американистом за столом исполнительного директора сан-францисской торговой палаты.

Когда Гарри говорил наш народ, он имел в виду именно наш народ, а не американский. Но Американист ни разу не слышал, чтобы, разговаривая с американцами, Гарри сказал наш народ. В свое время он был советским гражданином, волею обстоятельств превратился в гражданина американского, но не хотел порывать связей с родиной, напротив, крепил их изо всех сил, и поворот в своей жизни, сделавший его американцем, он как бы искупал и оправдывал перед советскими людьми той ролью, которую добровольно брал на се-

бя,— ролью живого и крохотного, в одну человеческую судьбу, мостика между двумя народами.

В детстве он был Гарриком, армянским мальчиком в Баку. Потом воевал, попал в плен к немцам, затем в американскую зону оккупации и в самую Америку; времена были героические и суровые, и он рассудил, что в родной стране его, бывшего военнопленного, вряд ли ждут с цветами и объятиями. Теперь этой истории превращения Гаррика в гражданина США было почти уже сорок лет. И получалось, что жизнь на две трети прошла за океаном, а корни остались в родной земле — и мать, старая большевичка, которую он приглашает иногда погостить к себе и которая всякий раз томится в Сан-Франциско и тянется домой, и брат, народный артист, руководитель популярного ансамбля, и детство с юностью, которые все чаще навещают человека на склоне его дней.

В Америке Гарри пробился и преуспел. Начиная голью перекаточной с подметания улиц, без единого гроша. Подсобили братья-армяне, жизнь на чужбине из поколения в поколение выучила их спайке и взаимовыручке. Вывезли также собственные способности, упорство, жизнестойкость. Он попал продавцом в ювелирный магазин и дальше, как многие из соплеменников, пошел по торговой части — до нынешнего поста в торговой палате города, где жил он своей второй, американской жизнью. Если бы наряду с коммерческим обладал он и литературным даром, то не было бы, наверное, цены его рассказам о том, как он пробивал себе дорогу в Сан-Франциско, о внутренней начинке американской жизни, о подноготной, которая скрыта от нас, посторонних, аутсайдеров. Но он не литератор, а предприниматель в среде предпринимателей с особой хваткой и умением, знающий, как ладить с разными людьми и как вовремя и в нужном месте купить, к примеру, дом и через год-два перепродать его большой строительной корпорации, которая именно на этом месте расчищает территорию для своего многомиллионного проекта, и от перепродажи — всего лишь от перепродажи — положить себе в карман, предположим, миллион долларов. Да, миллион! У нас это спекуляция, а у них — законная торговля недвижимостью, талант делать деньги, и он ценится выше всех других талантов. Это образ жизни, успех, без которого человек не может состояться. Гарри состоялся в Америке — с престижной работой и достаточным капиталом на остаток дней, с загородным домом, любящей женой из русских, с двумя сыновьями, которые избрали творческую стезю: старший — скульптор, младший — музыкант.

Гарри состоялся и в отношениях с советскими людьми. Не будь Гарри — удачливого бизнесмена, не было бы и Гарри — живого мосточка, энергичного и неутомимого, добровольного помощника советским коллективам, делегациям, отдельным работникам, приезжающим на короткий или более продолжительный срок в Сан-Франциско. Для советского генконсульства это самый деятельный активист из местных жителей, он не съезжился и не спрятался в укрытие при сильном похолодании и, не теряя надежды, работает во имя приближения теплых дней.

Американист и Гарри были всего лишь шапочными знакомыми. Но Гарри опекал Американиста как друга и родного человека, которому вдали от дома нужна понимающая душа. И верный своему смешному девизу: «Я хочу, чтобы наш народ жил как человек», — Гарри превратил его в гостя торговой палаты и устроил со скидкой в фешенебельный отель. Пусть не в своей тарелке чувствовал себя там Американист, зато выглядел солидным человеком. Отель «Хайятт-Ридженси» был лучшей визитной карточкой для гостя Сан-Франциско...

Вечером они ужинали с Гарри в Клубе мировой торговли за столиком у окна, а за окном в темноте лежала гавань, куда не забывают дорогу торговые суда под флагами всех стран.

Разгорячившись и расслабившись, отдаваясь той манере выпивать и закусывать, которую каждый раз он как бы заново возрождал в себе при поездках в Советский Союз и при встречах с советскими людьми в Сан-Франциско, Гарри громко и отчетливо на своем американизированном русском языке развивал любимую в присутствии соотечественников тему: как же все-таки улучшить американско-советские отношения?

В словах Гарри паролем звучало имя Кристофер. Он произносил его по-американски, с ударением на первом слоге. Кристофер (Христофор) был американцем греческого происхождения, бывшим мэром Сан-Франциско. Кристофер по-прежнему пользовался в городе известностью и весом, и в вечном состязании за власть разных групп сан-францисской элиты армянин Гарри, видимо, принадлежал к группе грека Кристофера. Гарри, выходило из его слов, верил в могущество Кристофера и считал, что оно простирается далеко за пределы города на заливе. Эта вера и составляла суть амбициозного проекта, который Гарри со всевозможным красноречием излагал Американисту. Создать представительную торгово-экономическую делегацию во главе с Кристофером, включив в нее президента «Бэнк оф Америка» и других крупнейших представителей калифорнийского бизнеса, добиться благословения государственного секретаря Шульца и самого Рейгана, тоже калифорнийцев, и отправиться с широкими полномочиями в Москву для встреч и разговоров на самом высоком уровне. Вот он, самый подходящий, поистине чудодейственный рычаг. Возьмись за него — и все встанет на место.

Многоопытный Гарри был тут наивен как ребенок, он явно не понимал, как громоздок и тяжел мир, который он хотел бы выправить и выпрямить при помощи Кристофера из Сан-Франциско. Как человек деловой, практической жилки, он не знал и не признавал теорий, доктрин, концепций. В его сознании все завязывалось на людей и на личные связи — даже в отношениях двух гигантских держав, воплощавших две общественно-экономические системы и два взгляда на развитие мировой истории. Все можно уладить через нужного человека в нужном месте. И за столиком в Клубе мировой торговли то и дело вылетало из его разгоряченных уст магическое слово — Кристофер. С ударением на первом слоге. И с соседних столиков на них оглядывались сан-францисские бизнесмены, пришедшие поужинать в своем клубе с женами, друзьями и детьми. В диковинной для них русской речи Гарри они понимали лишь это произносимое по-английски слово — Кристофер. Чудак армянин привел еще одного советского гостя и опять разгорячился, подвыпив с ним, — вот примерно что они думали при этом. Россия и отношения с ней при всей их важности не занимали большого места в жизни этих людей, и, наверное, они удивились бы, узнав, в каком драматически глобальном контексте вырывалось у Гарри имя бывшего мэра.

Был уже поздний вечер, когда в маленьком, новой модели «кадиллаке» Гарри они поднялись на аристократический Ноб-хилл, где рядом с отелями «Марк Гопкинс» и «Фэрмонт» шла открытая денежным людям ночная жизнь. В подвальном баре «Алексис» тускло светилась стойка с бутылками, и лишь в отдаленном углу тихо сидела молодая пара. Молодой бородатый человек за пианино наигрывал нечто донельзя знакомое, нечто из довоенных лет. Американист не позволял себе расслабиться, а Гарри отяжелел и неожиданно помрачнел.

Он снова оседлал своего любимого конька. Делегация во главе с Кристофером должна была по его расчетам отправиться поздней весной или летом, а сам он на днях летел в Москву с другой делегацией — Американско-советского торгово-экономического совета. Он волновался перед поездкой.

Американист вдруг понял, что при всем уверенном поведении Гарри в Сан-Франциско возвращения на родную землю с паспортом американского гражданина каждый раз давались ему тяжело.

В Сан-Франциско Гарри был помощником, проводником и другом приезжавших советских людей. В Москве же для тех, кто не знал ни его, ни его истории, он был непонятным, а то и подозрительным американцем — с армянской фамилией и знанием русского языка. В Сан-Франциско он говорил мы о нашем народе, как будто и не перестал быть его частью. Но в Москве, в Шереметьевском аэропорту он не мог сказать мы, оказавшись перед советским пограничником или таможенником.

И вот перед каждой поездкой чувство неприкаянности и раздвоенности терзало его, и в сумраке подвального бара на Ноб-хилл он рассказывал Американисту историю, которая угнетала его и не выходила из головы, — о том, как однажды его обыскивали на московской таможне.

Они с женой возвращались в Соединенные Штаты после очередной поездки в Советский Союз, дело было в Шереметьевском аэропорту, жену таможенный контроль уже пропустил, а его вдруг задержали, попросили пройти в служебное помещение, где сообщили, что должны подвергнуть дополнительному и более тщательному досмотру, обыскать. Он был удивлен, обижен, оскорблен, спросил — на каком основании, в чем его подозревают. На том основании, сказали ему, что он слишком часто и, значит, неспроста ездит в Советский Союз. Во всяком случае, так он запомнил слова таможенника, и они до глубины души потрясли его, потому что эти слова как бы лишали его права совершать такие поездки, хотя в американском его паспорте, конечно же, стояла соответствующая советская виза, выданная консульством в Сан-Франциско.

А что, в конце концов, случилось? Таможенники всего лишь на всякий случай проверили человека, показавшегося им подозрительным.

Перед новой поездкой жена отговаривала Гарри: «Зачем тебе все это нужно? Да еще в такой холод? Сидел бы себе на даче...»

Заведясь, Гарри не мог остановиться. Повез своего гостя в одно русское заведение. Кирпичный угловой дом на Пасифик-авеню молчал в ночной тишине. Но когда молодой, ежившийся от прохлады и одиночества негр-швейцар открыл им дверь, со второго этажа донеслись громкие звуки ресторанного веселья. В табачном дыму гудели люди, разгоряченные вином и музыкой. Столы в зале были необычными, длинными, и за каждым сидело как бы артельно десятка два мужчин и женщин. Низенькая женщина армянской внешности, улыбаясь, поспешила навстречу Гарри. Они расцеловались как старые знакомые. Армянка средних лет и была владелицей русского заведения. Улыбаясь и встряхивая остатками седых волос, Гарри представил ей Американиста как человека их общего круга. Все трое понимали при этом, что гость из Москвы не может быть человеком этого круга, и в словах и во взгляде хозяйки Американист почувствовал не более чем любезность и оценил ее как верно установленную дистанцию.

Им нашли место за одним из длинных столов. В русском заведении, принадлежавшем армянке, ночная публика говорила больше по-английски, правда, многие с акцентом. А привлекало это заведение людей, в разное время покинувших Россию или Советский Союз и сохранивших ностальгическую память о российской эстраде.

С ресторанным шумом и гамом воевали аккордеонист и скрипач, которых Гарри отрекомендовал как бывших одесситов. Полусидя на высоком стуле, аккордеонист Борис не только играл, но и пел в микрофон, прикрепленный на изогнутой металлической трубке к его ак-

кордеону. У Бориса было грубое, больше ротое и подвижно-выразительное лицо, и пел он хорошо, с душой и очень отчетливо выговаривая русские слова песен. «Эх, сыпь, Семен, подсыпай, Семен», — отчетливо выговаривал Борис, переделав в Семена лихую Семеновну из русской песни.

Американисту нравилась манера Бориса, вслушиваясь в его пение, он тоже поддавался ностальгическому настроению, но чувство неловкости не проходило, а, напротив, усиливалось. Озираясь, он ловил взгляды, в которых были недоумение, вопрос и холодное любопытство.

Впрочем, он нашел и один вполне доброжелательный взгляд. Сидевший через стол мужчина в затемненных отсвечивающих очках заговорил по-русски. Он оказался профессором из Беркли. Родился в Харбине, куда попали его родители, покинув Россию после революции. Затем с Дальнего Востока перебрался на Дальний Запад, американский. Недавно, между прочим, побывал в Харбине, даже нашел дом, где родился, даже зашел в комнату, в которой жил; разгородив, ее занимали четыре китайца. Трижды ездил в Советский Союз, а русский язык сохранил в прекрасном состоянии еще и потому, что считает себя человеком русской культуры. Это стоило ему больших усилий: ни жена, ни дочь не говорят по-русски, среди коллег — очень немногие.

«Вдоль по улице метелица метет, — пел между тем Борис, и из его большого рта вкусно, красиво, протяжно вылетало: — Ты постой, постой, кра-са-ви-ца мо-я, дай мне на-гля-деть-ся, ра-дось, на те-бя-а-а...»

Он тоже превосходно владел русским языком со всеми его песенными переливами, но еще и потому хорошо пел, что пел как иностранец. Он давно отдалился от этой песни и изменил ей и, поняв, что потерял, возвращался теперь к ней, заново ощущая всю ее красоту, и именно это придавало особую грусть, лихость и прелесть его исполнению...

И был еще один сан-францисский вечер у Славы и Валя в их сан-францисской квартире на двадцать девятом этаже.

Было тепло. Через раскрытую дверь смотрело темное небо. С балкона открывалась головокружительная панорама города, бегущего по волнам холмов рядом с волнами океана. Внизу наискосок уходила к берегу залива главная улица Маркет-стрит в огнях рекламы, уличных фонарей и автомобильных фар. У ног лежал Сити-холл, выстроенный в стиле административного неоклассицизма. Но взгляд манила к себе даль. В вечернем зареве огней, обрывавшихся у темной кромки воды, начинался длинный светящийся пунтир Бэй-бриджа — моста через залив, и там на суше грудились новые небоскребы банков и корпораций, как будто собравшись воедино перед решительным наступлением на старый, уютный, малоэтажный Фриско.

Большой дом был на одну треть отдан под квартиры, на две трети — разным конторам. На двадцать девятом этаже Слава и Валя прожили уже четыре года. Он уходил с утра в свой офис в том же доме и там посредством телетайпа подсоединялся к новому зданию ТАСС у Никитских ворот в Москве, где работали его коллеги, друзья и товарищи, получал от них указания, задания и выпуски информации, которые они рассылали по всему свету, и со своей стороны, со стороны тихоокеанского побережья Америки, печатал, пуншировал и телексом отправлял туда, на Тверской бульвар, к Никитским воротам, сообщения о сан-францисских, калифорнийских и общеамериканских событиях.

Слава был рядом, занятый своей корреспондентской работой, а Валя томилась в квартире с головокружительными видами. Прекрасный город и впрямь лежал у ее ног, но что проку: много ли в нем

дверей, которые по-дружески откроются, и окошек, куда по-свойски постучишься?

Трое москвичей вспоминали былые дни и общих знакомых. А между тем на низком столике, возле которого они сидели, среди тарелок и бокалов служебным вкраплением лежал листок с текстом на английском языке. Слава принес его из своего офиса, оторвав от ленты, которая непрерывно ползла днем из маленького легкого, как нотный пюпитр, телекса и которую заполняло своими сообщениями американское информационное агентство ЮПИ. Московский корреспондент ЮПИ сообщал о том, что в советской столице по причине, еще не объявленной, внезапно отменили трансляцию по телевидению концерта в честь Дня милиции, а также хоккейного матча. Вместо этого, сообщал корреспондент, передают Бетховена и другую классическую музыку. Дикторы телевидения появились в темных галстуках. В осторожных выражениях корреспондент высказывал предположения, что могло случиться и с кем. Подобные сообщения передавались и другими иностранными корреспондентами, и два советских журналиста, встретившиеся в Сан-Франциско, тоже гадали, что бы это могло означать.

После ужина, спускаясь в гараж, они заглянули в офис Славы. Телетайпы по-ночному молчали. И Слава вывел машину на ночную Маркет-стрит и повез гостя в отель.

...Он еще дремал и за окном было темно, когда внезапный телефонный звонок подбросил его с постели. Прозрачно-зеленые цифры на электронном табло тумбочки показывали семь утра. Он узнал голос Славы. По деловой собранности голоса чувствовалось, что Слава давно на ногах.

— Не разбудил? — И не дав ответить, сказал: — Тут вот какое дело. Это — Брежнев.

Вскочив, Американист включил телевизор. Телевизор не спал, и по всем каналам перерабатывал гигантскую новость. В Вашингтоне и Нью-Йорке, откуда велись передачи, шел уже одиннадцатый час дня. Эй-би-си в видеозаписи показывала президента Рейгана. Президент выступал перед пожилыми, но молодцеватыми американцами с медалями на груди, приветствуя их по случаю Дня ветеранов. В своем приветствии он сообщил ветеранам, что направил соболезнование в Москву по случаю кончины советского руководителя. Эй-би-си вела и специальную передачу — голос бывшего президента Форда отвечал корреспонденту, кадры с бывшим президентом Картером, которого нашли репортеры, видеозапись беседы с бывшим госсекретарем Киссинджером — еще полгода назад его подробно расспрашивали, что будет с американо-советскими отношениями, если... Телекадры трехлетней давности переносили зрителей в Вену, где лидеры двух стран подписывали договор об ограничении стратегических вооружений ОСВ-2. Подписав договор на торжественной церемонии и поздравляя друг друга, они вдруг потянулись друг к другу и, испытав мимолетное замешательство, поцеловались. Поцелуй вышел нечаянным и трогательным. Минутный порыв. Незапланированный сентиментальный эпизод истории. Тогда росчерком пера они увенчали громадную многолетнюю работу с обеих сторон, но американский президент не довел ее до конца — подписанный договор так и не был ратифицирован американским сенатом.

Телевизионные комментарии были уважительными и уже спокойными по тону, поскольку первоначальное потрясение, вызванное внезапным известием, прошло. Гадали о будущем, причем и государственные деятели и журналисты в один голос предполагали преемственность и стабильность советской внешней политики...

Американист на два дня сократил свое пребывание в Сан-Франциско, переделав билет с воскресенья на пятницу.

Над зданием советского генконсульства на Грин-стрит флаг уже был приспущен. В зале первого этажа генконсул, одетый в темный костюм, распорядился установкой траурного портрета и ждал американцев-посетителей. На столе перед портретом лежала книга для записи соболезнований.

Новость из Москвы совпала с американским праздником — Днем ветеранов. Официальные учреждения в Сан-Франциско не работали, меньше обычного было автомашин на улицах и дорогах. Пасмурный с утра день постепенно разошелся. Попадет ли он еще в этот город? Он пешком отправился вдоль берега залива в знаменитый район Рыбацкого рынка. Там, среди ресторанчиков и сувенирных магазинчиков, как всегда, царил праздничный толпа, веяло сырым духом морской пучины — продавали креветок, крабов, устриц, омаров и всевозможную рыбу, переложенную на прилавках кусками битого льда. Он отмечал перемены, подтверждающие, что сан-францисские жители и коммерсанты сохранили умение обживать свой город, со вкусом строить новое, а старину приспособлять к меняющимся временам и потребностям.

Когда вернулся в отель, телеэкран продолжал обрабатывать сенсационную новость из Москвы. Еще не было объявлено, что американскую делегацию возглавит вице-президент Буш, и потому гадали, полетит ли на похороны советского президента сам президент. Большинство комментаторов полагало, что да, должен ехать по соображениям как дипломатической вежливости, так и государственной политики, что надо использовать эту поездку для знакомства с новым советским руководством, что в момент, напоминающий о брэнности жизни и о смертном уделе даже самых больших людей, надо продемонстрировать уважение к другой ядерной державе и еще раз символически выразить желание жить с ней в мире.

Теперь Американист не отрывался от телеэкрана. Он знал, что в такие дни газета не ждет материалов от своих корреспондентов, что все сообщения будут официальными, но нес свою вахту у телеэкрана, и рой мыслей витал в его голове — мыслей о прошедших годах, о будущем родной страны, об отношениях с Америкой.

Около полуночи по каналу Эй-би-си снова началась специальная полуторачасовая передача. Снова выступали бывшие президенты — Никсон, Форд, Картер, встречавшиеся с умершим советским руководителем, бывшие госсекретари Киссинджер и Хейг, известные специалисты из нью-йоркского Совета международных отношений. В этот особый день они выдерживали спокойно-рассудительный, уважительный тон. В тех или иных словах все говорили о том, как важно понимать и соблюдать взаимные интересы, международную безопасность в тот момент, когда меняются люди у руля другой великой державы.

Утром он вылетел из Сан-Франциско. К вечеру был в Вашингтоне. А еще через день, в воскресное утро, вместе с другими советскими корреспондентами приехал в посольство, куда президент Рейган должен был нанести визит соболезнования.

И на этот раз парадная дверь в посольство и металлические ворота, через которые должен подкатить к двери президентский лимузин, были раскрыты. Царила атмосфера напряженного ожидания и того повышенного внимания ко всем деталям, которая обычно предшествует появлению чрезвычайно важного лица.

Президент, живущий и работающий в трех кварталах от советского посольства, ни разу его не навещал, как ни разу не был он и в Советском Союзе.

Корреспондентам сказали, что непосредственно перед приездом президента их впустят на второй этаж и там с близкого расстояния, стоя у колонн напротив комнаты с траурным портретом, они смогут наблюдать церемонию, которой придавалось важное символическое

значение. Собравшись на первом этаже в комнатке пресс-отдела, они ждали сигнала.

По коридору быстро прошел посол с траурной повязкой на рукаве темного пиджака, как всегда, энергичный и приветливый. Судя по тому, что он шел из своего кабинета в направлении вестибюля, минута приближалась.

Но приглашения на второй этаж корреспонденты так и не дождались. Пригласили лишь представителей телевидения и ТАСС для картинки и официального сообщения. Остальные раздосадованно ждали их возвращения и рассказа. Два очевидца вернулись быстро. Влетели в комнату возбужденные и тоже чем-то раздосадованные, и тассовец сразу принялся исправлять свою заранее заготовленную версию, вычеркивая из нее минуту траурного молчания. Очевидцы делились с коллегами деталями, которым не нашлось места в коротком тассовском сообщении, сразу отправленном в Москву. Президент, рассказывали они, поднялся на второй этаж в сопровождении посла и своих охранников, бросился в красное кресло, стоявшее у столика перед траурным портретом и сделал лаконичную запись в книге соболезнований. Впервые попав в советское посольство, президент оглядывался. Один очевидец говорил, что с любопытством. Другой — с испугом.

Американист запомнил эти два слова из впечатлений коллег — бросился и оглядывался.

В здании посольства он наблюдал однажды другого президента США. В июне 1973 года в ходе своего официального визита советский руководитель дал обед в честь главы американского государства. За круглыми столами, расставленными в Золотом зале, собрался цвет официального Вашингтона. Представители прессы, не допущенные в зал, толпились на лестничной площадке, и Американист, подавляя чувство понятной неловкости ради профессионального любопытства, вместе с коллегой пробился к раздвигавшейся двери и одним глазом видел не только круглые столы, за которыми сидели сенаторы и министры с женами, но и главный стол с главными людьми под большим зеркалом в золоченой раме.

Парадный зал никогда еще не блистал так, как в тот вечер. Его заново позолотили и отделали мастера, специально присланные перед государственным визитом из Москвы, а из-за стульев для официального обеда, взятых напрокат и тоже позолоченных, вышел небольшой конфуз — краска не совсем высохла, и два-три сенатора покинули зал после обеда со спинами в золоченую полоску.

Так вот, они заглядывали в зал, стоя у двери, и наш охранник, стоявший там же, со значением сказал им: «Я на вас надеюсь, ребята!» Этими словами их стояние было узаконено, и Американист мог видеть и слышать, как за главным столом происходил обмен речами. Каким оптимизмом дышали сказанные тогда слова! Они запомнились ему вдвойне именно потому, что он слышал их собственными ушами, а не просто прочитал в пресс-бюллетене и газете.

— Мы — оптимисты, — слышал он, — и считаем, что сам ход событий и понимание конкретных интересов подведут к выводу о том, что будущее наших отношений на пути к их взаимовыгодному развитию на благо нынешнего и грядущих поколений людей. Мы убеждены, что, опираясь на крепнущее взаимное доверие, мы сможем неуклонно идти вперед. Мы — за то, чтобы дальнейшее развитие наших отношений приняло максимально стабильный, более того — необратимый характер...

Они вышли из посольства. Забрав на парковке машину, отправились на Конституьонн-авеню, которая не должна была быть пустой в этот солнечный и холодно-ветренный день.

Обретая космические скорости, люди стали повторять, что Земля наша мала. Разве и впрямь не мала — вокруг шарика за полтора часа?! Но для кого и для чего она мала, наша планета? Она не так уж мала даже для космонавтов, которые в особой своей ностальгии озирают бело-голубую красу из черной бездны космоса. Тем более Американист по роду и характеру своей работы постоянно ощущал не малость, а разность и разноликость Земли и в этом — ее необъятность.

И в тот воскресный ноябрьский день Земля, помимо всего прочего, свободно вмещала траур в Москве и парад в Вашингтоне.

Это был американский парад — шествие гражданских граждан с вкраплениями военных, больше отставников. Он двигался по Конститушн-авеню, этот американский парад, который долго и рекламно-громко, с особым тщанием готовили, — парад ветеранов вьетнамской войны. Война все дальше уходила в прошлое, но в Америке никак не могли сладить с памятью о ней. И все потому, что война кончилась позорным поражением той шовинистической Америки, которая в ходе ее без конца повторяла свой любимый девиз, что Америка выигрывает все свои войны. Непопулярность войны, расколовшей нацию, распространилась и на ее участников — американских солдат, делавших жестокое, кровавое, грязное дело. А после войны, убравшись восвояси из чужой страны, американцы продолжали воевать друг с другом, по-разному истолковывая уроки Вьетнама. По-ученому это похмелье назвали вьетнамским синдромом. Избегать новых Вьетнамов, новых вооруженных интервенций за рубежом или продолжать ту же империалистическую практику, но без колебаний, и в новых Вьетнамах побеждать, а не проигрывать. Ответы менялись в зависимости от того, какими были преобладающие общественные настроения или, точнее, кто успешнее создавал их и дирижировал ими. Шовинистическая Америка Рональда Рейгана исподволь готовилась к возможности новых Вьетнамов и в то же время призывала забыть ссоры и распри периода войны и не жалеть патриотического елеса на чистых и хороших ребят, которые совсем еще молодыми ветеранами вернулись из проклятых джунглей. Кем бы ты ни был, американец, и как бы ни поступал в те годы, отныне твой патриотический долг — чествовать и славить этих ребят.

Вот что означал парад, на который съехались ветераны из всех пятидесяти штатов. И два советских американиста, когда-то наблюдавшие и переживавшие в Америке ход далекой войны, не могли не прийти в этот день на Конститушн-авеню.

Парад задумали как эпилог, но ему не хватало внушительности и потому — завершенности. Пестрыми группками, подняв штандарты своих штатов, вразнобой двигались по мостовой тридцатилетние вьетнамские ветераны, и их пятнистые ядовито-зеленые куртки и такие же мятые военные шляпы с узкими полями вызвали в памяти телевизионные сценки периода войны — солдаты, так же одетые, но не на фоне вашингтонских министерских зданий, а на фоне соломённых хат и низеньких раскосых людей, прикрывшихся от жгучего солнца конусами соломённых шляп. У тех солдат, которые живьем попадали на телеэкраны и которым еще предстояло стать либо мертвецами, либо ветеранами, были в руках не звездно-полосатые флажки, а винтовки «М-16». В телекадрах тех лет они не шествовали, а шастали по тем деревьям, настороженно озираясь и поводя из стороны в сторону своими винтовками. Иногда, озираясь, они лихорадочно поднимали в санитарные вертолеты раненых товарищей, лежавших на носилках, а теперь по Конститушн-авеню их катили в инвалидных колясках, и они тоже махали звездно-полосатыми флажками, но от этого им не было легче, война до гробовой доски осталась с ними, с их искалеченными телами, в их искалеченных судбах.

Нет, все-таки нелегко было справиться с наследием той войны. И потому самыми солидными и уверенными из участников парада выглядели седые мужчины не в ядовито-зеленых куртках, а в черных пиджаках, блейзерах. Им не досталась память о джунглях, напалме и соломенных хатах. Седые были участниками других войн, после которых сохранили уважение к себе и своему боевому прошлому.

Ветераны маршировали от белого купола Капитолия в направлении Линкольновского мемориала, где накануне открыли памятник павшим во вьетнамской войне. Дул холодный порывистый ветер, трепал флажки, уносил прочь медные звуки маршей, и на этом ветру за спинами зрителей двое парней развертывали белое полотнище плаката. Когда полотнище надулось, как парус, наши два американиста прочли: «Хватит выворачивать наизнанку прошлое ради будущей, третьей мировой войны. Хватит с нас шовинизма!!!»

Через несколько дней Американист осматривал новый памятник, о котором много писали. Его не возвели, а скорее утопили, спрятали. Не будь рядом такого ориентира, как величественный Линкольновский мемориал, памятник, пожалуй, и не найти. Он представлял подобие гигантского окопа, имеющего форму широко распахнутой буквы V, которая в данном случае могла означать лишь Vietnam и никак не victory — победу. Внутренняя сторона окопа, его две протянувшиеся на десятки метров, широко распахнутые буквой V стены были выложены плитами великолепного черного мрамора, привезенного из Индии. Каким-то чрезвычайно точным электронным способом (о чем сообщали бесплатные буклеты, которые мог тут же взять любой желающий) на мраморных плитах были нанесены имена и фамилии всех американцев, погибших и пропавших без вести во Вьетнаме. Скорбный список начинался 1959 годом и в хронологической последовательности шел к 1975 году, последнему году войны и потерь. В нем значилось более пятидесяти восьми тысяч человек.

Вдоль стен из мрамора пролегалли узкие бетонные дорожки. По ним, останавливаясь и всматриваясь в имена, прохаживались любопытствующие американцы и американки. Нацелив объективы на мраморные плиты, кое-кто из посетителей занимался фотографированием.

И была еще одна одинокая ночь в Айрин-хаузе и сонный Сомерсет за окном. Он заснул в первом часу не раздеваясь. И тотчас проснулся, опасаясь проспать, и лежал, вслушиваясь в тишину. Около двух часов ночи встал, зажег лампу у дивана в гостиной, и приглушенно, чтобы не слугнуть всеобщую тишину, разбудил стоявший на полу большой ящик телевизора. Моментально ожил экран, и среди спящего вашингтонского предместья как бы въяве возникли суровые ноябрьские улицы, желтый корпус гостиницы «Москва», серое здание Совета Министров, Дом союзов с его колоннами.

В Москве было десять утра, в Вашингтоне — два часа ночи. Благодаря обыкновенному чуду нашего времени — спутникам связи, одиноко пронсящимся в космической тьме, он перенесся на знакомый отрезок старого, преображенного и переименованного Охотного ряда. Очищенная от людей и обычного движения улица была подготовлена для похоронной процессии.

Вплоть до пяти часов сидел он один перед тихо работающим телевизором.

Телекомпания Эй-би-си, добиваясь первенства в политических новостях и репортажах, вела в ту американскую ночь прямой репортаж из Москвы, и, сидя у телевизора, в один и тот же миг с десятками миллионов соотечественников он видел все то, что видели они — последнюю вахту почетного караула, генералов, несущих

красные подушечки с орденами, медленное шествие за гробом на орудийном лафете, Красную площадь, заполненную недвижимыми людьми, кремлевские башни и стены и все более частые и пристальные кадры трибуны Мавзолея...

Никто из советских работников, конечно же, не спал в эти ночные часы — ни в посольстве, ни в комплексе, ни в квартирах, разбросанных по районам Вашингтона и его предместьям. Но внимательную ночную аудиторию составляли не только советские люди. Забыв о сне, бодрствовали у телеэкрана и специалисты-советологи из американских служб и спецслужб, наблюдая за «сменой караула» в Москве.

Конгресс, распущенный перед выборами, еще не возобновил работу, а новый должен был собраться лишь в январе. Сенаторы и конгрессмены, переизбранные, впервые избранные или неизбранные, но не досидевшие остаток срока, еще не вернулись из своих городов и весей или из поездок по белу свету.

— Его нет в городе...

— Он еще не вернулся...

— Обещал быть через неделю...

Те немногие, кто был в городе, ссылались на занятость. Американист обнаружил, что и сотрудники посольства с их богатыми связями на Капитолийском холме, не очень-то могли помочь ему. Шпиономания вернулась на Капитолийский холм, а кто-то не хотел видиться с красным, как и Чарльз Уик, по соображениям идеологической несовместимости.

Журналисты охотнее шли на контакт. Американист встретился с заведующим вашингтонского бюро влиятельной газеты — высоким моложавым блондином с мягкой улыбкой и обаятельными манерами. Когда-то он был корреспондентом в Москве и мягкость, улыбочивость, обаяние ему пригодились. По возвращении он написал такую книгу, что путь в Москву был ему на долгое время закрыт, но зато открыт путь наверх в собственной газете.

Завбюро был журналистом либерального направления, не совсем ко двору в консервативном Вашингтоне, но не терял надежды. Как у всякого либерала, надежды его быстро умирали и быстро возрождались.

Последнюю по времени надежду он связывал с особой госсекретаря Джорджа Шульца. Госсекретарь, внушал он Американисту, способен благовопно влиять на президента. Вкупе с Шульцем в направлении сдержанности и умеренности воздействуют на президента и некоторые его ближайшие помощники. Манера Шульца, слышал похвалы Американист, — постепенно, но глубоко вникать в ту или иную проблему, вырабатывать свой вариант решения и исподволь убеждать Рейгана в своей правоте. У госсекретаря еще не было времени как следует войти в сложную проблему контроля над вооружениями, а когда он войдет, ждите перемен к лучшему, более здравого подхода с американской стороны, обнадеживал Американиста его обходительный собеседник. В конгрессе тоже есть надежда. Там Рейгана сдерживают большинство демократов в палате представителей и позиция некоторых умеренных сенаторов, серьезных и влиятельных людей. Предстоит битва за военный бюджет, и он будет расти, сомнений нет, но не такими темпами, как хотела бы администрация.

Собеседниками Американиста были и два известных обозревателя из крупнейшей вашингтонской газеты. Один из них, молодой, красивый и, пожалуй, слишком уверенный, говорил, что Рейган на второй срок не будет переизбираться, потому что Нэнси, его супруга, против, она хочет возвращения к спокойной частной жизни. и вообще президентская работа оказалась более хлопотной, чем Ронни

предполагал; военный бюджет, внесенный администрацией, может быть, и не пройдет, конгресс всерьез намерен его сократить, не исключено, что зарубят и проект создания межконтинентальных ракет «МХ», но президента вряд ли удастся поколебать в вопросе о контроле над вооружениями.

Суждения молодого человека, пользовавшегося большим весом в своей газете и некоторым весом в вашингтонском обществе, тоже в чем-то звучали резонно.

Второй обозреватель, постарше возрастом, с печальным выражением лица, очень искренне говорил, что мы, американцы и русские, не понимаем друг друга, и не хотим понимать упорно и отчаянно, и видим козни, заговоры и дьявольские планы даже там, где на самом деле есть всего лишь случайность, сочетание разрозненных и неувязанных друг с другом действий. Эту мысль об опасном торжестве непонимания он избрал темой своей книги.

* * *

Землю закрывали облака. Когда они редели, земля проступала сквозь их белесые летучие космы, пасмурная земля, горный край, уставивший в небо пики осенних лесов. Под крылом самолета плыли Аппалачи.

Американист летел в Чарлстон, столицу штата Западная Вирджиния, и это не был полет на широкофюзеляжном гиганте через весь континент. Авиакомпания «Пидмонт» так же мало известна за пределами Соединенных Штатов, как город Чарлстон, куда он следовал. Ее самолет уходил не с просторного международного аэропорта Даллас под Вашингтоном, а с Национального аэропорта, втиснувшегося прямо в столичные предместья на правом берегу Потомака, что давно вызывало протесты и жалобы жителей, порой приводило к авариям, но, в общем, не мешало этому занятому аэропорту каждые сутки выпускать и принимать сотни самолетов, много больше, чем его современному и красивому сопернику.

Воздушная дорога до Чарлстона занимала меньше часа. Рядом сидела пухлогубая негритянская мадонна в джинсах, и младенец с черными выпуклыми глазами и головкой в редких курчавых волосиках орал как резаный от самого Вашингтона вплоть до Чарлстона. Мать не могла его утихомирить, да и не очень старалась. Пассажиры будто бы и не слышали рев, и это еще раз утвердило Американиста в двух давних выводах: во-первых, американцы в обычной своей жизни не имеют обыкновения вмешиваться в чужие дела, во-вторых, черная мадонна с орущим младенцем путешествовала в незримой капсуле отчуждения от белых. Одного он не мог понять, привыкнув разгадывать американские загадки: что делать негритянке в Чарлстоне, белокожем чуть ли не на сто процентов?

Обнаружилось, что Чарлстон был первой остановкой на ее пути. Дальше самолет шел в Чикаго, где каждый третий житель негр и скоро будет каждый второй и где даже мэром недавно стал чернокожий.

Когда самолет шел на посадку, по-осеннему неприветливые горы все еще тянулись без конца, и, словно не найдя более ровного места в этом краю, самолет сел на срезанной верхушке горы, и пока бежал, тормозя, к скромному зданию аэровокзала, сбоку мелькали старые пузатые пятнистые, как десантники, самолеты национальной гвардии.

Аэровокзал был не больше положенного городу с населением в шестьдесят четыре тысячи человек, но раздвижная «гармошка» сразу же нацелилась своим жерлом на люк прибывшего самолета, и, войдя в здание вместе с другими пассажирами, Американист сразу же увидел вывеску «Херц», самой известной из компаний, сдающих

автомобили напрокат. Он мог, заплатив, взять машину прямо в аэропорту и катить куда угодно, хоть на другой конец Америки, потому что всюду есть отделения «Херц» и каждое из них примет машину, арендованную тобой у «Херц». Но, советский гражданин, он не имел права пользоваться этим удобством — в порядке неукоснительного соблюдения принципа взаимности, что в данном случае, видимо, предполагало отсутствие советского эквивалента «Херц» для американцев, работающих в Советском Союзе.

Такси скатилось с горы в долину, залитую солнцем, оставив облачность в горах. В долине текла река Кэнзуа, которую давайте переименуем по-русски — Канавка: какой еще стать реке, если берега ее еще с прошлого века оккупировала индустрия? По старому грохочущему железному мосту они переехали на другую сторону этой довольно широкой и полноводной Канавки. На другой стороне и находилась основная часть старого промышленного города, столицы маленького штата Западная Вирджиния (население около двух миллионов), который для своего герба избрал камень в центре и фигуры фермера и шахтера по бокам, а внизу герба значится и соответствующий девиз по латыни «Горцы всегда свободны».

Таксист между тем вез его дальше, туда, где на отшибе среди стройплощадок и стальных каркасов новостроек высилось новенькое здание отеля, принадлежащего корпорации «Мариотт». В последние годы эта корпорация усиленно внедрялась в прибыльный гостиничный бизнес, раздвигая локтями соперников и переманивая престижностью и комфортностью тех деловых американцев, которые не скупятся на траты и любят пускать пыль в глаза — преимущественно за счет фирм, по чьим делам они путешествуют и в чьих интересах должны выглядеть как можно обеспеченнее и богаче. Не всякий может себе позволить или захочет из собственного кармана выложить семьдесят или восемьдесят долларов, чтобы переночевать в гостинице маленького провинциального городка.

Отели, гостиницы — повторяющийся элемент в путешествиях наших дней, в том числе и в путешествии, которое мы описываем. Гостиница в скромном Чарлстоне, как и фешенебельный сан-францисский отель «Хайятт Ридженси», также возвращала Американиста к повторяющемуся мотиву его путешествия — не в своей тарелке.

Что он Гекубе, что ему Гекуба? Но чужое расточительство и помешательство на престижности возмущали его, тем более что, заботясь о престиже своей газеты и своей страны, он и в провинциальном Чарлстоне должен был подчиняться не своим, а американским понятиям престижности, хотя внутренне бунтовал, жалея казенные доллары.

Сметы, утверждаемые для советских граждан, командированных в Соединенные Штаты, менялись в сторону повышения, особенно в последние годы, но не попевали за американскими реалиями, которые менялись еще быстрее, за инфляцией, которую прозвали галопирующей. С этого диссонанса, с осознания этой частной истины начиналась забота нашего героя в каждом американском городе, как только он добирался до очередного отеля. И мы не можем отмахнуться от нее как от досадной мелочи, не изменив при этом главной истине о диалектической взаимосвязи вещей. Техническая, по существу, тема расходов, предусмотренных на гостиницу, опять выводила Американиста на магистральную тему материальной, финансовой, политической, психологической, нравственной — и какой еще? — несовместимости между нами и американцами. Если позволительно сравнение космическое, у двух держав, живущих такой разной жизнью, нет унифицированных стыковочных узлов, они движутся по разным орбитам и разными курсами и всякий раз, что ни возьми, от платы за гостиницу до межгосударственных соглашений, проблема одна — как состыковаться.

Номер заказал старый знакомый, чарлстонский издатель Нэд Чилтон. Теперь, стоя перед хлыщеватым клерком, Американист мысленно сокрушался: не состыкуешься даже с добрым знакомым. Хотя, понимал он по здравому размышлению, Нэд не мог поступить иначе. Разве это не долг истинного чарлстонского патриота — не ударить лицом в грязь перед гражданином из соперничающей державы?

Они познакомились десять лет назад, когда Американист, решив взглянуть на очередные американские выборы через глубинку, впервые очутился в Чарлстоне и нанес визит вежливости в «Чарлстон газетт». Нэда Чилтона удивил и заинтриговал неожиданный гость. Нэд был приветлив и насмешлив. Хотя и узкогруд, но заядлый теннисист и любитель подводного плавания. Теннисом и плаванием Американист, увы, не занимался, но чарлстонский издатель привлек его своей живой и доброжелательной насмешливостью, либеральными взглядами и критикой тогда еще продолжавшейся американской войны во Вьетнаме.

Нэд вызвался помочь Американисту и выделил одного из своих репортеров. Вдвоем под октябрьским дождем, в осеннее апалачское ненастье они ездил по окрестным шахтерским поселкам в хвосте агитационной автоколонны Джея Рокфеллера, старшего в четвертом поколении знаменитой династии миллиардеров. Старшему тогда не перевалило и за тридцать, и он предпринимал первую попытку попасть в губернаторы штата Западная Вирджиния, куда переселился лишь недавно и где был еще чужаком, новым человеком. Его прокатили поначалу. Американист написал очерк о Чарлстоне и об издателе Нэде Чилтоне, критикующем вьетнамскую войну, о трансплантации Рокфеллера в политическую почву Западной Вирджинии и о бедствующих шахтерских поселках, которые, подобно чуме, опустошили механизация добычи угля и падение спроса на него.

Уголь... Уголь... Уголь... Джей... Джей... Джей... Эти два слова рефреном шли в очерке Американиста, перемежаясь картинками апалачской осени. Джей Рокфеллер на следующих выборах попал в губернаторы Западной Вирджинии — трансплантация состоялась, и миллионы чужака сделали ее удачной. И спрос на уголь временно вернулся в годы катастрофического роста цен на нефть, что, однако, не вернуло работу шахтерам, в отчаянии покинувшим родной край.

А Нэд Чилтон стал добрым знакомым Американиста.

Их отношения нельзя было назвать дружбой по большому российскому счету. Им не хватало доверительности, российской жадности исповедоваться, вывернуть душу наизнанку, а если понадобится, по старинному выражению, положить живот за други своя. Мы не назвали бы эти отношения дружбой еще и потому, что в глазах Нэда Американист все еще видел вопрос, некое сомнение или тень сомнения. Нэд не мог окончательно избавиться от подозрительности: только ли журналист этот его знакомый или еще кто-то? И нет ли все-таки какого-то скрытого умысла в его страсти к их городу и штату, таким далеким от международных путей?

Виделись они редко, последний раз шесть лет назад. Тогда летом в студенческие каникулы к Американисту приезжала в Вашингтон дочь, учившаяся в Москве на журфаке, и он, созвонившись с Нэдом, отправил ее в Чарлстон для пополнения жизненного опыта и для практики в американской провинциальной газете. Тогда такое еще было возможно — разрядка. Несколько дней Танюшка жила в доме Чилтона на другом высоком берегу реки Канавы, познакомилась с его женой Бетси и приемной дочерью, осматривала Чарлстон с чилтоновскими репортерами, которые возили ее в муниципалитет, суд, местную тюрьму, и дала первое в своей жизни интервью для «Чарлстон газетт», которое сопроводили фотопортретом — милая смущенная девушка. Танюшке было девятнадцать лет. Скольких уговоров стоило послать ее одну в Чарлстон — смущалась, боялась, отнекива-

лась. Но испытание выдержала и в пугающе незнакомой среде вела себя с тактом и достоинством. А когда Американист с женой и сыном приехали забрать ее, она с удовольствием сбросила непривычный груз ответственности и спряталась под родительское крыло.

Нэд всегда помогал Американисту и в этом смысле был настоящим другом. Они не поддерживали письменной или телефонной связи, и времена переменялись не к лучшему, но Нэд тем не менее откликнулся, едва Американист позвонил ему из Вашингтона и сообщил, что опять временно очутился в Штатах и что хотел бы навесить Чарлстон. По желанию своего друга Нэд составил ему программу встреч в Чарлстоне, обеспечив, как он выразился, *cross section*, то есть разрез местного общества,— встречи с мэром, в торговой палате (деловые круги) и в отделении АФТ—КПП (организованные рабочие), посещение университета и верховного суда штата, а также осмотр шахтерских поселков. Но и на этот раз не обеспечил Нэд Чилтон встречу с Джейм Рокфеллером, который отбывал уже второй срок на посту губернатора и время от времени со значением бросал взгляды в сторону Белого дома в Вашингтоне.

Первым в расписании встреч через час после прилета стоял мэр Чарлстона.

И вот Американист, не разглядев толком белоснежный, как одеяние девственницы, номер в отеле «Мариотт», шагал по грязному от только что прошедшего дождя шоссе в сторону городского центра, поругивая гостеприимного Нэда, поместившего его— чтобы не ударить лицом в грязь— в новенький отель на отшибе. Провинциальная, предельно автомобилизированная Америка давно изжила тротуары— за ненадобностью. И он шагал по шоссе пешком, явно не свой, на виду у всех. И чарлстонские жители, пронесившиеся на колесах мимо, с удивлением вглядывались в чудака-чужака, идущего по обочине дороги, принадлежащей их автомашинам.

Кабинет в старом здании чарлстонского Сити-холла с письменным столом темного орехового дерева и таким же столом, только поменьше, позади— на нем стояли телефоны. Толстый красный ковер. Тяжелые кресла и диваны. Звездно-полосатый флаг на специальной подставке в углу. Типичный кабинет американского должностного лица. И Американист, бывший там при другом мэре, силясь вспомнить, все ли осталось на месте. Да, все как будто было и тогда. Но фотоснимка мэра с Джимми Картером, улыбающимся слишком широко и белозубо, не могло быть, и вряд ли висела на стене эта черная фуражка с эмблемой чарлстонской полиции— каждый уходящий мэр забирает с собой все подаренные ему сувениры и даже кресло, на котором сидел. Фуражка— подарок нынешнему.

Прежний мэр за годы отсутствия Американиста в Чарлстоне успел побывать в конгрессе, вылететь оттуда и удалиться в частный бизнес. Нынешний восемь лет был членом городского совета, пять— городским казначеем, два с половиной года на нынешнем посту. У него было простое лицо и самое что ни на есть простонародное имя— Джо Смит.

Мэр— не главный человек в американском городе, где, в общем, независимо от городских властей правит частный бизнес. Но и далеко не самый последний. Под началом мэра полиция, ему подчинены публичные школы и коммунальные службы, и он должен примирять интересы разных групп населения или тайно служить мафиям и кланам, делая вид, что демократически служит всем.

Джо Смит, прибегая к цифрам и фактам, пытался нарисовать иностранцу картину города, в котором население в последнее время снизилось на десять процентов. Но округа, Большой Чарлстон, все эти годы растет, в ней порядка трехсот тысяч человек, экономически она процветает благодаря главным образом развитию химической

промышленности в долине реки Канавы. В Большом Чарлстоне безработица ниже, чем в среднем по стране или по штату Западная Вирджиния. Город, обслуживающий процветающую округу, переживает строительный бум. Раз гость остановился в отеле «Мариотт», он, должно быть, заметил это. Рядом с отелем сооружается местный коллизей (проектной стоимостью в двадцать два миллиона долларов) для концертных выступлений и спортивных состязаний. В прежнем муниципальном центре разместили выставочный зал, и, кроме того, на окраине строится большой торговый центр, где откроют свои филиалы главные городские магазины. Новый частный госпиталь, новые административные здания, где снимают помещения страховые компании, разные финансовые учреждения, врачи, адвокаты и т. д.

Чарлстон в очень хорошей форме, говорил Джо Смит, и от строительного бума в частном секторе кое-что перепадает муниципальным властям — приток частного капитала означает и приток налогов в городскую казну. Что касается деятельности непосредственно муниципалитета, то восемьсот с лишним городских служащих, с удовлетворением отметил мэр, поддерживают коммунальное обслуживание на должном уровне.

По партийной принадлежности Джо Смит был демократом в городе, где демократическая партия традиционно получала большинство голосов, и в штате, где губернатор тоже был демократом и где большинство традиционно голосовало за демократов при выборе президента и в конгресс. Это внесло некую партийную окраску в его беседу с советским журналистом. Мэр не одобрял республиканцев, правящих в Вашингтоне, и жаловался, что правительство мало помогает Чарлстону и, более того, при Рейгане помощь эту сократили против прежней и против ранее запланированной. И на стене у мэра висел, как мы упомянули, не нынешний президент-республиканец, а бывший президент-демократ.

Американист был профессионально перекормлен цифрами и фактами и, записывая, скучал. Цифры и факты Джо Смита будили лишь плоскую мысль о том, что в экономически неблагополучном штате главный город может экономически процветать.

Перешли к международным делам. Джо Смит пошутил, что министра иностранных дел ему в муниципалитете не положено. Но заговорил толково и интересно. Международный опыт мэра сводился к военной службе на Дальнем Востоке в войсках под командованием генерала Дугласа Макартура. Он не распространялся о том, какие уроки вынес из тех давних лет. Однако в его высказываниях господствовал незамысловатый и, слава богу, несокрушимый здравый смысл.

«Чтобы враждовать, стрелять не обязательно» — так бывший солдат Джо Смит выразил свою тревогу по поводу странного и опасного положения, когда мы не воюем, но и не живем в мире. «Если хотите, мир — это спокойствие» — так уточнил он свое понятие мира.

Теперь они говорили о том, что нас связывает. Обнаружилось согласие. Джо Смит хотел, чтобы обе державы больше занимались делами своих народов: «Слишком много денег расходуется вами и нами из-за того, что и вы и мы слишком озабочены нашими отношениями».

Он избрал такую дипломатическую формулировку, чтобы осудить гонку вооружений. Сказал, что не во всем согласен с военными программами американского президента. Не лучше ли усилить контакты и искать области общих интересов? Военные расходы двух держав строятся по типу — а что у Джонса, то есть у соседа, то есть у возможного противника. В итоге «мы продолжаем идти не в ту сторону».

А ведь наличие ядерного оружия создает совсем другие «условия

игры». И Джо Смит подытожил свои рассуждения любимым выражением президента Джонсона, которое одно время часто приводилось в газетах: «Давайте соберемся и вместе раскинем мозгами».

Джо Смит — это в переводе Иван Кузнецов. Человек с народным именем говорил голосом народа. Здравый смысл неискореним, как неискоренимы два инстинкта человека — инстинкт сохранения жизни и инстинкт продолжения рода. Где, в каких сферах и на каких высотах теряется этот немудреный — и мудрый! — народный здравый смысл, умение ради главного пренебречь второстепенным?

Американиста тянуло в провинцию — к простоте. И он давно нашел профессиональное объяснение этой тяге. Там, в провинции, здание общества сложено из тех же кирпичей, но, лишенное столичных узоров и украшений, оно лучше поддается обозрению и описанию. Там лучше видишь главное, суть. Так думал он еще в годы первого своего собкорства в Каире, отправляясь время от времени в деревни или города нильской дельты. Этому следовал и в Америке, хотя с годами стал понимать, что простота — сложное понятие и что есть не только простота здравого смысла, но и простота умственной лени и неразвитости и прямой глупости, что есть даже жестокая простота — и дурость — бурбонов и что истинная, высокая простота так же редка и драгоценна, как мудрость.

С годами он стал понимать и другое: его тянуло в провинцию, потому что он сам был оттуда родом. Это был зов детства, возвращение к истокам. Если хотите, комплекс провинциала. Там было его место, там, казалось ему, осталась простая, цельная и здоровая жизнь, и даже в его поездках в американскую глубинку сказывался порыв блудного сына, который, возвращаясь после скитаний в больших городах, преклоняет колена у родительского порога.

В напряжении своего заграничного и преимущественно служебного существования Американист не чувствовал себя свободным даже в таком произвольном деле, как выбор воспоминаний. Другая жизнь незаметно и властно навязывала другой строй души. Он взял с собой в командировку несколько томиков любимых поэтов. Но стихи, которые дома твердил целыми днями, не шли на ум за океаном. Книжки невынутыми лежали в портфеле. Он снова попал в плен изменившегося внутреннего ритма, и этот ритм независимо от его воли был навязан другой землей. Каждая земля создает свою поэзию, подлинные стихи как бы сами собой выделяются из ее воздуха и не могут с той степенью свободы, которая нужна поэзии, переноситься в иную атмосферу иной земли и существовать там.

То же относилось к воспоминаниям.

А ведь некоторые воспоминания были совсем свежи и в некотором роде по делу, потому что тоже относились к глубинке. Поздней осенью Американист путешествовал по Америке, а в конце лета, в августе того же года на несколько дней съездил в глубинку российскую, к себе на родину. Признаться, он не был там дольше, чем в Чарлстоне или Нью-Йорке, Вашингтоне, Сан-Франциско, Панама-Сити, Каракасе, Гаване, Париже, Бонне, Гамбурге, Стокгольме, Каире, Бейруте, Аммане и т. д. Он не был там десять лет с тех пор, как старшая его дочь, без родителей жившая в Москве, вдруг огорошила его сообщением о намерении выйти замуж, и он прилетел из Вашингтона, и в новом, неожиданном для него качестве отца замужней дочери решил причаститься к отеческим местам. Тогда было тревожное лето лесных пожаров, сизость и гарь доходили до Москвы, а на его родине окрест города со смешным для посторонних названием стояли черные, обгоревшие, еще дымившиеся леса.

Тогда, десять лет назад, он приехал в Кулебаки не из Москвы, а из Горького, как всегда. Два города были неразрывно связаны года-

ми детства. Его родители переселились из Кулебак в Горький, когда ему было три года, а брату — вдвое меньше. Печать сознания, сформировавшегося в детстве. Дорога в Кулебаки всегда начиналась из Горького и была первой дорогой ребенка, ехавшего вместе с матерью по воде до Муром, или по железной дороге до станции Навашино, или же на машине по тряскому булыжному шоссе, длиннее которого не существовало в его детском, довоенном мире. И через тридцать с лишним лет после переезда в Москву он не представлял иной дороги на родину, кроме той, что начиналась в Горьком. И лишь на шестом десятке своей жизни открыл, что есть туда прямая дорога из Москвы.

С Казанского вокзала до детства было всего семь часов. Билет в детство стоил всего шесть пятьдесят. Пассажирский поезд № 662 Москва — Сергач был составлен из общих и плацкартных вагонов, лишь три купейных и ни одного мягкого, ни одного спального вагона прямого сообщения, которые раньше назывались международными. Старые вагоны и грубоватые проводницы приземлили нашего международного, вызвав в его душе эхо далеких лет и напомнив о скромности родимых мест. Вместе с женой он влился в толпу пассажиров, увешанных сумками с продуктами из Москвы, и его поразила простая мысль: он осознал, что в старых пыльных вагонах едут домой его земляки, которые в отличие от него никуда и никогда от родной почвы не отрывались.

Выехали в самом начале долгого еще августовского вечера, от ветра пузырились занавесочки на открытых окнах вагона, стучали колеса через леса и болотца под огромным, низким, закатно золотившим сосны небом, а потом пала тьма, и был пустынный перрон в Муроме, и железно гремел мост над Окой, и ровно в полночь они вылезли в Навашине — и название это тоже отозвалось в его душе. Здесь и тогда, в детстве, на несколько минут останавливались идущие дальше поезда, и их с братом, маленьких, угревших среди баулов и узлов, будили среди ночи, одевали, торопили, спускали в темь и сырую прохладу с высоких ступенек довоенных вагонов, и пахло шпалами, углем, шипящим паровозным паром, и раздавались резкие и сиротливые, внушающие тревогу и тоску гудки маневровых кукушек. Двухколейка, отходившая от Навашина, связывала Кулебаки с большим миром, с Казанской железной дорогой. Конечная станция двухколейки называлась Мордовщики — и это тоже было слово из детства, и у дощатого строения станции они с матерью ждали утреннего рабочего поезда на Кулебаки, лоя запахи и звуки ночной железнодорожной жизни, в полусне мечтая о мягких перинах, пышных лепешках и малине с молоком в бабушкином доме.

Так было. Однако в последний раз, в августе, хоть и общим поездом, но приехал он на родину как знатный гость. И встречал их с женой председатель горисполкома, кулебакский мэр в черной «Волге», и, не успев разглядеть новое бетонное здание навашинского вокзала, по пустынной заасфальтированной дороге, на которую искоса поглядывал низкий густо-золотой месяц, они понеслись в родной город, вырывая фарами кусты на опушках и дыша таинственной свежестью родных лесов.

Той первой ночью он не узнал своего города, в котором не был десять лет. Их разместили в общежитии металлургического завода, вернее, в заводской гостинице, которая занимала часть здания общежития. (Хотели разместить в гостевом коттедже при заводууправлении, но там жили другие международники — двое английских инженеров-консультантов.)

Он не узнал своего города и утром, когда проснулся. Новый микрорайон, в котором они себя обнаружили, не отличался от других микрорайонов других городов. Белье сушилось на балконах, под окнами был разбит цветник, и между пятиэтажными панельными домами

гуляли молодые мамы с колясками. Жена Американиста, настроившись после рассказов мужа на бревенчатые избы, была удивлена видом новых кварталов, над которыми витал дух вчерашних стройплощадок и позавчерашних пустырей.

Их опекал предгорисполкома Александр Михайлович Хлопков. Он был худ и жилист, черноволос, с морщинами на впалых щеках и черными раскосыми глазами. С иронией, обращенной на собственную персону и присущей живым, умным и обаятельным русским людям, Александр Михайлович наградил себя двумя прозвищами: Городничий — по служебному своему положению и Осколок Чингисхана — по внешности. В нем чувствовалась интеллигентность врожденная и развитая затем жизненным опытом, а не ранним приобретением академических знаний. За спиной Городничего, отнюдь не похожего на гоголевского героя, стояли университеты жизни. Он начинал ремесленником, электромонтером, был начальником смены и начальником цеха. Заводской его стаж исчислялся двадцатью тремя годами, когда он был выдвинут в председатели горисполкома, и на этом посту бесслезно прослужил девятнадцать лет.

Американист полюбил Городничего — его ум и иронию, его тайную грусть. Встретиться пораньше, они, наверное, стали бы друзьями и он звал бы Александра Михайловича Саней.

Александр Михайлович знал все и вся — и всех в городе, где живет без малого пятьдесят тысяч человек. Он приводил наизусть цифры и проценты, помнил о жилом фонде — обобщественном и индивидуальном (до половины жителей все еще жили в частных домах), о газе, водопроводе и канализации, школах, детских садах и учреждениях здравоохранения, о магазинах и квадратных метрах их торговой площади, о столовых и кафе и, разумеется, о промышленных предприятиях — заводе радиоузлов, заводе металлоконструкций, швейной фабрике и молочном заводе, типографии, деревообрабатывающем цехе, нефтебазе и двух заправочных станциях, не говоря уж о металлургическом заводе.

Собственно, с этого завода, выплавлявшего чугун из болотных руд, все и началось еще в прошлом веке. Без завода бывшее село стало бы маленьким промышленным городом. Наконец, не будь этого завода, оба деда нашего героя не пришли бы сюда из окрестных деревень и его мать с отцом не встретились бы и не поженились.

Кулебакам — как городу — исполнялось пятьдесят лет. Александр Михайлович, затевая скромные торжества, по всей необъятной стране выискивал таких земляков, которых не зорно было бы предъявить если не миру, то хотя бы ближайшим городам-соперникам — Выксе и Мурому. Был один генерал армии, правда уже скончавшийся, был известный генерал-полковник, нашелся художник, композитор, полярный исследователь... И среди них, пополняя коллекцию, — журналист, долго проработавший в заокеанских краях. Кроме того, как упоминала и брошюра, выпущенная к пятидесятилетию города, дед Американиста по отцу был известным кулебакским революционером, а отец — одним из первых вожakov кулебакской комсомольской организации.

Словом, как ни рассказывай, а получается, что Американист попал в Кулебаки почетным гостем через своего деда и через Америку.

И Городничий на черной «Волге» показывал Американисту достопримечательности и достижения, возил его с женой в Велетьму, где был большой Баташовский пруд (по имени первого владельца местных металлургических заводов), и в Гремячево, где относительно недавно построили комбинат по производству стройматериалов. Они посетили подновленный к юбилею Народный дом, где размещался и городской музей и в нем среди других экспонатов висел на стене смутный, расплывчатый фотопортрет деда, сделанный с небольшой фотокачки. И стоя на зеленом берегу Теши, рассказывал Алек-

сандр Михайлович Американисту местную легенду, выдаваемую за бль; мол, американцы предлагали очистить эту быструю и холодную речку, петляющую меж живописных дубрав, и даже заплатить три миллиона долларов за то, что поднимут и увезут к себе те моренные дубы, которые столетиями ложились в нее слой за слоем. Чего больше было в этой легенде — неизжитого еще российского хвостовства богатством, которое под ногами валяется, да все нагнуться недосуг, или же самокритики и восхищения перед деловитостью тех, кто и оттуда, из-за океана, готов нагнуться и поднять?

Городок был маленький. Все концы короткие. Пять минут — и уже окраина, пустая дорога, бледно-голубое небо над ровной землей, березы и елки по сторонам и кряжистые сосны на песчаных косогорах со своими растопыренными ветвями и шелушащейся, золотящейся на солнце корой.

Американист делал все, что полагалось знатному земляку: осмотрел город и окрестности, выступил перед активом в горкоме, — но помимо официальной была в его визите и частная сторона. Ведь он приехал на свидание с детством. И в казенной черной машине, но уже без деликатного Александра Михайловича отправился он со своей женой на одну из окраинных, мало тронутых последними десятилетиями кулебакских улиц — улицу Крисанова, где по-прежнему ездят и ходят, утопая ногами и колесами в песке, и в этот песок выдвинуты палисадники деревянных домов, приютившие на своих задах огороды и старые, ненужные уже сеновалы и коровники. В одном из таких домов жила теть Маня, старшая сестра его покойной матери, последняя живая ниточка, связывавшая его с Кулебаками.

И сердце по-иному забилось, когда он увидел этот старый дом, когда на шум затормозившей машины показалось в окошке веранды лицо Андрея Ивановича, мужа тети Мани. Стало стыдно, когда он несколько мгновений топтался возле тесового забора, забыв, как открывается в нем дверь. И оба старика, как малые дети, свалились со ступенек веранды в расставленные для объятий руки племянника, слабо охали и тянулись целоваться, и лица их были дряблы и морщинисты, лишены сока и цвета жизни, и, легонько обнимая их, он чувствовал невесомую, немощную плоть.

Дом-пятистенки был угловым, выходил на улицу и на проулок, в котором весной к ребячьей радости бежал ручей. Вторая половина принадлежала когда-то дедушке и бабушке по материнской линии. На той-то половине и останавливались они, трое-четверо внуков, приезжая на школьные каникулы из Горького и Иванова — в Иванове жила другая сестра матери, Нюра. Они спали вместе на перине, расстеленной на полу, и под потолком реяла подвешенная на шнурочке деревянная пичужка с раскинутыми крыльями, а из угла, над зажженной лампадкой, светились в окладах лики святых во главе с Николаем-угодником. И прадед Американиста по материнской линии был Николай, и отец был Николай, но бабушка уважала и побаивалась «партийного» зятя и молиться Николаю-угоднику заставляла лупоглазого Женьку, сына Нюры, и когда Женька не слушался, ставила его на колени перед открытым подполом в кухне и грозила упрятать туда, в темь и сырость, среди крынок с молоком, бочонков с огурцами и капустой и противных, скользких лягушат...

Уже первые военные годы разом прибрали обоих дедушек и обеих бабушек (им было едва за шестьдесят), как бы погребли их под лавиной общего горя, лишений и напастей. Прекратились поездки в Кулебаки на летние каникулы, а после войны дедушкину половину купили другие, неродные люди. Они менялись, и сейчас там жила молодая рабочая пара, помогавшая старикам. Своих детей у тети Мани не было, единственная дочь Андрея Ивановича от первой, давно умершей жены обосновалась с семьей на Урале. Старики —

обоим было за восемьдесят — одиноко доживали свой век, и Андрей Иванович мечтал умереть в один день с Марьей Михайловной. Последняя мечта жалкой, беспомощной старости.

Повидаваться с племянником тоже было их мечтой, о которой регулярно напоминал Андрей Иванович в своих поздравительных открытках, со скрытым укором не забывая сообщать, как слабы они стали, до магазина дойти не могут, слава богу, помогают молодые соседи. И вот племянник, не предупредив, свалился как снег на голову.

Успокоившись и отдышавшись, выпив по рюмочке водки и отдав жирной селянке из русской печи, вместе поехали они на кладбище к родным холмикам с металлическими пирамидками, увенчанными крестами. Имен на пирамидках не было, и тетя Маня, сидя на скамеечке в ограде, приговаривала: «Это мама. А это папа и покойный. Это свекровь. А вот Нюра, мое место отняла, а тут меня положат...»

Покойным она называла своего первого мужа, а Нюру, отнявшая место возле умерших родителей, была ее сестра.

Андрей Иванович сидел молча, сняв свой старый белый картуз. Тетя Маня причитала, сообщая мертвым, что собирается и все никак не соберется к ним. Андрей Иванович был когда-то красивым, добрым и деятельным человеком, хорошим работником и общественником, прошел войну. А тетя Маня всю жизнь прожила на улице Крисанова и выезжала лишь на богомолье. Жизнь чудом держалась в ее больном, изношенном теле, но ум сохранился прежний, ясный и лукавый, и, слушая ее причитания, Американист читал живую, бесильную тоску в глазах тетки: с жизнью расставаться все-таки неохота, но нужна ли кому, скажи, эта моя жизнь?

На скамеечке у могил ей неожиданно стало дурно. Глаза закатились, рот раскрылся и обмяк, лицо залила бледность, она не могла вымолвить ни слова, как будто последние запасы жизненных сил извела на свой разговор с мертвыми. Все испугались —дохнуло близкой смертью. Жена Американиста, не зная, чем помочь, дула тете Мане в лицо, поддерживала ее и шептала: «Тетя Маня, миленькая, что с вами?» Тетя Маня не отвечала, молча заваливалась на бок. Андрей Иванович плакал как малое дитя. Почетный гость Кулебак тоже растерялся от такого поворота событий, побежал за «Волгой», оставленной у ворот, но машина не могла подъехать по узким кладбищенским аллеям.

Когда обморок прошел, тетя Маня, приходя в себя, бочком полежала на могильном холмике. Под руки ее довели до машины, отвезли домой, уложили, вызвали врача, который сделал укол...

Оставив машину жене, Американист пошел в гостиницу пешком через весь город. Испытывал себя: найдет ли без подсказки дорогу к дому, где жили другой дед и другая бабушка — по отцу. Туда они ходили редко, в гости. По выходным дням его с братом мыли, причесывали, одевали в короткие одинаковые штанишки с ляпочками и матроски и таких примерных вели пешком к другому деду и другой бабушке через весь город. Большого расстояния в ту пору он не знал. И сейчас он шел как бы на ощупь забытой дорогой детства: по улице Труда почти до заводских ворот, откуда на платформах выкатывали тогда нестерпимо красные и жаркие болванки, и вниз вдоль заводского забора к дымящемуся теплой водой техническому пруду, и через парк, где тоже был пруд с насыпным островком посредине... Боже, какое здесь все было маленькое! Как будто с тех пор он все рос и рос, а его город все уменьшался. И за парком, за узкоколейкой улица, которую он никогда не проходил до другого ее конца, потому что дом деда был в ее начале... Она ли? — спрашивал он себя теперь. Неужели не узнает? На помощь памяти призы-

вал интуицию, инстинкт. Этот? Или тот? Он вернулся к узкоколейке и снова прошел эти несколько десятков шагов, и что-то смутно выплыло из глубин сознания, и он окончательно уверился: да, этот, первый за железнодорожным полотном одноэтажный дом, разделенный на две половины с двумя палисадниками, и вот эти ступеньки, вот эта дверь.

Этот его дед был по своей природе истинный пролетарий. Инстинкт собственника начисто отсутствовал у него, и даже в городе, где почти у всех были тогда собственные дома, он жил с бабушкой в казенной квартире. Но корову и они держали — тогда у всех были коровы. В казенной квартире окна были больше, чем в избе другого деда, потолки — выше, белый кафель печи-голландки и — ванна. Да, кажется, там была даже ванна.

Деда Петра Васильевича все уважали, и квартира, полученная от завода, тоже свидетельствовала о признании его заслуг. Но будущего Американиста дед пугал своей сумрачной молчаливостью и стеклянным глазом. Стеклянный глаз вставили после того, как в наступающей пошла металлическая стружка. Руки у деда подрагивали — еще с тех пор, как его в 1905 году жестоко избили и проволокали на аркане за казачьей лошадью; во время той, первой революции дед участвовал в разгроме квартиры пристава, пытаясь освободить арестованных товарищей, а их, молодых рабочих-металлистов, в свою очередь громила казачья сотня.

Дед Петр Васильевич пришел на металлургический завод еще в конце прошлого века четырнадцатилетним учеником слесаря. После Октябрьской революции работал бригадиром в бандажепрокатном цехе. Он был превосходным мастером, более того — изобретателем-самородком. За изобретения, связанные с бандажным производством, и за участие в революционной деятельности постановлением ВЦИК деду присвоили звание Героя Труда. Да, существовало такое звание в начале тридцатых годов, и соответствующая грамота — большой лист, украшенный изображениями заводских труб и первых громоздких колесных тракторов, — за собственноручной подписью М. И. Калинина выцветшей семейной реликвией висела теперь в московской квартире Американиста.

Сохранилось и несколько фотографий, но, вызывая в памяти облик деда, Американист почему-то видел его всегда в одной позе, не запечатленной фотографиями, — молчаливо сидящим на гнущем венском стуле. Доживя почти до дедовских лет, он хотел теперь разгадать молчание деда, и однажды ему пришлось в голову, что это была, в сущности, поза Достоевского на известном портрете работы Перова — нога на ногу, руки, соединенные на колене, чтобы унять их дрожь, и узкое лицо, хотя и без бороды, но так же углубленное в не находящую разрешения мысль. Дед молчал, потому что не любил болтунов и пустых разговоров, это качество унаследовал и отец Американиста. Но о чем он так напряженно думал? Порой казалось, что ответ будет равен разгадке генетического кода — собственного, фамильного.

О будущем Американисте и его брате, будущем геологе, дед думал меньше, чем о другом своем внуке, рыжем и конопатом хвастуне и выдумщике Вовке, который постоянно жил у них в доме. Они были дети старшего сына, а рыжий Вовка был от среднего сына. Средним сыном дед мог гордиться — он первым в их семье получил высшее образование, стал инженером и партийным работником на одном из ленинградских заводов. В конце тридцатых годов, когда у многих круто и внезапно ломалась жизнь, Михаила арестовали — «враг народа». Дед не верил этому обвинению. Дед сам был народ, и сын его не мог быть врагом народа. Жену Михаила тоже арестовали, Вовка остался один, и они с бабушкой взяли его к себе в Кулебаки. И быть может, эта мысль мучила молчаливого деда: пропа-

дет парень... И мысль о судьбе Михаила и снохи, и общая мысль: что же делается?..

Что такое простой человек? Дед был простым — и не простым — рабочим, простым — и не простым — человеком. Но он жил простой жизнью простого народа в глубине России. А сын его, став инженером и партработником, вышел за круг простой жизни — и вот что из этого получилось. Быть может, и об этом думал дед, сидя в позе Достоевского, соединив дрожащие ладони на колене и неулыбчиво глядя на своих маленьких несмышленных внуков.

Пришла беда — отворяй ворота. Позднее деда ударила внезапная смерть младшего сына, самого видного и красивого в семье. Он служил моряком-подводником на Дальнем Востоке, питая юный романтизм восхищенных его бескозыркой и клешами племянников, и в извещении командования значилось коротко и невнятно — смерть от замерзания. Когда к личному горю добавилось безмерное потрясение войны, дед Петр Васильевич вместе с бабушкой Анной Алексеевной сошли в безымянную могилу. Он так и не узнал, что средний его сын умер ровно за год до Дня Победы, о чем было сообщено примерно через двенадцать лет, когда его помертно реабилитировали, что реабилитированная сноха вернулась из заключения и нашла своего уже взрослого рыжего сына, который сохранил сиротскую неприкаянность на всю жизнь. Трое же детей его старшего сына под родительским крылом убереглись от жизненных бурь, губительных для неокрепшего возраста.

Американиста провели по металлургическому заводу и в бандажном цехе показали паровой пятнадцатитонный молот. Молоту было сто пять лет, но работал он по-молодому сильно. Легко и бесшумно взлетал в грохоте цеха и, прицелившись, тяжело и крепко бил по раскаленному толстому слитку, поданному из нагревательной печи. С каждым ударом молота земля гулко ухала и как бы приседала вместе с людьми. Начальник бандажного цеха сказал, что слышит уханье дома, живя в двух километрах от завода. «На этом молоте работал ваш дед», — сообщил он Американисту, смущенному, польщенному и взволнованному.

Они осматривали завод вместе с секретарем парткома и Александром Михайловичем. Стояли метрах в пятнадцати от молота, а двое рабочих, забралами надвинув жароупорные стекла на лица, своими ухватами ворочали огненный, адски пышущий слиток, подставляя его молоту. На рабочих была черная, промасленная и прокопченная одежда. Оба деда Американиста — Петр Васильевич и Михаил Николаевич — были когда-то на их месте. А он стоял сейчас почетным гостем в сторонке и испытывал волнение и смущение от того, что ради него демонстрировали молот в работе. Когда двинулись дальше, в прокатный цех, Американист задержался и подошел к одному из рабочих. Рабочий был немолод. Он уже поднял свое забрало и снял рукавицы и поначалу непонимающе посмотрел на протянутую руку незнакомого человека. Рука рабочего оказалась неожиданно вялой.

Американист не удержался от этого жеста. Он ничего не сказал рабочему, помня неприязнь деда и отца к пустым разговорам. Но через рукопожатие ему захотелось хоть как-то соединиться с дедом — почти через полвека — и дать понять ему, давно не существующему, что внук помнит его...

Как сюрприз и как чудо показали заводскую оранжерею, где во влажной истоме росли пальмы и какие-то тропические лианы и кусты с сочными мясистыми листьями. Пальмы достигали пятнадцатиметровой высоты, и, чтобы не стеснять их рост, в оранжерее надстраивались стеклянные стены и поднимался стеклянный потолок.

Кулебакские металлосты в извечной любви детей севера к знойному югу не стояли перед затратами ради своих пальм.

Там, а не возле молота и щелкнул их фотограф — в оранжерее, у толстого мшистого ствола пальмы, среди экзотических кустов и лиан.

Так бы и остался автор на родной земле и не спеша описывал бы, как пасмурным, с дождичком на дорогу утром одиноко выехала из Кулебак черная, прикрытая сзади занавесочкой «Волга», увозя Американиста с женой в Москву, как, поникнув мокрым листом, простились с ним родные леса, и гулко отозвался понтонный мост через Оку у Муром, и на другом, правом берегу побежали вдоль дороги, откатываясь назад, владимирские деревеньки с палисадниками и другие, не менее родные леса с сосной и березой, и как там же, совсем недалеко от своего пятидесятилетнего города, попал Американист проездом в древние, славные в русской истории места — Суздаль с красной стеной пустых белых церквей и братскими кельями за красными стенами Спасо-Евфимьевского монастыря, Владимир с его великолепным Успенским собором и певучей итальянской речью чернявых интуристов, выходивших из «Икарусов», в соборе шла служба, толпились старушки в платочках, и Американист, привыкший любопытствовать за границей на храмы католические, а не православные, увидел и в этом богослужении нашу особую простоту и привычку к роевой жизни — все стоя, а не на католических скамейках, все кучно, купно, в страхе перед богом, а не в договорных, рационалистических с ним отношениях.

Мог бы автор и подробнее описать высокого и красивого шофера Валентина, который смущался необычного земляка, и еще больше смущалась Надя, его жена; в машине они разговаривали только друг с другом, что могло показаться невежливым, а на самом деле выдавало крайнюю стеснительность двух молодых провинциалов, которые со столичными жителями впервые ехали в столицу. (Как волновался Валентин, влившись при въезде в столицу в многорядное движение на шоссе Энтузиастов!) Наблюдая молодую кулебакскую пару, Американист понимал, что сам-то он почти изжил свой комплекс провинциала...

Что говорить: из родной стихии легче пригоршнями черпать, чем из чужой — жалкие капли. Хотя, с другой стороны, больше черпающих, больше пишущих, доскональных знатоков и придрочивых критиков и жестче, суровее спрос. Черпать легче, да писать труднее и отвечать за написанное. Мы успели сказать кое-что о профессиональных бедах и тяготах международного писателя, пишущего из-за границы и о загранице. Не пора ли для баланса упомянуть о его преимуществах и льготах? За написанное им об Америке Американист полной мерой отвечал лишь перед судом других американистов и перед своей совестью. Только они, знавшие предмет и побывавшие в такой же шкуре, как он, и только она, совесть (стыд, обращенный внутрь), могли по-настоящему строго и пристрастно судить, насколько искренне им написанное, соответствует истине или грешит против нее. Международный пишет о жизни, которая неведома подавляющему большинству его читателей. А из родной стихии, из своей жизни не только пишущий черпает, но и все мы без исключения. Жить — это и есть, хочешь ты того или нет, черпать из жизни. Иногда больше, чем душа просит и готова перенести.

И вот в порядке первого, хотя и позднего опыта мы открыли Американисту отдушину и выпустили его из Чарлстона в Западной Вирджинии в Кулебаки Горьковской области. Там он немножко отдышался от угрюмых реалий ядерного века. Старая тетя Маня доживала последние дни в ожидании собственной смерти и могилки рядом с покойными родителями, ее не тревожили видения Апо-

калипсиса или всеобщего небытия. У Александра Михайловича, кулебакского мэра, Американист не брал никаких интервью насчет войны, мира и советско-американских отношений — на эти злободневные темы больше мэра расспрашивал журналиста, чем журналиста мэра. Теперь же, дав нашему путешественнику отдышаться, снова пошлем его с заросших дубравами берегов Тешы, впадающей в Оку, которая впадает в Волгу, на берега индустриальной Канавы, впадающей в реку Огайо, которая в свой черед впадает в Миссисипи.

Отвалившись на спинку кресла, для удобства с ногами на столе Нэд Чилтон, издатель «Чарлстон газетт», разговаривал по телефону. Увидев Американиста, входящего в его кабинет, ног со стола не снял, но жестом свободной руки пригласил садиться. Американист сел на диван у другой стены, разглядывая издателя и его рабочее помещение. Нэд постарел и выглядел пожилым подростком: совсем седые, по-мальчишески коротко стриженные волосы и морщинистое, но сохранившее мальчишеский овал лицо. Такой же худой, щуплый, в глухом свитере, обтянувшем грудь. Он продолжал разговаривать, извисяющимися жестами давая понять, что разговор нельзя отложить.

Когда Американист связывался с ним месяц назад из Вашингтона, Нэд сказал, что готов принять и помочь, но что приезжать надо в начале двадцатых чисел ноября, потому что в конце месяца он улетает на Фиджи отдохнуть, заняться подводным плаванием. На другой конец света, к черту на кулички, точнее, в райские места, спасаясь от промозглой западновирджинской зимы, и всего на пару недель. Сейчас по телефону он с кем-то обсуждал детали поездки в своей отрывистой и деловито-ироничной манере. Среди новых предметов в кабинете Американист увидел на подоконнике вазу в форме огромной коньячной рюмки, заполненной отборно мелкими перламутровыми ракушками. Новое увлечение. Ракушки напоминали о безлюдных пляжах, теплом белом песке, в котором по щиколотку тонешь босыми ногами, о волне, лениво накатывающей на берег, и солнце, висящем — среди зимы — в беспредельной лазури над беспредельным океаном.

— Шикарно живут миллиардеры, — польстил Американист своему чарлстонскому приятелю, когда они обменялись рукопожатиями.

— Я не миллиардер, хотя не прочь был бы им стать, — парировал Нэд.

— В таком случае шикарно живут миллионеры, — отступил Американист.

— И миллионером буду, только если продам свои акции в газете, — опять уточнил Нэд.

В «Чарлстон газетт» он был и издателем и главным редактором и владел ею вместе со своей тетушкой, у которой, как говорили, акций было больше, чем у него.

После кратких расспросов перешли к делу, и в кабинет был вызван заместитель главного редактора Дон Марш, немолодой человек с квадратной головой, большим лбом и суховатым юмором. Обсуждали программу встреч, подготовленных для Американиста, и тут неожиданно возникла закавыка и разгорелся спор.

— Завтра за ленчем ты, Стэн, встретишься с раввином Кохлером, — сообщил Нэд, врасстяжку произнося имя Стэн, которым он назвал Американиста.

— Нэд, но я не просил о встрече с раввином.

— Стэн, узнав о твоём приезде, раввин Кохлер захотел встретиться с тобой.

— Нэд, ты же знаешь, я приехал сюда как репортер, задавать вопросы, и, представь, у меня нет никаких вопросов к раввину Кохлеру.

— Не кипятись, Стэн. Это у раввина Кохлера есть вопросы к тебе. Что-то насчет положения евреев в Советском Союзе. Неужели ты откажешь ему в любезности?

— Извини меня, Нэд, но ни с каким раввином ни за каким ленчем я встречаться не намерен. Я приехал посмотреть на Чарлстон и Западную Вирджинию, а если раввину Кохлеру так уж хочется задавать вопросы, то пусть он задает их Бегину, Шарону и Шамиру: что они сделали с Ливаном? как бомбили Бейрут? для чего пустили убийц в Сабру и Шатилу?

Американист кипятился. Его появление в Чарлстоне кто-то хотел бы использовать в своих целях. Раввин с ним встретится, чтобы потом, чего доброго, в газете того же Чилтона дать отчет с антисоветским текстом и подтекстом. А ему предлагают включиться в эту игру.

— Стэн, но ты же сам говорил, что хочешь увидеть разрез общества.

— Но этого я не просил, Нэд. Ты же знаешь, как много проблем в этом проклятом богом мире, да и Западную Вирджинию они не обошли.

Нэд, не желая портить отношений с раввином, гнул свою линию до конца.

— Стэн, это невозможно. Раввин — приятный, достойный человек. Ты убедишься. Он отменил ленч с другими людьми, чтобы встретиться с советским журналистом. Подумай, в какое положение ты меняставишь. Если ты откажешься, мне придется раззвонить об этом на всю Америку.

— Нэд, не бери меня на пушку. Нет и еще раз нет...

Вместо ленча с раввином в программу включили Чарлстонский университет и ленч с его президентом. Университет находился на другом берегу реки как раз напротив резиденции губернатора штата. Крошечный — на две с половиной тысячи студентов. Частный — с ежегодной стоимостью обучения в пять тысяч долларов. И относительно богатый — с бюджетом порядка десяти миллионов долларов в год (помимо платы за обучение, получаемой от студентов, и пожертвований от бывших выпускников). Крошечный университет, но вполне американский, со своими имперскими замашками — заграничные филиалы в Риме, Токио и Рио-де-Жанейро. В каждом из филиалов обучают и стажироваются примерно по сто студентов. И каждый год совет попечителей, то есть богатых и уважаемых покровителей университета, одно из своих заседаний проводит за границей, в том или ином филиале.

Президентом университета был высокий молодежавый мужчина. Внешне он смахивал на избалованного плейбоя. Все посмеивался, рассказывая о заграничных филиалах и о том, как попечители любят проводить свои выездные заседания в трех знаменитых столицах. Американист так и не понял, что стояло за смешочками: гордость (а есть ли у вас такие университеты?) или ироничное смирение (мы такие маленькие и скромные, что хочется хоть чем-то щегольнуть). Как и у его коллег из крупных университетов, главная обязанность президента заключалась в том, чтобы обеспечивать поступление средств, которых с каждым годом требуется все больше.

За ленчем сидели в отдельной комнате университетской столовой и говорили об американских католических епископах, о которых в те дни много писали в газетах: они разрабатывали проект папского послания к своей многомиллионной пастве с осуждением безрассовности и безбожности ядерного оружия и с призывом к замораживанию ядерных арсеналов. Президент университета с теми же своими смешочками говорил, что этот вопрос — о замораживании ядерных арсеналов — человека с улицы не волнует. С ним не соглашались и спорили его заместительница, которую запросто звали Салли, и Дон Марш, сопровождавший Американиста.

— Джей Рокфеллер доказывает, что деньги унаследовать легче, чем мозги,— обронил в разговоре обозреватель газеты «Чарлстон дейли». Этот афоризм, кажется, смутил его самого своей дерзостью и скрытым антиамериканизмом — как ни относись к богатому наследнику, не по-американски бросать тень на большие деньги.

В одном и том же здании, деля одну типографию, уживались газеты двух политических оттенков — более либеральная чилтоновская и более консервативная «Чарлстон дейли». Сожительство диктовалось коммерческими соображениями — давало экономии расходов. Это было выше политических разногласий, поскольку определяло главное — прибыльность или убыточность обеих газет, их выживаемость.

Теперь Нэд Чилтон поделился со своими соседями-консерваторами и гостем из Москвы, поддерживая добрососедские отношения и демонстрируя заодно, что никаких секретов с красным у него не существует.

Две редакции размещались на одном этаже, и совсем рядом с чилтоновским кабинетом был кабинет главного редактора соперничающей газеты. И там Американист разговаривал с господином Чеширом, главным редактором «Чарлстон дейли», и молодым обозревателем, которого тот пригласил на подмогу и, быть может, в качестве свидетеля, подстраховываясь, так как новая «охота за ведьмами» заставляла осторожничать и самих «охотников».

В разговоре сквозила неприязнь к губернатору с самой капиталистической фамилией, и объяснялась она очень просто. В отличие от других Рокфеллеров западновирджинский был по партийной принадлежности не республиканцем, а демократом и к тому же имел либеральную репутацию и биографию человека, ходившего в народ. В середине шестидесятых годов, прервав дипломатическую карьеру, которую он начал было делать в госдепартаменте, Джей Рокфеллер вдруг впервые отправился в бедствующий шахтерский штат участником «войны с бедностью», объявленной тогда президентом Джонсоном. Было время активного участия молодежи в общественной жизни — антивоенный протест, борьба за равенство негров. «Война с бедностью» направляла эту энергию по каналу, за которым присматривал официальный Вашингтон. Джей Рокфеллер жил и работал несколько месяцев в эпицентре шахтерской нищеты — поселке Эммонс, в пятнадцать миль от Чарлстона.

Когда-то Американист навестил и Эммонс, интересовался, как Рокфеллер четвертого поколения ходил в народ, и не нашел следов его победы над бедностью — поселок по-прежнему умирал, работы не было, многие уехали в другие места. Но те, кто остался — отвергнутые обществом, сломленные жизнью люди, — сохранили добрую память о молодом отзывчивом миллиардере.

В глазах главного редактора «Чарлстон дейли» нынешний губернатор Джей Рокфеллер был розовым, и эта неприязнь породила в общем-то бесспорный афоризм: деньги унаследовать легче, чем мозги.

Что касается народа, то и либералы и консерваторы с пафосом говорят от его имени, если сам народ безмолвствует. Исконный народ здесь, в Западной Вирджинии, живет замкнуто и провинциально, снова слышал Американист знакомые характеристики. Хилл Билли, Билли с гор — так прозвали этих людей, приобретших репутацию нелюбимов, которые и не хотят спускаться в обжитые долины. Их язык, поверите ли, сохранил архаичные, чуть ли не шекспировских времен слова. Но народ этот гордый и очень патриотичный, заверили оба консерватора. В годы второй мировой войны Западная Вирджиния давала очень высокий процент новобранцев. Шахтерам предоставляли бронь, но они отказывались от нее, шли воевать.

— Просто они считали, что в сражениях безопаснее, чем в забое под землей,— добавил главный редактор, шуткой смягчая пафос своих похвал патриотизму земляков.

Сейчас в шахтах фантастическая техника, процесс подготовки забоев и добыча угля полностью механизированы, и шахтер, хорошо владеющий машинами, находится в полной безопасности. Шахтер, расказывали Американисту, получает до ста и более долларов в день, если работает...

Если... Главные опасности подстерегали шахтеров на поверхности. Уровень безработицы в Западной Вирджинии составлял четырнадцать процентов. Но и он, этот средний уровень, не передавал масштабов народной беды, обступившей сравнительно благополучный Чарлстон. Об угле, правда, вспомнили, когда начались трудности с нефтью. Однако надежда недолго светила горнякам. Положение с нефтью стабилизировалось, энергетический баланс выровнялся — и спрос на уголь снова резко упал. А в сухопутной глубинке Западной Вирджинии нет морских портов, которые давали бы выход к миру за американскими пределами и через которые можно было бы удобно и экономно вывозить уголь куда-нибудь за океан, в страны, где существует на него спрос. И вот фантастические машины быстрее, чем когда-либо, выталкивали шахтеров из-под земли.

На юге штата безработица среди шахтеров доходит до восьмидесяти процентов. Нефтяные корпорации скупили угольные компании и месторождения угля и преднамеренно снижают добычу, сидят на угле как собаки на сене, пока не выжмут последний цент из нефти...

Эти страшные подозрения относительно нефтяных корпораций Американист услышал в другом разговоре. Для него он пришел на Брод-стрит в новенькое здание около вздымающейся на мощных опорах дорожной развязки. Только люди, привыкшие жить в шуме и грохоте, могли выбрать такое место для своей штаб-квартиры. Наверняка земля здесь стоила дешевле. В новеньком здании у большой дороги помещалось западновирджинское отделение американского профобъединения АФТ — КПП.

Чарлстонские профсоюзники были грузноватые, физически сильные, с широкой, народной костью. Аккуратные костюмы, начищенные ботинки, белые сорочки, галстуки и очки в тонкой металлической оправе, но в широких, пористых лицах, в тяжелых руках и принужденных позах проступали вчерашние рабочие. Они имели право говорить от имени народа, живущего в окрестных рабочих поселках, и со знанием дела судили о его нуждах и самочувствии.

Кризис охватил не только угольную промышленность. Среди строителей, узнал Американист, примерно шестьдесят процентов безработных (опять фантастическая цифра!), поскольку рекордно высокие проценты, под которые в банках выдаются кредиты, заставили резко свернуть строительство. Упадок распространился и на сталелитейную промышленность, связанную со строительной. За последние полтора-два года численность членов АФТ — КПП упала в Западной Вирджинии с семидесяти двух до шестидесяти тысяч, ослабив рабочее движение и его способность противостоять предпринимателям. Люди, оказавшиеся без работы, получают пособие в течение двадцати девяти недель, его могут продлить в общей сложности еще примерно на двадцать недель — а что дальше? Унизительные подачки по программе вспомоществования? Все больше случаев самоубийств, люди все чаще ищут и находят утешение в бутылке. Семья распадается под гнетом лишений и отчаяния, авторитет кормильца пропадает, перестает объединять членов семьи. Более того, оставшись без работы, кормилец видит свой долг перед семьей в том, чтобы уйти из дому — в его отсутствие семья получает право на дополнительное пособие.

Профсоюзники крыли Рональда Рейгана перед советским корреспондентом. Он был для них чужим и враждебным президентом — для богатых, он обрушивал топор жестокой экономии на те программы социальной помощи, которые были нелегким завоеванием профсоюзного движения и прогрессивной Америки,

Но Рейгана не обязательно жаловали и по другую сторону класовой баррикады — за то, что он недостаточно жестоко обрушивал свой топор. Председатель чарлстонской торговой палаты, защищающий интересы местного бизнеса, не скрывал своего недовольства тем, что Рейган так и не поднял пенсионный возраст с нынешних шестидесяти пяти лет до семидесяти. Американцы живут все дольше и дольше — и пусть. Сам Джон Чэпмен еще был полон здоровья и энергии, в принципе не имел ничего против увеличения продолжительности жизни соотечественников. Его, однако, возмущало, что социальное обеспечение, эту американскую пенсию, распространили теперь едва ли не на всех, достигших шестидесяти пяти лет. А они сплошь и рядом живут еще по десять, пятнадцать, а то и двадцать лет, и каждый ежемесячно получает из казны по пятьсот—шестьсот долларов да еще половину этой суммы на жену, даже если она не работала. Непомерное бремя для федерального бюджета и для налогоплательщика, который питает его своими долларами.

Но в целом по ту сторону баррикады, по которую стоял мистер Чэпмен, дела шли хорошо. Лично он появился в Чарлстоне восемь лет назад, приехав из Чикаго, где однажды натолкнулся на объявление об открывшейся вакансии в чарлстонской торговой палате. Решил попытать счастья и приехал «для интервью». Его взяли. Он недурно устроился и успел полюбить здешнюю жизнь с ее спокойным темпом. Здесь никто не давит тебе на бампер, сказал он, и Американист запомнил это выражение: в предельно автомобилизированной стране друг другу наступают уже не на пятки, а на задний бампер автомашины. На автострадах люди вежливы, сказал Джон Чэпмен. Семьи большие и хранят традиции тесной связи между поколениями и уважения младших к старшим. Да, шахтеры бедствуют, но ведь в здешней округе лишь один из двадцати работающих занят в угольной промышленности. В медицинских заведениях и то больше людей. Химическая индустрия, главная в районе Большого Чарлстона, не подвергалась колебаниям экономической конъюнктуры. В округе за последние годы прибавилось восемьдесят тысяч рабочих мест. Ради дополнительных доходов все больше женщин оставляют хлопоты у домашнего очага, ищут и находят работу. Зайдите в рестораны, в магазины — разве мало там посетителей и покупателей? И т. д.

У каждого, с кем встречался Американист, было свое место в Чарлстоне и своя точка зрения. Своя работа или отсутствие оной. И жизнь, в которой каждый по одежке протягивал ножки.

В свою дорожную тетрадь Американист, обдумывая чарлстонские впечатления и вспоминая поездку в Кулебаки, заносил мысль, которая мучила его, потому что он ни разу не смог выразить ее достаточно полно.

Кулебаки и Чарлстон — продукты и образцы двух общественных систем и двух цивилизаций. У них разное обличье, разная этажность и архитектура, мостовые и автомобили, экономическая ориентация. Разные мэры, хотя оба по-своему умные и опытные люди... Один, чтобы двинуть городские дела, рассчитывает на средства при реконструкции завода, а другой — на частное строительство, привлечение частного капитала... В родном городе люди спокойнее и, конечно же, уверены в завтрашнем дне, если чего и бояться, то войны, а не безработицы. Жизнь менее разнообразна и подвижна, чем в Чарлстоне, но разве возрадуешься этой подвижности, если она выбросит тебя за борт при очередной экономической передрыгке? Кое-чем мы похожи друг на друга, очень многим не похожи, в одно и то же время живем разной жизнью, друг от друга далекие.

Сохранился в той же тетради еще один, вашингтонский вариант этой мысли.

В эти годы наших ожесточенных споров и возросшей подозрительности, приехав сюда на несколько недель и с трудом протягивая

себя через это время, в тысячный раз думаешь о том, что давно объяснил себе рационально, но все равно не можешь до конца осознать: зачем эта странная жизнь в чужой стране среди чужих? Ради каких-то заметок в газету? Зачем они нам? Мы — им? Но мы не можем не вглядываться друг в друга — и не просто в силу любопытства, как во времена гончаровского «Фрегата „Паллады“», не просто как досужие путешественники. Люди ядерного века, мы никак не можем наладить совместную жизнь и никак не можем обходиться друг без друга...

Уже по возвращении в Москву он записал: «Вот одна из самых невероятных сенсаций, не американских, а отечественных. В необитаемых дебрях Горного Алтая были обнаружены староверы-отшельники Лыковы. О них подробно и выразительно написал Василий Песков. В своих домотканых одеяниях, с посошками и котомками старик Карп Лыков и его дочь Агафья стояли на фотоснимках рядом с геологами, обнаружившими их, и мы дружно удивлялись: соседство двадцатого и восемнадцатого веков. В конец нашего просвещенного века каким-то анекдотическим чудом заскочила дикая и дряхлая, заскорузлая старина. Разве назовешь Лыковых нашими современниками? Случай из ряда вон, из категории очевидного — невероятного. И он, этот случай, как раз и подошел к одноименной телевизионной передаче, и примерно в этом духе толковали его профессор С. П. Капица и В. М. Песков, рассматривая фотографии вместе с нами, телезрителями. Но разве не к тому же разряду относятся другие расстояния в очевидных пределах нашего века, которые в голову не придет измерять веками и считать невероятными? Говорим, что Лыковы не понимают современных людей. А как быть с непониманием между современными людьми? Мы не сомневаемся, что американцы — наши современники, люди двадцатого века, а не восемнадцатого. А ведь они в своем роде дальше от нас, чем Карп и Агафья Лыковы. В домотканости ли дело? Всего невероятнее другая очевидность, к которой мы так привыкли, что не замечаем ее: множественность, емкость, бездонная вместимость двадцатого века...»

Простая, в сущности, мысль билась в своих диалектически связанных противоположениях, выскальзывая из-под пера: мы — разные и мы все — люди, все дети одной семьи человечества.

На свидания в Чарлстоне Американиста возил Дон Марш, а для загородной поездки ему выделили репортера Стива. Приятные люди, с ними было легко. Дон не принадлежал к чарлстонской верхушке, но был, можно сказать, вхож в общество. Стив был рядовым провинциальным газетчиком, трудягой-репортером, тридцать лет протрубившим в «Чарлстон газетт». Когда заходил разговор о Нэде Чилтоне, оба, оставив обычный тон газетной подначки, отзывались о нем уважительно и осторожно. Нэд был их боссом, хозяином, а мнение о хозяине берегут про себя. В умолчаниях и осторожных ответах сквозило: богатый. многое может себе позволить.

Худого горбоносого Стива жизнь потрепала, но он все еще любил работу и получал удовольствие от своих репортерских разъездов и писаний. За границу ни разу не выезжал, даже в Канаде не был, все лишь собирался туда порыбачить. Западную Вирджинию знал как свои пять пальцев и с машиной своей прямо-таки сливался — распространенное свойство американцев, прирожденных автомобилистов. Холостяк, он жил с матерью примерно в ста километрах от Чарлстона и каждый день ездил на работу и с работы, объединившись в автомобильный пул с тремя соседями. В словах его чувствовался человек, равнодушный к природе, охоте и рыбалке, к мужским занятиям на открытом воздухе. Приближался День благодарения, главный праздник поздней осени, и вместе с ним сезон охоты на оленей — самой популярной в Аппалачах. От Стива Американист узнал, что в лесистой Западной Вирджинии на два миллиона жителей насчитывается

примерно полмиллиона оленей и что охотничья лицензия местным жителям обходится втрое дешевле, чем приезжим.

Но не на охоту они выехали из Чарлстона по дороге, ведущей на восток.

На склонах невысоких гор пасмурное небо скребли гребенки голых деревьев. Из-за гор, низкого неба и начинавшего темнеть дня даже за городом не приходило ощущение простора. Долина была тесной от автомобильных шоссе, от железной дороги, по которой громыхали тяжелые грузовые составы, от рабочих поселков с серыми домишками, в которых даже рекламные вывески были какими-то серыми, блеклыми. С автострады свернули на проселочную дорогу, она бежала вдоль горного склона, пока не уткнулась в тупик. Там они оставили машину, прошли к зданию очистительной фабрики, увидели, как черно поблескивающие куски каменного угля лавиной сыпались из ярко-желтых больших самосвалов на ленту транспортера, которая подавала их в открытые вагоны...

Американист впитывал эти картинки и штришки. Он не пользовался фотокамерой, хотя снимки были бы незаменимым подспорьем при последующих описаниях. Его профессиональный прием состоял лишь в том, чтобы запомнить и двумя-тремя словами в блокноте закрепить нужные детали. Газетчику требуется общая картина, и это предполагало кабинетные встречи с руководителями, с аналитиками, которые мыслят цифрами и общими категориями. Хорошо, если от них оставалась и пара метких, образных фраз. Обязательным был также осмотр места — это позволяло раздвинуть стены кабинетов и показать читателю по возможности зримо, где происходит действие. И наконец, хорошо бы поместить в картину конкретного человека, без цифр и общих рассуждений, в конкретной жизненной ситуации — как живую иллюстрацию. Как у кинематографистов. Общий план. Крупный план. И наезд — камера придвигает к зрителю лицо человека...

Ему не хватало такого наезда, интервью на улице с человеком с улицы. Желательно безработным. И хотя газета Нэда Чилтона не походила на газету Американиста, опытный репортер Стив понял его. Но где найти нужного человека? В маленьких поселочках люди проскакивали мимо них в автомашинах, на улицах никого не было, да и улиц, в сущности, не было, всего-навсего дома вдоль дороги. В дом же не постучишься. Оставались кафетерии, увешанные вывесками кока-колы, или продовольственные магазины — фудмаркеты.

Стив подъехал к фудмаркету по дороге на старый шахтерский поселок Кэбин-Крик. По американским стандартам это был никудашный продмаг, но — без этого нельзя — с площадкой для автомашин покупателей. Парковка, рассчитанная на несколько десятков машин, была пуста. Стояли лишь три-четыре старые автоклячи — они как бы списываются из более благополучных мест в глухую провинцию.

В одной были люди — на заднем сиденье двое детей и женщина и на переднем молодой бородач. Другой бородач, вышедший из фудмаркета и несший в обнимку бумажный мешок с продуктами, садился в эту машину. Стив, вопросительно взглянув на Американиста, подошел к парню. Холостой выстрел. Это были проезжие, их слова о жизни в Западной Вирджинии не могли иметь значения. Судя по автомобильному номеру, который не сразу разглядели наши охотники за интервью, эти люди и их слова пригодились бы им в Пенсильвании.

Их свободный поиск был делом обычным, принятым среди газетчиков и телевизионщиков всего мира и, в сущности, нелепым. Наскочить на неизвестного человека, вырвать у него, ошарашенного и смущенного, несколько слов о его жизни или мнение о том или ином событии и тут же навсегда с ним распрощаться, чтобы передать его слова в газету, которую он никогда не прочтет. Чего тут больше — традиционного газетного реализма, требующего конкретных имен и

ситуаций, или, напротив, сюрреализма в стиле сумасшедшего Сальвадора Дали? С другой стороны, можно ли требовать от мгновенно творимой газеты и ее творца-газетчика больше, чем они могут дать на своем месте и в предложенных им обстоятельствах? И здравый реалист-читатель берет, что дают, понимая пределы возможностей газеты и отнюдь не обязательно считая ее полным и достоверным отражением многосложного мира. Если у кого и существуют иллюзии, то скорее всего у самого газетчика, увлеченного своим трудом. Он-то живет (и не может не жить) иллюзией, что газета — целый мир и что он создателем стоит в его центре.

Стив и Американист вошли в фудмаркет, чтобы найти там западновирджинца, который, будучи застигнутым врасплох, как на духу расскажет им о своей жизни в обиженном богом краю. Там стояли стеллажи и полки с довольно широким, непременным для магазинов такого рода и размера выбором продуктов. Покупателей, убедившись они, заглядывая меж стеллажей, почти не было.

Оглядевшись и посоветовавшись, подошли к молодой паре с маленьким мальчиком. Мальчик лет трех болтал ножками, сидя в магазинной тележке, которую толкал его отец, рыхлый детина с болезненным лицом, поросшим рыжеватой щетиной. Когда они подошли, детина остановил коляску и недоуменно посмотрел на них бело-красными глазами альбиноса. Стив представил репортера из Москвы, из России. Наивный, к тому же растерявшийся рабочий не ухватил скрытый юмор ситуации: репортер из России проделал тысячи и тысячи миль, чтобы добраться до придорожного фудмаркета возле Кэбин-Крик и задать ему несколько вопросов. Жена, бледная, невзрачная женщина в куртке и брюках, тоже не совсем понимала, что происходит, но придвинулась ближе, готовая прийти на помощь мужу. Лишь мальчику все было ни о чем. Ему нравилось кататься, сидя в магазинной коляске и хватаясь руками за ее никелированное плетение. Не переставая болтать ножками, он снизу вверх смотрел на отца и двух подошедших к нему незнакомых дядей.

— Да, шахтер, — ответил болезненный детина. — Да, из этих мест. Как дела? А разве не знаете?

И вместе с женой почти слово в слово они в один голос сообщили, что он четыре месяца пробыл без работы. И что его только что наняли на два месяца. Те четыре месяца страха и смятения еще оставались с ними, и они уже заглядывали на два месяца вперед, боялись будущего.

Взгляд парня был смущенно-затравленный, и в нем Американист прочел: чего привязались? какой мне от ваших расспросов прок? лучше сказали бы, что будет дальше?

Но он не мог ответить, что будет дальше с этим молодым человеком, с его женой и сыном, счастливо дрыгающим ножками в коляске, и прекратил расспросы. Нужным ему, журналисту, штришком он запасся. А дальше шло не профессиональное, а чисто человеческое. И по-человечески он не хотел, не имел права растревлять чужие раны. И худой горбоносый Стив, хоть его и послали помочь русскому репортеру, тоже не хотел выворачивать беды своего земляка перед человеком из другой страны и другого мира.

Вечером накануне отлета Американиста из Чарлстона Нэд закатил в его честь прием в частном клубе, находившемся на холме в уединенной части города.

На гостя из Москвы Нэд пригласил десятка три своих друзей и знакомых, и к услугам собравшихся были для начала коктейли в баре, а потом в отдельном кабинете вкусный ужин, вклучавший и одно русское блюдо — борщок холодный — на американский лад.

Но главным угощением от щедрого Нэда были сливки чарлстонско-

го общества. А для них, сливок, редкостнее, чем холодный борщок, был человек из Москвы.

Чарлстонцы один за другим подходили к Американисту поздороваться, представиться и поговорить. И каждый начинал с вопроса: каким ветром человека из Москвы занесло в Чарлстон?

— Я работал корреспондентом в Нью-Йорке и Вашингтоне, а теперь приехал в Штаты на некоторое время и решил заглянуть в Чарлстон, где не раз бывал,— объяснял каждому Американист.

Вот перед ним стоял молодой человек тридцати лет с мягкой располагающей улыбкой под темными густыми усами — адвокат, которого только что избрали в конгресс по одному из западновидажских избирательных округов от демократической партии. Он уже собирал чемоданы, чтобы к январю перебраться в Вашингтон, и теперь через москвича, когда-то жившего в Вашингтоне, пытался представить, какой будет его новая жизнь, жизнь конгрессмена в столице.

— Я работал корреспондентом в Нью-Йорке и Вашингтоне, а теперь...

Это Американист объяснялся с краснолицым промышленником, владельцем завода металлоизделий. Рядом стояла жена промышленника в костюме из светло-сиреневой замши. Успев подвыпить, горячая, промышленник изливал душу: стальной бизнес в ужасном положении, сталелитейная промышленность работает лишь на сорок процентов мощности. А кто виноват? Профсоюз сталелитейщиков. По новому коллективному договору они взяли обязательство двенадцать лет не прибегать к забастовкам, но зато каждый год требуют теперь повышения зарплаты. Знаете, сколько они сейчас получают в час? Двадцать долларов! Попробуйте с такой дорогой рабочей силой выдерживать конкуренцию японцев или западноевропейцев...

— Я работал корреспондентом...

Нэд подвел к Американисту своего близкого друга, широкогрудого гиганта с красавицей женой, кокетливо вертевшейся, чтобы гость наилучшим образом мог оценить ее острый носик и прекрасные зубы, открытые в радостной улыбке. Нэд говорил, что летом следующего года двумя супружескими парами они хотели бы прокатиться сибирским экспрессом через весь Советский Союз. Ведь это самый большой в мире железнодорожный маршрут, не так ли? Сколько суток он занимает? Откуда лучше начинать — от Москвы и ехать до Находки или, напротив, от Находки, двигаясь с востока на запад? План путешествия включал также Западную Европу и Японию, но они пока не решили, откуда начинать.

— Я работал...

Мужчина с усами, трубкой и прищуром мохнатых глаз занимал пост председателя верховного суда штата Западная Вирджиния и сразу же начал спор об «открытом» и «закрытом» обществе.

Так Американист расширил свое представление о разрезе чарлстонского общества, и общество, подогретое напитками в баре, переместилось в отдельный кабинет за обеденный стол, где Нэд, враг длинных речей, сказал несколько слов насчет желательности присутствия отношений между американцами и русскими и предложил выпить на здоровье, произнеся эти два слова по-русски и объяснив их значение другим гостям. Американист ответил ему в тон. Его усадили между красавицей женой гиганта и замшевой светло-сиреневой женой промышленника. Верховный судья, сидя через стол, продолжил тему «открытого» и «закрытого» общества...

Утром шел дождь. По телефонному вызову портье подкатило такси. Город посерел от дождя, под дождем мокли машины, в которых жители спешили на работу, от дождя дымилась река, и, взирая на эту картину через запотевшее стекло машины, Американист распрощался с Чарлстоном. Ненастье не помешало рейсовому самолету вовремя прийти, высадить и взять пассажиров и вовремя подняться

со сглаженной вершушки горы, и тогда в долине вновь открылся с высоты и сразу был задернут летящими космами облаков город с позолоченным куполом Капитолия, где заседает законодательное собрание штата, с краснокирпичной резиденцией, где жил губернатор Джей Рокфеллер, истративший еще восемь миллионов долларов на свое переизбрание, и с осенней, сумрачной рекой Канавой, которая впадает в реку Огайо и дальше в Миссисипи, как Чарлстон впадает в штат Западную Вирджинию и дальше в Соединенные Штаты Америки.

Американист еще беспокоился о том, какой новый материал отправить в газету, которая как будто забыла о его существовании, еще работал над корреспонденцией, где в качестве положительных героев выводил одетых в черное людей с благостными и постными лицами — католических епископов: они собрались в вашингтонском отеле «Стэтлер Хилтон» в двух шагах от советского посольства, чтобы обсудить еще один вариант своей анафемы ядерному оружию.

А между тем дни его командировки, как песок на доньшке песочных часов, сходили на нет, закручиваясь в воронку, и дата отъезда, с самого начала проставленная в авиабилете, была уже четвергом на той неделе, которая наступит через неделю, вот-вот начинающуюся.

Впереди еще был Нью-Йорк, но в сознании, подхлестывающем дни, он представлялся всего лишь трамплином для прыжка домой. Легко и радостно нарастало чувство освобождения. И в этом настроении, нанеся прощальные визиты в посольство и вашингтонским москвичам, которые щедро одаряли его своим гостеприимством и дружеским участием, в один пасмурный, дождливый и тем не менее прекрасный полдень позднего ноября Американист выехал в Нью-Йорк.

Собственно, до Нью-Йорка был всего час лета от Вашингтона, и воздушные «челноки» компании «Истерн», пренебрегая непогодой, исправно сновали в тот день, но он предпочел другой вариант — автомобилем. Не будем все-таки забывать, что Америка — это прежде всего дорога и автомашина, а наш герой на этот раз не изведал настоящего ни того, ни другого. Уже шесть лет он не видел донельзя знакомых автострад между Вашингтоном и Нью-Йорком. И захотелось ему снова ощутить этот бетон и эту землю под колесами и по сторонам от колес на ее примерно четырехсоткилометровом протяжении.

Безлошадника, к тому же отвыкшего от баранки, его взял с собой один москвич, работавший в Нью-Йорке.

Жизнелюб и весельчак, талантливый человек, тонко чувствующий и смех и слезы нашей заграничной жизни, Володя находился в Америке в третьей по счету длительной командировке — советский гражданин в положении международного чиновника, занимающего директорскую должность в секретариате ООН. Во многих отношениях Володя был более сведущим американистом, чем наш Американист, и вообще, коль мы задели этот вопрос, автор готов повиниться перед читателем, что упоминает друзей и товарищей Американиста мельком, и в свое оправдание хочет сказать следующее: у каждого из них, многоопытных людей, есть свое повествование об Америке, но никто, кроме Американиста, не давал автору полномочий вести рассказ от его имени. За свое в ответе — вот, вкратце говоря, какому принципу следует автор, не посягая на авторские права других...

Так вот, в то дождливое ноябрьское воскресенье Американист был рад снова увидеть своего сурового лишь на вид друга и его верную супругу Майю и разместиться сзади них, на сиденье маленького «плимута», слегка потеснив двух молодых соотечественниц, работавших под Володиным началом в ООН.

Володя без лихачества рассчитывал добраться до цели засветло, к пяти вечера. И с этим намерением, ведя машину резко и уверенно,

выбрался на Вашингтонскую кольцевую дорогу, потом в нужном месте свернул на мощную федеральную 95-ю, добавленную к старому шоссе на Балтимор, и влился в стремглав несущееся в брызгах воды автомобильное стадо.

График их движения полетел на первом же этапе, на подступах к тоннелю под балтиморской гаванью. Знакомый путь был перекрыт. Предупредительная электрическая стрела на дорожном щите, образованная миганием лампочек, бегущих к ее наконечнику, указала направление объезда.

Теперь они не вылезали из пробок. И впереди все время маячили впритык друг к другу мокро блестящие металлические горбы разноцветных и разнокалиберных машин, забив дорогу, казалось, до самого Нью-Йорка. Они потеряли не меньше часа на одном лишь Балтиморском тоннеле, который не успевал перерабатывать бесконечные тысячи машин, всасывая и выбрасывая их тремя своими огромными четырехугольными жерлами.

Дальше лучше не стало. Дождь не переставал, кое-где на дорогу лег и туман.

Воскресенье, как всегда, очистило дорогу от грузового транспорта, пугающе огромных тягачей с вагонообразными прицепами. Но это было не обычное воскресенье. Сотни тысяч людей возвращались домой, к работе после растянувшегося на четыре дня праздника — Дня благодарения. Вавилонское столпотворение царило на автомагистралях, разного цвета номера машин свидетельствовали о принадлежности автомобилистов по меньшей мере к полутора десяткам штатов Северо-Запада и Среднего Запада, Новой Англии и Юга.

За пять часов, в расчетное время прибытия в Нью-Йорк, пассажиры нашего «плимута» едва одолели половину пути и остановились перекусить в придорожном кафетерии, перед которым стояло сотни полторы автомашин и в котором были заняты все места за обеденными столиками и стойками.

Было уже темно и дождь еще сеялся в лучах автомобильных фар, когда они миновали разветвившуюся в десять—пятнадцать рядов автостраду в районе Нью-Арка, но непосредственно перед Нью-Йорком их ждало еще одно препятствие — аварийная электрострела своим миганием закрывала дорогу к Линкольновскому тоннелю, который не мог принять устремлявшийся в Манхэттен автомобильный поток, и направляла движение в объезд, к мосту имени Джорджа Вашингтона через Гудзон. Нью-Йорк был совсем рядом, вечернее зарево его огней уже просачивалось справа за завесой дождя, но пришлось подчиниться, и уставший Володя, напряженно всматриваясь в темноту и еще больше втянув голову в квадратные плечи, погнал «плимут» на север, от города и его манящего зарева.

Он плохо видел в темноте. Обнаружилось это при довольно драматических обстоятельствах. На очередной развилке, замешкавшись с выбором, он не заметил выросший из асфальта низкий и узкий разделительный бетонный барьер. Когда спохватился, было уже поздно. Машина наехала на барьер, который оказался между ее колесами. Металл злоево заскрежетал о бетон под ногами пассажиров. Барьер расширился, а машина все еще продолжала движение, и ее могло разодрать как бы надвое, и лишь считанные сантиметры отделяли хрупкие человеческие тела от схватки металла и бетона. К счастью, не растерявшись, Володя резко затормозил и удержал машину. Жизнь бок о бок со смертью длилась мгновение. Пятеро спутников издали лишь нечленораздельные восклицания.

«Плимут» сидел на разделительном барьере, его колеса оторвались от земли. Справа и слева, слепя их фарами, разбрызгивая воду, как ни в чем не бывало неслись машины к мосту Джорджа Вашингтона, в Нью-Йорк, в Манхэттен.

Попытка собственными силами снять машину с барьера и откатить назад не удалась. Они очутились среди стремительного, беспощадного и равнодушного движения. Металлические тела, которым ничего не стоило смять человеческое тело, неслись прямо на них, уставив лучи фар сквозь струи дождя как бы для того, чтобы лучше и безжалостнее высветить беспомощные фигуры людей. Только в последний миг, на последних десятках метров машины отваливали влево или вправо и, сохраняя ту же скорость, уносились мимо, и вслед им летели другие.

Образ этого жестокого, равнодушного движения связывался у Американиста с образом собаки, сбитой на шоссе. Никто не остановится убрать труп, и не у всех есть время его объехать. И каждый давит несчастное, уже мертвое существо. Каждый вдавливают его в шоссе колесами своей машины и пронесется мимо, вздрогнув и ужаснувшись. И вот уже тельце раскатано так, как будто по нему взад-вперед пускали паровой каток, и уже не разобрать, чье это тело — собачье или оленье, и вот всего лишь пятно на бетоне шоссе, всего лишь тень уничтоженного живого существа, и, пролетая над ней, мельком думаешь, какой же ты по счету, спешащий соучастник этого уничтожения.

Спасение пришло быстрее, чем они предполагали. Не более чем через полчаса оно явилось в виде верткого оранжевого грузовика с лебедкой, со всех сторон утыканного кроваво-красными предупредительными огнями. Грузовичок, оградив себя огнями от летящих автомашин, остановился возле «плимута». Из кабинки прыгнул рабочий человек, мастеровой, и один его вид сразу успокоил их — пустячная авария, игра воображения, за это чертово воскресенье он справился по меньшей мере с десятком таких. Не было нашего уклончиво-выжидающего: «Сколько не жалко, хозяин». Спасатель назвал цену, еще не приступив к делу: пятьдесят долларов. И деньги на бочку.

За четверть часа, взнуздав лебедкой «плимут», аварийщик снял его с коварного барьера. Пяťясь красными огнями на летевшие авто, поставил на дорогу, заменил запаской лопнувшее колесо. Прикрывая собой, позволил Володе набрать скорость и включиться в общее движение и, мигнув на прощание, остался дежурить на автостраде.

Они въехали в Манхэттен в десятом часу вечера. Что-то из ряда вон и должно было произойти, думал теперь Американист. В этом городе все случилось и всего можно было ожидать. Володю, Майю, двух спутниц и самого себя, возвращаясь мыслями к случившемуся, он видел как бы на сцене — под дождем и посреди двух огненных, расходящихся потоков машин. Это было жестоко и зрелищно. Завораживающая жестокая зрелищность в характере Нью-Йорка.

Володя высадил его возле отеля «Эспланада» на Вест-энд-авеню между Семьдесят третьей и Семьдесят четвертой стрит.

Люди — рабы привычек, в которых угадывается их прошлое. Бывший нью-йоркский дом Американиста, Шваб-хауз, соседствовал с «Эспланадой», и, приезжая в Нью-Йорк, он всегда старался остановиться там, по соседству с корпунктом, где когда-то жил и работал сам и где сейчас жили и работали добрые друзья — Виктор и Рая. «Эспланада» — старый отель с двухкомнатными номерами и кухоньками, снимали их в основном семейные люди или дряхлые старики и старухи.

Американист сразу же убедился, что и в этом отеле цены выросли за последние десять лет минимум в три раза.

Разложив вещи и умывшись с дороги, он позвонил Виктору и отправился в Шваб-хауз. Лифтеры поздоровались с Американистом. В дом, где по нью-йоркски зорко приглядывают за посторонними, его без расспросов пропускали даже новые незнакомые ему служащие, словно на нем была незримая печать давнего жильца Шваб-хауза.

В знакомой квартире на восьмом этаже Рая, уткой переваливаясь на больных ногах, накрывала стол для ужина. На большом экране телевизора, стоявшего в углу у окна, мелькали картинки и коротенькие энергичные репортажи о свежих уголовных преступлениях, за окном завывали сирены полицейских и пожарных машин, спешивших по своим чрезвычайным делам, которые обещали новые сенсации для телеэкрана. Нью-Йорк жил обычной бессонной жизнью.

Американист не без удовольствия возрождал свои нью-йоркские привычки. После позднего ужина отправился на угол Семьдесят второй и Бродвея за свежим номером «Нью-Йорк таймс». Дождь кончился. Было сыро и зябко. Мокрые серые плиты тротуара знакомому блестели под фонарями. На углу он увидел знакомую телефонную будку со складывающейся дверью, по которой, чтобы открылась, ударяют кулаком или ботинком. У обочины стояли два темно-синих жестяных ящика высотой по пояс, на коротеньких ножках и с выпуклыми крышками: один — для общей почты, другой — только для нью-йоркской. Все было на своих местах: чугунные тумбы пожарных гидрантов, проволочная корзина для мусора, столбик с растопыренными табличками-указателями — Вест-энд-авеню и Семьдесят третья, светфор, на котором ярко вспыхивали красным слова «Не иди» и зеленым «Иди». В поздний час эти огненные письма светили ему одному.

Каких-то двести метров отделяли Вест-энд-авеню от Бродвея, где еще шла активная ночная жизнь. Их можно было пройти по Семьдесяти третьей. Она хорошо освещалась вечерними огнями и на этом отрезке всегда была безопасной — во всяком случае, за шесть лет вечерних прогулок там с ним ничего никогда не случилось. Но все-таки это всего лишь проулок, и по его правой стороне стоят старые небольшие дома с опасными полуподвальными выходами, где живут пуэрториканцы. Он решил не искушать судьбу, с Нью-Йорком шутки плохи, а времена и тут изменились не к лучшему. Он избрал другой путь и быстро зашагал по Вест-энд-авеню: один квартал вниз к широкой, с двусторонним движением Семьдесят второй и по Семьдесяти второй мимо углового супермаркета, небольшого книжного магазина, нового салона дамского платья, старого похоронного дома и так далее — к Бродвею. Еще был открыт допоздна работавший магазинчик «Деликатессен» (теперь такие называют «дели»), где можно было и за полночь купить все необходимое и где когда-то она покупала семечки, считая, что они отводят его от курения. Работала и овощная лавка на другой стороне Семьдесят второй, на перекрещении с Бродвеем, и у входа в старую станцию подземки старый киоскер, как всегда, выглядывал из-за кипы только что доставленных и положенных на прилавок свежих газет, и вокруг его головы сиял нимб из голых молодых женщин и мужчин с обложек иллюстрированных журналов низкого пошиба, развешенных на прищепках внутри киоска.

Бродвей не спал, разъезжали машины, в светящемся полумраке баров сидели завсегдатаи, по тротуарам еще разгуливали поздние прохожие, из-под земли доносилось приглушенное грохотанье поездов подземки.

Ночью ему снился сон. Какие-то молчаливые мужчины в деловых костюмах, проскользнув в бесшумно открывшуюся на его глазах дверь, хозяйничали в его гостиничном номере. Хотя он был у них на виду, они вели себя так, как будто его не видели. Во сне он пыривался что-то им сказать, запротестовать, дать понять, что это не по правилам — входить в номер в его присутствии, но одновременно он понимал во сне, что протест опасен, что, обозначив себя, он как бы заставит их решать, что с ним делать. Они как бы получают повод и право убрать его. Во сне у него не было сомнений, что молчаливые мужчины — это, конечно, агенты ФБР и что гостиничный номер — это его номер в «Эспланаде». И сон был как бы неизбежной частью

его возвращения в Нью-Йорк — как будто нигде, кроме Нью-Йорка, не может привидеться в первую же ночь такой сон.

Утром, слегка приподняв занавесочку из плотной бумаги и нагнувшись, он глянул в окно — типичный нью-йоркский колодец, образованный стенами впритык стоящих разноэтажных прокопченных кирпичных домов. В его окно на четырнадцатом этаже слепо установились задернутые занавесками окна стоящего напротив дома. Короткий день разгорался — шелест шин, вскрикивание автомобильных гудков, не столь надрывное, как ночью, завывание сирен и неразборчивые голоса людей взлетали к небесам где-то за стенами этого молчащего колодца, и слышался слитный гул — дрожание, пыхтение, вздохи и выдохи города. Над крышами домов нависало небо в тучах, а в узком просвете между стен Гудзон манил пронзительно-холодным осенним простором и волей.

Всякие чувства он испытывал к этому городу. Не было только равнодушия. Нью-Йорк вызывал к себе отношение как к живому существу. Подытожить его было так же трудно, как трудно подытожить живую жизнь.

Американист спустился на улицу и решил прогуляться вокруг Шваб-хауза. Типично нью-йоркское, то есть необыкновенное, не заставило себя ждать. Свернув с Риверсайд-драйв на Семьдесят третью, он нос к носу столкнулся с человеком-полузверем. Великанского роста. С лицом в саже или угле — он явно спал не на чистых простынях и с утра не успел позаботиться о туалете. Воспаленные глаза дико и угрюмо глянули на Американиста. Взгляд исключал какой-либо контакт с другим homo sapiens. Чувствовалось, что контакты давно нарушены и даже порваны и что существо с угрюмо-тусклыми глазами уже не настаивает на своей принадлежности к высшему биологическому виду. Разлапистой и развалистой походкой гориллы в широченных, разбитых бахилах-луноходах бродяга шел в сторону Гудзона, где, может быть, и находилось его место в городских джунглях, его лежбище.

Отверженные. Живой труп. На дне. Определения и образы классиков, знакомые со школьной скамьи, Нью-Йорк все еще выводит на свои улицы. Картинно. Театрально-жестоко. Нет, ничего не вымыслено великими. Все это есть и, стало быть, было. Все выхвачено из жизни. Восстал этот угрюмый человек против жизни или сломился под ее тяжестью? Или восстал и сломился? Похожая или разная судьба скрывается у каждого из них за этим общим, бьющим, как плеть, словом loser — проигравший, неудачник? Да, жизнь не знает милосердия, жизнь есть жестокая борьба, и Нью-Йорк прямо на свои улицы выводит конечные (и конченные) продукты этой борьбы.

Нью-Йорк всегда поражал Американиста своей обнаженностью, всеядностью, соседством всего и вся. Нигде, пожалуй, человек не чувствует себя так непринужденно и так растерянно, так вольно и так покинуто, и по одной и той же причине — здесь никому до него нет дела.

Однажды поздно вечером он возвращался в «Эспланаду» по Семьдесят второй. В маленьком ресторанчике «Коппер пит» со стеклянными стенами, выдвинутыми на тротуар, в плосках уютно мигали свечки на крахмально похрустывающих скатертями столах. А чуть дальше ту половину широкого тротуара, что ближе к мостовой, занимала гора полиэтиленовых поблескивающих черных мешков, набитых мусором, — знак того, что опять бастовали городские сборщики. К мешкам был прислонен вполне добротный полуторный матрац — кто-то в этом доме, видимо, обновлял мебель, выбрасывая старую прямо на улицу. Он сделал еще несколько шагов, минуя завал мусорных мешков, и за их баррикадой увидел незаметную с той стороны, выброшенную кушетку. На кушетке спала пожилая женщина. Это и был уют бездомной — посреди улицы, рядом с уютом свечек, призывно

мигающих на столах ресторанчика. Каждому свое. Без подушки, но в позе довольно естественной, чуть свесив не умежавшиеся на кушетке ноги, женщина доверчиво спала, прижимая руками к груди свою сумочку.

Американист замер на расстоянии, как будто невидимая веревочка ограждала, не позволяя пересечь жизненное пространство этой бездомной женщины под темным и беззвездным небом, на которое никто не смотрит в Нью-Йорке, под малиновыми праздничными гирляндами, уже перекинутыми через улицу в преддверии веселого рождества. Какая сцена! Все рядом и как фантастически все сопрягается. Эту кушеточку выставили на тротуар, должно быть, всего несколько часов назад. И они как будто ждали и сразу нашли друг друга — ненужная, выброшенная вещь и ненужный, выброшенный человек...

Ах, если бы глаз обладал свойством современных чудо-фотоаппаратов и мог сохранять все, что снял, и показывать другим, как фотоснимки. Женщина на кушеточке сохранилась несколькими строчками на листе бумаги. Но что скажут другим, тем, кто не видел, эти строчки, занесенные в толстую тетрадь? Как приобщить других, не бывавших там, к трагикомической, грустно-величественной и жестокой зрелищности Нью-Йорка? Тут не лист бумаги нужен, а экран. Не описать, а заснять, зримо показать этот город — его Нью-Йорк.

Кто из пишущих не испытал в наши дни искушения телевизором? Коллега и старый приятель Американиста, сделавший несколько фильмов об Америке, уговорил его попробовать. Попытка не пытка. Не боги горшки обжигают. Ему любезно согласились помочь. На его попытки разрешили потратить некоторое количество киноплёнки, а также усилия — не в ущерб прямым обязанностям — молодого способного оператора и молодого деятельного корреспондента Центрального телевидения.

Женя любил свое дело, бесстрашно выходил на улицы чужого города — и чужого мира — и в упор снимал сцены его жизни. Андрей хорошо водил машину и знал город, готов был брать интервью и всячески помогать. Молодые люди жаждали дела, их тоже точил червячок невысказанности. Американист впервые выходил на сцену Нью-Йорка не с блокнотом, а с оператором.

Это было не просто — преодолеть себя и дебютировать на такой сцене. Несчастную женщину, спавшую на кушетке, он обнаружил ночью, когда кинокамеры и Жени не было рядом. Угрюмый получеловек-полуживотное тоже пропал незаснятым. Перо и сознание не обладали картинностью кинокадров, но шире захватывали естественный поток жизни. От образов Нью-Йорка, когда он появлялся на его улицах рядом с Женей, рябило в глазах.

«Вы должны четко определить, чего вы хотите. Показать пальцем — вот это, вот это и это...» — так деликатно, но настойчиво подсказывали его молодые помощники. Но улица — не письменный стол, сосредоточенность не приходила, и ткнуть пальцем легче, чем отснять. Кадры из будущего фильма уносились в потоке уличной жизни, которая не признавала вторых и третьих дублей. Удача могла быть, как и за письменным столом, лишь итогом крайнего рабочего напряжения. И тут не доставало времени — и своего, так как шли последние дни командировки, и чужого, потому что он не чувствовал себя вправе им распоряжаться. К тому же дни световые были самыми короткими на границе ноября и декабря и часто дождливыми, ненастными.

По вечерам в «Эспланаде» Американист торопливо работал над набросками сценария.

Реактивный гул и рев поминутно садящихся и взлетающих самолетов. Броские здания разных авиакомпаний в международном аэропорту Джона Кеннеди, автобусы и такси, расхватывающие пассажиров, сумасшедшие дорожные карусели внутри аэропорта, сразу же

создающие образ напряженного движения, летящие навстречу зеленые и синие дорожные щиты-указатели и, наконец, выезд на Гранд-центр-паркуэй, и опять мощная картина движения: четыре четких ряда машин в одну сторону, четыре — в другую. Шум и шелест и одновременно сосредоточенная рабочая тишина автострады. Из радиоприемника — не имеющая прямого отношения к дороге, но связанная с ней, лихая, отрывистая музыка. Как метроном, она отбивает ритм и темп движения самого Нью-Йорка. Физически все вместе, но психологически каждый сам по себе в металлическом микромире автомобиля, отгороженный от остальных. Непривычно отрешенный образ самодовлеющей и самоцельной жесткой скорости, передающий отчужденность людей.

С моста Трайборо возникает и сразу же исчезает, как проваливается, единственный в мире небоскрежный силуэт Манхэттена. Промельком! Броском! Как фирменный знак Нью-Йорка.

И все это без авторского текста, лишь под музыку. И также без текста, под музыку шествие парадного Нью-Йорка, одного за другим его великих небоскребов. Только архитектура. По возможности без людей. Молчаливые, гигантские, сияющие под солнцем, омытые дождем плоды людского труда. Старые и новые, пониже и повыше.

Вдруг после парада, величия, многоцветия — старые черно-белые кадры чаплинского фильма «Огни большого города». Сцена открытия памятника. Отдергивают покрывало — под ним на постаменте спящий бродяга. Он первым приспособил монумент великому человеку для своих нужд. Почесывает ногу, еще не проснулся и не знает, что его видит собравшаяся перед памятником торжественная толпа. Смешно. За бродягой бегают полицейский, тот — от него. Смешно. Опять цветные кадры, опять сегодняшний день. И в нем памятник давно открытый, забытый и невидный, как, впрочем, и все нью-йоркские памятники. Памятник великому Данте. Суровое лицо поэта. Он опустил взгляд на тротуар. Что же видит? У его подножия на скамейке — женщина-бродяжка. В натуре. С полиэтиленовым пакетом, в котором все ее пожитки. Не смешная. Одинокая. Одна из многих. Ее заметил полицейский, но они порядком надоели друг другу, и он за ней не бежит.

Не великие, а обыкновенные дома. Обыкновенная толпа, обыкновенная мостовая, обыкновенный поток автомашин. Как образ, как облик, как блик обыкновенного Нью-Йорка.

Плеск воды. Шелест ветра в голых ветвях. Широкая река. Безлюдная набережная. Пустынно. В кадре — автор фильма. Идет синхрон: «Это левый берег реки Гудзон. Там, на правом берегу, штат Нью-Джерси. А тут окраина города, и город называется Нью-Йорк. Тихое местечко, не правда ли? Не о таких ли говорят — приют поэтов, мечтателей, влюбленных. В сезон вот у этой ограды собираются, пытая удачу, рыбаки. На этот маленький стадион круглый год приходят любители бега, которых в Нью-Йорке великое множество.

Зачем мы пришли сюда? Почему именно это место выбрали, чтобы начать рассказ о Нью-Йорке?

С чего начинается заграница? С аэропорта, если приезжаешь на одну-две недели. И с дома, в котором жил, если жил за границей несколько лет. Тут, в двухстах метрах, за автострадой имени Генри Гудзона, есть один дом. В нем я прожил когда-то шесть лет, работая корреспондентом своей газеты в Нью-Йорке. В этом районе я обживал этот чужой, отталкивающий и влекущий город.

И это место у реки тоже наполнено для меня воспоминаниями. Тогда, правда, было меньше и бегунов и бродяг. И дети мои и других советских корреспондентов, живших в том же доме, были маленькими, и им казалось, что на этих качелях (кадры детской площадки с качелями) они взлетают до самого неба.

Сейчас они выросли, живут в Москве и сами обзавелись детьми, которые качаются на московских качелях.

Вот он, этот семнадцатизэтажный краснокирпичный дом, занимающий целый квартал, или, по-здешнему, блок. Вот они, эти окна на восьмом этаже, из которых я шесть лет смотрел на Гудзон и на белый свет. Там сейчас живет коллега, другой корреспондент моей газеты. Читает толстые американские газеты, смотрит многоканальный и почти круглосуточный телевизор. Познает и отражает эту страну, Америку. И перед его окнами течет большая река. И по вечерам за рекой горят красивые вечные закаты.

Когда я попадаю в Нью-Йорк, меня магнитом притягивает этот старый дом у большой реки.

Власть воспоминаний? Да. И власть невысказанного. Как дать другому почувствовать этот город, если он не бывал здесь и вряд ли будет?..»

Они снимали обыкновенный Бродвей в районе Семидесятых улиц, где постарели жители и обветшали дома, театральную рекламу на Седьмой авеню, крикливую и вульгарную Сорок вторую, грека — торговца греческими пирожками и индеец — точильщика ножей с его старомодным инструментом, пропойц с сизыми лицами на Бауэри — методом скрытой камеры, богему и студентов Гринич-вилледж, автомобильную пробку на Шестой авеню (Женя при этом наполовину вылез из машины, чтобы в натуре — и в натуральном темпе черепашьего движения — отснять этот обыкновеннейший нью-йоркский сюжет), здоровяков-строителей в их касках, рабочих робах и тяжелых, устойчивых башмаках, чернокожих мальчишек и девчонок у школы имени Мартина Лютера Кинга, где был памятник великому американцу, и на памятнике бронзовые слова, выражающие его веру, что человечество не спустится по спиралям гонки вооружений в термоядерный ад...

Снимали бездомных, лежащих — днем! — на скамейках, ступеньках лестниц и прямо на тротуарах (их стало намного больше в той части Вест-Сайда, которую хорошо знал Американист), любителей бега трусцой, лавирующих как ни в чем не бывало среди уличной толпы, долговязых, каких-то шарнирных негров, которые на глазах завороненных пешеходов извлекают ритм из любых двух железок. И возниц в церемонных фраках и цилиндрах, как статуи, возвышавшихся на облучках черных старых фиакров в Центральном парке. И бесцеремонных виртуозов-таксистов, и других виртуозов — водителей тяжелых грузовиков, ювелирно вгоняющих вагоны прицепов в узкие щели складов на узких боковых улицах. И чудных замшелых стариков-китайцев у уличных лотков с такими же чудными замшелыми кореньями в Чайна-тауне. И барахолку на Орчард-стрит. И зверинец в Центральном парке, где взрослые и дети с отрешенными улыбками как бы переглядываются с белыми медведями и львами, с моржами в круглом бассейне, и те отводят взгляд, в упор не видят человека, и лишь гориллы и орангутанги скользят по двуногим существам, сгрудившимся по другую сторону решетки, своими тускло блестящими глазами, в которых мерцает слабое и странное подобие разума. И конечно, дюжих ражих полицейских в зимних темно-синих бушлатах — от башмаков до фуражки с кокардой, и бляха на широкой груди, и толстый ремень, оттянутый на ягодице тяжестью кольца в открытой кобуре, связками ключей и наручников, и дубинка, машинально раскручиваемая в руке, и взгляд надсмотрщика в зверинце. И воскресную, солнечную, дышащую радостью жизни толпу молодых и старых людей на широких парадных ступеньках знаменитой сокровищницы искусства — музея Метрополитен...

Чем выше небоскребы, чем громаднее мосты через реки, заливы и проливы, тем меньше фигура человека, построившего их. Но ника-

кая современная гигантомания не в силах отменить истину древних: человек — мера всех вещей. Каково ему, человеку? Как он кует свое счастье? Вместе с другими или против других? И что выковывает?

Когда наступал вечер и съемки прекращались, он ходил по улицам с блокнотом, занося в него наблюдения, которые могли пригодиться для фильма. Или сидел у себя в номере перед телевизором. Одна из задач была в том, чтобы показать Нью-Йорк в двух контрастных темпах. Чтобы улицу с ее хаосом и естественной взъерошенностью перебивал показ новостей и рекламы — самодовольные телевизионные мужчины и женщины, которые самим видом своим — и только видом — претендуют на особые, фамильярные отношения с жизнью, судьбой и даже историей. Два темпа — естественный, несколько угрюмый темп улицы и развязно-подпрыгивающий, залихватский, цинично-небрежный темп в отражении жизни на телеэкране. Как сопровождение, как индикатор темпа — бегущие по телеэкрану электронные строчки круглосуточных новостей. И эти же строчки — как перебивка, как переход от частного и личного к общему или обезличенному.

Воспоминания — волшебные очки, через которые глядишь в прошлое. У каждого свои глаза и свои очки, подогнанные по глазам прожитой жизнью. Один человек через волшебные очки своих воспоминаний с необыкновенной отчетливостью видит свое прошлое, а другой ничего бы в них не увидел, потому что в его воспоминаниях — его жизнь и глядит он на нее через свои волшебные очки. И есть память войн и революций, разрух и голода, сейсмического масштаба потрясений и общего крайнего напряжения, тех эпох, которые переживаются всем народом, глубоко врезаются в сознание и образуют народную, историческую память.

В отношении воспоминаний, а порою и общей памяти международник, долго живший за границей, — особый и в чем-то ущербный человек. Он не может разделить воспоминания своих заграничных лет со своим народом, потому что его народ жил дома, а не за границей и происходящее за границей не переживал. И он не может в полной мере разделить свои воспоминания с чужим народом, среди которого жил, потому что не был частицей этого народа и, соответственно, на происходившее с ним смотрел глазами постороннего человека, пусть даже объективного и доброжелательного.

Американист хотел бы показать Нью-Йорк, как он его видел, тем соотечественникам, которые его не видели. Но как мог он телевизионными картинками показать свои воспоминания, более того — уроки жизни, полученные им от этого города? И кому нужны эти уроки? Американцам? Вряд ли, потому что в них всего лишь опыт постороннего. Своим? Нужны ли своим уроки, взятые у чужой жизни? Что же в итоге? Потерянное время?

С молодостью человек расстается неохотно и с запозданием. Американист уезжал из Нью-Йорка в возрасте примерно сорока лет, но еще чувствовал себя молодым и с молодой страстью отрицал крайне ожесточивший его город. Потом начались странные вещи. Чем дальше он отходил от этого периода своей жизни, тем пристальнее в него вглядывался. Это была, пожалуй, тоска по ушедшей молодости. Вместе с ней, казалось ему, он оставил в чужом городе и лучшие годы своей жизни, во всяком случае, самые полные.

Тогда, в те нью-йоркские годы, он вошел во вкус работы и работал много, не потеряв, однако, молодой безоглядности и способности веселиться в дружеском кругу. Он не принимал себя всерьез, а это до поры до времени помогает жить. И его друзья из советских корреспондентов были полны жизни и молодого, бескорыстного интереса к ней.

Он не заметил, как стал в Нью-Йорке профессиональным журналистом и американистом. Но в Нью-Йорке у него не доставало времени на Нью-Йорк.

В Нью-Йорке он слабо знал Бруклин, Бронкс и Куинс, но исколесил и исходил Манхэттен. И многое там хорошо знал. В подземных гаражах Нового Вавилона обитал чернокожий американский Юг и Африка, начинавшая за океаном свою экспансию чернорабочих, в лавчонках, пиццериях и прочих забегаловках — Азия и Южная Европа, на барахолках Даунтауна — Восточная Европа, среди разносчиков, посыльных, курьеров — Карибский бассейн и Южная Америка, в корпорациях, банках, отелях — Западная Европа. В сложном процессе общения разноплеменных миллионов все разделялось и перемешивалось. Даже в гастрономических вкусах здесь присутствовал весь мир — десятки и сотни ресторанов и ресторанчиков итальянской, китайской, французской, полинезийской, русской, немецкой, армянской и так далее кухни и даже кухни Армии спасения, где кормились несчастные, чье око видит, а зуб неймет ресторанные изыски Нью-Йорка.

Его отрывала от семьи круглосуточная корреспондентская вахта. В любую минуту мог уйти, в любой день — уехать, соблюдая так называемые нотные формальности, то есть за двое суток уведомив американцев о своих предстоящих передвижениях. По-молодому жестокий, он не понимал, как тяжело давались жене его отлучки. Но она умела любить, ждать, терпеть и прощать, радоваться радостями мужа и не отрывать его от дела и друзей, радушно принимала гостей, водила дочку в школу и в сквер перед домом (детей и тогда не пускали гулять одних), и однажды ночью он отвез ее на другой конец Манхэттена и через четыре дня привез назад с сыном — краснолицым толстым младенцем, который вздрагивал во сне и сжимал кулачки, когда в его кроватку врвался с улицы пронзительный вой полицейских и пожарных сирен...

Как ему найти дорогу в детство? Туда не отправляется каждый вечер с Казанского вокзала пассажирский поезд Москва—Сергач. Когда они вернулись из Вашингтона после второй американской командировки, мальчику было одиннадцать лет. Из них восемь прошли в Америке — больше половины детства. Что он будет вспоминать?

Молодость не задается такими вопросами. И жизнь не всегда торопится с ответами, но ничего не забывает.

Чужой мир оказался сложнее заочных о нем представлений. Жестокость и отчуждение соседствовали в нем с мощью и динамизмом. Поражала множественность и многообразие всего и вся — вещей, людей, темпераментов, карьер, судеб. Амплитуды человеческих страстей, добродетелей и пороков были шире и неожиданнее, чем заочно представлялось. Плюсы и минусы общественного и экономического устройства диалектически переливались друг в друга, переплетались, изменялись в зависимости от обстоятельств и дозировки, определяемой борьбой классов, социальных слоев и отдельных лиц. В зависимости от дозировки даже змеиный яд обладает то губительными, то целебными свойствами.

Слово компьютер у нас еще не привилось, а там электроника широко входила в быт, цены в магазинах были еще сравнительно стабильными и низкими, новые небоскребы росли, как грибы, на Шестой авеню. Умение американцев работать поражало, пожалуй, больше всего. Они вкалывали всюду — на полях и заводах, в офисах, ленивых не было, неумелых попросту не держали, выбрасывали на улицу, их отбраковывал беспощадный механизм конкуренции.

Ни Американист, ни его коллеги не могли избежать термической обработки и закалки Нью-Йорком. В шестидесятые годы, это американское десятилетие «бури и натиска», не только из газет и книг, но и из самой жизни, бурной, изобилующей сложностями и сюрпризами,

они познавали, что такое классовая борьба и расовые конфликты в развитой капиталистической стране. В обществе индивидуалистов американцы боролись не только каждый в одиночку за место под солнцем, но и вместе против зла вьетнамской войны и расового неравенства негров, во имя братства, солидарности, справедливости. На их глазах творилась живая американская история, в которой действовали и массы и вожаки, в которой были и свои герои, самоотверженные люди, доказывавшие, что и один в поле воин, если сражается так, что увлекает за собой тысячи. В повседневной динамике приходилось наблюдать развитие крупнейших общественных движений того времени, а также буйную скоротечность «молодежной революции», на анархическом фланге которой, взбудоражив обывателя, быстро расцвела и отцвела «контркультура» хиппи.

Казалось, что радикальных изменений в самом деле не избежать, так как силы социального протеста многообразны и энергичны. Но перед лицом потрясших его испытаний американское общество доказало своеобразие живучести, а правящий класс (неоднозначное понятие) — свое искусство решительно отбивать опасные атаки, отделять радикалов от умеренных, сглаживать острые углы, расширять рамки дозволенного (вплоть до совращения протестующих вседозволенностью порнобизнеса и «сексуальной революции»). Разные группировки правящего класса и двух правящих партий, перестраиваясь и маневрируя, доказали, что умеют приспосабливаться, учитывают новые веяния и не отмахиваются от проблем, действуют, кое-где уступая, кое-чему давая отпор и рассчитывая, что перемелется — мука будет, перебесятся и образумятся, что попыткам бунтарей вывернуть Америку наизнанку противостоит законопослушное большинство. Что радикалы увязнут в обывательской тине «среднего класса», исповедующего главную американскую религию — религию материального благополучия и успеха (не поняв этой ставки на «средний класс», мы не поймем живучести американской системы).

Время не поставишь на автопилот. Будущее не любит, когда с ним запанибрата обращаются люди сегодняшнего дня. Мало провозгласить, что будущее принадлежит нам. Во имя коммунистической идеи надо работать лучше их, чтобы своими достижениями, всем устройством своей жизни и, главное, нашим человеком в братстве с другими людьми превзойти их материальные достижения и их человека, отделенного инстинктом собственника от других людей. Надо бесстрашно смотреть в лицо меняющейся жизни, в глаза правде и точно оценивать, где стоит твоя страна относительно других стран и других народов.

* * *

В Нью-Йорке всего была масса, и он привез оттуда массу впечатлений и мечту о том, чтобы уложить их в книгу, в книги. Невысказанность распирала его, и ему казалось, что это личное обстоятельство, а именно обилие впечатлений, накопленных за океаном одним из бойцов идеологического фронта, должно представлять и общественный интерес, должно быть учтено в нашем общем идеологическом хозяйстве. Но для создания книги или книг, кроме впечатлений, требовалось время.

Однако при работе над негизетным отражением своих многолетних впечатлений Американист и ему подобные могли рассчитывать на месяц, не больше, творческого отпуска при хорошем отношении главного редактора, готового сквозь пальцы посмотреть на жесткие требования финансовой дисциплины. При нашем плановом хозяйстве, при учете всех и всяческих ресурсов не всегда учитывался главный ресурс — ресурс человеческой личности. Книга газетчика не относилась к социалистическим формам собственности. Шла по категории подсобного хозяйства, которым разрешено заниматься лишь в

нерабочие часы, приравнивалась к парнику частника, с которого ранние огурцы и клубнику везут на колхозный рынок.

«Творческий разум осилил — убил», — писал некогда Блок об освоении материала жизни художником, поэтом, писателем. Американист так и не осилил тему Нью-Йорка, не «убил» ее, и она продолжала жить в нем, будоражить его сознание. Он остался в долгу перед этим городом. И чувствовал свой долг всякий раз, когда там появлялся.

* * *

Второй синхрон они снимали в Центральном парке. Низкое декабрьское солнце еще не поднялось над богатыми отелями и жилыми домами на южной кромке парка и отбрасывало от них длинные тени. Большую лужайку, на которую они явились со своим снаряжением, ограждал временный заборчик: восстанавливали траву, выжженную за жаркое лето, вытопанную любителями бейсбола и просто пешеходами.

Они выбрали сухое возвышение и подготовились к съемке. Все делали споро, с шутками, но затем камера в руках Жени снова гянула на Американиста без шуток своим холодным поблескивающим зрачком. И снова он пытался задобрить ее, принуждая лицо к улыбке: «Это большая лужайка нью-йоркского Центрального парка. Ее называют Овечьей, хотя старожилы вряд ли упомнят, когда здесь в последний раз пасли овец. Быть может, в начале прошлого века. Там, на севере, невидимые отсюда, лежат негритянские кварталы — Гарлем. Справа на востоке — Пятая авеню, где живут богачи. На южной окраине парка — тоже не бедные дома и отели.

Со всех сторон город с его преисподнями и поднебесными этажами. С гимнами человеческого труду и проклятиями человеческой корысти. С тайнами и страстями чужой жизни — их нелегко разгадать и раскрыть.

А тут — лужайка и целый парк, прозванный Центральным. Каким чудом он сохранился, большой и нетронутый, почему пощадили его среди города, где иные квадратные метры земли стоят десятки и сотни тысяч долларов?

Наверное, потому, что человек не может жить без природы и поэзии. В городе он звереет, а здесь приручает белок, и они не боятся людей в самом центре Нью-Йорка. Белкам безопаснее, чем людям. Во всяком случае, они не уходят отсюда с наступлением темноты.

Сейчас здесь пустынно. Но бывают дни — и они запоминаются надолго, — когда эту просторную, вольную лужайку до краев заполняют люди...»

За последним синхронном по замыслу следовал финал фильма. Портретная галерея ньюйоркцев превращалась в человеческое море. Использовалась кинохроника. На экран выплескивалась полумиллионная антивоенная манифестация по случаю открытия специальной сессии ООН по разоружению. Мощное людское шествие с плакатами и лозунгами текло по рекам улиц и вливалось в море Центрального парка. На том лугу, где они делали теперь свой синхрон, проходил митинг. Над морем голов ряли плакаты: «Нет безумию гонки вооружения!», «Нет угрозе ядерной войны!» Эти кадры сопровождал текст: «Не узнать лужайку, на которой вы только что видели меня в одиночестве. Мы показывали вам разный — и разделенный — Нью-Йорк, вульгарные и жестокие зрелища на Бродвее, а вот здесь собираются иные люди, объединенные общим благородным делом. В мои нью-йоркские годы тысячи и тысячи американцев приходили сюда, чтобы требовать гражданских прав для негров, чтобы протестовать против вьетнамской войны. Здесь выступало много прекрасных людей, укрывавших эту нацию. Здесь и мне довелось слышать пламенные речи такого великого американца, как Мартин Лютер Кинг, такого знаменитого и благородного детского врача, как Бенджамин Спок.

Эта лужайка не знала тогда, что люди не оставят ее в покое со своими тревогами, что явятся в еще большем числе и по поводу, важнее которого нет. Они устали от гонки вооружений, от страха войны, от чудовищного термояда.

Не овцы, а люди собрались на Овечьей лужайке. Они не верят в мудрость тех лидеров, которые громоздят до неба горы вооружений. Они хотят мирно прожить свою жизнь и продолжать жить в своих детях и внуках, не разрывая, а звено за звеном ковать бесконечную цепь человеческого рода.

И это желание объединяет нас с ними.

У средневекового поэта Джона Донна есть строчки, которые Эрнест Хемингуэй поставил эпиграфом к одному из своих романов. «Ни один человек не есть остров. Каждый человек — это часть континента,— писал Джон Донн.— И никогда не спрашивай, по ком звонит колокол. Он звонит по тебе».

В наш ракетно-ядерный век даже континенты перестали быть островами, изолированными и неуязвимыми. Мы с американцами очень далеки друг от друга, но связаны одной ответственностью — за будущее человечества...»

Но не пафосом должен был кончаться его фильм, а щемящей лирической нотой, далью, в которой был бы и зов будущего и эхо прошлого. Показать под конец пустой воскресный Нью-Йорк, обнажившийся в своих улицах, красивый и грустный. Чтобы раздумчиво пересекали экран редкие автомобили, чтобы вдалеке элегически слышалась сирена, которая в будни разбудит и покойника. И чтобы снова появилась набережная Гудзона, и ветер сгребал осенние листья на ступенях лестницы и раскачивал пустые детские качели...!

Последний песок быстро таял в песочных часах его командировки. На сборы в обратную дорогу душевной энергии не тратилось. Виктор самоотверженно нес крест специфического нью-йоркского гостеприимства, которое распространяется на всех знакомых соотечественников и даже на знакомых знакомых. Он не жалел времени для коллег и напоследок возил его за мост Джорджа Вашингтона в торговые центры лежащего на другой стороне реки штата Нью-Джерси. В этом штате нет высокого налога на продаваемые товары, и потому можно с большей отдачей истратить сбереженные командировочные доллары. В традиции взаимовыручки Рая несла свой крест, как и жена Американиста, когда они жили в Нью-Йорке, как и все жены, сейчас там живущие. По ее указаниям Виктор послушно сворачивал к тому или иному торговому центру и ставил машину на той или иной парковке размером со стадион. Появлялся существующий у каждого командированного, составленный домашними список, и добрая Рая, сопоставляя потребности с возможностями, прикидывала, как полнее удовлетворить запросы и заказы ближних Американиста. О гадкая, презренная проза жизни!..

Все виделось через призму скорого возвращения домой.

Однажды субботним вечером Американист очутился не на Бродвее в районе Семидесятых улиц, который был для него почти домашним, а на т о м с а м о м Бродвее. Вечер был необычайно теплым для начала декабря, и густая толпа текла по тротуарам, замедляя ход на перекрестках и у магазинных витрин, возле уличных музыкантов, религиозных проповедников и вороватых молодых людей, играющих в три листика на опрокинутой жестяной бочке.

Он пришел на Бродвей в один из громадных старых кинотеатров посмотреть новый фильм «Инопланетянин», вызвавший сенсационный интерес у взрослого и детского зрителя. Кинокритики называли его шедевром. Летающая тарелка приземлилась в лесу около маленького американского города. Ее обнаружили жители. Власти и полиция решили ее захватить. Инопланетянам пришлось свернуть свою

экспедицию и убраться подобру-поздорову, но один из них потерялся в спешке и остался на Земле — некрасивый и трогательный уродец с головой умного пресмыкающегося, с коротким тельцем и длинными свечающимися пальцами рук, которые обладали волшебной способностью избавлять от боли. Под кожей большой ящерицы у инопланетянина просвечивало, набухая красным свечением и как бы вспыхивая, сердце. Дети обнаружили и спрятали испуганного уродца от взрослых людей, которые готовы были искоренять все чуждое и пришлое, тем более взезное. Дети разглядели и полюбили инопланетянина детской душой, еще не знающей взрослых запретов, отогрели его детской приязнью ко всему живому. Дети звали его И-Ти (две буквы от английского слова «внеземной»).

Симпатичный, сентиментальный, душещипательный фильм, и в переполненном бродвейском кинозале дети и взрослые, грызя кукурузные хлопья из литровых полиэтиленовых стаканов, смеялись, умилялись и едва не плакали. Конец счастливый. Дети сумели уберечь своего И-Ти от людей правительства, и он благополучно покинул Землю, потому что инопланетяне, не оставив товарища в беде, вернулись за ним. И-Ти улетел куда-то к себе домой, и единственное английское слово, которое он научился жалобно произносить за дни своего пребывания на Земле, было именно это слово — «home».

Дом... Домой... Пронзительная ностальгия по дому и по единению всех живых существ чувствовалась в этом фильме о взезном существе. На шедевр, по мнению Американиста, он не тянул, но его колоссальный успех говорил, что у прагматичных и, однако, не лишенных сентиментальности американцев задета какая-то потаенная струна. Инопланетянину тяжело на той Земле, без которой, вне которой мы жить не можем. Всякое живое существо тянется домой. И если ты любишь свой дом и свою страну, ты должен уважать любовь других людей (и даже инопланетян) к их дому, к их стране, к их планете. В такой умной и зоркой любви к своему — залог планетного и межпланетного братства. По существу, этот фильм проповедовал «новое мышление», к которому вскоре после появления ядерного оружия призывали Альберт Эйнштейн и Бертран Рассел и которое может вырасти лишь из «старого» гуманистического мышления.

И наступил канун отлета. Остались один день и одна ночь, и в следующий полдень Виктор отвезет Американиста в аэропорт Ла Гардиа, и прощально засквозят мимо нью-йоркские дома, и дороги, и жители.

Около десяти утра Американист сидел на диване в номере «Эспланады», и перед ним на журнальном столике лежал свежий номер газеты «Нью-Йорк таймс», а у стены тихонько светился телевизор; по одному из каналов (раньше этого не было) круглые сутки бегут на экране телетайпные тексты последних известий — в городе, стране, мире и на нью-йоркской фондовой бирже. Наш герой был занят своей рутинной утренней работой, просматривая и иногда подчеркивая те места в лежавшей перед ним толстой, примерно на сто страниц газете, которые могли пригодиться для его последующей работы и для его газеты. Помимо шарикового карандаша в руках у него была безопасная бритва. Этим инструментом он вырезал из газеты самые интересные, на его взгляд, сообщения, готовя пополнение для своего московского архива.

Учитывая прежний опыт накопления бумажного хлама, он ввел жесткие самоограничения: газетные вырезки сводил до минимума, из журналов и даже книг безжалостно вырывал отдельные страницы или главы, выбрасывая все остальное. Но даже после строгой отбраковки набиралось обычно с полпуда бумаг, которые самолетом он вез домой и там предавал забвению, хотя каждый раз во время командировки казалось, что без новых вырезок нельзя ни работать, ни даже

жить. Душу газетчика околдовывает и завораживает сегодняшний день.

И вот утром накануне отлета он сидел перед газетой с безопасной бритвой в руке и готовил самые свежие вырезки в дорогу, а в углу отражением большого мира светился экран телевизора.

Строчки телетайпных новостей бесшумно бежали и исчезали, уступая место другим строчкам о других новостях. И вдруг ворвалось коротенькое сообщение, что в столичном городе Вашингтоне непосредственно в эти убегающие вместе с телетайпными строчками мгновения развивается прелюбопытное и доселе невиданное событие. Конкретнее: неизвестный мужчина угрожает взорвать национальный монумент-obelisk в честь Джорджа Вашингтона, и как бы не взорвал в самом деле.

Американист встрепенулся при этом сообщении и отодвинул от себя газету. Между тем на телеэкране бежали новые строчки — развитие исчезнувших. Итак, конкретнее и подробнее: незнакомец каким-то образом подогнал к подножию монумента автомобильный фургон, выскочил из него, полиция не оказалось поблизости, объявил о своей угрозе и о том, что в закрытом фургоне у него одна тысяча фунтов динамита как доказательство, что он отнюдь не шутит. Злоумышленник взял заложниками первых с утра туристов — посетителей монумента. Твердит, что не пожалеет себя и национальной святыни, если не удовлетворят его требования.

Требования... Требования... Требования... Все чего-то требуют и все чаще с помощью динамита. Но этот новоявленный подрывник не требовал миллионов или свободы для соратников-террористов. Он требовал того, чего требовали миллионы американцев и многие избранные народа там, под куполом Капитолия, который превосходно виден от подножия обелиска, — общенациональных дебатов об угрозе ядерной войны, а также запрещения ядерного оружия. Иначе... Тысячу фунтов динамита он замахивался на национальный монумент. С динамитом на термояд! Клин клином. Чисто по-американски.

Всяк по-своему с ума сходит — не только человек, но и век. Бедняга свихнулся в стране, где президент требовал и добивался перевооружений, военные стратеги искали здравый смысл в ракетном братоубийстве и где динамит всегда под рукой, как и телеоператоры, чтобы оповестить мир о его сумасшествии.

Век и человек вдруг увидели друг друга в зеркале новой сенсации. Не мыслью, а скорее ощущением, догадкой пробежало это в голове нашего Американиста, и он пожалел, что новейшая новость еще не отлилась в печатные строчки и что нет у него видеоманитофона, чтобы вырезать ее с телеэкрана.

Высоченный стосемидесятиметровый гранитный обелиск наши люди в Вашингтоне прозвали Карандашом. На щедро отведенной ему, ничем другим не застроенной территории он и в самом деле торчит как слегка сужающийся, очиненный на вершине карандаш. Наверху смотровая площадка, и ни одна точка в Вашингтоне не дает такого вида на город и его вирджинские окрестности с высоты птичьего полета. К смотровой площадке поднимается лифт — за некоторую плату, но желающие могут и пешком пересчитать восемьсот девяносто восемь ступеней (Америка любит точный счет). Впрочем, пешком больше спускаются, читая по дороге пояснения, какие стройматериалы от какого штата поступили при сооружении монумента. Карандаш открыт для посетителей ежедневно за исключением рождества с девяти утра.

Преступник со своим динамитом появился как раз к началу и взял заложниками первых девятерых посетителей...

Событие снова вернулось на экран телевизора в номере отеля «Эспланада». Полиция, сообщала бесшумно возникавшие строчки,

принимает меры. Она вооружилась снайперскими винтовками и благородной сдержанностью. Оцепила район происшествия, перекрыла доступ публике, но сама держится на расстоянии, так как человек, пока отказывающийся назвать себя, курсирует возле своего фургона с прибором дистанционного управления в руках и грозит в случае малейшей для него опасности произвести взрыв. Он также продолжает настаивать на своем требовании...

Сенсация развертывалась. Строчки первоначального сообщения повторялись для тех, кто только что прильнул к телеэкрану, и обратились новыми подробностями, новым действием. Самый неистощимый на выдумки, сумасшедший и талантливый драматург и режиссер по имени Жизнь еще раз выступал в своем излюбленном жанре документального и одновременно фантастического реализма, который не снился никакому Габриэлю Гарсиа Маркесу.

Гранитный обелиск — это своеобразный географический пуп американской столицы. Если провести прямую линию от мемориала Линкольна к зданию конгресса на Капитолийском холме и другую прямую от Белого дома к мемориалу Джефферсона, то в их перекрестии как раз и очутится торчащий Карандаш. Во всяком случае, такое было задумано еще сто пятьдесят лет назад, когда появился первый проект монумента, но при строительстве, которое закончилось сто лет назад, Карандаш слегка сдвинули, так как точка перекрестия оказалась на зыбком, болотистом месте. «Первый в дни войны, первый в дни мира, первый в сердцах своих соотечественников» — так говорят о Джордже Вашингтоне. От монумента первому до жилища последнего, текущего президента рукой подать. И динамитчик по наитию или расчету точно выбрал место, откуда осколками памятника можно было метнуть в Белый дом.

Неожиданное событие затмило все остальные и шло уже вне конкуренции. Американист вдруг понял, что, по существу, с его точки зрения, теперь пишется неожиданный финал его путешествия. И если новость идет номером один, то где-то непременно должна быть картинка. Специальные выездные телебригады уже должны быть на месте. И переключающие каналы, Американист сразу же напал на картинку. Ее гнали с места действия ж и в ь е м.

Ах, вот он каков, издали схваченный телевиком одинокий человек возле гигантского монумента. Вот он, безумец, пока еще без имени, ворвавшийся на сцену, и от океана до океана в телезрительном зале, называемом Америкой, уже сидели миллионы людей, вот так же разглядывая и разгадывая человека, который на их глазах, лоб в лоб, шел против ядерной супердержавы. Это был его час, звездный и, быть может, последний. Но если сейчас в его руках был бы не приборчик дистанционного управления, а портативный телевизор, он увидел бы, что телекамера наблюдает его без всякого почтения, бесстрастно и холодно, как какого-то подопытного зверька.

Да, он был один у мощного, тяжелого подножия уходящего ввысь обелиска, и камера хотела бы, но не могла схватить их обоих сразу — маленького человека и весь гигантский монумент. И когда камера брала во весь рост монумент, человек терялся, пропадал — вот на что он замахнулся. Потом человек снова возник в кадре наедине с серой стеной подножия и своим белым, медицинского вида автофургоном. Он был странно одет — в синий комбинезон и шлем с опущенным забралом. Его одеяние мотоциклиста заставляло думать о космонавтах и их скафандрах. Но походка у него была иной, не походкой космонавта, идущего с чемоданчиком в руке к автобусу, который повезет его на космодром, к ракете и подвигу. Походка динамитчика, прохаживавшегося взад-вперед у своего фургона, была бодренькой и смешной походкой немолодого, невидного, неспортивного мужчины, который, однако, хотел бы выглядеть сильным и уверенным. В руках его действительно был какой-то приборчик с антенной, и он держал

приборчик на некотором расстоянии от груди, как будто побаиваясь его.

На боку белого фургона с динамитом короткой надписью излагалась программа неизвестного: «Задача номер один — запретить ядерное оружие». Несоответствие между историческим масштабом задачи и одиноким маленьким человеком в синем комбинезоне было еще более разительным, чем между ним и монументом.

Действие тем временем продолжало развиваться.

Сообщили: он отпустил девятых заложников, так и не дождавись официальной реакции на свое требование.

Сообщили: предположение насчет второго человека, соучастника, оказалось неверным.

Сообщили: президента и участников завтрака, который он устраивал в Белом доме, переместили из зала, где в случае взрыва могли вылететь оконные стекла, в другой, безопасный зал. Жене президента посоветовали сторониться помещений в южной части Белого дома. Официально Белый дом никак не отзывался на угрозу монументу, разъяснив, что происшествие входит в компетенцию полиции.

Вовлекая все больше людей и учреждений, событие распространилось, как круги по воде. Эвакуированы служащие министерства торговли и министерства сельского хозяйства, расположенных неподалеку от Карандаша. Закрыт для посетителей Национальный музей американской истории. Федеральное бюро расследования, парковая полиция, непосредственно отвечающая за порядок в национальных парках и сохранность национальных монументов, а также вашингтонская полиция образовали специальную группу по урегулированию возникшей ситуации. Однако злоумышленник отказывался вступать в какие-либо контакты с властями, а полиция не хотела, чтобы он излишне нервничал. Берегите нервы сумасшедшего с взрывчаткой!

Наконец нашли добровольного посредника, которому доверился динамитчик, — репортера агентства Ассошиэйтед Пресс. Он взялся оказать помощь обществу и заодно рекламно послужить своему агентству. Теперь на телеэкране появился и репортер, он осторожно поднимался по склону холма в направлении монумента, вздыбив полы пиджака и растопырив руки, показывая отсутствие оружия и тайных намерений. Неизвестный приостановил свое нервное похаживание... Расстояние между ними сокращалось... Они о чем-то говорили, стоя в нескольких шагах друг от друга...

Потом репортер спустился с холма. И сразу же через свое агентство распространил послание человека, который, как выразился репортер, взял в заложники национальный монумент. Послание было коротким и страдало общими местами.

«Вина лежит на президенте и прессе, — честно воспроизводил репортер слова динамитчика. — Они делают вид, что над нами вовсе не висит угроза ядерного уничтожения, они отказываются давать истинную информацию об опасной, неконтролируемой ситуации, в которой находится мир».

Хотя он обличал прессу, в газетах каждый день печатались слова и сильнее и красноречивее. На что он рассчитывает? Переубедить президента? Поднять против него нацию? Неужели верит, что один поступок, каким бы драматическим он ни был, заставит прозреть слепых и объединит разьединенных? Неужели думает, что все изменится после его жертвы на виду у всех или даже от принесенного в жертву национального монумента?

Следя за развитием события, Американист пытался понять логику безумия.

Но с другой стороны, рассуждал он, разве в том дело, какие слова сказаны? Все слова сказаны давным-давно. Только поступки возвращают словам их утраченную силу. Чем ты обеспечиваешь свое слово? Чем готов заплатить за него?

Это у больших людей слова, даже самые пустые или лживые, доходят до миллионов других людей — они наперед обеспечены их известностью или властью. А у маленького, безвестного человека, если он хочет, чтобы его услышали, есть, быть может, лишь один случай в жизни и одна-единственная плата — его единственная жизнь. И вот этот маленький и безвестный человек, выбрав фантастическое лобное место в самом центре Вашингтона, клал на плаху свою голову, чтобы его единственный раз в жизни услышали миллионы, чтобы на мгновение перекрыть голос сильных, властных, корыстных и агрессивных. Своим актом безумия он взывал к здравому смыслу своих соотечественников.

И так тоже можно было понять его поступок. И об этом тоже подумал Американист, сидя один в своем номере напротив телевизора.

У ветхозаветного прародителя Авраама бог потребовал страшной жертвы — единственного сына Исаака. Авраам повиновался и встал рано утром, оседлал осла своего, наколот дров для жертвенного костра и вместе с Исааком пошел на место, указанное богом, чтобы принести сына в жертву и тем доказать свою веру в бога и свой страх перед ним. Исаак почуял неладное. Когда они восходили на гору, он спросил отца: «Вот огонь и дрова, где же агнец для всесожжения?» Авраам ответил: «Бог усмотрит себе агнца для всесожжения». Они пришли на место, и Авраам устроил жертвенник и, связав сына, положил его на жертвенник поверх дров. И когда Авраам взял нож, чтобы заколоть сына своего, Исаак не произнес ни слова. Он молчал, как жертвенный агнец. Бог отвел нож от Исаака и пощадил его, испытыв крепость Авраамовой веры.

Но какой веры ждет от нас ядерный дьявол, вселившийся в десятки тысяч впрок припасенных мегатонн? Какой веры и какого страха? И неужели промолчим, как библейский Исаак, под его занесенным ножом?

Маленький человек возроптал от имени таких же безгласных, как он. Движущаяся цветная картинка на матово блестящем стекле экрана. А там, на холме, не картинка, а живой одинокий человек в истоме смертного страдания. Телевизионная близость обманчива, телевизионная солидарность эфемерна. Кто захотел бы встать рядом с ним в оптических прицелах полицейских винтовок?..

Инкогнито разгадали по номерному знаку фургона из штата Флорида. Голоса дикторов и бегущие строчки сообщали исходные данные, лишив безымянности героя дня.

Норман Мейер. Шестидесяти шести лет. Из города Майами штата Флорида. Владелец пансионата, по возрасту уже отошедший от дел, материально вполне благополучен, имеет некоторый капиталец. Искали разгадку его драматического явления нации. Одинок... Бездетен... Мухи не обидит... В психолечебницах не бывал, в анархизме, левом или правом радикализме не замечен... Нормальная жизнь американского буржуа. Обыватель. И вокруг — юг, солнце, пальмы и море. Курортный рай и денежки на безбедную старость. Чего еще? В Майами таких хоть пруд пруди. Никаких загадок. И вдруг этот грандиозный жест.

Видения ядерных грибов не давали жить Норману Мейеру. Частный предприниматель, веря в частную инициативу, вел свою антиядерную борьбу в одиночку — ходил с плакатом на улицах, помещал в газетах платные антивоенные призывы, как раньше в тех же газетах помещал платную рекламу своего пансионата. Приезжал иногда в Вашингтон и пикетировал вдоль ограды Белого дома. Его не замечали и не слышали. И вот он нашел свое жертвенное место и свой способ возроптать.

Белый дом, однако, продолжал высокомерно молчать. Полиция, не оставляя попыток отговорить и урезонить безумца, ни словом не заикалась о выполнении его требований.

...В драмах, которые стихийно ставит жизнь, бывают тупиковые ситуации, когда герои, сказав свои слова, тянут и медлят с действием, а зрители тем временем теряют интерес. Полоса штиля наступила на холме у монумента.

А между тем персонажи других событий дня толпились у телевизионных подмостков и требовали к себе внимания. И дневные телезрители в отличие от вечерних были в массе занятые люди, каждого куда-то звали дела, даже в те минуты, когда на волоске висела судьба национального монумента. В последний день перед отлетом Американист тоже не мог без конца сидеть у телеэкрана. Покинув отель, он влился в толпу на улицах, бегал по близлежащим магазинчикам и аптекам, выполняя просьбы знакомых насчет трубчатого табака и новых полудолларов с профилем Джона Кеннеди, заклепок для обивки дверей и ногтерезок, соевого соуса, последнего нумизматического ежегодника и так далее.

Истекал еще один короткий декабрьский день, последний день в жизни Нормана Мейера.

Динамита в его фургоне не было.

Динамит он придумал, зная, что без динамита не продержится и пяти минут и голос его никто не услышит, кроме ближайшего полицейского.

Динамит он придумал, но сценарий свой не додумал до конца. Он захватил сцену на глазах у всех и должен был ее удерживать. Он не мог, как телезритель, выключить телевизор и побежать по делам с тем, чтобы в вечерних выпусках досмотреть, что случилось дальше. Надвигалась темнота, и окружающий его мир съезжился до беспощадно освещенной площадки. Он устал от крайнего напряжения сил, от долгой ходьбы под дулами винтовок и телекамер, и не было ничего, что могло бы придать ему новые силы. Люди, ради которых он принял свою рискованную акцию, молчали. Во всяком случае, их связь с ним была односторонней, и он не знал, какие незримые и, быть может, действительно общенациональные дебаты шли в душах соотечественников, видевших его на своих телеэкранах. Ему было не двадцать, а шестьдесят шесть лет, он не ел и не пил целый день и вряд ли мог продержаться у гранитного подножья еще и ночь — да и что она могла добавить?

И вот Норман Мейер влез в темноте на сиденье фургона и, не предупредив своих преследователей, покатил по Пятнадцатой стрит.

Жаждавшая дела полиция не мешкая открыла огонь.

Фургон завиял и опрокинулся.

Ждали взрыва, но взрыва не произошло.

Полицейские стрелки с овчарками опасно приблизились к фургону, лежащему на боку. Их пули попали не только в колеса. В кабине нашли бездыханного Нормана Мейера.

И поздно вечером, когда рабочий день закончился не только на Восточном, но и на Западном побережье Соединенных Штатов, телезрителям показали финал. Они увидели опрокинутый фургон, носилки в руках санитаров и нечто на носилках, прикрытое сверху белой простыней. Комментаторы объяснили, что это и есть тело мертвого Нормана Мейера. В вечерней темноте, раздвинутой телевизионными огнями, носилки исчезли в чреве машины «скорой помощи». Взревев сиреной, машина тут же тронулась и умчалась. И тогда Нормана Мейера, только что отправленного в один из городских моргов, воскресили в видеозаписях на телеэкране, и своей походкой, бодренькой и еще более жалкой и смешной, он опять начал прохаживаться у монумента под итоговые объяснения телекомментаторов.

Живьем теперь показывали шефа парковой полиции. Он проводил импровизированную пресс-конференцию, оправдывая действия своих подчиненных, стрелявших без предупреждения. Когда он попытался заодно объяснить мотивы поведения убитого, Американист

подумал, что полицейский начальник берется за непосильную для его ума и воображения задачу. Как, впрочем, взялся за другую непосильную задачу и сам Норман Мейер.

Маленький человек выбежал на площадь Истории с криком отчаяния и проклятья — и расшибся о бесчувственную чугунную махину государства. Сто пятьдесят лет назад похожая драма была описана вечными стихами. Был маленький человек и был монумент — Медный всадник. И были жалкий бунт маленького человека, и преследование, и наказание.

И он по площади пустой
Бежит и слышит за собой —
Как будто грома грохотанье —
Тяжело-звонкое скаканье
По потрясенной мостовой...

И тот же, в сущности, финал:

Нашли безумца моего,
И тут же холодный труп его
Похоронили ради бога.

Началось стремительное возвратное движение.

Американист ехал не из аэропорта Ла Гардиа, а в аэропорт Ла Гардиа и в донельзя набитый старый портфель втиснул не подарочную бутылку водки, а свежую «Нью-Йорк таймс» с историей Нормана Мейера, переходившей с первой полосы на двадцать пятую. На мосту Трайборо он не повстречался, а попрощался с небоскребами Манхэттена, которые четкими силуэтами остались за его спиной в свете теплого и солнечного декабрьского дня. Садился не в монреальский самолет, идущий в Нью-Йорк, а в нью-йоркский самолет, идущий в Монреаль, и в обратном направлении поплыла под крылом все еще бесснежная земля Новой Англии. Но, подлетая к Монреалю, он увидел крепкий белый снег, искрившийся на солнце, и обрадовался ему, как весточке из дома.

И дальше в Монреале его везли из аэропорта Дорвал в аэропорт Мирабель, где он должен был не распрощаться, а встретиться с нашим самолетом. Пассажиры в автобусе были ему незнакомы, но он воспринимал их как попутчиков еще от Москвы, которые полтора месяца назад рассеялись каждый по своим делам на североамериканском континенте, а теперь снова собрались ради общего дела — возвращения домой.

В Америку они летели вслед за солнцем, удлинняя октябрьский день. Теперь декабрьское солнце успело пройти над Монреалем на запад и, разместившись в рейсовом «ИЛ-62», пришедшем из Москвы, они летели на восток в темноте, навстречу солнцу завтрашнего дня, сокращая долгую зимнюю ночь.

Наш самолет, наши летчики и стюардессы, наши светящиеся табло, аэрофлотские запахи, еда и напитки, полотенца и салфетки, и пусть не все на мировом уровне, Американист в эти первые часы решительно не годился в критики Аэрофлота. Кругом слышалась родная речь, и он опять был в своей среде, свой среди своих, и его обволакивало и баюкало чувство дома.

Путь домой обычно не оставлял следов в его дорожном дневнике. Разрядка, в некотором роде межконтинентальная, царила в возвратном движении, и даже течение времени как бы замедлялось в московском бытии Американиста, вернувшегося из Америки.

Родные лица, выглядывающие из-за барьера таможенной зоны в Шереметьевском аэропорту, редакционный шофер, заснеженные окраины Москвы, знакомый дом и двор, лифт, дверь. Дома. Хорошо прилететь из командировки в пятницу. Он вволю отоспался, передвинул биологические часы своего организма в соответствии с москов-

ским днем и ночью за окном, съездил на редакционную дачу в Пахру, где на земле лежал белый снег и в снегу пестрели стволами голые березы, было холодно и щемяще просторно и где он снова испытал власть родной природы и неизъяснимое желание раствориться в ней.

Близкие снова были близко, не иконописные образы памяти, а люди в своем повседневном бытии, и он уже не мог им сказать, как тосковал вдалеке, и чувства его как бы спрятались — до новой разлуки.

Давным-давно редакция стала вторым домом, но в первый день по возвращении он с какой-то робостью и стеснением входил в знакомое здание, как будто боясь, что никто его там не узнает.

В длинных коридорах все были на короткой ноге, запанибрата. Одни удивлялись: «Чего-то тебя долго не было видно?» Другие спрашивали: «Ну как там, в Америке?» — и не ждали ответа. Он так долго писал в газету об Америке, что его ответы как бы подразумевались, не представляли интереса.

Это был дом, а не заграница, и дома он был известной величиной и шел по жизни в рядах своего стареющего поколения, и его друзья находились в возрасте всезнающих людей, переставших забивать голову подробностями, а коллеги помоложе, набирающие опыт и силу, с неутоленным еще любопытством, стеснялись его расспрашивать.

Что еще? Его корреспонденцию о католических епископах и антивоенных настроениях в конгрессе, переданную из Нью-Йорка, опубликовали. Бухгалтерия запросила финансовый отчет, и он составил и сдал его вместе с остатком казенных долларов.

Работа Американиста, когда он был дома, состояла в чтении текущих материалов и писании о текущих политических событиях, касающихся отношений двух стран. После первых дней раскочки он занялся этой привычной московской работой, тем более что отношения лихорадило больше обычного, американцы вели дело к размещению в Западной Европе своих ядерных ракет средней дальности, и вокруг этой проблемы разворачивалась ожесточенная дипломатическая и пропагандистская битва.

Впечатления последней поездки постепенно выветривались. Прогуливаясь, он уже не был во власти произвольной игры воображения, накладывающего московские улицы на нью-йоркские или вашигтонские. Но ощущение неудовлетворенности и той же цроклотой невысказанности не проходило. Опять он думал, что не сказал главного. Он даже не знал, в чем же оно, это главное, но понимал, что оно должно вывиться в процессе работы, если он постарается полнее и откровеннее описать свою поездку и, значит, осмыслить и пережить ее заново. В такой работе, считал он, было бы и настоящее оправдание его путешествия. Но, погрузившись в текучку, Американист все реже вынимал и раскрывал толстую тетрадь с американскими записями и не находил времени даже для перепечатки этого исходного материала на машинке.

Неужели все, что так заражало и заряжало его там, вся эта напряженная работа мозга пропадет впустую, как не раз пропадала, и всего-то останется от этой поездки четыре корреспонденции с их плотным и как бы зашифрованным, сугубо политическим содержанием? Ведь они уже исчезли в газетных подшивках, и навсегда. Неужели снова восторжествует этот старый живучий парадокс — нет времени, чтобы попробовать рассказать о времени и о себе?

Так прошло полгода и больше. Он уже тешил себя обломовской мечтой высказаться потом, после еще одной поездки.

Вы спросите, что случилось с его телевизионным фильмом о Нью-Йорке? Этот воз так и увяз в самом начале пути.

Правда, к его сценарию сочувственно отнесся один телевизионный начальник, который когда-то и сам жил в Нью-Йорке и потому посчитал, что автор имеет право на свой подход к теме. Но у другого

телевизионного начальника возникли возражения. Он Нью-Йорка не знал, но зато знал, что требуется от фильма о Нью-Йорке. Американисту он советовал увидеть Нью-Йорк глазами создателей прежних фильмов. Однако повторяться было бессмысленно и малоинтересно. Молодая женщина-режиссер увлеклась идеей Американиста. Но и у нее не было собственного видения Нью-Йорка, и никто не собирался направить ее туда ради фильма внештатника.

Так песком между пальцев впустую протекало время.

Но однажды прекрасным июльским утром явился к Американисту один путник.

Это был американец среднего возраста и роста, плотного сложения, с бородкой на круглом широком лице и с голубыми чистыми и внимательными глазами. Американист усадил его в одно из финских кресел в углу своего служебного кабинета, а сам уселся в другое, и довольно оживленно, порой не без жестикующей проговорили они полтора часа, и, выведя путника за дверь, наш герой распрощался с ним в редакционном коридоре.

Но почему путник? И свои странники и путники перевелись, а иностранные и вовсе не забредают через государственную границу. И американец не с улицы взялся: известный журналист и писатель, приехал в Москву как гость агентства печати «Новости», и принимал его наш Американист по просьбе сотрудников этого агентства. Почему же путник?

Слово пришло от обличья американца. В жаркий московский день он был небрежно и легко одет — хлопчатобумажные летние брюки, рубашка без галстука и холщовая сумка через плечо. Именно эта холщовая сумка, эта сума и навела Американиста на русское слово, предполагающее не четыре стены с потолком и какую-то дипломатию на газетно-журнальном уровне, а вольное небо над вольными просторами, кудрявую опушку леса, картины типа нестеровских или стихи типа блоковских: «Нет, иду я в путь никем не званный, и земля да будет мне легка...»

Не иностранец, а некий ино-странник.

Но на этом внешнее сравнение американца с российским путником обрывалось. Ибо из своей сумы гость вынул не краюшку хлеба и кусок салца в тряпице, а два больших желтых, плотной бумаги конверта. Из конвертов — свернутые вдвое листочки бумаги, из кармана пиджака черную толстую ручку из тех, что назывались у нас вечными, пока не уступили место недолговечным шариковым...

И там, где внешнее сравнение с путником оборвалось, пошло сравнение сокровенное и тревожное.

Американца привела в Москву работа над книгой о стратегических ядерных вооружениях — тех самых, которые мы готовим друг против друга на тот самый роковой случай. Он изучил проблему с американской стороны, но одной стороны в избранном им предмете было недостаточно. И вот на две недели — поглядеть на нас, поговорить с нами. Разве древние философы предвидели эту связь: системы оружия — политика — смысл бытия? Между тремя звеньями, только тремя, в пору ставить знак тождества. Сверхплотное сжатие всего и вся. Никогда не было такого, хотя вот уже сорок лет висит над нами Бомба.

И новым путником нового времени занесло в Москву голубоглазого бородатого американца с холщовой сумкой. Как и других заносит.

Он понравился Американисту. В нем была естественность и ум, искренность и та привлекательная смелость, когда пишущий человек, отказываясь от так называемой солидности, не боится задавать вроде бы наивные, детские вопросы, ответы на которые вроде бы известны взрослым, солидным людям. Он хотел понять нас и наше отношение к американцам, и из его вопросов, чувствовал Американист, получал-

ся один самый детский и самый мудрый вопрос вопросов: что же мы (то есть мы, и они, и все человечество) за люди, и что же нас, таких, ждет в будущем при наличии такого оружия и такого международного положения, и что же нам делать? А ты, сидящий напротив, что за человек? Сумеет ли мы вместе на нашем общем корабле Земля проскочить между Сциллой и Харибдой нашего страха и вражды в мире, где мы можем утонуть вместе, если не научимся вместе спастись?

Этот путник видел в нас спутников и свою судьбу не мог отделить от нашей. От нашей общей — и общечеловеческой — судьбы. Все мы путники, но не под вольными небесами среди вольных полей, а в угрюмых пространствах ядерного века. Все мы путники и все мы спутники. К этому заключению пришел Американист, когда, проводив американца, подумал, что стоит, пожалуй, написать об этой встрече и этом американце, и когда, размышляя о том, как писать, под поверхностным слоем их беседы искал сокровенный психологический слой. Сентиментальные заметки дались ему легко и радостно, как дается все, что пишется без оглядки и от души.

«Мир тесен,— писал он о встрече с американским путником и спутником.— Мир — тесен... Безвестный мудрый предок смело поставил рядом эти два слова еще тогда, когда знакомый ему мир замыкался темными чащобами лесов на горизонте, а незнакомый простирался неведомо куда и таил тьму чудес. Ба, мир тесен, посмеивались старые знакомцы, случайно встретившись в каком-то десятке верст от дома. Ба, мир тесен... Попробуйте так же, добродушно посмеиваясь, сказать это о баллистической ракете, которая всего за полчаса может доставить с континента на континент сотни тысяч неотвратимых смертей, упакованных в трех или десяти ядерных боеголовках индивидуально и точного наведения на цель.

Мир тесен... Встреча поразила Американиста еще и оттого, что он знал этого американца заочно. Его звали Томас Пауэрс. В этом тесном мире, примерно на середине нашего документального повествования, где герои, как путники, непредугаданно появляются и исчезают, Американист повстречался с Томасом Пауэрсом в ночном стратосферном небе между Вашингтоном и Сан-Франциско. Помните юбилейный, в голубовато-серебристой обложке номер ежемесячника «Атлантик» и в нем статью «Выбирая стратегию для третьей мировой войны»? Она заставила Американиста пренебречь кинокомедией, которую в тот трансконтинентальный вечер предложили после ужина пассажирам широкофюзеляжного «Ди-Си-10». Журнал он привез в Москву и держал под рукой, не затеряв в своем архиве.

И вот они встретились очно. И Американисту с новой силой и без отсрочки захотелось рассказать об этом странном мире, тесном и трагически разорванном, в котором все мы путники и все мы спутники.

Но минуло еще четыре месяца, прежде чем он пришел к главному редактору с просьбой дать ему время отписаться. Он сказал, что больше не может откладывать, что чувствует себя прямо-таки недоеной коровой. Сравнение покорило главного, но в просьбу он вник и отпуск разрешил.

Из его кабинета Американист вышел окрыленный и озабоченный. Теперь у него было время, и это было время испытания...

В первый же вечер, едва разместившись в келье писательского Дома творчества под Москвой, он приступил к работе и на листке бумаги так определил свою задачу: «Чего ты не договорил — и то и се. Хотя бы медитации в самолете Или таможенный инспектор — их граница на замке Типизация всего американского, особенно при входе в их атмосферу.

Но не это главное, что ты не договорил. Ты там в двух крайних состояниях, растянутый, если не распяты между ними. Предельно

обнажено твое частное, личное — жизнь, судьба, тоска, ностальгия. И так же предельно твое ощущение общего на стыке двух стран в один ядерный век. Человек частный и человек общественный, через которого причудливо пропущено время. Вот что недоговорено и вот почему ты мучаешься невысказанностью и все время едешь туда, хотя стал тяжел на подъем и все больше понимаешь условность своей тамошней жизни.

Эта центральная мысль, это объяснение твоих мук вдруг приходит в морозный, с высокой луной и искрами в снегу вечер, когда, сев в уединении за письменный стол, приступаешь еще к одной попытке сладить со своими впечатлениями...»

1983—1984.

ЭПИЛОГ

Бог свидетель, что на высокой луне, искрах в снегу и полюбившейся ему мысли о времени, причудливо пропущенном через человека, автор и хотел поставить точку в своем описании путешествия Американиста. Или три точки, вообразив, что это следы, уводящие вдаль, сделанный типографскими знаками намек, что жизнь продолжается, а документальный рассказ о ней надо где-то оборвать. Но время шло, и автор понял, что своими тремя точками загадал такую загадку, которую читатель и не возьмется отгадать. Автор забыл о том, о чем сам же все время напоминал на протяжении своего повествования, а именно о специфике жизни и работы своего героя как одного из наших американистов. Даже самый проницательный читатель вряд ли угадал бы, как продолжалась эта специфическая жизнь и куда вели следы трех символических точек. И еще одно обстоятельство подталкивало к написанию то ли продолжения, то ли эпилога. Пока рукопись вещь в себе лежала где-то в издательском шкафу среди других канцелярских папок с тесемочками, Американист по заданию своей газеты совершил еще одно путешествие в Америку, приуроченное еще к одним выборам.

Новая поездка была короче, всего две с половиной недели, а выборы — важнее, не промежуточные, а президентские. И в Белом доме избиратель оставил того же человека, которого два года назад не очень-то жаловал. Разве не требовал этот факт сам по себе хоть какого-то постскрипума?

Своей фантастической достоверностью жизнь вдохновляет нас на опыты в жанре документальной прозы. Что может быть достовернее и важнее самой жизни? К тому же она освобождает документалиста от тяжелой работы воображения, изнуряющей собрата-художника, от необходимости сведения концов с концами, потому что берет это трудное дело на себя. Но зато собрату, коли свел он концы, легче поставить точку и обойтись без послесловия. Его не призовут к ответу новые коленца, которые выкидывает жизнь, продолжающая как ни в чем не бывало творить и тогда, когда документалист закончил. Вот почему не в книге, которую долго пишут и долго издают, законное место документалиста, а в газете, где утром написано, вечером напечатано, а назавтра, быть может, уже и забыто. А раз забыто, то не призовут ни к ответу, ни к суду.

Все так, но в морозный и лунный ноябрьский вечер, на котором мы закончили было свое повествование, Американист, оторвавшись от газеты, отключившись от быстротечного потока газетной жизни, погрузился в состояние творческого блаженства. Баста! — сказал он себе, решительно отбрасывая новые впечатления ради возвращения к прежним, из стареющей американской тетради, заново вживаясь в них.

Медитация длиной в месяц происходила не в самолете, повисшем над океаном, а в номере писательского Дома творчества — без излишеств, но со всеми, как говорится, удобствами на третьем этаже четырехэтажной панельной башни, стоящей поодаль от центрального корпуса, похожего на помещичий дворец, и желтых особнячков с колоннами, в облике которых сохранились довоенные представления о пристанище муз. Двойные двери, обитые коричневым дерматином, берегли тишину. Ноябрьские и декабрьские дни были короткими, но ясными, морозными, крепкими. Могучий раздвоенный дуб-красавец по дороге в столовую плетением черных голых ветвей оттенял почти испанскую голубизну неба. Бойкие птички садились на переплет открытой форточки, поглядывая на жильца быстрыми бисеринками глаз, клевали крошки белого хлеба, а когда жилец выходил, оставляли на листках его бумаги свои поправки невпопад. И благословляя психотерапию труда, Американист садился за стол сразу после завтрака, вставал перед обедом и, похрустев крепким снежком на прогулке в очарованном зимнем лесу, после обеда снова принимался за дело, и уже тени от фонарей ложились на снег и птички умолкали, укладываясь где-то на покой.

Материя, которой он занимался, была мрачной, апокалипсической, а настроение, рождаемое ранней зимой и подвигавшейся вперед работой, — легким и бодрым.

В столовой Американист сидел рядом с любителем лыжных походов из Литинститута и поэтом-удмуртом. Умный и скромный поэт, приехавший под Москву с застенчивой женой, делился фронтowymi воспоминаниями и особыми тревожностями человека, который по складу характера не умеет устраиваться с переводчиками и пробивать свои стихи к всесоюзному читателю. Его воображение жило лесной родной Удмуртией, сотрудник Литинститута переводил с латышского, Американист пробивался через описание прилета в Нью-Йорк или видов вашингтонского предместья Сомерсет, и образы этих разных миров витали над обеденным столом в углу возле двери, над вегетарианскими щами и биточками с вермишелью.

Политически накаленные дни подбрасывали, конечно, и вопросы об Америке, и собеседники Американиста своими заочными знаниями выявляли порою досадные пробелы в его очных, но сугубо политизированных знаниях. Неспециалисты, они смотрели в корень и искали там то, что касается н а с. Своим простодушием больше всего запомнилось ему вопросы массажистки Вали. Мужа ее унесла прочь развеселая, дымная, пьяная жизнь газопроводчика. Сына-школьника поднимала одна, хотя еще жили с бывшим мужем в одной квартире, которую не могли разменять. По-крестьянски сильная женщина ребрами ладоней пи л и л а шею, затекшую от усердных занятий американистикой, и при этом, наслушавшись последних известий по радио и телевидению, и вопрошала, и жаловалась, и негодовала: «Чего молчите-то? Расскажите чего-нибудь. Война-то будет или нет? И чего им только надо? Ведь все небошь в хрусталах, в золоте, по ресторанам ходят. Чего же им не хватает?..» Замолкала, переводя дыхание, и легко увязывала свое личное с глобальным, всеобщим: «Вот все думаю ремонт на следующий год делать. А вдруг война — на что он тогда, ремонт этот?! У нас рядом воинская часть стоит. Как заведут они там свое, я форточку закрываю, чтобы и не слышать. Неужели, думаю, началось?!»

И в минуты простодушных Валиных откровений в жарко натопленном медицинском кабинетике, за окном которого стояли деревья в снегу и сиял своим алмазным блеском морозный день, Американист снова убеждался: да, мир тесен...

Так прошел месяц отпуска, и на столе медленно росла стопа исписанных листков бумаги. Он смотрел на нее с удовлетворением, считая исписанные листки, но боясь вчитываться в текст, чтобы не

смутить себя несовершенством сделанного. Вернувшись в Москву и перепечатав рукопись, он прочел ее и увидел, что текст еще хуже, чем он полагал. Типичная незавершенка. И неудобно просить о продлении отпуска, потому что нечем рассчитаться с газетой за ее великодушие.

Оставив стройплощадку, на которой он трудился так увлеченно и радостно, Американист вернулся к газетной работе с ее чередованием авралов и пауз. В ту зиму состояние советско-американских отношений чаще всего определялось фразой: хуже, чем когда-либо за послевоенный период. В гонке вооружений и дипломатии как никогда лидировали вооружения. Позацией, блокирующей договоренность, американцы добились срыва переговоров в Женеве по ядерному оружию средней дальности в Европе и по стратегическим вооружениям. Впервые за долгие годы представители двух держав прервали свой диалог, а вооружения между тем прибывали, первые «Першинги-2» уже развертывались на боевых позициях в Западной Германии. В газетах замелькал новый термин, известный ранее только специалистам,— подлетное время. Подлетное время, за которое американские ядерные ракеты могли достичь своих целей на советской территории, составляло теперь шесть—восемь, а не тридцать—сорок минут. Захват крошечной Гренады усилил воинственный шовинизм американцев. Линкор «Нью-Джерси» маячил у ливанского побережья, изрыгая полутоннажные снаряды в сторону горных селений под Бейрутом. Где еще, как еще пальнет эта вызывающе империалистическая политика?

Наступил високосный год, год президентских выборов в Америке, но и сквозь предвыборный треск миролюбивых фраз слышался грохот кулака, демонстрирующего американскую мощь. Накал идеологических битв нарастал, зазорно было бы отставать от коллег, активно выступавших в газете, и на пару месяцев Американист совершенно забросил свою незавершенку.

Время, однако, угрожало зданию, возведенному из кирпичей переходящих фактов, и тогда ему пришлось делить себя между газетой и рукописью. Книга снова была тайным детищем, урывками он превращал первый черновой вариант во второй, а второй — в третий. Когда получил третий с машинки, опять было не то. И он сидел по утрам дома, и домашние отключали телефон и ходили на цыпочках, и весенний день звонко прибывал за окном, голоса птиц и детей слышались со двора, а с соседней магистрали все громче и жестче доносились урчание грузовиков и панелевозов. Приезжая на работу, он видел, что апрельское солнце собирает все больше своих молодых поклонников на знаменитой площади, где бронзовый поэт, заведя руку с цилиндром за спину и наклонив голову, задумчиво вглядывался в еще одно поколение, шумевшее вокруг его постамента.

Лишь молодежь забывала все, слушая победные гимны весны. Взрослые люди, мельком порадовавшись солнышку, продолжали жить прозой своих будней. Юноши и девушки, назначившие свидание на знаменитой площади, не знали, что в близкостоящем, внешне неколебимо спокойном газетном здании гудит растревоженный человеческий улей. Главного редактора, сумевшего поднять коллектив и двинуть вперед газету, забирали наверх. Без его авторитетной руки газета как бы легла в дрейф. Жили ожиданием нового главного и новых перемен, догадками, предположениями, слухами, которые по длинным коридорам кочевали из кабинета в кабинет. Смутные дни. Резкие перепады.

Провожали главного. В круглом конференц-зале, прозванном шайбой, заняв все кресла и стулья, стоя у стен и закупорив двери, набились сотрудники. Главный был взволнован скоплением, вниманием, скрытым возбуждением людей. Говорились слова, приличе-

ствующие случаю, в почтительно-ироническом ключе, не без газетного балагурства, но над собранием витал дух еще одного, иного прощания, назначенного на следующий день,— внезапно умер первейший и наиболее признанный в профессиональной среде сотрудник газеты Анатолий А., которого все звали просто Толей, хотя ему перевалило за шестьдесят.

И на следующий день в другом зале, длинном и низком, стоял обитый красным гроб на месте, где на собраниях всегда стоит стол президиума, собственно, на том же столе, за который садится президиум. Сотрудники газеты, друзья, знакомые, почитатели пришли проводить в последний путь ласково и насмешливо улыбочивого мастера, который в своих эталонных проблемных очерках добивался редкой достоверности и соответствия истине, и еще несколько дней назад мягкой кошачьей походкой прохаживался по длинным коридорам, и кого-то из молодых шутливо и снисходительно напутствовал, похвалил, добавив хрестоматийную строку, которая всегда в таких случаях вертится на языке: «...и в гроб сходя благословил...»

Тайна жизни и смерти. Или жизнесмерти.

Мастер умер внезапно и нелепо — хотя подходит ли последнее слово к тому, что необратимо? Радуюсь голубому апрелю, поехал в пятницу отдохнуть на редакционную дачу, а в субботу его увозили в Москву мертвым. Свежим прелестным вечером прогуливался по аллее на высоком берегу реки, солнце еще висело над исподволь оживавшими полями, рассказывал спутнику, что старший сын прислал из Эфиопии письмо, в котором на вопрос отца, какой хлеб они там едят, гордо ответил: «Свой собственный, отец». Ночью вдруг прижало сердце, и боль не отпустила. Вызвали «скорую». Врач предлагал местную больницу, но их боялся москвичи. Ни Толя, ни Галя, его жена, не понимали фатальности происходящего. Под утро он умер — реанимация опоздала.

Утро было субботнее, в редакции делали лучший номер недели, весть из Пахры распространилась мгновенно. Природа газеты — скорбная весть тут же стала еще одним материалом для нее, и друг Толи, другой известный очеркист, взяв из отдела кадров личное дело, а из своей библиотеки книги покойного, писал некролог в номер.

Мертвое тело увезли днем из Пахры, но вечером субботнюю сауну так и не отменили. В тесном помещении любителей было как никогда, после устроили подобие поминок — в сияющий апрельский день никто не хотел оставаться один, стихийная сила весны и жизни противилась победе смерти. Жизнесмерть.

Через несколько дней в том же низком и длинном зале второго этажа, на том же месте президиума снова стоял гроб, и в нем с открытой колпаком, изувеченной операциями головой лежал Леонид С., работавший корреспондентом газеты в одной западноевропейской стране. Беда не ходит в одиночку, но у жизни свой напор. Через час после панихиды в главном кабинете на третьем этаже сотрудникам редакции представили нового главного редактора. Новый был сравнительно молод и незнаком, посматривали на него затаенно-испытующе. Он волновался и сказал точные, нужные слова, воздав должное традициям газеты, ее коллективу и своему предшественнику. С новым главным для собравшихся начиналась новая глава их работы в газете и, быть может, в их жизни.

Вдова покойного Толи рассказывала, что в последнюю свою ночь, мучаясь, он повторял: «Маета... Маета...» Не понимая происходящего, мастер и на смертном ложе искал точное слово и оставил его коллегам как слово-завещание, как последнюю находку, догадку, разгадку.

Американист долгое время находился под впечатлением этого магнетического слова — так ложилось оно в тот год на разные ситуации и в его жизни. Маета... Его путешествие завершилось в загородной больнице, куда он поступил с язвой двенадцатиперстной кишки и где наконец покончил со своей незавершенной и однажды июльским днем между таблеткой и уколом поставил три точки после слов о высокой луне и морозных искрах в снегу. Все хорошо, пока работа ладится и придает жизни смысл. Американиста подлечили. Два экземпляра его труда оказались в издательских папках с тесемочками, третий — в редакции толстого журнала. В журнале соглашались лишь на сокращенный вариант. И новой маетой, маетой саморазрушения, он занимался в августе в железнодорожном санатории, трижды на дню присоединяясь к тысячам других славянофилов, то есть любителей славяновской воды, и скорым шагом, круг за кругом, опоясывая гору Железную...

Когда он вернулся, на носу были новые американские выборы. Вступая на этот второй круг, автор отсылает читателя к началу повествования, где была описана типичная процедура приготовления к заграничной поездке: согласие главного редактора, постановление редколлегии, заполнение американских анкет и запрос о визе в посольство США.

В воздухе уже носилась неизбежность переизбрания Рональда Рейгана и возобновления советско-американских переговоров о контроле над вооружениями, после долгого перерыва наш министр иностранных дел вновь встретился с их президентом, который часто говорил американцам о том, что в свой второй срок главной задачей поставит улучшение отношений двух держав. В который раз зарождалась надежда, смутная и, быть может, скоротечная, и выражала себя в мелких положительных приметах, в частности в том, что американская виза была на этот раз получена за несколько дней до отлета, а не в самый последний день.

И снова была самопроизвольная настройка души перед отрывом от родной земли и близких людей. И снова Американист тщетно пытался спастись от этой большой и непродуктивной траты психических сил, мысленно перепрыгивая через восемнадцать дней командировки в тот день, в ту пятницу, когда возвратный «ИЛ-62», оставив позади ночной океан и встретив позднюю зарю над норвежскими фиордами, будет с реактивным свистом заходить на посадку над заснеженными березовыми рощами и коснется колесами родного шерефьевского бетона.

Теперь, когда и эта поездка осталась далеко позади, он вспоминает ее с приятным чувством. Как-то все ладилось, и если бы автор подробнее описал это новое путешествие, книга его могла бы, пожалуй, получиться оптимистичнее.

Готовясь в Москве к поездке, Американист обратился за помощью к своим давним и добрым знакомым в советских внешнеэкономических организациях. Они дружески откликнулись. Телексные запросы ушли в Нью-Йорк, оттуда пришли четкие ответы: несколько крупных бизнесменов и известных адвокатов, связанных с большим бизнесом и правительственными кругами, согласились встретиться с советским журналистом. Он летел в Нью-Йорк, имея в кармане расписанную по дням и часам программу встреч с «интересными дядями», как не без делового восхищения назвал своих партнеров за океаном один из опытейших наших внешторговцев.

И на следующее утро после прилета он вдвоем с Виктором занялся работой, и возле знаменитого отеля на Парк-авеню так привычно влился в спешащую по тротуарам толпу деловых американских людей, как будто и не было двухлетнего перерыва. Помогала теплая, солнечная погода конца октября и ощущение, что он не теряет даром скупо отпущенное время.

Бизнесмен, к которому они направились на свое первое свидание, жил в маленьком городке Дикейтор, штат Иллинойс, где базировалась его крупная зерновая компания, но по делам часто бывал в Нью-Йорке и держал постоянную квартиру в знаменитом отеле. Он продавал нам зерно, стоял за расширение торговых связей. Из номера люкс на сорок втором этаже открывался впечатляющий вид на Ист-ривер, Бруклинский и Манхэтгенский мосты, на громады братьев-небоскребов, как будто придвинувшихся друг к другу,— прочая бетонно-каменная мелюзга осталась внизу, у подножия избранных.

В этом высотном гнезде, обставленном светлой антикварной мебелью, маленький щупленький человек с пигментными крапинками возраста на лбу и в рубашке апаш, молодившей его, тоже относил себя к избранным. Рассадив гостей и окидывая их веселым цепким взглядом, делился азбукой американской деловой мудрости. Посмеивался: «В чем-то наша страна похожа на цирк. Если хочешь преуспеть, жонглируй, как цирковой наездник,— на крупах двух лошадей. Это бизнес и политика. Без поддержки политики в большом бизнесе далеко не ускачешь».

В политику его вводил один ныне покойный и некогда очень влиятельный сенатор-демократ. С тех пор мультимиллионер расширил свою политическую базу, опираясь и в политике на двух лошадей, на людей из обеих партий — демократической и республиканской. Он не сомневался в переизбрании Рейгана и выражал осторожный оптимизм насчет американо-советских отношений.

Через полтора часа наши друзья уже сидели в конференц-зале на тридцать втором этаже другого здания на Парк-авеню и разговаривали с другим крупным бизнесменом, президентом другой корпорации. Плотный молодежавый мужчина с округлым мальчишеским лицом и челкой, искусно уложенной на лбу, был из давних активистов американо-советской торговли, закаленных испытаниями, лишенных иллюзий и все-таки сохраняющих веру в будущие времена, хотя их надежды стали куда как скромнее, чем десять лет назад. В Советском Союзе он бывал десятки раз, сказал, что нашу страну знает лучше, чем любой из сотрудников американского посольства, хотя бы потому, что у тех нет таких возможностей для контактов с советскими официальными лицами, поделился своей заветной мечтой: как было бы полезно, если бы советские руководители совершали время от времени рабочие ознакомительные поездки по США, а американцы их ранга — по Советскому Союзу. Без знания нет понимания, а без понимания — доверия...

Словом, старый принцип максимума информации и встреч на единицу времени на этот раз строго соблюдался Американистом. Он расширил свое знакомство с высотным миром американского большого бизнеса. И в буквальном смысле они с Виктором в своих нью-йоркских встречах почти не опускались ниже тридцатого этажа.

Одним из исключений было трехэтажное сооружение на лужайках и газонах возле овального озера, из которого выходил в своем скульптурном воплощении медведь гризли. На корпорацию «Пепсико» в Соединенных Штатах работает более двухсот тысяч человек (она десятая в стране по численности персонала). Возглавляет ее давний и испытанный сторонник американо-советской торговли Дональд Кенделл. Это он стал приобщать нас к пепси-коле, заполучив в обмен для американского рынка водку «Столичную».

Он прислал большой черный лимузин, чтобы к нужному часу доставить Виктора с Американистом в местечко Перчэс под Нью-Йорком, где привольно разместилась штаб-квартира «Пепсико».

Высокий, сильный, бровастый, с красной лысиной в седых кудрях и пухлым, болезненного цвета лицом, Кенделл, как и другие, говорил не о теориях и доктринах, а о личности президента. Из нее выводил и свои, тоже осторожные прогнозы будущего. Рассуждал,

как было бы полезно организовать поездку Рейгана в Советский Союз. Может быть, изменит он свое мнение, когда увидит, какие прекрасные и гостеприимные люди русские? Но ближе к сердцу принимал он другую поездку в Советский Союз — своего семнадцатилетнего сына вместе с преподавателями и учениками частной школы. Школа, где учился мальчик, нечто вроде инкубатора будущих лидеров, и Кенделл-старший финансировал эту поездку во время летних каникул ради углубленного изучения другой ядерной державы — на месте. Мальчик был последним, поздним ребенком, чувствовалось, что отец трогательно любил его, беспокоился за его судьбу и судьбу мира, в котором ему предстоит жить, когда он, Кенделл-старший, уйдет...

В Нью-Йорке Американист встречался также с умудренными профессиональными политиками и политическими наблюдателями. В своих надеждах они были еще сдержаннее и осторожнее, чем бизнесмены.

Редактор влиятельного журнала был сторонником Рейгана, но надеялся, что победа президента на выборах будет не слишком внушительной, — иначе как бы он не истолковал слишком вольно мандат избирателя.

Маршалл Шульман при президенте Картере и госсекретаре Вэнсе был в госдепартаменте главным советником по американско-советским отношениям. При Рейгане он вернулся к академической деятельности и с некоторых пор возглавлял в Колумбийском университете Гарримановский институт по изучению Советского Союза. Дело изучения Советского Союза в последние годы, по общему мнению, ухудшилось, что беспокоило думающих американцев. Супруги Гарриманы выделили пять миллионов долларов Колумбийскому университету, после чего тамошний Русский институт стал называться Гарримановским. Маршалл Шульман должен был набрать в общей сложности восемнадцать миллионов и уже приближался к этой цели. Его радовало, что за год число записавшихся студентов увеличилось почти вдвое — до восьмидесяти человек.

— Неопределенность? — переспросил он, когда Американист поделился выводом, сделанным из бесед в Нью-Йорке. — Нет, я бы сказал, что нас ждет продолжение тяжелых времен. Важно, чтобы отношения не ухудшились еще больше. К этому и надо направлять слова и помыслы: благополучно пережить тяжелые времена, чтобы когда-то потом приступить к строительству более хороших отношений...

Пройдя через разочарования минувших дней, люди боялись ошибиться. Раз хуже некуда, то должны быть лучше — вот что было в подоплеке осторожного оптимизма. Американцы охотно шли на контакт с советским журналистом, были доброжелательны, уважительны, откровенны. В гостях наши впечатления зависят от того, как нас принимают. Новой своей поездкой Американист остался доволен.

Но конечно же, в своих разговорах он так и не поставил ни разу святого в своей простоте вопроса, которым задавалась массажистка Валя, обрабатывая его шею в сиянии морозного солнечного дня, которым задается большинство людей, считая его главным и едва ли не единственным вопросом в наших отношениях с Соединенными Штатами: «Чего же они хотят-то — войны или мира?» Он был уверен, что и опытные и умные профессионалы, с которыми он встречался на тридцатых и сороковых нью-йоркских этажах и затем на более низких, но политически более важных этажах вашингтонских, и рядовые американцы, приближенные к политике лишь телеэкраном и газетами, — что все они (или почти все) хотят не воевать, а жить в мире с нами — при Рейгане так же, как раньше при Картере и еще раньше при Форде или Никсоне, Джонсоне или Кеннеди, при всех президентах, в чьи годы он наблюдал Америку и приумножал свой опыт американиста. Однако наш мир не только тесен, но и сложен,

и в сложном мире простой вопрос: война или мир? — превращался в другой вопрос: конечно, мир, но на каких условиях? И на этот вопрос простого ответа не существовало...

После шести нью-йоркских дней Виктор отвез Американиста в аэропорт Ла Гардиа, откуда он вылетел в Вашингтон. До выборов оставалось два дня, он хотел наблюдать их в политической столице Америки. Но об этом чуть позже. А пока скажем, что и в этот свой приезд он не миновал крепкого серого особняка, стоящего за железной оградой на Шестнадцатой стрит, и встречи с советским послом. Посол находился в том же своем наглухо отгороженном от внешнего мира кабинете, который посольские остряки прозвали бункером. Он был в хорошем настроении и приветливо принял Американиста. Посол не исключал, что президент Рейган искренен, когда публично выражает желание улучшить отношения с Советским Союзом. Но вот вопрос — на каких условиях?..

Верный привычке, а также соображениям удобства, Американист остановился в знакомом вашингтонском предместье Чеве-Чейс, под боком у своих коллег. Отель «Холидей Инн». Номер на пятом этаже. Из окна он видел знакомый маленький скверик с фонтаном и скамейками. В конце короткой, идущей под уклон улицы, образованной пятью новыми огромными домами, — Айрин-хауз, где остались и куда-то исчезли пять лет его жизни.

В Айрин-хаузе Американист побывал у коллег. Ковровая дорожка в коридоре двенадцатого этажа повиетерлась, обновилась у дверей дощечки с именами жильцов, на старой, под дерево, обшивке лифтов добавилось царапин от ребячьих ножей — но как найти те, что оставил его бойкий тогда сын? — и старина Джим, милый Джим по-прежнему дежурил в холле парадного подъезда, гоголевский маленький человек на американский лад с ласковой улыбкой вставных фарфоровых зубов, с покорной любезностью перед постояльцами — у него всегда было наготове доброе слово для детей советских жильцов, и в пору разрядки, отправившись однажды с экскурсионной группой в Советский Союз, он присылал Американисту в Айрин-хауз открытки с видами Москвы, в которых писал о сердечности русских людей...

В этом районе ностальгия всегда подстерегала Американиста, но на этот раз ее приступы не были так сильны. Быть может, потому, что он уже переработал ее в слова, хранящиеся в издательских папках с тесемочками и ждущие своего часа. Или потому, что на ностальгию не оставалось времени, он весь был в пылу своей оперативной работы — в свежих газетах и журналах, в телевизионных передачах на всех каналах, и везде одно и то же — итоги выборов.

У них выборы — у нас праздник, и через каждые два года опять заявляет о себе и эта проблема — несовместимости национальных календарей. Их выборы пришлись на 6 ноября, и в результате два наших праздничных дня стали рабочими: Американист готовил обобщающий материал для своей газеты.

Посольские уехали на дачу, что милях в семидесяти от Вашингтона. Там, на берегу Чесапикского залива, своя большая территория, тишина и осенняя лазурь, солнечные блики на воде, отдыхающие от трудов поля и голье леса, в которых изредка мелькают олени. А наш лишенный праздника спецкор затворником сидел два дня в отеле. Снова ворох вырезок и листки с заметками, заготовками. У окна на шатком нерабочем столике — пишущая машинка. Он печатает, чтобы хорошо видеть текст. Его газета не собирается отдавать американским выборам десятки полос, как «Вашингтон пост» или «Нью-Йорк таймс». Надо ограничивать себя в размере и выбирать лишь главные из множества аспектов. Какие же? Рональд Рейган и средний американец — вот какой аспект выбрал он. Как и где встретились и чем скрепили они свой союз?

Американист не новичок в своем деле, но трепет перед работой, которую нужно сделать в жесткий срок, но волнение так и не покинули его. Тридцать с лишним лет он сдает экзамен с каждой своей статьей. И каждый раз не знает, сдаст ли. И в этот вечер он нервничает больше обычного, и экзамен, как ему кажется, труднее московских — не зря ведь летел за тридевять земель.

Свежие, яркие, сильные впечатления последних дней обступали его со всех сторон. Тот же транзитный Монреаль. Вечерний муравейник аэропорта Джона Кеннеди, огни, самолеты, здания, дуновение влажного ветра в окно «олдсмобиля», железный перекресток старого Куинсборо-бриджа под колесами, вечерний Гудзон, провалом чернеющий за окнами Шваб-хауза... И череда встреч, деланная улыбка и крохотные лакированные ногти богатого старика, лающий, отрывистый смех актера, играющего великого Моцарта в новом прекрасном фильме, телеэкран, на который выплеснулись сцены народных волнений в Дели после убийства Индиры Ганди, стеклянные небоскребы и их именитые обитатели, как бы вознесенные над не слышной им, бесшумно протекающей внизу жизнью, и опять бездомные старые женщины, несущие легкомысленно разрисованные синтетические мешочки с жалкими пожитками, импозантный негр в черном, отливающем лаком лимузине везет их за город к Кенделлу и рассказывает почти весело, как торговал недвижимостью и как обанкротился, вальжанный главный редактор влиятельной газеты вспоминает поездку в Советский Союз и как грузин-таксист в Тбилиси отказался брать у них деньги за проезд и сам принялся угощать троих американцев, гимнастический зал в штаб-квартире «Пепсико», диковинные снаряды и приспособления, молодая негритянка с сильными бедрами широко шагает по движущейся, поднятой под углом ленте, имитирующей восхождение в гору, чечеточная лихость и моторная, механическая веселость мюзикла на Бродвее, как бы передающая дух американской жизни...

Калейдоскоп в сознании Американиста, и так и сяк — люди, кабинеты, жесты, лица, улицы, дома, толпы, витрины, и воскресный самолет из Нью-Йорка в Вашингтон, и Коля, старый друг, переместившийся с Пушкинской площади в Чеве-Чейс, своей развинченной походкой спешит навстречу, и Саша с подростком сыном, и негритянский гогол зрителей, пришедших на фильм о злоключениях офицера-негра, и ноябрьский прием в посольстве, праздничная и праздная толпа, высокопоставленных госдеповцев куда больше, чем два года назад, обрывки разговоров с многозначительными намеками, обозреватель Джо, такой же изящно-щуплый и такой же занятый, легко движется вдоль стола с угощениями вслед за осведомленным ответсотрудником Белого дома, на ходу закусывая и на ходу собирая информацию, а за стенами посольства — день выборов американского президента и американского конгресса...

Разноликое. Хаотичное. Пестрое. Сейчас, затворившись в стенах своего номера, Американист напрягает мозг, чтобы возвыситься над непричесанностью своих впечатлений, смирить воображение логикой, пренебречь частным ради общего и отправить в газету сжатый политический анализ. Человек, обуреваемый стихийными свежими картинами мира, борется в нем с профессионалом аналитиком, но борьба неравная, исход известен заранее: профессионал снова победит. Ибо профессионала, а не вольного художника послали специальным корреспондентом в Вашингтон.

И снова телефонный звонок около двух часов ночи. И снова полнейшая тишина кругом, отель спит, и Американист не хочет будить соседей-постояльцев. Он вскакивает с квадратной «королевской» кровати и, подхватив приготовленные листочки, босиком удаляется в туалет, где — время — деньги! — в стенку вмонтирован телефонный аппарат. Он берет трубку — и четкий голос американской, а затем и мос-

ковской операторши, и прекрасная слышимость за десять тысяч верст, и сейчас он перелбует свои слова в блокнот редакционной стенографистки в здании, утяжелившем своей многотонной громадой известную московскую площадь, на которой сейчас пусто и тихо за десять тысяч верст отсюда и редкие прохожие каждый на виду в сонное утро третьего и последнего дня праздника.

По голосу стенографистки Американист чувствует, что пуста и редакция, в праздник не до газеты даже ее сотрудникам, но дежурные на вахте, и сразу же запрос от первого заместителя главного: «Будет ли материал? Давайте быстрее. Ставим в номер».

— Ну что ж, будем работать? — слышит он приветливый женский голос.

И начинает диктовать, отдав первые строчки на некое подобие картинки, в которой читатель должен был бы угадать, но наверняка не угадает тот вашингтонский вечер дня выборов, когда на двух машинах они ездили сначала в отель, где собирались демократы, а потом в отель, где праздновали победу республиканцы, у демократов были полупустые залы и та вынужденная бодрость, которой не скрыть уныния, а чтобы попасть к республиканцам, они исколесили в темноте десяток улиц в поисках парковки, и еле втиснули машины у обочины в каком-то сонном закоулке, и долго шли до места торжества победителей, и быстро ушли оттуда, чужие среди многолюдья и механического веселья самодовольных буржуа из «страны Рейгана».

«В прохладный лунный вечер минувшего вторника два места в Вашингтоне сильно отличались друг от друга настроением собравшихся там людей,— так начал он.— В залах отеля «Кэпитол Хилтон» погавленные сторонники Уолтера Мондейла не знали, как решать довольно трудную задачу — с невозмутимой миной на лице отметить сокрушительное поражение своего человека и крах своих усилий провести его в Белый дом. А в отеле «Шорэм», еще более дорогом, коридоры и залы были забиты тысячами рейгановцев и хлопанье пробок от шампанского сопровождалось ликующими возгласами: «Еще четыре года!»

Да, они добились своего. Американский избиратель, отдав за Рональда Рейгана пятьдесят два миллиона (или пятьдесят девять процентов) голосов, оставил его на второй, и последний, срок в Белом доме. К полуночи, появившись на телеэкранах, Уолтер Мондейл, получивший тридцать шесть миллионов (или сорок один процент) голосов, поздравил победителя и, как водится в таких случаях, призвал нацию чтить избранного президента.

Американским выборам, — диктовал он, — всегда сопутствует крайняя экзальтация, прежде всего телевизионная. И на этот раз она гласила целый год и достигла своего апогея к вечеру выборного дня, когда в скороговорку дикторов и комментаторов соперничающих телекомпаний то и дело начали залетать два магических слова — «прогнозы» и «компьютеры». Но желаемого возбуждения не было. Просто-напросто наконец-то сбылись предсказания, которые делались едва ли не с конца прошлого года, — о неминуемой победе Рейгана.

Претенденту на Белый дом, чтобы победить, нужно много генер в качестве горючего в долговременных президентских гонках, открытая поддержка своей партии и благословение влиятельных людей, действующих за кулисами, а также, разумеется, голоса избирателей. У президента Рейгана с самого начала борьбы были и доллары, и господствующие, по существу, монопольные позиции в республиканской партии, и поддержка крупного бизнеса. Кроме того, он мастерски пользуется трибуной Белого дома для появления в американских семьях с помощью телеэкрана. Этот факт, не всегда понятный изда-лека, нельзя сбрасывать со счета...»

Американист голосом выделил последнюю фразу, как будто надеясь, что это усиление передастся и читателю.

«...По общему мнению,— продолжал он,— никто из американских политических деятелей телевизионной эры не обладал и не обладает такой способностью общения с массами и обращения их в свою веру, как нынешний президент. С телеэкрана в сознание среднего американца умело проецировался образ «сильного лидера», родоначальника «нового патриотизма», при котором Америка «почувствовала себя хорошо».

И все-таки главная сеть, которой Рональд Рейган выловил основной косяк избирателей, была не в этой телевизионной магии. Еще два года назад при рекордной безработице и глубоком экономическом спаде даже «великого манипулятора» ожидало бы на выборах разочарование и поражение...»

Этой фразой он как бы объяснял читателю, почему все случилось так, как случилось, хотя в своих корреспонденциях, отправленных из Вашингтона два года назад, он оценивал итоги промежуточных выборов как удар по рейганизму.

«...А теперь, уже с начала избирательной борьбы, знающие люди сходились во мнении, что переизбрание президента обеспечено, если к дню выборов сохранится благоприятная экономическая конъюнктура: возросший объем производства, остановившая свой бешеный галоп инфляция и пошедшая на убыль безработица.

Как человеку, за последние двадцать лет так или иначе освещавшему с места шесть кампаний по выборам американского президента, мне не раз приходилось отмечать, что к внешнему миру Соединенные Штаты обращены своей внешней политикой и соответственно через внешнюю политику воспринимаются другими народами...

...Но, оказавшись в этой стране, заново убеждаешься, что американцы эгоцентрично погружены в свою внутреннюю, и прежде всего экономическую, жизнь, что внешняя политика и внешний мир отодвинуты в их сознании на задний план. Исключение составляют периоды войны, сопровождающиеся большими американскими потерями, и международные кризисы, чреватые ядерной катастрофой. Но даже сейчас, в годы возросшей ядерной опасности, что как раз связано с политикой нынешнего президента, средний американец явился в кабину для голосования не с вопросом, поставленным, как пистолет к груди: война или мир?»

Этот вопрос он тоже подчеркнул голосом, поскольку он был важным в объяснении с тем читателем, который автоматически считал, что Рейган — это война. Американцы, давал он понять этому читателю, придерживались другого мнения, и голосовали они не за войну.

«...Нет, для многих этот вопрос не стоял так остро, и они больше думали о своем кошельке, экономическом благополучии или неблагополучии,— продолжал Американист.— К тому же итоги выборов говорят, что средний американец поверил Рональду Рейгану, многократно заверявшему, что он считает мир и разоружение первоочередной задачей своего второго срока в Белом доме и сделает все возможное для хороших отношений с Советским Союзом.

В кратких заметках нет места для подробного анализа итогов выборов. Оставляя за собой возможность вернуться к этим темам позднее, хотел бы немного порассуждать о том, что такое средний американец, давший победу Рейгану, как он нынче выглядит, каково его политическое лицо.

Средний американец, или по здешней политической терминологии «средний класс», «политический центр»,— величина неоднозначная, переменная и переменчивая. Для облегчения поиска сегодняшнего среднего американца надо искать его в том большинстве, которое приводит в Белый дом очередного победителя. Само по себе это большинство подвижно и политически перемещает центр то влево, то вправо.

К примеру, в 1964 году средний американец дал победу такого же, как сейчас, сейсмического масштаба демократу Линдону Джонсону, преградив дорогу тогдашнему лидеру американских консерваторов сенатору-республиканцу Барри Голдуотеру, который считается протечей Рейгана. Голдуотер потерпел поражение потому, что выступал за сокращение программ социальной помощи, хотел ограничить регулирование государством частнопредпринимательской деятельности, грозил, что поставит на место негров, активно добывавшихся гражданских прав. Значительная часть «среднего класса», средних американцев блокировалась тогда с обездоленными слоями общества, с теми же неграми и этническими меньшинствами, с бедняками, живущими ниже официального уровня бедности, а также с профсоюзами, традиционно поддерживающими демократическую партию.

На этом фоне недавней истории обратимся к причинам поражения Уолтера Мондейла. Одна из них, обрекавшая его в глазах нынешнего среднего американца, именно в том, что у Мондейла репутация старомодного либерала, ищущего голоса членов профсоюзов, расовых и этнических меньшинств и выступающего их защитником. Девять десятых негров, как показывают опросы, голосовали за Мондейла, и это помогает объяснить, почему он недосчитался голосов среди поправившего «среднего класса». *Времена изменились...*

Тут голос человека, диктовавшего свой опус через ночной океан одной-единственной слушательнице, возвысился, как у оратора, который, выступая перед многолюдной и жадно внимающей ему аудитории, переходит к ключевому моменту в своей речи...

«...Времена изменились. На нынешнем отрезке американской истории средний американец перестал быть политическим союзником обездоленных и относит их к разряду иждивенцев и нахлебников, живущих на его налоговые доллары. Средний американец нового образца поддерживает консервативную философию Рейгана, добывающегося сокращения правительственных расходов, причем не военных — они растут, — а на социальные нужды (хотя и вырывает у президента обещание не трогать касающуюся десятков миллионов людей программу пенсионного социального обеспечения). Широкий консервативный сдвиг — вот решающая причина успеха президента, возвращающего в американскую жизнь эгоистические жестокие «добродетели» американского капитализма, считающего лишней страховочную сетку социальных пособий.

Избирательная кампания объявлена рекордной по длительности, но времени на серьезное обсуждение внутренних и внешних проблем так и не хватило. И это тоже свидетельствует об отпечатке, который наложила на президентские гонки личность Рональда Рейгана, получившего титул «великого упростителя». И в этом смысле они тоже нашли друг друга, нынешний президент и средний американец, уставший от сложностей нашего мира и тем более ценящий простые, пусть и обманчивые ответы на тревожные вопросы наших дней.

Выборы проходили в угаре «нового патриотизма», — развивал свою мысль Американист. — В этом патриотизме нетрудно разглядеть реванш за унижение во вьетнамской войне, за уменьшение американского влияния в мире, за морально-политические кризисы шестидесятых и семидесятых годов. Америка превыше всего и лучше всех — на таком «новом патриотизме» лежит густой налет старого шовинизма. «Новый патриот» готов рукоплескать бесцеремонному захвату Гренады, но в то же время смиряется с выводом американской морской пехоты из Бейрута, как только свыше двухсот американских солдат погибнет от террористического взрыва. Он не против демонстрации американских военных мускулов, но за то, чтобы они обходились без американских потерь. Он поддерживает политику «мир с позиций силы», но не желает, чтобы эта сила вела к угрозе ядерной войны. Кстати, об этих настроениях неплохо свидетельствовало пред-

выборное поведение Мондейла. Тщетно пытаюсь перетянуть на свою сторону такого избирателя, он пел не меньше гимнов американской военной мощи, чем Рейган.

Вот всего лишь несколько штрихов к портрету среднего американца — и заодно несколько причин, объясняющих победу консерватора Рейгана над Мондейлом, не избавившимся от непопулярного ныне образа старомодного либерала. Они нашли друг друга, нынешний президент США и нынешний средний американец...»

Эту коронную фразу Американист, будь его воля, выделил бы в газете жирным шрифтом.

«...Однако не лишне добавить, что популярность президента шире популярности его партии, его политики и даже его философии. Итоги выборов в конгрессе — тому свидетельство. Республиканцы, хотя и сохранив большинство в сенате, потеряли там два места, а в палате представителей так и остались в меньшинстве, приобретения их вдвое меньше, чем они рассчитывали.

Трудно сказать, как долго проглотит искусственно подогреваемый оптимизм и «политика радости», но трезвые наблюдатели американской жизни, с которыми приходится встречаться в эти дни, предсказывают, что с облаков завышенных надежд на землю малоприятных фактов вернуться придется довольно скоро и, возможно, без парашюта. Один крупный экономист с Уолл-стрит назвал нынешнюю конъюнктуру «раем для дураков», полагающих, что завтрашний день не станет, если от него отмахиваться...»

Он вспомнил пожилого человека с галстуком-бабочкой и умным выражением одутловатого лица. Человек побаивался простуды и сидел в зашторенном, утепленном кабинете. В его оценках были и беспокойство и смирение перед обстоятельствами: обстоятельства, даже заведомо глупые, остаются сильнее нас.

«...Он имел в виду астрономические дефициты федерального бюджета, формируемые прежде всего военными расходами. Дефициты все в большей мере финансируются за счет денег, притекающих в цитадель мирового капитализма из-за границы. Знатоков мучают кошмары: что станет с американской экономикой, когда в один прекрасный день при перемене экономической погоды сотни миллиардов долларов вдруг будут мгновенно изъяты их заграничными вкладчиками, потерявшими возможность стричь купоны высоких процентов?

Надолго ли они нашли друг друга, президент Рейган и средний американец? Как показывает опыт последних десятилетий, и внушительные победы бывают недолговечными. После триумфа 1964 года Линдон Джонсон отказался баллотироваться на второй срок в 1968 году, завязнув во вьетнамском болоте. Ричард Никсон в 1972 году был избран на второй срок подавляющим большинством, а через два года ушел в бесславную отставку по причине уотергейтского скандала.

Словом, многое зависит от того, как победитель надумает распорядиться своей победой. В американской традиции, которую сейчас часто вспоминают, избранный на второй срок президент заботится о своем месте в истории. Есть испытанные способы остаться в благодарной памяти потомков да и современников. Может быть, поэтому в своих послевыборных заявлениях президент Рейган возобновил тему мира и ограничения вооружения. Тут любые искренние и конкретные шаги встретят ответные движения с советской стороны. Надо думать, они найдут одобрение и среди подавляющей массы американцев.

Итак, еще до выборов была, по существу, определенность в вопросе о том, кто будет занимать Белый дом еще четыре года. Зато в другом смысле неопределенность остается и после выборов: как аме-

риканский президент распорядится своей победой, будет ли выполнять свои обещания мира и процветания американскому народу?»

Американист поставил в конце знак вопроса. Поживем — увидим. Это самый лучший прогноз. С ним не ошибешься.

Его соединили с первым замом главного. Первый зам в упор спросил: «Сколько?» Американист ответил: «Семь». Хотя чувствовал, что получились все девять страниц. Первый зам сказал: «С местом неважно, но постараемся».

Американист повесил трубку, собрал листочки, лежавшие на умывальнике, и расстался с кафельной белизной туалетной комнаты. Он был возбужден и, не зажигая огня, стоял у окна. Вниз по улице в сторону Айрин-хауза удалялась одинокая машина, горя рубинами задних огней. В темных громадах домов горело всего два-три окна, и их свет кричал в ночи о чьей-то радости или беде, о чрезвычайном событии, неурочном деле или просто бессоннице. Вдруг снова зазвонил телефон. Из Айрин-хауза звонил коллега, спрашивал, о чем говорил с ним первый зам. Голос коллеги был встревоженным. Его подняли среди ночи вызовом из Москвы и у сонного потребовали каких-то объяснений. Там, в Айрин-хаузе, шла корреспондентская жизнь, связанная телефонной пуповиной с московской газетой, донельзя знакомая и все-таки чем-то незнакомая Американисту, потому что работа была одна, но люди, делающие ее, разные.

* * *

Солнечным и холодно-пронзительным, ветреным утром Вашингтонского ноября, выжидая назначенное для свидания время, они прогуливались по тротуару Семнадцатой стрит напротив тяжелого и одновременно затейливого старого административного здания. Если смотреть со стороны Пенсильвания-авеню, здание примыкает к Белому дому справа. В этом здании с темно-серыми завитушками рококо работает часть президентских помощников, а также персонал, обслуживающий их.

Охранники в черных костюмах специального подразделения ФБР, сверившись со списком, пропустили двух советских посетителей, когда к ним вышла средних лет дама. Они поднялись наверх, и по широкому гулкому коридору, по которому свободно проедет средних размеров грузовик и в который выходили большие высокие двери, навечно укрепленные в железных (как сообщила дама) побеленных косяках, попали сначала в служебный предбанник американского типа, а затем и в кабинет к плотному низенькому человеку примерно пятидесяти лет. Он был профессиональным дипломатом, долгие годы работал в американском посольстве в Москве и в центральном аппарате госдепартамента и хорошо знал Советский Союз по меркам американской дипломатической службы. Теперь он не только территориально, но и в силу обязанностей приблизился к Белому дому, входил в аппарат Совета национальной безопасности США и докладывал по советским делам самому президенту.

Предшественником дипломата на этом важном посту с регулярным доступом к особе президента был одиозный антисоветчик в профессорском звании. Свою особую приближенность профессор использовал для саморекламы и поджигательских спичей, для широкого обнародования концепций, из которых следовало, что с русскими никак нельзя иметь дело. В президентское ухо он, видимо, шептал те же слова, что трубил на весь мир. Потрудившись таким образом года два, профессор снова удалился в академические рощи, и публика быстро забыла о шумном антисоветчике. А может быть, его удалили, так как подошло время для дипломатов, которым язык дан, в частности, и для того, чтобы уметь удерживать его за зубами.

Во всяком случае, невысокий плотный человек не рвался со сво-

ей политической философией на страницы газет или в теленовости. Но принял двух советских журналистов в своем служебном кабинете, выходящем окнами на зеленые газоны и на Белый дом, и любезно сообщил им, что регулярно, дважды в неделю, видит президента, иногда проводит с ним час, а порой даже и два. О чем он докладывает? Как реагирует на его доклады президент и какие задает вопросы о стране, важнее которой так или иначе нет для его Америки и в которой он ни разу не был? Американец не коснулся этих вопросов, а они понимали, что интересоваться ими было бы просто неприлично.

Как-то нервно пожимая плечами, официальное лицо долго и энергично развивало одну тему: что президент совершенно серьезно настроен на улучшение отношений с Советским Союзом, что вопреки упорным слухам о его небрежности и нелюбви к подробностям этим важнейшим вопросом он занимается подробно и глубоко, в деталях и что его администрация готова к новым переговорам с Советским Союзом, на которых обсуждались бы все вопросы ограничения вооружений. Но это должны быть — неперемнное условие! — конфиденциальные переговоры, чтобы публичным оглашением позиций не связывать друг друга руки, не сокращать поля для маневра и компромисса, не вынуждать партнера на спешный и однозначный ответ — да или нет. Еще один мотив в рассуждениях ответственного лица состоял в том, что отношения двух держав не так уж плохи, что жесткость последних лет лучше расплывчатых иллюзий разрядки, так как каждая сторона точно знает, где стоит другая, и потому проявляет больше «ядерной сдержанности».

Ответственное лицо предпочитало говорить, а не слушать, справедливо исходя из того, что слушать пришли журналисты, но двое, не преступая правил вежливости и, однако, давая отпор, все-таки сумели застолбить наш взгляд и поспорить с американцем, доказывая, что разрядку подорвала не «советская угроза», а американское суперменство, перенесенное на арену международной политики, опасная тяга к превосходству, пренебрежение в отношении разных взятых обязательств и даже подписанных, но не ратифицированных договоров. Они не сошлись во взглядах при оценке положения в горячих точках планеты, в частности относительно Никарагуа, потому что чиновник, приближенный к особе президента, наотрез отвергал право этой маленькой страны на самозащиту от происков североамериканского колосса и вопреки всякой логике, кроме суперменской, империалистической, видел и отстаивал лишь право колосса на самозащиту от лилипута.

Расстались, однако, с улыбками и рукопожатиями. Все так же нервно пожимая плечами, как будто сбрасывая досадный груз, американец уже в дверях своего кабинета снова заверил их в миролюбивых намерениях президента и его администрации и подчеркнул, что, главное, надо торопиться с договоренностями о сокращении уровней ядерных вооружений, помня, что все, что происходит сейчас, всего лишь цветочки, а ягодки впереди, что настоящая опасность возникнет лет этак через пятнадцать — двадцать в случае, если ядерное оружие распространится по всему миру и другие государства, его обладатели, с безответственными руководителями не будут проявлять такой же «ядерной сдержанности», как Соединенные Штаты и Советский Союз...

* * *

Где можно Американист шел в Вашингтоне по старым следам, полагая, что через старых знакомых лучше замерять перемены в атмосфере и настроениях. Это не всегда удавалось. Нарушив золотое правило своевременной договоренности, он слишком поздно созвонился с известным обозревателем Джо. Неутомимый Джо улетал в Сеул, время его перед отлетом было расписано до минуты. Они встре-

тились в толчее торжественного приема в посольстве, и Джо, как тень, проскользнул между гостей и столов с закусками, и Американисту пришлось знакомиться с его взглядами лишь в газете, где колонки Джо по-прежнему печатались с железной регулярностью, и их автор вместе с другими журналистами внашл президенту, что две главнейшие проблемы на его повестке дня — хромающая внешняя политика и астрономические бюджетные дефициты.

В запарке короткой командировки Американист и по телефону не связался с другим знакомым — обаятельным завом вашингтонского бюро влиятельной нью-йоркской газеты. Но, заглянув в свои записи двухлетней давности, с удивлением обнаружил, что тогдашний прогноз обаятельного зава, пожалуй, сбывался — государственный секретарь Джордж Шульц набирал силу в вашингтонской иерархии, и его голос при разработке политики в области контроля над вооружениями и переговоров с Советским Союзом звучал все весомее.

В прошлый свой вашингтонский визит Американист тщетно искал бесед с типичными рейгановцами-консерваторами, и потому как исключение запомнился ему разговор с единственным и вряд ли самым типичным из них — молодым, цветущего вида отпрыском известной в политических кругах семьи, который внешне мягко и деликатно, но внутренне непреклонно и высокомерно доказывал ему, что то, что хорошо для е г о Америки, не может не быть хорошо для в с е г о мира.

Молодой человек тоже сохранил воспоминания об их встрече и споре и охотно принял Американиста в своем кабинете в здании госдепартамента, где был одним из официальных советников по прессе. Изложение их беседы нуждается в кратком предисловии.

Буквально на следующий день после ноябрьских президентских выборов какие-то провокаторы из вашингтонских бюрократических недр подсунули в прессу так называемые сырые данные разведки и раздули невообразимый шум: что-де советское судно доставило в Никарагуа боевые самолеты «МИГ-21», а они-де представляют смертельную угрозу соседним центральноамериканским государствам и даже самим Соединенным Штатам, так как-де способны в случае необходимости нести даже ядерное оружие. Судно и в самом деле было, но не было никаких самолетов и, стало быть, угрозы. В этом, однако, и состоит провокаторская природа сырых разведанных: время, но за вранье ответственности не несем, так как данные — сырые. Чистейшей воды липа. Но в промежутке между тем, как липа появилась в печати, и тем, когда Пентагон и Белый дом официально признали, что это липа, истерия и враждебность к сандинистам усилились. Новой подозрительностью хотели в зародыше придушить робкую надежду на поворот к лучшему в отношениях с Советским Союзом, которую порождали довыборные президентские заявления.

И вот из-за Никарагуа, как и два года назад, столкнулся Американист с молодым и красивым идеалистом-империалистом.

— У вас нет ни одного доказанного факта, а вы нарочно раздули скандал, — обвинял Американист своего собеседника, по привычке употребляя множественное число, присоединяя и сидевшего перед ним американца к политическим злоумышленникам.

И тот, хотя прямой ответственности и не нес, не хотел нарушать перед советским гостем круговую поруку, не признавал поначалу ложность сырых разведанных и в своей мягкой, невольной манере отвечал, что в вашингтонской администрации не обязаны верить и не верят опровержениям Манагуа или Москвы, даже официальным и категорическим, потому что по «вашей» морали дозволяется говорить неправду и обманывать в интересах «вашего» дела.

И снова выплыл этот проклятый вопрос о доверии и недоверии, и снова Американист бросил его в лицо своему собеседнику:

— Как же мы в принципе сможем строить отношения с вами, если к каждому человеку с другой стороны вы подходите как к заведомому, завзятому профессиональному лжецу?

Молодой человек не нашелся с ответом, но поначалу казалось, что это его ничуть не смутило. Очевидной лжи, если она исходила со своей стороны, он верил больше, чем очевидной правде, если правда принадлежала другой стороне. И такая мораль увековечивала проклятый вопрос, потому что всякое доверие между сторонами исключала в принципе. Тупик. Полный тупик.

И вдруг, будто почуяв смертельную опасность такой нравственной и психологической западни, американец отступил. Какая-то трещина зазмеилась в патриотическом кольце круговой поруки, какая-то личная откровенность проникла в его рассуждения. Он признал (и даже как будто пожаловался), что внутри администрации идет борьба разных групп и подходов, идеологических и прагматических, непримиримо жестких и разумно-умеренных, и что разумным людям трудно противостоять преднамеренным, провокаторским утечкам информации, которые устраивают в своих целях сторонники жесткой линии. Не блокироваться же в таких случаях с чужими против своих?

— Так что же, — опять напрямик спросил Американист, — выходит, что заведомые провокаторы и политические злоумышленники всегда могут взять вас, людей, называющих себя разумными, в заложники вашей общей групповой подозрительности, враждебности, ненависти?

И его собеседник вдруг согласился:

— Да, так оно и есть! Поймите это, войдите в наше положение, проявляйте терпимость, отличайте официальную, более сдержанную позицию от заявлений и действий тех людей и групп, которые хотели бы еще больше ссор, разногласий, вражды, непримиримости между двумя странами.

Он сослался даже на какие-то законы, которые, по существу, потворствуют провокаторам, не дают возможности вытащить на свет божий и наказать тех, кто промышляет утечками лживой, поджигательской информации. Его слова звучали искренне. И снова тот же проклятый вопрос разделенного века: так верить или не верить ему? Верить в его искренность или, следуя той же логике, по которой он сам в принципе исключал доверие к словам Москвы или Манагуа, увидеть и в его оправданиях обман, притворство, еще одну маску лжи?..

Один из братьев американца был крупным пентагоновским чиновником, успешно хлопотавшим о расширении американского военно-морского флота, другой занимал видный пост в госдепартаменте, и у семьи в целом была в политике репутация ястребов. Завершение беседы требовало шутки, и Американист избрал не очень удачную: «Так кто же из вас, троих братьев, голубинее и кто ястребинее?» Американец уточнил: их четверо, но четвертый не состоит на государственной службе, взгляды же свои все они заимствовали у отца, бывшего военного моряка. Он взял под защиту брата, всюю укрепляющего мощь военно-морского флота, сказав, что он ястреб всего лишь в вопросе обычных военно-морских вооружений, а ограничение вооружений ядерных поддерживает.

— И все-таки согласитесь, у вашей семьи ястребиная репутация, — настаивал гость. И услышал скрытую обиду и уязвленную гордость в ответе американца:

— Быть может, и ястребиная, но мы — цивилизованные люди...

Он проводил Американиста по коридору и вниз, до полицейских стражей у входа, расспрашивая о московской погоде и о том, в какую пору года всего приятнее навестить советскую столицу, где он еще ни разу не бывал.

* * *

Два года назад в прошлый свой приезд в Вашингтон Америка-нист встречал и Строба из известного политического еженедельника.

Тогда Американист записал в своей тетради, что в первую пятерку американских обозревателей Строб еще не входит, но, пожалуй, со временем войдет, научившись писать злее и короче. Строб стал писать длиннее, а не короче, издал книгу и перед выборами приобрел широкую известность как первый политический журналист сезона, о чем Американист узнал еще в Москве. Для многих американцев, связанных с политикой, книга Строба стала настольным пособием по переговорам об ограничении ядерных вооружений, об их текущем довольно плачевном состоянии. Ее использовал против Рейгана демократ Мондейл в ходе своих телевизионных дебатов с президентом, ее рецензировали разные знатные люди и в спешном порядке переводили на западноевропейские языки. Слава, как и беда, не ходит в одиночку. Знаки известности и успеха посыпались на Строба. Его решили повысить в должности и сделали шефом вашингтонского бюро, самого главного в нью-йоркском еженедельнике, с двумя десятками сотрудников. Бестселлер продавался во всех солидных книжных магазинах Нью-Йорка, Вашингтона и других городов. Впереди, как водится, было более дешевое и массовое издание в мягком переплете и включение в число книг, рекомендуемых читателям консультантами и владельцами популярного клуба «Книга месяца».

Строб раунд за раундом и едва ли не день за днем описывал ход американо-советских переговоров по ядерному оружию средней дальности и по стратегическим вооружениям. Ему помогли обширные связи и надежные источники информации, без чего невозможно взять на себя роль современного политического хроникера-летописца. При внешней объективности Строб не скрывал своего критического отношения к стратегии и тактике администрации. Содержанием книги он подводил читателя к выводу, что переговоры с самого начала были обречены на неудачу из-за позиции американской стороны. Вывод аргументировался так основательно, что его не брались опровергать даже те, кто хотел бы. И читатели, знакомясь с книгой Строба, могли убедиться, что трагические тревоги наших дней не в силах потеснить мелкое и жалкое в человеческой натуре, ничуть не отменяют интриги карьеристов и что тщеславные чиновники не прекращают свою возню даже при угрозе всеобщего уничтожения, небытия. Вселенский этот вопрос: быть или не быть человечеству? Но, с одной стороны, президент, доказывал Строб, не вникал в детали переговоров и не стремился всерьез к разумному компромиссу. С другой стороны, «война двух Ричардов» — помощника госсекретаря Ричарда Бэрта и помощника министра обороны Ричарда Перла. Двум чиновникам-честолюбцам, соперничавшим друг с другом, принадлежала главная роль в разработке американской линии на переговорах, и воевали они между собой, увы, лишь за то, как бы сорвать договоренность.

Нью-йоркские издатели не остались в накладе, выпустив хронику Строба в разгар предвыборной борьбы. Попали в яблочко, в самый центр дискуссии об опасных раздорах и распрях внутри первой администрации и о ее возможных приоритетах в будущем...

Столичное бюро стробовского еженедельника успело переместиться с Шестнадцатой стрит в франтоватый дом на оживленном месте Коннектикут-авеню. Новенький дом сиял не только стеклами, но даже и стенами. Внизу были открытые для всех помещения на перемежающихся уровнях с лентами эскалаторов, зимними садами и оранжереями, магазинами, ресторанами и кафетериями, выше — деловые конторы. Часть одного из верхних этажей и занимало вашингтонское бюро, во главе которого ставили Строба. Когда моло-

дая модная негритянка-дежурная позвонила ему, извещая о приходе гостя, он вышел навстречу из внутренних помещений, такой же худой и легкий. Под мышкой у него торчал мягкий плотный пакет из-под фотонегативов, а в пакете приготовленные для подарка толстый бестселлер с ракетой на суперобложке, и еще одна книжка, тоненькая, и толстенный сборник, где перу Строба принадлежала большая статья. «В этом году, как видишь, у меня богатый урожай», — сказал он московскому знакомому шутливо, но и не без гордости. И Американист попросил еще и копии рецензий на популярную книгу. Строб, решил он, заслужил лестного упоминания в нашей прессе. О нет, не заблуждайтесь, Строб не разделял советских позиций и, конечно же, не защищал их — у какого журналиста из американской большой прессы найдешь такое? — но позиции официального Вашингтона подвергал основательному критическому разбору.

Высокий ворот бежевой водолазки прикрывал его тонкую длинную шею, и в такой же водолазке, прислонившись не к ракете, а к дереву, он был на фото, помещенном на задней странице суперобложки. Американист отметил про себя поразительное фотографическое сходство двух невозможно далеких людей: делового, скрупулезного летописца ядерных реалий и прозрачного, как его стихи и как сентябрьское северное русское небо, рано умершего вологодского поэта Николая Рубцова — то же тонкое лицо на тонком стебле шеи и узкий высокий купол лба, шарф, закутавший шею, и даже лес как будто тот же на заднем плане.

Они вышли из здания, пересекли Коннектикут-авеню в оживленной толпе клерков, высыпающих из всех контор в час ленча. Строб шагал чуть впереди, указывая дорогу, одетый с сознательной небрежностью — в дождевике цвета хаки, в такого же цвета легкой шляпе с узкими опущенными полями, и, не теряя времени, рассказывал, что на выборах голосовал против Рейгана, за Мондейла, но — что делать? — Рейган неотразим для среднего американца, этакий феномен президента-монаха, интересно, как ты и твои коллеги объясняют этот феномен советскому читателю.

На выборах он голосовал за проигравшего, но по его настроению, небрежной одежде, быстрой походке и столь же быстрым словам, по упоминанию, что после ленча он сразу же вылетает в Миннеаполис, в край Мондейла, на встречу с читателями его книги, — по всему видно было, что стихия большого успеха несет и окрыляет его, дает ему новые силы.

И эта же стихия внесла его в ресторанчик, где официанты и посетители радостно раскланивались с ним — хоть мимолетно прикоснувшись к знаменитости, — и где он, похоже, не раз надписывал свою книгу вот так же на виду у всех, сидя в излюбленном своем месте с другими своими гостями.

Конечно, важны надежные источники информации, и чем больше берешь из них, тем лучше, но прежде всего Строб был упорный работник, не терявший времени. Работая над книгой и не прекращая работы в журнале, он поднимался в три часа ночи и, заводя механализм, выпивал по две кружки крепкого кофе, а днем без скидок выполнял обязанности дипломатического корреспондента.

— Строб, ты многого добился для своих тридцати восьми.

— Потому что рано начал...

Рано начал и с молодых лет брался за немалые дела. И пользовался поддержкой влиятельных менторов, которым не чужда забота о политических наследниках.

Они не виделись два года, но им было легко вместе и не только потому, что успех помогал Стробу сходиться с людьми. Они перескакивали с одного на другое, зная, где у них точки соприкосновения

взглядов, где они не сойдутся и как шуткой миновать зоны разногласий. Профессия по-своему образовала обоих, выпекла из журналистского теста, но состав теста да и выпечка были разными — не только от свойств характеров или особенностей жизненного пути, но и от коренных различий общественных систем, а также национальных психологий, так или иначе преломляющихся в каждом человеке. И когда Строб великодушно, с вершин своего успеха спросил коллегу, о чем тот пишет, Американист ответил, что работает над книгой о прошлой поездке в Соединенные Штаты, но что ей еще далеко до прилавков книжных магазинов, и сообщил как бы кстати, что там вкратце описывается и минувшая встреча с ним, Стробом. Заинтересовавшись, Строб спросил, о чем книга. О чем? Не объяснишь в двух словах. О путешествии Американиста. И Американист не удержался, процитировал строку из Афанасия Фета: «...стихии чуждой, запредельной стремясь хоть каплю зачерпнуть...»

Со своей стороны он спросил, что на очереди у Stroba. Они уже вышли из ресторана, ноябрьский день был теплым, и улицы кишели народом, и, продолжая окунаться в блаженные воды успеха, Строб шутливо пожалел, что поэтического лейтмотива у него, увы, нет, и потому он пишет всего лишь продолжение к своей книге, а назовет ее, быть может, без шуток «Еще более смертельные гамбиты»...

Через два дня, когда Строб вернулся из Миннеаполиса, Американист заехал к нему домой. Дом стоял на тихой малоэтажной улице, летом очень зеленой, в ряду других частных домов. Все дома срослись друг с другом стенами, и у каждого был свой вход с улицы, три-четыре ступеньки к своей двери и дворик, так и называемый задним.

День был воскресный, жена и два сына Stroba отсутствовали, а он сам работал на чердачном третьем этаже, куда вела крутая лесенка. Маленький кабинет был заставлен полками с книгами и увешан фотоснимками хозяина со всевозможными мировыми знаменитостями. Место обычного письменного стола занял электронный word processor — словообработчик. Строб объяснил, что эта штука вина обошлась ему в четырнадцать тысяч долларов, но более чем оправдывает себя, фантастически удобна и полезна, когда к ней привыкнешь, а привыкать легко, много легче, чем отвыкать. При помощи словообработчика он и писал свою ракетно-ядерную летопись, постепенно накапливая черновой материал, каждый вечер загоняя в электронную память добытые сведения, дополняя и обобщая их по мере получения сведений новых.

Фантастический кабинетный агрегат был универсальным. Подсоединив его к телефонному аппарату, Строб мог в мгновение ока переписать текст своей очередной статьи в нью-йоркскую штаб-квартиру еженедельника и также мгновенно принять оттуда и отовсюду любой материал на экран дисплея. Словообработчик, по идее, можно было подсоединить напрямую к печатным машинам в типографии, находящейся за сотни и тысячи километров. В таких случаях он делает ненужными так много промежуточных звеньев, дает такую экономию, что некоторые из издательств, к примеру известное «Макмиллан», уже предлагают эти словообработчики бесплатно самым знаменитым авторам, бывшим президентам и министрам, при условии, что они согласятся вступить в электронный век, работая над своими книгами о прошлом.

Американец с тонким ликом вологодского поэта сел за электронную чудо-машину. На экране светился черновик речи, которую он готовил для того дня, когда его торжественно введут в должность заведующего вашигтонским бюро. Он бесшумно постукал по клавишам, и текст на экране слегка пополз вниз, освободив место для новой заглавной строки: «Рад приветствовать советского коллегу у

себя дома». Он еще что-то нажал, и текст на экране раздвинулся, дав место для приветственной строки в середине. Потом он еще прошелся пальцем по клавишам, и приветствие исчезло с экрана.

Против ожиданий, наше послесловие затянулось. Смеем сказать, не только по вине автора. Подробности легко сокращать, когда описываешь знакомую нам жизнь,— читатель может восполнить их своим собственным знанием и воображением. Но как опишешь кратко свою жизнь среди чужой жизни, где даже знакомые предметы не только называются по-другому, но и выглядят по-другому. А уж что говорить о людях?

Тем не менее автор опускает многое из впечатлений новой поездки Американиста, не имея намерения и времени писать еще одну книгу. Но он не может выбросить из эпилога встречу с Томасом Пауэрсом, тем самым американским журналистом с холщовой сумой, который навел нашего путешественника на размышления о том, что мир тесен, расколотый и разделенный мир, где в роковом смысле все мы связаны одной судьбой, как одной веревочкой.

После той единственной очной московской встречи у двух журналистов наладилось подобие переписки.

Американец прислал в Москву номер журнала «Атлантик» со своей новой статьей «Из-за чего?». Это было интересное и своеобразное глубокое исследование. Он пытался понять, из-за чего может возникнуть ядерная война, есть ли причины, которые могут оправдать ее. Он не нашел никаких разумных причин — в мире, разделенном пропастью двух систем, ни одна не выиграет и обе проиграют в результате ядерной катастрофы. Но войны, убеждал он читателя, никогда не были подвластны логике и здравому смыслу и начинались не потому, что для них находились рациональные основания, а потому, что существовали страх и подозрительность враждующих сторон — и армии и оружие были готовы к войне. «Проблема не в злых умыслах той или иной из сторон,— писал он,— но в нашем удовлетворении состоянием враждебности, в нашей готовности идти не тем путем, в том, что мы полагаемся на угрозу истребления, чтобы спастись от истребления».

Американист отвечал своему знакомому, что статья его сильная и, увы, мрачная. И направил ему две своих газетных статьи. В первой содержались знакомые нам рассуждения о том, как тесен мир, в котором существует ракетно-ядерное оружие, и о том, что в этом мире все мы, вольно или невольно,— спутники. Такие люди, как Томас Пауэрс, писал Американист в своей второй статье, понимают, что мы не можем перевоспитать или переделать друг друга при помощи ядерного оружия. И мы должны добиваться, чтобы понимающих людей становилось все больше, и это понимание превращать в орудие сохранения и укрепления мира.

Месяца через два или три пришло еще одно письмо из маленького гористого и лесистого штата Вермонт, где, убежав из шумного и дорогого Нью-Йорка, жил Томас Пауэрс с женой и тремя дочерьми. Он сообщал, что теперь занят темой «ядерной зимы». Он еще писал, что от издателей своих книг требует выпускать их на такой бумаге, которая не желтеет и не ветшает,— тогда его внуки и правнуки смогут в свое время узнать, какие проблемы волновали нас в наше время. Этакий американский снобизм — насчет особой бумаги, подумал Американист, с жиру бесятся. Но по крайней мере утешительным в письме было то, что его знакомый надеется дожить до внуков и правнуков и, более того, считает, что им могут быть интересны наши книги.

Когда Американист очутился в Нью-Йорке, Томас специально прилетел туда из своего Вермонта, благо расстояние невелико, и они

снова встретились на дружеской почве Шваб-хауза у Виктора и Раи.

Американист узнавал и не узнавал американца, с которым ощущал такую странную, необходимую и, однако, непрочно-условную связь. Томас Пауэрс казался похудевшим, борода его выглядела не такой окладистой, а голубые глаза внимательно приглядывались к трем русским и их жизни в Америке. Как новую визитную карточку он принес свежий номер журнала «Атлантик» со своей статьей о «ядерной зиме».

Знакомы ли вы с этой теорией, читатель? Ученые, наши и американские, выявили еще одно возможное последствие ядерной войны, которое, кратко говоря, будет состоять в том, что в результате множественных ядерных взрывов солнечным лучам будет перекрыт путь к земной поверхности, из-за чего повсюду на земном шаре произойдет резкое снижение температуры. Наступит «ядерная зима». Уцелевшие от катастрофы живые существа и растения вымерзнут от вечной зимы даже в тропиках, будут обречены на холодную и голодную смерть. Как ни парадоксально, в наш век с этим новым научно прогнозируемым тотальным ужасом связываются некоторые новые надежды на уменьшение ядерной угрозы, потому что картина самоубийственности ядерного конфликта становится еще более достоверно-безумной.

В общем, они провели в Шваб-хаузе два дружеских часа. Американец понравился и Виктору, который молодым связистом прошел войну, видел разные виды и понимал толк в людях. Он ушел с сувениром — баночкой зернистой икры и потом письмом из Вермонта благодарил Раю и Виктора за гостеприимство и шутливо сообщал, что дети его, никогда не видевшие русской икры, слава богу, принимают ее за тараканьи яйца, что дает ему возможность в одиночку наслаждаться знаменитым деликатесом.

Американист, вернувшись в Москву, также получил письмо от Томаса Пауэрса. Из письма он узнал, что зима уже пришла в Вермонт и что вермонтец на эту, к счастью, обыкновенную зиму предусмотрительно запасся дровами, купив семь больших вязанок и уложив их в погребе своего дома поленицей высотой и шириной в четыре фута и длиной в пятьдесят шесть футов.

«К весне все поленья до единого вылетят через трубу,— писал он.— К весне я также буду почти на половине своей новой книги».

Американист попытался представить, как выглядит этот вермонтский дом, и как в солнечный морозный день красиво поднимается в небеса дым из краснокирпичной трубы, и как знакомый американец, которого ему хотелось бы считать другом, пишет свою книгу о безумной «ядерной зиме», мечтая о наступлении обыкновенной весны и — времени разума.

НАЗАР НАДЖМИ



БРАТЬЯ

Поэма

*Памяти моих старших братьев
Гаделкарама и Гиляжетгина Нажметдиновых.*

О вас я поведу рассказ,
О вас, в душе хранимых свято...
На свете трое было нас,
Три сына, три ручья, три брата.
У корня было три ствола,
У матери с отцом — три сына.
Тремя потоками текла
Жизнь — и сливалась воедино.
Держал треножник-исполин
Ее без слов пустопорожних.
...И вот остался я один.
Но — удержался наш треножник.
Вы живы, живы! —
Верю я,
Вас смерти хлад не уничтожил:
Ведь вы — душа, судьба моя,
Путь, что прошел я,
Жизнь, что прожил.
Нет памяти моей конца,
Во мне трепещет ваше пламя.
Вы заменили мне отца,
Хотя осиротели сами.
За все вам благодарен я,
Вам, братьям нежным и суровым,
За то, что ткалась жизнь моя
Землей родимую и Словом...
Народ недаром говорит,
Что в днях и трудных и тревожных
Всегда треножник устоит,
Не покачнется он, треножник.
Одно — так говорят подчас —
И дерево не разгорится...
На свете трое было нас,
И вот, перешагнув границу
Порога, в дом пришла беда,
Одев нас в черные одежды.
Мы были спасены тогда
Любовью, верой и надеждой.
Мы жить остались — до поры
Тиски смертельные разжались...

Треножник тот, как три сестры,
Нас поддержал,
Мы удержались.
Досталась вера от отца,
Надеждою мы сами были.
Любовь, которой нет конца,
От матери мы получили:
Свет отделившая от тьмы,
Любовь без усталости, без меры...
И тут вдруг стали сами мы
Надеждою, любовью, верой...
Я их навек запомню — в ту
Незабываемую пору:
Надежду, веру и мечту,
Что и родной земли опора.
Как и для матери родной,
Они и для земли треножник...
...Все пережитое страной
Порою трудной и тревожной —
Во мне... Я пережил сполна
Все испытания, с лихвою...
Во мне — родная сторона,
В лаптях идущая с сохою...
Одни за новое стоят,
Другие же, топчась на месте,
За старое... И кто-то рад
Соединить, смешать все вместе...
С дыханьем нашим до конца
Дыханье родины сливалось,
Стучали в унисон сердца,
Не отклоняясь ни на малость.
С тобою, сторона моя,
Поля, и горы, и долины,
В переплетеньях бытия —
Три брата — были мы едины.
Испытывает сыновей
Извечно каждая эпоха,
И до последнего мы с ней
Мгновения, движенья, вдоха.
Просты эпохи и сложны,

Свои у каждой испытанья:
 Судьба людей, судьба страны,
 Судьба земли и мироздания...
 Когда нагринула беда
 На нашу землю —
 Мы, три брата,
 В строй встали, устремясь туда,
 Где рдело зарево заката.
 Да, грозный путь достался нам,
 Начальный путь,
 Жестокий, мрачный...
 Стал пулеметчиком Карам,
 Гиляж — сержант...
 Я, самый младший,
 Стал лейтенантом...
 Все мои
 Ровесники в победных маршах —
 Принять готовы все бои.
 Все —
 Без отцов и братьев старших!..
 Да, так казалось...
 Но судьбой
 Все было решено иначе,
 И мои братья вышли в бой
 В дни отступления и плача.
 ...Июль. Косить бы день-деньской...
 А жатва — августа забота...
 Карам, на берег став донской,
 Косил, косил из пулемета.
 Без счета он косил врагов,
 Валил врагов он косяками...
 Траву зеленую лугов
 Безжалостно косило пламя...
 Передний край... Смерть — пред
 тобой,

И нет просвета в промежутке.
 Передний край — вхождение в бой.
 Жизнь на минуты, не на сутки,
 Считают там... Навылет в грудь
 Ты ранен иль задет осколком —
 Мгновенье — и оборван путь...
 Так и не разобравшись толком,
 Конец ли это, не успев
 Почувствовать — конец ли это?..—
 Недолюбив и недопев,
 Навек проститься с белым светом...
 Судьба решила: ты живой
 И братья живы... Вам на долю
 Еще достанется с лихвой
 Утрат и бед, тревог и боли.
 ...Да, выпало на долю нам
 Немало бед и испытаний.
 В живых остался брат Карам,
 Хоть был сражен на поле брани...
 Все миновавшее давно
 Сегодня оживает снова...

Письмо Гиляжа — вот оно!—
 От августа сорок второго:
 «Пришли сегодня письма, брат,—
 Два сразу! И опять я с вами!
 И так я счастлив, так я рад,
 Что и не передам словами!
 Кустым¹, я счастлив оттого,
 Что два письма сегодня — вместе!
 Ведь с ноября — ни одного...
 От близких не было известий...
 Кустым, на поле боя мне
 Немало выпало на долю...
 Раскат в оглохшей тишине
 И онемение от боли.
 Метнулось пламя... Взрыв... Еще...
 И клубы пыли над долиной...
 В живых нас четверо... В плечо
 Мое впился осколок мины...
 И — госпиталь... И вот моя
 Жизнь началась уже вторая.
 И вновь на фронт вернулся я —
 И снова на переднем крае...
 Ты пишешь — был в Москве... Как
 раз

Мы были рядом в это лето!
 В К... области стою сейчас,
 И город Р... здесь близко где-то...
 Брат, где сейчас Карам-агай?²
 Не ранен ли? Жду доброй вести!..
 Ну что ж, кустым, не забывай,
 Я верю: будем снова вместе!
 Мы одолеем, победим
 Беду, что нам легла на плечи.
 Пройдем сквозь взрывы, пламя,
 дым —
 И будем жить мечтой о встрече!
 Я верю, выполним приказ,
 Врага мы разгромим — я верю!
 И приведет победа нас
 В родимый край наш,
 К отчей двери.
 И вместе встретим праздник наш!..»
 Слова любви, надежды, гнева —
 Так он писал, мой брат Гиляж,
 Мне в том письме
 Из-подо Ржева.

Письмо... Оно историей давно
 Далекое стало: первое от брата
 Последним оказалось. И оно
 Не скоро добралось до адресата.
 Когда ожесточенные бои
 Гремели подо Ржевом и потоки
 Кровавые струились —
 Я твои,
 Твои, Гиляж,
 Твои читал я строки.

¹ Младший брат.

² Обращение к старшему.

Лишь позже я узнал про смерть твою —
 В какой скале бы скорбь живущих высечь!
 Пал подо Ржевом мой Гиляж в бою —
 Одним из тысяч был, одним из тысяч.
 «Я убит подо Ржевом...»
 Горчайшие строки поэта!
 О трагическом времени
 Было написано это...
 «Я убит подо Ржевом...»
 Далекого боя раскаты...
 Мне казалось,
 Написано это
 От имени брата...

...А я вот размышляю в тишине,
 Поют дрозды в весеннем исступленьи...
 Есть разные сраженья на войне:
 Есть отступления
 И наступленья.
 Но не бывает боя без утрат,
 Без жертв, без крови не бывает боя...
 Вот битва за Москву...
 Вот Сталинград...
 И вот — Орловско-Курскою дугою
 Означенная... Славные бои,
 Большие, поворотные сраженья...
 Но только братья старшие мои
 В них не участвовали —
 По решенью
 Судьбы один остался навсегда
 Там, подо Ржевом...
 Искалечен миной
 Второй — с израненной рукой... Куда
 Ему теперь? Как жить — наполовину?
 Куда теперь? С душою боевой
 Стать писарем — засесть за документы?
 В газетные пойти корреспонденты,
 Чтобы остаться на передовой?..

...Те руки с самых первых дней войны
 Орудья заряжали — не дрожали,
 Те руки, что оружие держали,
 Держали и судьбу своей страны.
 Высоты духа, равные горам!
 Сердца, что тьму теснили, освещали,
 Что каждые сто метров защищали,
 Отстаивали, как мой брат Карам.
 Как мой Карам, разили здесь врага
 Те тысячи порою изначальной,
 Отчаянной, трагической, печальной —
 Здесь начиналась Курская дуга,
 Здесь начиналась слава Сталинграда,
 Грядущего здесь засветилась даль...
 Здесь брата моего ждала награда:
 Он «За отвагу» получил медаль.
 Он подвиг совершил — простой солдат,
 Мой старший брат, в Башкирии рожденный,
 Медалью «За отвагу» награжденный, —
 Весомее она иных наград
 В те годы отступленья и утрат...

«Все с опозданием пришло ко мне...»—
 Такие строки я писал когда-то.
 А те слова относятся и к брату,
 Что миной был достигнут на войне...
 Далёко позади война осталась,
 И жизнь прошла — едва не целиком.
 Медаль та боевая отыскалась,
 Когда он стал почти что стариком.
 Вот он впряжен в последние оглобли
 Раненьями, болезнями, судьбой.
 Достиг покоя он под тихой кровлей,
 Оставшись навсегда самим собой.
 И жизни перелистанные главы
 Ему теперь, пожалуй, не нужны.
 Ни золото, ни серебро, ни слава
 Уж не имеют для него цены...
 Я слышу трав тишайший перезвон...
 В могиле узкой, выбранной заранее,
 Вся уместилась жизнь — и поле брани,
 То поле битвы, где сражался он.

Треножником мы были. Трое нас.
 И вот один я — плачущий — очнулся...
 Нет, вы со мною всякий день и час —
 Наш устоял треножник, не качнулся.
 Со мной вы до сегодняшнего дня,
 До завтрашнего дня со мной — без спора...
 Ушедшие
 Не только для меня —
 Для всех живых являются опорой...
 И прошлому обязан всякий миг
 Сегодняшний,
 И наша мысль, и чувство,
 Науки чудо держится на них,
 Величье слова, волшебство искусства.
 Треножником мы были. Трое нас.
 Но живы вы!.. И в радости и в горе
 Я с вами, как бы рядом находясь,
 Советуюсь, ищу ответа, спорю...
 Мне с вами разговаривать легко:
 Случается порой — трудней с живыми.
 Хоть вы непостижимо далеко,
 Со мной и облик каждого и имя.
 Я старше нашего отца теперь,
 Гиляж-агай, да и тебя намного.
 Досталось больше ваших мне потерь,
 Длиннее вашей у меня дорога.
 Я оказался долговечней всех
 И счастлив — по сравненью с вами всеми.
 Я родился и рос в иное время,
 А вы — вы начинали этот век...
 Он на исходе — век, что вами начат,
 Он кончится без вас и без меня...
 Кровавым ли, бескровным обозначит
 Его историк завтрашнего дня?..

...Туда, откуда нет возврата,
 Уйдем, развеемся, как сон.
 «Кто? Нажметдиновы? Три брата?
 А кто они?.. Таких мильон...»

Спросить у Дона:
 «Помнишь, он
 Кровь пролил за тебя когда-то?»
 Я столько видел, скажет Дон,
 Все заволок туман проклятый...
 Спросить у Ржева:
 «Отвечай,
 Что знаешь о моем Гиляже?»
 Найти возможно ль невзначай
 Крупинку в той кровавой каше?...
 ...Вот он, истории клубок:
 Из славных он имен намотан,
 Событий славных.
 Но исток,
 Исход всему один, и вот он:
 Всему исток один — земля,
 Всему начало и основа —
 Деяньям, людям. И своя
 Родная почва есть у слова...
 Будь вечно благодарен ей,
 Она извечно благородна:
 Хоть без стеснения — кто
 шустрей?—
 Ее все топчут, кто угодно...
 Три брата нас. Я не могу
 Поверить, что вас нет на свете.
 Я говорю — и я не лгу! —
 От всех: ведь я за вас в ответе.
 Три брата нас, от всех троих
 Я говорю — ведь вы со мною.
 Охвачены мы в этот миг
 Одной заботою земною.
 Да, вы покоитесь в земле,
 А мы пока на ней остались,
 Чтоб, жизнь прожив свою, во мгле
 Исчезнуть наконец, состарясь...
 Да, вы погасли... Мы сейчас
 Еще горим — до самой смерти.
 У всех — горит он иль угас —
 Бывает всякое, поверьте.
 Живой шумит, по сути став
 Душою мертвой иль увечной.
 А кто-то, смертью смерть поправ,
 Жить продолжает бесконечно.
 Да, для великих смерти нет,
 И путь их вечен, безграничен...
 А наших дней тускнеет свет
 Для всех — без званий и отличий...
 И только память, лишь она
 Свет на былое проливает.
 Корысти всякой лишена,
 Ушедшим годы продлевать;
 Став стихотворною строкой,
 Жизнь ваша точно ль удлинится?..
 (А сами ль будут жить страницы,
 Моей написаны рукой?..)

Три брата нас. И на войне
 Просты мы были — как солдаты...
 Три брата было нас, три брата —

А счастье вышло только мне.
 Я всю войну был на ногах,
 Не дался минам и снарядам...
 И если смерть шла с вами рядом,
 То от меня шла в двух шагах...
 Как будто вы меня от пуль
 Оберегали неустанно.
 И всю войну не потому ль
 Прошел я без единой раны?
 Никто не должен быть забыт,
 Хоть и неумолимо время...
 ...А мне неловко рядом с теми,
 Кто о раненых говорит...
 Все пули пролетали мимо,
 И так случилось — как-то раз
 У ног моих упала мина,
 Упала — и не взорвалась!
 А где свидетели?.. Уж нет
 Ни замполита, ни солдата...
 Свидетелей найти ли след,
 С кем шел под пулями когда-то:
 Паращенко погиб в Берлине,
 На подступах Чулиндин пал.
 А вот Галковский жив и ныне —
 Уж он бы все вам рассказал...
 Он восклицал когда-то: «Живы!..
 Да это просто чудеса!
 Ну, Нажметдинов, ты счастливый,
 Видать, в рубашке родился!..»
 И в самом деле, было это,
 В рубашке в мире я возник...
 Нет, сам не верил я в приметы,
 Поверили другие в них.
 Поверить — старикам в угоду —
 Приметам мог ли я любым,
 Когда от оспы с полугода
 Остался навсегда рябым...
 ...Опять жую все ту же жвачку,
 Все ту же жвачку — не впервой...
 Должно быть, шутки да подначки
 Испортили характер мой...
 Ведь испытанье — жизнь сама —
 Порой выматывает душу,
 Все требует: «Ответь!..
 Послушай!..»
 Хватило б силы да ума...
 На испытанья, на вопросы
 У каждого лишь свой ответ...
 Потери, боль, и кровь, и слезы...
 И кто-то гибнет... Кто-то — нет...

Солдаты, вы, что умирали стоя,
 Те, что сложили головы давно...
 У матери — хоть семеро, хоть трое
 Единственные все вы все равно!
 Как семеро единственных —

таким он,
 Гиляж-агай, для нас был без затей,
 Для нас он был единственным,
 любимым —
 Для матери, для братьев, для детей.

И для жены, все муки испытавшей
 И верившей, что он придет живой!
 Детей-сирот без мужа воспитавшей,
 Снохи моей, оставшейся вдовой.
 Вы, вдовью жизнь изведавшие вдовы,
 Как ни горька судьба, как ни лиха,
 Вы сохранили жар родного крова,
 Сестра моя родная и сноха...
 Страдания ваши можно ли представить
 И скорбный ваш, великий ваш удел?!
 О, кто сумел бы подвиг ваш восславить?
 О, кто б величье ваших душ воспел?
 ...Таким теплом и добротой такую
 Ко всем вокруг сноха моя полна!
 Хоть и неугасимую тоскою
 Ее душа навек обожжена...
 Вот песня, что она поет подчас,
 Я в этой песне, вдовы, вижу вас:
 «Вспоминаю августа рассветы,
 Дым из труб, теряющийся где-то,
 И хлеба, глядящие с мольбой.
 «Нас сожги!..» — шептали, нам казалось...
 Ты ушел тогда, а я осталась...
 Как мы были молоды с тобой...
 Возраст твой давно перешагнули
 Наши дети, наши сыновья...
 Не пропал ты в грохоте и гуле —
 Навсегда с тобой любовь моя...»

Вы оба были молоды тогда,
 Когда он уходил, а ты осталась.
 С тех пор прошли года, года, года...
 А сколько — понимаешь лишь под старость...
 Уж восемьдесят было бы ему,
 Тебе же семьдесят, сноха, минуло...
 Жизнь с той поры, как ты шагнула в тьму
 Жестокой вести, быстро промелькнула.
 ...Какая сила скрыта в этих вдовах!
 В них — верность и страдания земли...
 О, сколько их — веселых да бедовых —
 Сквозь жизнь ту вдовью участь пронесли...
 ...Как ты светла, сноха, как ты красива!
 За милосердье твоего огня,
 За верность, за любовь тебе спасибо
 И от детей твоих и от меня.

...Приход весны встречавший столько раз,
 Я постарел, но все еще шагаю...
 Гиляж-агай! Прочту тебе сейчас
 Последнее письмо Карам-агая:
 «...К шестидесятилетию я
 Не смог тебе письма отправить
 И с орденом большим тебя
 Не смог я вовремя поздравить...
 Назар-кустым! К своим годам
 Прибавь десятку
 И к десятке
 Еще одну,
 А дальше сам
 Смотри, чтоб было все в порядке,

Прикинь, на сколько хватит сил,—
Жизнь бочке не сродни бездонной:
Увидишь дно — и свет не мил,
И груз на сердце многотонный.
Оказывается, вокруг
Все угасает... И согреться
Нельзя, коль обескрылел дух,
Нельзя, коль холодеет сердце...
И сердцу ты охладевать
Не позволяй!.. Живи со страстью,
С горячностью... Скажу опять:
Будь жив-здоров! Желаю счастья!..»
Как он горяч, наш старший брат,
Какое мужество и сила...
Эх, время косит всех подряд,
И вот — такого подкосило...
Рассказывали мне давно,
Но это помнят и сегодня,
Как с толстого конца бревно
При возведении сруба поднял:
Ему под семьдесят тогда
Уж было... Как все делал ловко!..
Бегут года. Бегут года.
Бегут, не зная остановки.
Я дом поэзии давно
Все возвожу — и вот не знаю:
Не с толстого ль конца бревно
Порой я тоже поднимаю?
Зачем, все трудности терпя,
Впрягаться так в свою работу?..
Порой не больше ли почета
Не утруждающим себя?
Карам — и крепость и ограда —
Был сильным сердцем и рукой...
С могилой материнской рядом
В Миништах он обрел покой.
...Не знаю, где твоя могила,
И сердце ноет, как и ныло...
Но повторяю вновь и вновь:
Треножник наш ничто не сбило,
Его неистребима сила —
Надежда. Вера. И любовь...

Перевела с башкирского ЕЛЕНА НИКОЛАЕВСКАЯ.

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

«РАБОТА С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ...»

Из писем Константина Симонова

Большая часть печатающихся в этом номере писем Константина Симонова относится к тому времени, когда он был редактором «Нового мира», — они адресованы авторам журнала, читателям, товарищам по редакции, издательским работникам. Несколько писем, выходящих за эти хронологические рамки, нашли место в подборке, они свидетельствуют о том, что особое отношение к этому журналу писатель сохранил и в те времена, когда уже не работал в нем.

В свою очередь те, кто работал в журнале после Симонова, помнили о том, что он сделал для «Нового мира», помнили, что некоторые важные принципы редакционной работы были утверждены его стараниями и энергией. Публикуя к пятидесятилетию Симонова статью А. Суркова «Большими дорогами жизни», редакция «Нового мира», возглавлявшаяся уже А. Твардовским, предварила ее заметкой, в которой говорилось: «Мы с особой признательностью вспоминаем К. Симонова как одного из редакторов «Нового мира». Опытный и инициативный организатор, он в свое время много сделал для того, чтобы поднять идейно-художественный уровень и авторитет нашего издания».

Все письма печатаются впервые за исключением письма Г. Ф. Александрову от 1 сентября 1946 года (оно было опубликовано в журнале «Вопросы литературы», 1982, № 5) — письмо это включено в подборку, потому что является программой послевоенной перестройки «Нового мира» и проливает свет на всю последующую работу Симонова в журнале; печатались также два небольших фрагмента из письма Н. Хикмету от 4 марта 1956 года (см. К. Симонов. Сегодня и давно. Статьи. Воспоминания. Литературные заметки. О собственной работе. Второе, дополненное издание. М. «Советский писатель». 1976, стр. 392).

Письма взяты из готовящегося мною XII (дополнительного) тома завершающегося сейчас собрания сочинений К. Симонова и публикуются по копиям, находящимся в архиве, который хранится в семье писателя (в дальнейшем в комментариях — АКС).

К сожалению, данные о некоторых адресатах публикуемых писем установить не удалось.

Л. ААЗАРЕВ.

Г. Ф. Александрову

Многоуважаемый Георгий Федорович!

В связи с разговорами, которые у нас с Вами были, относительно моей возможной работы в качестве редактора журнала «Новый мир» я бы хотел высказать здесь несколько соображений о работе журнала вообще и о том, как бы я думал в случае своего назначения эту работу перестроить.

Я исхожу прежде всего из того, что должен представлять собой номер толстого ежемесячного журнала, полученный средним советским интеллигентом-подписчиком в каком-нибудь городе на периферии.

Такой подписчик, естественно, обычно не может выписывать несколько журналов, и вот мне думается, что единственный получаемый им журнал должен ответить на значительно более широкий круг его культурных запросов, чем это имеет место с любым из наших журналов сейчас.

Прежде всего подзаголовок «литературно-художественный и общественно-политический журнал» должен найти отражение в содер-

жании журнала, и обе эти составные части должны находиться в примерном равновесии.

Когда впервые со мной говорили о журнале, я специально на выбор прочел несколько номеров «Современника» и «Отечественных записок» их лучшего периода, и нужно сказать, что в этих журналах даже очень соблюдалось это равновесие, утерянное многими нашими журналами сейчас.

Нет смысла, чтобы журнал был по существу альманахом прозы и стихов с некоторой процентной нормой критических статей. Журнал должен быть отражением культурной жизни страны и должен давать представление о ней в целом. Поэтому я бы считал, что журнал должен состоять из следующих отделов: 1. Проза; 2. Поэзия; 3. Критика; 4. Публицистика; 5. Наука; 6. Искусство; 7. Иностраный отдел.

Некоторые пояснения относительно того, как я себе представляю работу последних четырех отделов.

Отдел публицистики, конечно, не только отдел чисто литературной публицистики, иначе его не было бы смысла отделять от критического отдела. В этом отделе должны печататься публицистические статьи и литературного характера и философского, и статьи по вопросам морали, быта, и статьи по ряду других, обычно не затрагиваемых в наших толстых журналах вопросов. Как пример приведу хотя бы такую пришедшую мне в голову тему: статья-очерк о культурной жизни нашего среднего провинциального города, о всем круге его культурных интересов, включая сюда театр, кино, самодеятельность, работу местных литераторов, вопрос постановки высшего образования и т. д. Это, конечно, только пример; тем такого типа очень много.

Отдел науки, который, конечно, не может занимать в журнале уж слишком большого места, все-таки должен сыграть роль затравки и посодействовать расширению такого явления, как работы крупных ученых над популярными статьями об интересных и животрепещущих вопросах науки, прежде всего, конечно, советской науки. Этим у нас занимаются от времени до времени в журналах, но систематически очень мало.

Отдел искусства должен более или менее систематически давать статьи по вопросам театра, кино, изобразительных искусств. На это может быть возражение, есть ли смысл дублировать соответствующие специальные журналы, но, во-первых, эти специальные журналы обычно не доходят до среднего читателя, во-вторых, со многими из того, что там печатается, бывает интересно и необходимо полемизировать, и, в-третьих, мне думается, будет очень хорошо от времени до времени рассказывать советскому читателю-интеллигенту на периферии (особенно на периферии) о важнейших достижениях во всех отраслях советского искусства.

И наконец иностранный отдел. Иностранные отделы формально существуют в наших журналах, но по существу они зачастую были просто переводческими конторами, где искали, что бы можно перевести на русский язык, и вдобавок слишком часто переводили без достаточного разбора. Я же думаю, что этот иностранный отдел должен по своей работе, в сущности, смыкаться с отделом публицистики. Основное место в нем должны занимать статьи, в которых бы мы вели активную наступательную полемику против буржуазных влияний и теорий в искусстве, где мы могли бы в тех случаях, когда это нужно, отвечать на враждебные нам статьи в иностранной литературе и журнальной прессе. В этом отделе, конечно, не будет надобности дублировать газетные международные обзоры, но в нем мы должны будем враждебной нам буржуазной политике, облеченной в литературную форму, противопоставить свою наступательную политику, тоже облеченную в литературную форму.

Теперь несколько соображений о редколлегии.

Редколлегия должна быть работающей, иначе ее лучше вовсе не надо. Каждый член редколлегии должен руководить одним или двумя отделами журнала, и это должно быть предварительным условием при переговорах о включении его в редколлегию. Только в этом случае, при совмещении этих двух обязанностей, члена редколлегии и заведующего отделом, не произойдет той истории, которая постепенно и неотвратимо обычно происходит с журналами: на обложке одни начальники, а в редакции — другие.

Если перейти конкретно к составу редколлегии, как бы я ее очень предварительно и очень условно сейчас наметил, то я бы предложил такой состав: из старой редколлегии, во-первых, должен бы остаться Шолохов. Сознаю, что это будет в смысле работы исключением из правил, но имя Шолохова и двадцатилетняя традиция печатания его произведений именно в этом журнале делают необходимым это исключение. Впрочем, может быть, удастся найти какие-то формы, в которых Шолохов все-таки и сможет принимать некоторое участие в работе (например, посылка ему на отзыв основных больших прозаических произведений, печатающихся в ряде номеров журнала).

Из числа старых членов редколлегии мог бы остаться и Федин, при том условии, что он взял бы на себя руководство отделом прозы. В том же случае, если он не возьмет на себя отдел прозы, а захочет остаться членом редколлегии вообще, мне думается, от этого придется отказаться и вести тогда разговор с Василием Гроссманом, который, как мне кажется, тоже мог бы хорошо вести отдел прозы.

Отдел публицистики, по-моему, мог бы хорошо вести Александр Кривицкий, который одновременно был бы заместителем редактора или ответственным секретарем, в зависимости от того, как это будет называться. Так как это человек, с которым мне придется работать больше всего, — несколько слов о нем. В течение всей войны он руководил литературным отделом газеты «Красная звезда», в его руках была там организация всего литературного материала, который, особенно в первые годы войны, был там, на мой взгляд, на большой высоте. Кривицкий хорошо знает круг писателей, в качестве литературного редактора он ряд лет работал буквально с десятками писателей. Человек он весьма умный, историк по образованию, коммунист. Он много и хорошо работал как публицист и выпустил за войну несколько книжек, таких, как «Традиции русского офицерства», «Брянский лес», «Гвардия», «Двадцать восемь». Он — член Союза писателей.

Что до меня, то я много лет работаю вместе с ним и просто не вижу для себя лучшего заместителя редактора или ответственного секретаря.

В качестве заведующего отделом науки я бы рекомендовал Бориса Агапова. Сначала я думал о том, что эту работу должен вести кто-нибудь из молодых ученых, но тогда она может стать однобокой, а Агапова я могу с чистым сердцем рекомендовать как человека, среди литераторов более всего интересующегося наукой и техникой, прошедшего все пятилетки на новостройках и знающего чуть ли не каждую из них: он имеет огромный запас сведений и буквально неисчерпаемый круг знакомств в научном и техническом мире. Кроме того, он сам по себе давний и упорный энтузиаст популяризации науки. Мне кажется, это было бы очень подходящей кандидатурой.

Наконец, если это окажется для него возможным в смысле совмещения, я бы предложил в качестве заведующего иностранным отделом члена-корреспондента Академии наук Жукова, того, что сейчас возвращается из Японии. Он был бы бесконечно полезен и в иностранном отделе и в публицистическом отделе, и я очень хотел бы включения его в редколлегию.

В смысле соотношения работы отделов и принципа составления каждого номера журнала я был бы убежденным врагом установивших-

ся в наших журналах традиционных процентных норм — в каждом номере обязательно кусок романа, столько-то стихотворений, столько-то критических статей, столько-то рецензий и т. д. Это ведет к тому, что зачастую недоброкачественный материал помещается исходя из этой процентной нормы: нет к номеру хороших стихов, но стихи непременно должны быть в журнале — и вот печатаются плохие.

Конечно, в общем, журнал в течение года, скажем, должен соблюдать равновесие между отделами, но в каждом конкретном номере наибольшее место отводится просто наиболее интересному из имеющегося, без всяких дополнительных соображений.

Наконец последний вопрос — вопрос материальной базы журнала. У меня есть несколько пожеланий.

Первое. Часть тиража журнала, пусть не особенно большую, выпускать на отличной бумаге и в отличной обложке.

Второе. Иметь при начале работы средства на то, чтобы как следует отремонтировать помещение редакции и соответствующе обставить его, так, чтобы, во-первых, не стыдно было пригласить в редакцию кого бы то ни было, а во-вторых, для того, чтобы вообще писатели, собирающиеся в журнале, могли бы сидеть, поговорить в хорошей, удобной обстановке; в тех же сараях, обставленных несколькими канцелярскими столами и колченогими стульями, какие представляют из себя сейчас редакции наших толстых журналов, в них люди стараются не засиживаться, а, наоборот, поскорее сделать свое дело и выскочить на воздух. Между тем, в конце концов, у нас на всю страну четыре редакционных помещения толстых журналов, через которые, в общем, проходит литература. Это не так много. Это может быть и должно быть хорошо устроено.

Третье. Для редакции было бы очень важно иметь на всю редакцию хотя бы одну легковую машину.

Для ведения иностранного отдела, да и других отделов, важно иметь какой-то небольшой лимит на выписку крупных периодических зарубежных изданий журнального типа.

Для того чтобы в редакции была атмосфера хотя бы некоторого гостеприимства и уюта, у редактора должен быть ежемесячный небольшой подотчет в таких размерах, чтобы он мог предложить собравшимся по тому или другому поводу писателям просто-напросто чай и печенье; конечно, это не проблема, и редактор и члены редколлегии могут это сделать и за свой счет, но вряд ли это будет удобно.

Последнее. Члены редколлегии должны непременно получать жалование, для того чтобы это было не только общественной работой, но и работой государственной, а следовательно, и работой с государственной ответственностью — в данном случае важен не размер жалования, а принцип. Сейчас мне в точности не известны ни официальные штаты журнала, ни реальные штаты. Я попрошу разрешения, если возникнет необходимость, и по этому вопросу представить свои соображения и просьбы.

Вот примерно какие практические мысли пока возникли у меня в связи с нашим с Вами разговором.

Уважающий Вас

Константин Симонов.

1 сентября 1946 г.

Александров Георгий Федорович (1908—1961) — философ, действительный член АН СССР. В то время начальник Управления пропаганды и агитации ЦК ВКП(б).
...я бы предложил такой состав...— Новая редколлегия журнала была сформирована в таком составе: Б. Агапов, А. Борщаговский, В. Катаев, А. Кривицкий, К. Симонов (главный редактор), К. Федин, М. Шолохов.

...из старой редколлегии и... — В эту редколлегию входили М. Розенталь, А. Сурков, К. Федин, М. Шолохов. В Щербина (ответственный секретарь).

...двадцатилетняя традиция печатания его произведений...— В «Новом мире» М. Шолохов напечатал первую книгу «Поднятой целины» (1932, № 1—9) и четвертую книгу «Тихого Дона» (1937, № 11—12; 1938, № 1—3; 1940, № 2—3).

Жуков Евгений Михайлович (1907—1980) — историк, действительный член АН СССР, специалист по истории Японии, международным отношениям новейшего времени и колониальным проблемам.

3. С. Кедровой

Многоуважаемая товарищ Кедрина, мне хочется письменно подтвердить свое предложение, адресованное Вам,— написать статью о творческом пути Ильи Сельвинского.

Мне бы хотелось, чтобы это была большая статья-портрет в ряду серии статей-портретов виднейших советских писателей и поэтов (простите за рифму), которую я намерен давать в 1947 году в журнале «Новый мир».

Несколько моих соображений о Сельвинском, для того чтобы Вам была ясна моя позиция как редактора.

На мой взгляд, Сельвинский — поэт очень большого таланта, но и по сей день — только частично реализованных возможностей. Драма творческого пути Сельвинского, как мне кажется, заключается в том, что, будучи по природе человеком глубоко общественным и связанным с народом, и напряженно ищущим всегда решения больших проблем, и постоянно ищущим путей к сердцу читателя, он в то же время сам нагромождает на своем пути огромное количество препятствий, через которые иногда перепрыгивает, а иногда так и не может перепрыгнуть.

Препятствия эти у него связаны в разное время с разными вещами: с формалистическими поисками, с попытками подчеркивания своего таланта искусственной обособленностью от всей остальной поэзии и литературы в области ритма и в области рифмы, во всем, вплоть до пресловутых (эс); бывает камнем преткновения и вдвинутая в стихи чрезмерная физиология. И в эпических вещах, в частности, большим камнем преткновения является часто желание вдвинуть себя в одного из героев, причем самобытность поэта, втиснутая в шкуру, скажем, инженера, начинает углами вылезать оттуда и разрывает эту шкуру. Да и не только об инженере речь. В какой-то мере это можно отнести и к Ивану Болотникову; тоже из-под оболочки и там высовываются углы втиснутого самого себя.

Все это так. И в то же время дорога Сельвинского — это, безусловно, путь поисков к сердцу читателя, к сердцу народа, и путь очень трудный и очень честный.

Мне хотелось бы, чтобы Вы не обошли молчанием «Челюскинские», в которой с ужасной силой сказалось абсолютное неумение Сельвинского разбираться в самом себе, неумение оставить хорошее и отбросить не вышедшее, но в которой есть в то же время просто блистательные, превосходные куски.

Я не думаю, что нужно обходить молчанием, скажем, «Пушторг» и «Пао-Пао», нужно только отделить злаки от плевел и найти и в этих вещах не только то, что говорит против Сельвинского, но и то, что говорит за него, а такое есть даже в этих вещах.

Очень важно, чтобы Вы коснулись лирики Сельвинского на всем ее протяжении, затронули его военные стихи и вообще его работу во время войны.

Мне думается, что статья будет интересной, если в ней возникнет облик поэта не только в его литературной биографии, но и в жизненной биографии; если возникнет время, в которое он жил и живет, если в какой-то мере история поэта будет рассказана не только извне, но и изнутри.

Мне хочется, чтобы Вы учли также, что читатель толстого журнала — не профессионал-литератор. Поэтому, скажем, чисто профессиональный и формальный анализ в такой статье-портрете допустим в той мере, в какой он связан с общим повествованием этой статьи.

Читатель должен прочитать статью с интересом — это первое условие, которое стоит перед всеми остальными условиями. Он не дол-

жен, не смеет, не имеет права заскучать нигде. Вы его не смеете отпускать скучать где-нибудь посредине статьи.

Давайте заставим читателя читать критические статьи, иначе они не нужны. Они должны быть интересны. Они должны удовлетворять хорошее любопытство читателя, связанное не только с произведениями писателя, но и с его обликом, с его жизнью, с его биографией.

Мы же не можем давать много статей о Сельвинском; мы дадим одну за несколько лет. Так пусть же читатель, прочтя такую статью, увидит поэта-человека, узнает все, интересующее его в этой связи.

Очень прошу помнить, когда Вы будете писать эту статью, о том, что скажет о ней учитель физики средней школы города Аткарка Саратовской области, что ему там понравится, что его заинтересует, что его заставит прочесть эту статью с любопытством. Обязательно это помните, когда будете писать статью. Иначе мы не выполним своего назначения журнала, рассчитанного на широкий круг советской интеллигенции.

Вот все те предварительные соображения, которые мне хотелось Вам высказать в связи с Вашей статьей.

Жму Вашу руку.

Уважающий Вас

главный редактор журнала «Новый мир»

Константин Симонов.

[1946 г.]

...в ряду серии статей-портретов виднейших советских писателей... — Полностью этот замысел осуществлен не был. В 1947 году были напечатаны следующие литературные портреты: К. Зелинского «Александр Фадеев» (№ 2), М. Чарного «Алексей Толстой» (№ 6), Б. Брайниной «Константин Федин» (№ 10).

Болотников Иван Исаевич (?—1608) — предводитель восстания 1606—1607 годов, герой трагедии И. Сельвинского «Рыцарь Иоанн» (1937).

«Челюскининана» (1937), «Пушторг» (1928), «Пао-Пао» (1932) — поэма, роман в стихах, пьеса И. Сельвинского.

...в связи с Вашей статьей.— Статья З. Кедринной об И. Сельвинском в печати не появлялась. В письме Л. Жадовой от 30 ноября 1981 года З. Кедрина писала: «Статья была написана, к чему я долго и тщательно готовилась, изучая творчество и биографию Сельвинского. Но напечатать ее в то время не удалось... Но работа эта все же послужила основой для трех публикаций (в сборнике моих статей, вышедшем в изд-ве «Советский писатель» в 1956 г., — «Литературно-критические статьи»; в газете «Литературная Россия» (позже) и уже в 1972 году как введение в сборник стихов Сельвинского в Большой серии «Библиотеки поэта». Это последнее издание я считаю единственно правильным и соответствующим по своему характеру пожеланиям Константина Михайловича)» (АКС).

Г. А. Ярцеву

Дорогой Георгий Алексеевич!

Прошу Вас рассматривать это письмо как мою рецензию или отзыв на книгу О. Савича «Выздоровление Дон-Кихота». Ко мне эта книга попала как к редактору журнала «Новый мир», и я прочел ее с большим интересом. Подчеркиваю, что это именно книга, а не повесть, и не цикл рассказов, и не серия дневников; скорей это все, вместе взятое, существующее именно как особого рода и жанра — и жанра, мне кажется, интересного — книга.

В «Новом мире» я буду выпускать специальный испанский номер и в этот номер возьму из книги Савича значительную часть: и часть, посвященную Мате Залке, и всю финальную часть книги.

Мне кажется, что эта книга заслуживает того, чтобы быть изданной в издательстве «Советский писатель». За ней стоит основательное, глубокое знание того, о чем пишет Савич, и что особенно приятно в книге о таких событиях. Чувствуется, что это еще только часть того, что знает человек, что за этим стоит вообще большое и широкое знание вопроса.

По жанру, как я уже сказал, книга очень своеобразна и на равных правах включает в себя и чисто беллетристические рассказы, полурассказы-полубыли и записки. Не все здесь одинаково хорошо,

но это неизбежно в такой книге. Мне, например, больше всего нравится дневниковая часть, но мне хочется отдать должное Савичу, что и многие рассказы произвели на меня самое хорошее впечатление; скажем, такой рассказ, как о писателе Доне Рамоне, или последний рассказ о морском переходе республиканского судна оставили очень сильное впечатление. В таком рассказе, как «Счастье Картахены», запоминается каждый человек, проходящий перед глазами. Много и других хороших рассказов, а главное, высокий лирический антифашистский дух республиканской Испании живет в этой книжке.

Мне кажется очень своевременным издать эту книгу. Мне кажется, ее будут читать и читать с большим интересом, потому что Испания как символ начала антифашистской борьбы, как символ благородной революционной борьбы живет в наших душах не умирая и не забываясь,— чувствую это по себе.

То, что издание такой книжки сейчас вполне осмысленно и желательно, могу подтвердить только тем, что сам, как я уже говорил, намерен выпустить специальный номер, посвященный республиканской Испании. Я горячо бы за издание этой книги.

Жму Вашу руку.

Уважающий Вас

Константин Симонов.

26.IV.47 г.

Ярцев Георгий Алексеевич (1904—?) — издательский работник, с 1938 по 1949 год директор издательства «Советский писатель».

Савич Овадий Герцович (1896—1967) — писатель и переводчик.

В «Новом мире» я буду выпускать специальный испанский номер...— Многие страницы № 12 «Нового мира» за 1947 год были отданы материалам, посвященным войне 1936—1939 годов в Испании.

...возьму из книги Савича значительную часть...— В «Новом мире» были напечатаны рассказ О. Савича «Николас» и «Страницы воспоминаний». Залка Мате (1896—1937) — венгерский писатель, во время войны в Испании под именем генерала Лукача командовал 12-й Интернациональной бригадой, был смертельно ранен в боях под Уэской.

...заслуживает того, чтобы быть изданной в издательстве «Советский писатель».— В 1947 году вышла книга: О. Савич. Счастье Картахены. Рассказы. («Библиотечка «Огонька») М. «Правда». В издательстве «Советский писатель» книга О. Савича «Два года в Испании. 1937—1939. Очерки и рассказы» вышла в 1961 году.

...основательное, глубокое знание того, о чем пишет Савич...— О. Савич находился в Испании в 1937—1939 годах в качестве корреспондента ТАСС.

Ч. Чаплину

Дорогой господин Чаплин!

Во время нашей встречи в Голливуде Вы мне дали Ваш сценарий «Комедия убийств» и разрешили мне перевести его на русский язык после того, как фильм будет окончен и выпущен на американские экраны. Теперь фильм уже вышел, и так как мне очень нравится Ваш сценарий, мне хочется перевести его и напечатать в журнале «Новый мир», который я редактирую. Я буду очень рад это сделать.

Я бы просил Вас телеграфно подтвердить мне данное Вами устное разрешение на перевод Вашего сценария. Буду очень рад получить его, и чем скорее, тем лучше.

Сердечный привет Вам от всех Ваших русских друзей, они Вас любят и часто вспоминают. Часто вспоминаю Вас и я сам, с чувством теплоты и благодарности вспоминаю наши сердечные встречи. Передайте, пожалуйста, мой привет Вашей жене.

Жду Вашего ответа.

Уважающий Вас

Константин Симонов.

16 мая 1947 г.

Чаплин Чарлз Спенсер (1889—1977) — американский актер, кинорежиссер, сценарист.

Во время нашей встречи в Голливуде...— См. об этом воспоминания Симонова «Встречи с Чаплином» (К. Симонов. Собрание сочинений в 10-ти томах. Т. 10. М. «Художественная литература», 1985).

...напечатать в журнале «Новый мир»...— Сценарий (точнее, монтажные листы фильма) Ч. Чаплина «Комедия убийств» («Господин Верду») был опубликован в «Новом мире» (1947, № 12).

Кошкину

Уважаемый товарищ Кошкин!

Хотя, как Вы пишете, на такие письма не принято отвечать, но я с удовольствием отвечаю. Отвечаю потому, что, несмотря — на мой взгляд — на ненужную резкость в выражениях, Ваше письмо говорит о сердечной заинтересованности в литературе и Вашем волнении за то, чтобы она была хороша.

Лично я благодарю Вас за все добрые слова, которые Вы сказали обо мне, хотя искренне думаю, что большинство этих похвал не заслужил тем, что пока сделал.

Что же касается стихотворения Семынина «Окраина», то лично у меня другое мнение о нем: оно мне нравится и я не вижу в нем ничего худого или обидного. Напротив, мне кажется, что человек, написавший это стихотворение, человек добрый и хороший. Посмотрите, с каким теплом описана у него женщина, которой предстоит родить ребенка.

Может быть, у Вас создалось обратное впечатление оттого, что Вы приняли это стихотворение вполне всерьез и не заметили, что оно написано с юмором, что в нем перемешано серьезное и шутовское.

Вот, собственно, и все, что я хотел Вам сказать, причем я думаю, что Вы не вправе обижаться на меня, так же как и я на Вас, ибо по частным поводам в литературе могут существовать самые разные мнения и оценки.

Да, еще, кстати, об обидах. Я человек не обидчивый и не вспыльчивый и, как мне кажется, умею видеть за словами существо дела и чувства человека. Но люди разные. Попади Вы на другого адресата — может быть, он и обидится на форму выражения Ваших чувств и из-за этого не сможет разобраться в существе того, что Вы хотели сказать. Лучше попытаться выразить самые резкие свои мысли спокойными словами, тогда это выходит убедительнее. Не надо писать «идиотские», не надо писать «белиберда» — это может раздражить людей и, повторяю, лишить их возможности понять за Вашими грубыми словами Ваши, по существу, хорошие чувства.

Привет, жму Вашу руку.

К. Симонов.

13 августа 1947 г.

Семьнин Петр Андреевич (1909—1983) — поэт; стихотворение «Окраина» напечатано в «Новом мире» (1947, № 3).

Р. А. Кармену

Дорогой Рима!

Спасибо тебе за дружеское письмо. Что сказать тебе о себе в нынешние дни? Не могу сказать о себе, что я ж и в у. Не живу, только работаю. Работаю с утра до ночи: вношу последние поправки в свою новую повесть «Дым отечества», которую должен сдать 15 сентября, потом сажу в Союзе за Фадеева, который болен и лежит в Барвихе, потом еще сажу в «Новом мире», и еще, и еще... Ну, в общем, это скучно перечислять.

Что касается твоих записок по Испании — я их прочитал. Видимо, испанский номер переносится на декабрь, и поэтому о реальных поправках к твоей вещи, которая мне в целом нравится, мы будем иметь возможность поговорить в Москве. Впрочем, не исключена

возможность, что я как-нибудь и выскочу на два-три дня в Ленинград.

Что же касается самого главного, то есть дружбы, то я все помню и верю, что мы не стали хуже, чем были когда-то; для этого нет никаких причин; скорее есть причины быть лучше. Если думать иначе — не стоит жить.

Крепко жму твою руку, мой дорогой.

Константин Симонов.

22 августа 1947 г.

Кармен Роман Лазаревич (1906—1978) — советский оператор и режиссер документального кино.

...твоих записок по Испании...— В «Новом мире» (1947, № 12) напечатаны записки Р. Кармена «Дыхание Мадрида. Из блокнота кинооператора».

В. Ф. Ф — чу

Дорогой Виталий Федорович!

Я прочел Ваш рассказ «Неопалимая». К моему большому огорчению, несмотря на то, что в рассказе есть много душевного и мне лично симпатичного, в целом рассказ мне все-таки скорее не понравился, чем понравился. Может быть, это произошло оттого, что уж слишком я много за последнее время (и притом в самых разнообразных жанрах) прочитал вещей, в которых основной сюжет сводится к тому, как берегут скот, или как оберегают новые сорта пшеницы, или что-то выращивают, или что-то спасают от засухи, или поднимают после градобития. Только поймите меня верно: я вовсе не иронизирую и все эти серьезные вещи имеют место в жизни, но как-то уж очень упорно и оголенно у нас в литературе сейчас часто ставят эти проблемы, приспособливая к ним целиком все чувства и мысли людей.

Конечно, человек не может жить без хлеба, и, конечно, проблема, скажем, урожая всегда гигантская проблема, но если взять весь моральный комплекс чувств человека, то все-таки нельзя все ставить в жизни на голову. Все-таки пшеница растет для людей, а не люди живут для того, чтобы росла пшеница. Конечно, наша разоренная страна сейчас предпринимает громадные труды и труд занимает громадное место в жизни, но уж очень часто с этим стали перебарщивать в литературе и делать из людей какие-то лишенные всяких прочих чувств придатки к делаемой ими работе. А это неверно, и люди, мне кажется, не хотят читать этого о себе.

У Вас это написано мягче, сдержанней, человечней, чем в ряде других прочтенных мною вещей, но все-таки я не могу перенести, когда это поле пшеницы, которую выращивает Ольга Александровна, в конечном итоге становится проблемой, стоящей совершенно вровень с проблемой смерти ее сына. Выходить поле сортовой пшеницы — конечно, это большое дело, но смерть единственного сына — это трагедия, и это не сопоставляется и не соизмеряется в душе человека так, как это вышло у Вас в рассказе.

Да, конечно, наши люди более стойко переносят личные трагедии оттого, что труд — это дело их жизни, а не дело только заработка. Да, благородный труд помогает переживать личное горе. Но личные трагедии остаются личными трагедиями, и все это в душе человека, мне думается, решается более мучительно, сложно, страшно, чем у Вас в рассказе.

Словом, меня что-то резануло в последней трети Вашего рассказа, и я не мог принять его конец никак.

За прямооту прощения не прошу — иначе не могу.

Жму Вашу руку.

Константин Симонов.

21.X.47 г.

И. Г. Эренбургу

Дорогой Илья Григорьевич!

Я звонил Вам сегодня, не застал Вас, сейчас уезжаю на два дня на дачу и боюсь, что Вы примете решение, не выслушав моего мнения, поэтому рискую изложить его в письменной форме.

Я два раза подряд прочел Вашу пьесу. Хотя я как редактор нахожусь в невыгодном положении человека, у которого есть конкуренты, но как Ваш друг, которым Вы позволили мне себя считать, я, может быть, даже вопреки своим редакторским интересам хочу высказать с полной прямоотой некоторые свои соображения о Вашей пьесе.

Мне нравится пьеса, и в первых своих четырех актах она вызывает у меня только несколько частных возражений. Сначала о них.

Во-первых, мне кажется, термин «декаденты», с которым Лоу обрушивается на французов, может у нас звучать двусмысленно, и поэтому это мне кажется неприемлемым.

Во-вторых, мне думается, что Лоу у Вас охарактеризован как представитель вообще Америки. Между тем как по своему существу и по своим качествам он является только зеркалом реакционной, тупой Америки. Мне кажется, было бы неверным переносить его свойства на всех американцев, а именно так могут это воспринять читатели и зрители, если в пьесе не будет на этот счет никаких оговорок.

Это две мои претензии к первым четырем актам. При редакции могут, разумеется, появиться и другие мелкие претензии, но они не будут иметь, как мне кажется, принципиального значения.

Перехожу к пятому акту. Я не могу еще высказать каких-то своих конструктивных соображений, но негативно — мне кажется, что пятый акт не получился. Не получился он по нескольким причинам. Мне не нравится в нем, во-первых, то, что обличительницей американца является проститутка Бубуль. Если уж необходимо его обличить до конца, то, пожалуй, лучше было передать эту функцию кому-то другому. Дальше, мне не нравится то, как Лоу раскрывает самого себя, будучи изобличенным. Это и в смысле драматургическом ниже всей пьесы, и вообще звучит примитивно, плакатно. «Я американский жулик», например. Это делает из него действительно из ряда вон выходящего жулика, а не типичного представителя низшего разряда реакционной Америки.

Мне не нравится и сама концовка акта, заявление рабочих, патетика, разговор о Мари-Лу. Мне кажется, что это не может сосуществовать с тем фарсом, который развернут в первых четырех и в начале пятого акта, это не сочетается. Настоящая жизнь должна быть за сценой, за пределами сцены, ее должны бояться негодяи, действующие на сцене. Они вынуждены с ней считаться, она вмешивается в их расчеты и планы, но рядом с ними она не может появляться на сцене.

В связи со всем этим мне хочется сказать вот что: вторая, настоящая Франция, как мне думается, должна быть все время за спиной, но не появляться никогда на сцене. При этих условиях, может быть, каменный лев и не должен быть отдан, но не в результате появления Бубуль, а в результате того, что в городе происходят за сценой настоящие события, вмешивающиеся в действия «отцов города».

Вот те мои соображения, которые явились после того, как я два раза прочитал пьесу. В данном случае я рассуждаю меньше всего как редактор. Мне просто кажется, что при всех обстоятельствах Вам стоит подумать над этими моими соображениями.

Еще раз прошу извинения за то, что излагаю все это письменно, но через полчаса уезжаю и буду в Москве только в пятницу, поэтому

приходится торопиться. Давайте созвонимся в пятницу. Мне бы очень хотелось видеть Вашу вещь, напечатанную в «Новом мире».

Крепко жму Вашу руку.

Константин Симонов.

9 декабря 1947 г.

...прочел Вашу пьесу...— Речь идет о комедии И. Эренбурга «Лев на площади».

С. Орлову

Дорогой товарищ Орлов!

Я прочел Ваши стихи и стихи Ваших товарищей. Из шести присланных Вами стихотворений по-настоящему мне понравилось одно — «После боя», я считаю его принятым в журнал и с удовольствием напечатать сейчас или, если Вы хотите пополнить его другими стихами (я думаю, что в этом есть смысл), то тогда позже пришлите еще.

Второе стихотворение, которое мне понравилось, но не безоговорочно, это «Пленные». Есть в нем и привлекательная сторона, но есть и что-то, что мешает тому, чтобы оно понравилось до конца, что-то во второй части, но не могу, однако, сообразить, в чем дело: не то там прямовато слишком и грубовато, не то в идее самой есть какая-то червоточинка. Во всяком случае, отложим его. Еще подумаю, и Вы подумайте.

Из остальных стихов мне представляются более интересными стихи: «Человека осаждают сны» и «У огня своя архитектура»; но первое из этих стихотворений очень путаное, хотя и с хорошими строчками посередине. В стихотворении «У огня своя архитектура» слишком много красотостей, а рядом с красотостью почти всегда поселяется безразличие; и белые церкви в Софии, и костел за Варшавой, и наши села — все это у Вас идет в одном поэтическом ряду и звучании, а в душе-то ведь совсем не так. И получилось в стихотворении, что не стихи из-за этого села возникли, а село возникло из-за того, что так красиво выходило по стихотворению.

Стихотворения «Песнь» и «Гидроэлектростанция» мне совсем не понравились: чистые и аккуратные стихи, ни в чем не отличающиеся от бесконечного числа таких же, которые я читаю — поверьте мне на слово — в очень большом количестве.

Вот Вам и все начистоту.

Теперь о стихах Ваших товарищей. Не хочу писать три письма, Вы уж передайте им на словах.

Бесконечно трудно говорить, почему стихи понравились, и в особенности говорить, почему стихи не понравились; то есть это можно легко говорить на том уровне, когда стихи еще полустихи и можно упрекнуть за вещи вполне очевидные, но когда уже стихи вполне стихи, а за сердце не цепляют, тогда это очень трудно объяснить. Вот, короче говоря, не зацепили мне сердце их стихи. Есть строфы хорошие и строчки хорошие, и, наверное, большинство из них можно печатать, а до души-то они не дошли, даже такие, которые как будто бы и должны были бы дойти до души, такие, как, скажем, «Индонезия» Семенова. Больше других мне понравилось стихотворение Хаустова «Сухо и крепко сосновая пахнет хвоей». Внутри в нем не все хорошо, не все самое лучшее; но хорошо, что строчка эта о хвое повторяется в начале и в конце, и в начале относится просто к пейзажу, а в конце к военным воспоминаниям и к душе человека, пережившего войну. Так я по крайней мере почувствовал, в этом есть что-то волнующее. А в середине все неточно. Если бы Хаустов что-то сделал с этим стихотворением изнутри, так, чтобы оно, как гамак, не держалось только на двух веревках и не провисало бы всем своим центром, то стихотворение вышло бы.

Вот мои разрозненные соображения.

Мне бы не хотелось, чтобы Вы и Ваши друзья обиделись на меня за мою резкость, но иначе не могу, да и не хочу. А подробно объ-

яснить, почему понравились или не понравились стихи, очень трудно и себе и другим.

В последний год меня очень редко как-то цепляют за сердце стихи: не нравятся чужие и разонравились почти все собственные. Но это — лирика, а практически присылайте стихи еще.

Вы лично присылайте еще стихи в дополнение к Вашему «После боя». И Ваши друзья пусть тоже присылают новые стихи.

Жму руку. Привет Вашим друзьям.

Константин Симонов.

5.II.47 г.

А. А. Фадееву

Дорогой Саша!

Во-первых, сердечный привет тебе, дорогой, и не только мой, но еще и кое от кого из здешних жителей, хорошо помнящих тебя и огорчающихся, что ты много лет не приезжал сюда. Например, самый сердечный привет тебе от стариков Гулиа — я у них был, и они очень трогательно о тебе вспоминали.

Я сижу и работаю в «хвост и в гриву», думаю, что уложусь к сроку и вернусь с готовым.

Кривицкий на днях по телефону сказал мне, что у тебя есть отрицательное мнение по вопросу о печатании в журнале «Повести о детстве» Гладкова. Я бы просил тебя поставить обсуждение этой повести на секретариат, ибо при несомненных опасных сторонах, в ней заложенных, она написана талантливо и ярко, мне кажется, талантливей всего, что старик писал до сих пор, и надо как-то собраться и вместе подумать, как быть. Исходя из этого, я тебя и прошу на конец марта сразу же после моего приезда наметить подобное обсуждение. А пишу я тебе об этом заранее для того, чтобы все члены секретариата могли заранее прочесть — она ведь большая.

Крепко жму твою руку. Передай, пожалуйста, мой сердечный привет Лине.

К. Симонов.

7.II.48 г.

...из здешних жителей...— Симонов находился в Гульриппе.

Гулиа Дмитрий Иосифович (1874—1960) — писатель и общественный деятель.

...вернусь с готовым.— Симонов работал над пьесой «Чужая тень», была опубликована в журнале «Знамя» (1949, № 1).

...о печатании в журнале «Повести о детстве»...— «Повесть о детстве» была опубликована в «Новом мире» (1949, № 2—4).

...при несомненных опасных сторонах...— По замечаниям А. Фадеева и редакции «Нового мира» Ф. Гладков дорабатывал «Повесть о детстве». В письме от 13 апреля 1952 года Н. Петровской, занимавшейся исследованием «Повести о детстве», Ф. Гладков вспоминал: «Для того, чтобы остаться наедине с собой и многое обдумать, я уехал в начале 1948 г. в Пензу и поселился на даче (в лесу), как отшельник. Там я и приготовил рукопись к окончательной редакции» (Н. Петровская, «К истории создания «Повести о детстве» Ф. В. Гладкова». — «Ученые записки Удмуртского государственного педагогического института им. 10 лет УАО». Десятый выпуск. Ижевск. Удмуртское книжное издательство. 1956, стр. 134).

...и вместе подумать, как быть.— А. Фадеев читал и отредактированный Ф. Гладковым вариант «Повести о детстве». В письме Симонову он писал: «Старик, надо отдать ему справедливость, много поработал над своей вещью. Она значительно улучшилась, стала благородней. и, по-моему, печатать ее можно в таком виде. Тем не менее остался еще излишек зверства, и надо приложить усилия — твои и Кривицкого,— чтобы где только можно, уговорить старика сократить те или иные зверские подробности Их в общем так еще много, что чем больше удастся изъять — тем лучше для вещи, для автора и для журнала. <...> Но вещь в общем очень сильная, передай мой привет старику и изложи мое мнение ему» (А. Фадеев. Письма. 1916—1956. М. «Советский писатель». 1973, стр. 272—273).

А. Ю. Кривицкому

Дорогой Саша!

В жизни моей не происходит никаких событий. Понемножку начал писать пьесу и как только сел уж писать, то стало легче. Думаю,

все ж таки выйдет. Полагаю, что если так случится, можно будет ее планировать в 5-й номер. Литературный вариант ее будет весьма длинный, листов до пяти.

Посылаю дубликат рецензии о Березко. Ежели, по-твоему, не получило хорошо, а вышло только средне или вовсе не вышло, прошу — не печатай, авторское самолюбие в данном случае мне чуждо. Писал для пользы дела, вернее, отдела.

Начал читать Каверина. Как будто хорошо. В случае катастрофы с 4-м, может быть, можно будет заставить его оторваться от окончания третьей части, сделать в течение короткого времени поправки в первой и второй частях и начать печатание в 4-м первых двух частей, напечатавши третью в 5-м. Но это только на катастрофический случай. Через день-два прочитаю и позвоню тебе относительно окончательного мнения своего.

Наконец получил «Культуру и жизнь». Статья хорошая. В особенности порадовался за Добровольского. Надо будет его вызвать в конце марта — апреля, когда я приеду, поговорить о его будущих планах, может быть, натолкнуть на что-нибудь хорошее.

В той же «Культуре и жизни» читал рецензию на спектакль «Дни и ночи» и полагаю, что это имеет совершенно прямое отношение к Шебунину. Впрочем, кажется, я пишу лишнее — ты это знаешь не хуже меня, но я бы только хотел подчеркнуть свое мнение о сроках выхода номера: в случае необходимости поправок, если надо, пусть выйдет хоть 31 марта или даже еще позже.

Недавно был случай, когда мне тебя так же не хватало, как когда-то у Шумилова: я был одинок, а их было много. Но ты, увы, была слишком далеко.

Кстати, посылаю тебе фотографию, которая, я думаю, доставит тебе некоторое удовольствие. Поистине неисповедимы пути, по которым она попала ко мне в Сухуми!

Прощай, дорогой! Казалось, что напишу очень много, а писать, в общем, не очень есть о чем. В смысле журнала — тебе там виднее, в смысле пьесы — виднее мне тут.

Надеюсь, к 20 марта съедемся оба со щитами, а не на щитах, вернее, не на плохих счетах, а на хороших.

Крепко жму твою руку, дружище.

К. Симонов.

7.II.48 г.

Кривицкий Александр Юрьевич (р. 1910) — в то время зам. главного редактора журнала «Новый мир».

...Дубликат рецензии о Березко. — Рецензия «Неправда рядом с правдой» («Новый мир», 1948, № 4), посвященная повести Г. Березко «Ночь полководца».

Начал читать Каверина. — Речь идет о рукописи 1-й книги его романа «Открытая книга», опубликованной в «Новом мире» (1949, № 9, 10).

Статья хорошая. — Речь идет о редакционной статье «Дубинка вместо критики» («Культура и жизнь», 31 января 1948 года), в которой бралась под защиту подвергнутая резкой критике в рецензии «Трое в серых шинелях» О. Резника («Правда», 27 января того же года) повесть Добровольского Владимира Анатольевича (р. 1918) «Трое в серых шинелях», опубликованная в «Новом мире» (1948, № 1).

...читал рецензию на спектакль «Дни и ночи»... — Речь идет о рецензии В. Кеменова «Дни и ночи» («Культура и жизнь», 21 января 1948 года), в которой поставленная во МХАТе инсценировка повести «Дни и ночи» резко критиковалась за то, что в спектакле не передан грандиозный масштаб событий и он создает «неверное представление о Сталинградской битве».

...это имеет... прямое отношение к Шебунину. — Речь идет о его повести «Мамаев курган», посвященной боям в Сталинграде («Новый мир», 1948, № 2, 3).

...как когда-то у Шумилова... — Шумилов Михаил Степанович (1895—1975) — военачальник, генерал-полковник, Герой Советского Союза. Как сообщил по этому поводу в письме от 20 июня 1982 года в Комиссию по литературному наследию К. Симонова А. Кривицкий, в 1945 году, вскоре после окончания войны, в Чехословакии «Симонов отправился к командующему 7-й гвардейской армией М. С. Шумилову просить его содействия в розысках архива Карела Чапека и приведении в порядок его виллы, в которой, как в покинутом строении, разместился саперный взвод. Ввиду всяких сложностей при выполнении этой миссии Симонов запиской попросил

адресата, находившегося в Праге, срочно приехать к нему на помощь. В конце концов при любезном содействии командарма вилла была отремонтирована, архив найден и доставлен супруге писателя, находившейся в Праге» (АКС).

М. М. Зощенко

Дорогой Михаил Михайлович!

Простите, что задержал с ответом на Ваше письмо, ибо, получив его, уехал сразу на юбилей Навои в Ташкент и только сейчас имел возможность ознакомиться с новым вариантом пьесы, без прочтения которого, естественно, не мог Вам отвечать.

Вы знаете, как я Вам желаю добра, и поэтому позвольте быть с Вами совершенно откровенным и прямолинейным. Мне не нравится Ваша пьеса. Я представляю себе, как она может быть осуществлена у Акимова, вижу ее сценически, и мне кажется, что это может выйти интересный спектакль. Я отдаю себе отчет и в том, что это важный этап Вашей работы, на новом для Вас материале и вообще даже и в новом жанре. Но в данном случае я подхожу к пьесе прежде всего как редактор журнала, которому предстоит решить — печатать ее или не печатать. Вот здесь мои «против» превышают мои «за». Мне кажется, что пьеса ту жизнь, которую она показывает, показывает не страшно, а я бы так выразился — забавно-страшно, причем акцент стоит на слове «забавно». Пьеса очень условная, и то общее осуждение и осмеяние капиталистических законов и нравов, которое в ней есть, именно очень общее, не прикрепленное к нынешнему, очень жестокому и суровому и внесшему очень много нового в обстановку, времени. Все те трагикомические квипрокво, которые происходят с героями Вашей пьесы, скорее уж, на мой взгляд, характеризуют Америку эпохи Аль Капоне, чем нынешнюю Америку, для которой характерно другое — профашистская политика, законопроект Мундта, запрещение компартии и т. д. и т. п. И вот с этой точки зрения мне кажется, что журнал не скажет нового, злободневного политического слова своему читателю, напечатав Вашу пьесу.

Вот почему я отказываюсь от ее печатания и вот почему считаю необходимым написать Вам все это прямо. Мнение свое высказываю здесь именно как редактор. Как товарищ по профессии я очень советую Вам при работе с Акимовым подумать об осовременении пьесы, о том, чтобы осуждение капитализма превратилось в ряде мест, всюду, где это возможно, в более конкретное осуждение именно нынешнего американского империализма, который Вы, безусловно, имеете в виду. Это очень усилит Вашу пьесу и может избавить ее от ряда справедливых в иных случаях нареканий.

И еще один совет: высказываю свое сугубо личное мнение — я бы на Вашем месте не печатал бы пьесы, прежде чем не сделал бы окончательный театральный вариант ее. Тот вариант, в котором будет учтено и сделано все то, что бы Вы сделали вместе с театром для ее улучшения. И уже тогда я бы на Вашем месте одновременно представил ее на суд читателей и как произведение сценическое и как произведение литературное.

При всех обстоятельствах желаю успеха в работе.

Жму Вашу руку.

Константин Симонов.

2 июня 1948 г.

...новым вариантом пьесы...— Речь идет о комедии М. Зощенко «Здесь вам весело».

...как я вам желаю добра...— В письме В. Я. Виленкину Симонов рассказывал: «Почувствовав всю тяжесть положения, в которое попал Зощенко, я, став редактором «Нового мира», при первой представившейся мне возможности постарался помочь ему. Узнал, что у него есть партизанские рассказы, которые, по словам моих ленинградских друзей, можно было бы, наверное, судя по их содержанию, напечатать я пригласил его приехать в Москву, отобрал большую часть этих рассказов и предложил опубликовать их в журнале. Это было в начале лета сорок седьмого года, и так

вышло, что на вопросы, что из себя представляют эти рассказы и почему я предлагаю их напечатать, мне пришлось отвечать непосредственно Сталину. Он принял мои объяснения, и тем же летом рассказы эти были напечатаны в „Новом мире“ (К. Симонов. Сегодня и давно М. «Советский писатель». 1978, стр. 338).

Акимов Николай Павлович (1901—1968) — режиссер и художник, в ту пору художественный руководитель Ленинградского театра комедии.

...может выйти интересный спектакль.— Постановка не была осуществлена. А. Фадеев в письме М. Зощенко от 12 октября 1948 года писал: «Я советовался по этому вопросу с Лебедевым (в ту пору председатель Комитета по делам искусств при СНК СССР.—Л. Л.), и мы пришли к выводу, что в этих условиях настаивать на постановке комедии в театре значило бы подвести тебя под удар» (А. Фадеев. Письма. 1916—1956. М. «Советский писатель». 1967, стр. 245—246).

Капоне Альфонс (Аль Капоне; 1899—1947) — один из главарей американской мафии во второй половине 20-х годов.

...законопроект Мундта...— «19 мая 1948 г. палата представителей одобрила билль, внесенный конгрессменами К. Мундтом и будущим вице-, а затем президентом США Р. Никсоном. Этот билль, подготовленный в Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности, лишал коммунистов элементарных гражданских прав и требовал регистрации коммунистической партии и всех организаций, которые министерство юстиции сочтет близкими к коммунистическим» (В. И. Лан. США в военные и послевоенные годы (1940—1960). М. «Наука». 1978, стр. 261).

Б. К. Губареву

Дорогой Борис Кириллович!

Простите за опоздание, с которым отвечаю.

Прежде всего по поводу того, что Вы пишете о «Дыме отечества». Мне очень трудно отвечать на Ваше письмо вот по каким причинам.

Когда повесть подверглась критике, критике резкой и, честно говоря, для меня неожиданной, я стал над ней думать и пришел к двум выводам: к первому — что повесть во всем самом главном мне продолжает нравиться, то есть, короче говоря, я ее по-прежнему люблю, и ко второму выводу — что повесть могла бы и может быть лучше, чем она есть, что в ней многого не хватает и что это многое нехватящее, очевидно, я должен буду восполнить.

Третий практический вывод, к которому я пришел, это желание, мало что изменив в уже написанном, кое-что вычеркнув, главным образом дописать две новых больших главы внутри повести.

К таким выводам я пришел, задержал издание повести отдельной книгой, но так как я только что кончил повесть, то я не мог сразу же снова сесть за нее и стал работать над пьесой, отложив работу над повестью до лета.

Вот сейчас, на днях, я уезжаю наконец на месяц в отпуск и возьму с собой повесть, которую я не перечитывал с зимы прошлого года. Ощущения мои, наверное, отстоялись, появился какой-то критический свежий глаз. Я в отпуску перечту снова свою вещь и решу: или она будет оставаться так, как она была, или я буду много и основательно над ней работать. Тут может быть или — или, потому что никакими починками и мелочными исправлениями я заниматься не собираюсь.

Вы можете меня спросить: ну, хорошо, ну, предположим, Вы не будете кардинальным образом переделывать или дописывать повесть, а оставите ее такой, как она есть. Значит, Вы не согласны с критикой повести?

На это я Вам отвечу следующее: с критикой ряда недостатков ее согласен, хотя отнюдь не подписываюсь под каждым словом этой критики, но недостатки в повести есть, промахи есть, есть недописанное, недоделанное. С выводом же, что повесть вредна, абсолютно не согласен и никогда не соглашусь.

Вот, собственно, и все.

Рад очень, что Вам понравилась испанская подборка в 12-м номере. Вы правы: я тоже рвался в свое время в Испанию и то, что не был там, это у меня незаживающая юношеская рана.

Ну, что ж еще? Посылаю Вам то, что Вы просите: «Дни и ночи» и «От нашего корреспондента».

Напишите, пожалуйста, выполнил ли я Вашу просьбу или нет — выписать «Новый мир» на 1948 год? Я, честно говоря, забыл это. Если нет — то напишите. Я постараюсь устроить Вам это с 7-го номера, со второго полугодия.

Крепко жму Вашу руку. Пишите.

К. Симонов.

17 июня 1948 г.

Губарев Борис Кириллович — директор железнодорожного училища на станции Панютин Харьковской области.

Когда повесть подверглась критике... — «Дым отечества» подвергся резкой критике в рецензии Н. Маслина «Жизни вопреки...» («Культура и жизнь», 30 ноября 1947 года).

...задержал издание повести отдельной книгой... — Отдельной книгой «Дым отечества» вышел в издательстве «Советский писатель» в 1956 году.

...стал работать над пьесой... — Речь идет о пьесе «Чужая тень».

...«От нашего корреспондента». — Сборник очерков, рассказов и публицистики — К. Симонов. От нашего военного корреспондента. М. Воениздат. 1948.

А. С. Бушмину

Уважаемый товарищ Бушмин!

Ознакомившись с Вашим письмом, адресованным в редакцию «Нового мира», тщательно ознакомившись с Вашей опубликованной в «Известиях Академии наук» работой «Идейно-образная концепция «Разгрома» А. Фадеева», заново перечитав опубликованную в 3-м номере журнала «Новый мир» рецензию Важдеева «Формалистическая арифметика и ее политический смысл», я считаю своим долгом ответить Вам, что редакция «Нового мира» поступила неправильно, несправедливо, напечатав на своих страницах рецензию Важдеева на Вашу работу. Хотя в рецензии содержится ряд конкретных замечаний о действительно имеющих место в Вашей работе недостатках, но это никак не оправдывает ни общего отрицательного вывода, сделанного в рецензии о Вашей работе, ни ее, в значительной части, заушательского тона. Ваша работа, на мой взгляд, при наличии некоторых неверных формулировок и ряда просто неточных и недоработанных мест, по-моему, в целом работа хорошая, правильно ставящая проблему идейно-художественного анализа произведения, в данном случае «Разгрома» Фадеева.

Я думаю, что со стороны редакции «Нового мира» будет правильным в одном из ближайших номеров на своих страницах опубликовать писательский отклик, в котором бы по справедливости разбиралась Ваша работа и критиковалась бы несправедливая рецензия Важдеева.

С приветом

главный редактор журнала «Новый мир»

К. Симонов.

26 августа 1949 г.

Бушмин Алексей Сергеевич (1910—1983) — литературовед, академик.

...с Вашей работой... — Статья А. Бушмина была напечатана в «Известиях Академии наук СССР. Отделение литературы и языка» 1948, том VII выпуск 4.

Важдеев Виктор Моисеевич (1906—1978) — писатель.

...в одном из ближайших номеров... — Такой отклик на рецензию В. Важдеева не был напечатан в «Новом мире». Видимо, это произошло потому, что Симонов вскоре уехал в длительную командировку в Китай, а по возвращении из нее был назначен главным редактором «Литературной газеты». «Однако, — как сообщил в письме в Комиссию по литературному наследию К. М. Симонова от 9 ноября 1981 года А. Бушмин, — высказанное в комментируемом письме К. М. Симоновым намерение «опубликовать писательский отклик» было отчасти осуществлено им же самим в статье «За большевистскую партийность, за высокое художественное мастерство советской литературы!» он, в частности, указал, что в рецензии В. Важдеева о работе А. Бушмина «сказывается одновременно и поверхностное знание особенностей партизанского движения на Дальнем Востоке, и непонимание необходимости для критика сочетать идейный и художественный анализ произведения» («Большевик», 1950 № 3, стр. 45—46).

В. Ф. Пановой

Многоуважаемая Вера Федоровна!

Я с большим удовольствием и радостью прочел Вашего «Сережу». В повести Вашей много света и добра. Меня особенно глубоко взволновал Коростылев и вся история их отношений с Сережей. И сила любви ребенка, и сила его обиды, и глубина его чувств — все это обещает в будущем настоящего человека.

Жизнь кругом мальчика нелегкая, люди не идеальные, но через него, через его восприятие чувствуешь, что это люди настоящие, с душой и сердцем. Мне особенно был дорог конец повести, с порывом Коростылева, которого мучительно ждешь, — и это очень хорошо, что ждешь.

Повесть очень понравилась, но я хотел бы написать Вам и несколько слов о том, что не понравилось. Мне показалось, что кое-где есть в ней противные, не идущие к общему тону детали — вроде бородавки у прабабушки. Есть и в других местах несколько таких, условно говоря, «бородавок».

Сцена опьянения мальчика, а главное, как он просыпается, мне не легла на душу. Она, во всяком случае, как мне кажется, слишком подробна.

Есть какие-то лишние детали и в сцене у гроба бабушки. Контраст смерти и жизни так силен здесь, что одну-две уродливых детали можно изъять, — контраст от этого не уменьшится ни на йоту.

Мне показался до известной степени инородным телом в повести кусок с человеком, вернувшимся из тюрьмы. Очевидно, ощущение это возникло потому, что этому проходному эпизоду в повести придано излишнее, на мой взгляд, значение, он слишком развернут. Мне кажется также, что когда Коростылев как-то особенно подчеркнуто добр, готов помочь в этом случае и когда вслед за этим тут же выясняется, что он снят с работы, то невольно возникает ощущение, что то и другое сдвинуто рядом не случайно. Создается ощущение, что один человек, попавший в беду, с подчеркнутой готовностью помогает другому. А это не идет к облику Коростылева, ибо уж очень разные тут беды, не рождающие аналогии «со всяким может случиться».

Мне бы очень хотелось, чтобы Вы подумали над этими моими немногочисленными товарищескими критическими замечаниями — насколько они кажутся Вам верными и приемлемыми.

В общем, мы были бы рады видеть Вашу повесть на страницах «Нового мира» и в принципе могли бы ее напечатать в 7—8 номерах (в одном из них, разумеется).

Но вот какой вопрос возникает, вопрос, о котором хочу написать Вам вполне откровенно, чтобы знать Ваше мнение: в сентябре, когда я приехал в Москву, взялся за редактирование «Нового мира», А. Г. Дементьев, собираясь в Ленинград, сказал мне, что с Вами вел переговоры «Октябрь» и чуть ли не предложил Вам договор, кажется, даже уже подписанный. Меня это смутило, ибо последнюю вещь Вы печатали в «Новом мире», и я, как вновь назначенный редактор этого журнала, считал себя вправе заявить о намерениях нового состава редакции по отношению к Вам как к автору, предложив Вам заключить договоры на новые Ваши вещи.

Вскоре А. Г. Дементьев вернулся с подписанными договорами на «Сережу» и на Ваш новый роман. После этого я стал ждать, когда Вы пришлете нам повесть.

В середине апреля ко мне пришел М. Б. Храпченко и заявил следующее: «Я оставил в пятой книге «Октября» специально пять свободных листов для повести В. Пановой, которую она обещала мне дать в этот номер. Но вчера она отказала мне в этом».

Далее он сообщил мне, что у Вас с «Октябрем» был договор, что по этому договору «Октябрь» перевел Вам 25% и что Вы, по его сло-

вам, до последнего дня не ставили его в известность о том, что Вы намерены передать свою повесть в «Новый мир».

Я со своей стороны ничего не мог сказать ему, ибо, честно говоря, был уверен, что после заключения договора с «Новым миром» Вы поставите «Октябрь» в известность о том, что решили отдать повесть в другой журнал, и так или иначе тогда же урегулировали свои отношения с «Октябрем».

После Храпченко ко мне обратилась В. К. Кетлинская с просьбой дать согласие на параллельную публикацию повести в «Ленинградском альманахе», сообщив, что Вы предоставляете решение по этому вопросу «Новому миру». Я, к сожалению, вынужден был отказать Вере Казимировне, ибо считал, что параллельно печатать повесть в двух местах не следует. После всего этого вскоре М. Б. Храпченко обратился ко мне уже как к секретарю Союза с документами по договору с Вами и с просьбой поставить вопрос на Секретариате, ибо считал, что ясность в таких вопросах только полезна.

В итоге сейчас мы имеем дело с тремя договорами на «Сережу»: первый с «Ленинградским альманахом», второй с «Октябрем», третий с «Новым миром» — и с тремя редакторами, каждый из которых говорит, что он имел все основания считать, что повесть была предназначена Вами для печатания в его органе. Не берусь судить, не поговорив с Вами, как дело обстояло и обстоит в действительности, но убежден, что внести в него ясность было бы очень важно и ради доброго имени автора, и ради доброго имени редактора, печатающего в итоге Вашу повесть.

Хочу еще раз повторить — повесть Ваша мне очень дорога, поймите меня правильно, я очень хочу ее напечатать, и в то же время Вы бы сняли у меня камень с души, если б объяснили, как все было на самом деле.

Жму Вам руку.

Уважающий Вас

К. Симонов.

8 мая 1955 г.

Дементьев Александр Григорьевич (р. 1904) — критик и литературовед, тогда заместитель главного редактора журнала «Новый мир».

...последнюю вещь Вы печатали в «Новом мире»...— Речь идет о романе «Времена года», опубликованном в «Новом мире», 1953, № 11, 12.

...Ваш новый роман.— Речь идет о «Сентиментальном романе» (1958).

...внести в него ясность было бы очень важно...— Отвечая Симонову на это письмо и одновременно на письмо от 2 июня 1955 года, В. Панова писала 10 июня 1955 года: «...я получила присланные Вами 25 000. Еще раз большое спасибо. Все мои журнальные и альманашные обязательства по поводу «Сережи» ликвидированы полностью, о чем все редакторы поставлены в известность. В т[ом] ч[исле] и Вам, на адрес редакции, я написала, что договор наш на «Сережу» расторгается и что деньги мною перечислены на расч[етный] счет «Известий».

Сейчас, будучи совершенно свободной от обязательств, я Вам все же посылаю (на адрес редакции) повесть «Сережа» и прошу ее рассмотреть; она вчерне мною отредактирована и в случае, ежели она Вас устроит, я бы хотела напечатать ее в Вашем журнале» (АКС).

В. Ф. Пановой

Дорогая Вера Федоровна!

Посылаю Вам то, о чем мы говорили. Пожалуйста, в течение года не беспокойте себя мыслями об отдаче. Я искренне рад, что имею возможность оказать Вам эту небольшую товарищескую услугу.

Хочу еще раз повторить то, что, быть может, недостаточно внятно сказал по телефону. Все это не имеет никакого отношения к моему редакторству в «Новом мире». Если бы сейчас у Вас легла душа печатать Вашего «Сережу» в другом журнале, Вы вольны сделать с ним так, как Вам ляжет на душу,— без тени обиды с моей стороны. Но если душа у Вас лежит к «Новому миру», то я как редактор буду

очень рад увидеть Вашу вещь на страницах журнала и, поскольку это будет зависеть от меня, постараюсь, чтоб это было поскорей.

Дружески жму Вашу руку.

Уважающий Вас

Константин Симонов.

2. VI. 1955 г.

...оказать Вам эту небольшую товарищескую услугу.— В письме Симонову от 23 марта 1956 года В. Панова писала: «Еще раз— большое спасибо за товарищескую поддержку в трудную минуту» (АКС).

...буду очень рад увидеть Вашу вещь на страницах журнала...— Повесть «Сережа» была опубликована в «Новом мире» (1955, № 9).

Н. Ф. Погодину

Дорогой Николай Федорович!

Развожу бюрократизм на тот случай, если не удастся повидать Вас до моего отъезда на несколько дней в Брест.

Ознакомившись нелегальным путем (не ругайтесь) с Вашей «Целиною», питаю желание напечатать ее в «Новом мире». По мне, чем раньше — тем лучше, но тут уж воля Ваша. Читал вещь с искренней радостью за Вас и с чувством душевной молодости, которая настолько заразительна в Вас и в Ваших героях, что, кажется, перекидывается и на читателя.

Жму вашу руку, дорогой старик.

Ваш

Константин Симонов.

13 августа 1955 г.

...с Вашей «Целиною»... — Речь идет о пьесе «Мы втроем поехали на целину», опубликованной в «Новом мире» (1955, № 9).

Главному редактору издательства «Советский писатель» тов. Лесючевскому Н. В.

Многоуважаемый Николай Васильевич!

Хочу рекомендовать к изданию в издательстве «Советский писатель» роман Наталии Ильиной «Возвращение». Роман этот, на мой взгляд, представляет незаурядный интерес. Те три части, которые автор закончил, составляют первый том будущей дилогии и при этом носят вполне законченный характер.

Первый том романа охватывает период времени примерно с 1920 по 1936 гг., действие романа в первых двух частях разворачивается в Маньчжурии, в последней, третьей, части — в Шанхае. В романе изображается судьба, с одной стороны, русской эмиграции в Маньчжурии и в Китае, а с другой стороны, судьбы русских служащих на КВЖД, оказавшихся в Маньчжурии в период революции.

Главное место в романе занимают судьбы эмигрантской молодежи: одни из этих судеб сворачиваются в сторону фашизма, другие судьбы приводят героев романа к пониманию того, что такое настоящая родина, к пониманию бесперспективности эмигрантского существования и в конечном итоге — это уже за пределами первого тома романа — к возвращению на родину; факт достаточно типический, ибо как раз из Китая вернулись на родину за последние годы десятки тысяч эмигрантов и родившихся в эмиграции молодых людей.

Материал романа широко повествует о судьбах эмиграции. Мы видим здесь и историю захвата Маньчжурии японцами, и эпизодическую зону борьбы против японцев китайского народа, и деятельность американской армии спасения — всякого рода миссионеров и христианских школ. Мы видим здесь, в особенности в третьей части первого тома, картину шанхайского международного селтльмента, всю ту обстановку капиталистического угнетения, которую создали расположившиеся в Китае, как у себя дома, империалисты всех мастей.

Но и этим не ограничивается звучание романа. Мне лично представляется особенно ценной та картина буржуазного образа жизни, тот показ всей жестокости и уродливости буржуазного воспитания, который содержится в романе. Роман имеет с этой точки зрения большое воспитательное значение. Он показывает, как несладок капитализм для всякого порядочного и не имеющего за своей спиной богатых родителей молодого человека. Роман будет содействовать правильному воспитанию молодежи, будет хорошо работать против всякого рода настроений — преклонение перед иностранщиной и т. д. и т. п., — имеющих в известном кругу молодежи, у одних в более осознанной, у других в менее осознанной формах, и которые (настроения), в частности, с истинной силой насаждались у нас безудержным прокатом всякого рода тарзанов и иже с ними. Вред, нанесенный всем этим делом, у нас еще далеко не полностью оценен.

Так как роман Ильиной написан очень живо, занимательно, талантливой и опытной рукою, так как в нем нет постоянного указующего перста автора, то антикапиталистическое звучание романа от этого лишь сильнее.

Добавлю ко всему сказанному, что книгу лично я прочел с захватывающим интересом.

Издательство может спросить у меня: почему, давая такой отзыв на книгу, я, как редактор журнала «Новый мир», не печатаю ее сначала в журнале? Дело в том, что в «Новом мире» сейчас редактируется и подготавливается к печати уже принятая нами вещь Любимова на те же, или примерно те же, темы, только связанные с историей русской эмиграции во Франции. Печатать подряд две вещи на таком близком материале мне кажется нецелесообразным с точки зрения разнообразия материалов в журнале. Делать же большой разрыв, откладывая печатание вещи Ильиной на год-полтора мне кажется нецелесообразным — ее нужно печатать побыстрее, она стоит этого. Если какой-нибудь журнал возьмет эту вещь (у нее большой объем, в этом тоже затруднение — 35 листов), то это будет очень хорошо, если нет, то было бы прекрасно, если бы ее быстро выпустило издательство «Советский писатель».

Очевидно, в романе есть недостатки и есть отдельные частные слабости, я их, по совести говоря, не очень заметил; просто некоторые главы читались с меньшим интересом, чем все остальные. Но, наверно, если бы я печатал роман в журнале и прочитал бы его второй раз с карандашом, то у меня был бы ряд частных претензий к автору. Наверное, такие претензии возникнут и у редактора издательства. Однако я убежден, что книга находится в таком состоянии, что, приняв о ней принципиальное решение, ее можно непосредственно отдавать в руки редактора.

Если издательство сочтет возможным рассматривать это мое письмо в качестве одной из рецензий на книгу Наталии Ильиной, то я буду только рад этому.

Кстати, для первого тома, где герой книги еще не возвращается на родину, заголовок «Возвращение» мне кажется неудачным. Над этим следует подумать автору и издательству.

С товарищеским приветом

К. Симонов.

18 февраля 1956 г.

Лесьчевский Николай Васильевич (1908—1978) — главный редактор, а затем директор издательства «Советский писатель»

...те же темы, только связанные с историей русской эмиграции во Франции.— Л. Любимов, «На чужбине» («Новый мир», 1957, № 2—4).

Если какой-нибудь журнал возьмет эту вещь...— Роман Н. Ильиной «Возвращение» был опубликован в журнале «Знамя» (1957, № 1—4).

...быстро выпустило издательство «Советский писатель».— Роман Н. Ильиной вышел отдельным изданием в 1957 году.

А. Я. Яшину

Дорогой Саша!

Получил твое письмо, получил стихи с запиской, получил фотографии — спасибо за то, другое и третье.

Прежде всего по поводу стихов. Стихотворение «На взморье» хорошее, но, на мой взгляд, несколько традиционно-философическое, я не особенный любитель таких стихов.

Что касается стихотворения «Слезы из глаз», то оно, по-моему, написано очень здорово. Меня в нем только смущает самая концовка, которая иронична, но несколько легковесна. Ведь та идиллия, которая высмеивается в стихотворении, идиллия, созданная литературой и кино,— это не есть мечта людей. Люди мечтают добиться хорошей жизни праведным трудом, они ведь, если говорить всерьез, не мечтают, чтобы все эти кисельные берега свалились с неба, а по концовке получается именно так. Жизнь находится в движении, что-то меняется к лучшему, меняется с трудом, со скрипом, но все ж таки меняется, и это ожидание сидит в душах людей, и вот этого-то ожидания мне не хватает в концовке стихотворения, не хватает, грубо говоря, слов о том, что мы нелегким путем, но все равно доберемся до хорошей жизни (не сусальной, а действительно хорошей жизни), а вот такие сусальные картинки, даваемые литературой и искусством, только путаются в ногах, только мешают, только раздражают.

Вот что-то такое, по-моему, надо сделать с самой концовкой стихотворения, при этом не умягчая и обкладывая ватой никаких резкостей, которые содержатся на всех его трех страницах. Подумай, пожалуйста, над этим делом, и будем считать, что оба стихотворения, которые ты прислал, за нами, потому что хотя первое не особенно в моем вкусе, но вообще-то оно хорошее и его надо печатать.

Очень рад, если ты доделал рассказ. Пришли его, пожалуйста.

Теперь насчет главного дела. Я сразу же написал письмо в Секретариат, приложил твое заявление, а копию взял с собой для того, чтобы поговорить с Бойцовым. Но беда вся заключалась в том, что я был на гостевых местах и не мог никаким образом общаться с делегатами, и мне так и не удалось ни разу увидеть Бойцова. Я говорил с Сурковым, но и у него тоже это не вышло. В ближайшие же дни (я говорил об этом с Сурковым и с Ажаевым) на Секретариате вынесем соответствующее решение, напишем письмо Бойцову, позвоним — в общем, так или иначе дождем это дело, не беспокойся там. Дополнительно сообщу тебе, как это получится.

Крепко жму твою руку. Передай мой самый сердечный дружеский привет Злате Константиновне.

Твой

Константин Симонов.

28 февраля 1956 г.

Прежде всего по поводу стихов.— В письме из Kisлoвoдскa от 19 февраля 1956 года, на которое отвечает Симонов, А. Яшин писал: «Писать стал больше, энергичнее. Посылаю тебе для ознакомления два последних стишка. Тебе лично, а не для журнала» (АКС).

Очень рад, если ты доделал рассказ.— Речь идет о рассказе А. Яшина «Рычаги».

Теперь насчет главного дела.— В своем письме в Комиссию по литературному наследию К. М. Симонова вдова А. Яшина З. К. Попова-Яшина писала по этому поводу: «Страдая бронхиальной астмой, А. Яшин часто лечился в санаториях Kisлoвoдскa, ибо микроклимат этого города показан для этого. В 1956 году Яшин и Симонов были в Kisлoвoдскe в одно и то же время, и Константину Михайловичу пришла мысль попросить на год-два комнату для Александра Яковлевича, чтобы он мог в Kisлoвoдскe не только жить, но и работать и чтобы длительное пребывание в этом городе укрепило здоровье друга...» (АКС). Эту идею не удалось реализовать, ибо, как сообщает З. К. Попова-Яшина, А. Яшину предложили для этого выписаться из Москвы.

Бойцов Иван Павлович — в ту пору первый секретарь Ставропольского крайкома КПСС.

...я был на гостевых местах...— Речь идет о XX съезде КПСС, проходившем 14—25 февраля 1956 года.

Н. Хикмету

Дорогой Назым!

К сожалению, из-за отъезда так и не успел тебя увидеть, поэтому, как договорились, хочу хотя бы вкратце высказать тебе несколько соображений по пьесе.

1. Начало. Мне кажется, что было бы очень хорошо сказать здесь в какой-то форме о том другом мире, мире капитализма, где язва этого второго «я» такого «Ивана Ивановича» — язва закономерная, даже подразумеваемая. Хорошо бы найти форму для того, чтобы сказать об особенной обидности и появления, и разрастания этих душевных лишаев в условиях социалистического общества, причем мне бы лично казалось очень важным сказать, что эти пережитки старого общества — а в своем корне, в своей основе это все-таки пережитки старого общества — подобно любым, самым вредоносным микробам стремятся приспособиться к новой, неизвестной для них окружающей среде, при этом деформируясь, изменяясь, обрастая новой мимикрией, выступая в новом обличье, но в сущности, в корне своем оставаясь все же микробами старого мира. Может быть, я выражаюсь дубово и упрощенно, но сущность этого вопроса мне кажется принципиально важной. Если у тебя ляжет к этому душа, я бы просил тебя над этим подумать.

2. Что поначалу в пьесе мне кажется существенным, это то, о чем ты сам говорил, что если эту пьесу будут играть, например, у Брехта, так чтобы это был не Иван Иванович, а — условно — Ганс Гансович, но обусловленность этого приема должна исходить из каких-то фраз в самом тексте пьесы. По-моему, это существенно.

3. На мой личный вкус, мне бы казалось не очень правомерным воспоминание о «Клопе». С одной стороны, оно лишнее, потому что Маяковский, и его «Клоп», и его «Баня» и так очень по-хорошему вспоминаются, когда читаешь твою пьесу, с другой стороны, разговор о том, в каком году все это могло быть — в 56, 78 или 99-м, — мне показался несколько легковесным. С какой-то излишней легкостью здесь говорится о том, что «Клоп» попадет в зоологический сад не в 78 году, а не раньше 99-го. Может быть — не дай бог! — это и так, а все-таки по-человечески согласиться с этим никак не хочется и уж во всяком случае не хочется согласиться с такой неожиданной легкостью, с какой ты вдруг согласился на второй странице своей пьесы.

4. Подумай, пожалуйста, насчет «человека в соломенной шляпе» и «человека в кепке». «Человек в кепке» — это, конечно, народ, его совесть, его здоровая мысль, его честность, его прямота; «человек в соломенной шляпе» — существо обоюдодовогнутое, соглашатель, человек «чего изволите». Человек в соломенной шляпе — скверный, жидкий, интеллигентик, приспособленец; человек в кепке — это и рабочий, это и интеллигент — интеллигент из народа, в общем, стоящий интеллигент. Эта расстановка сил очень важна. Очень важно, чтобы это было ясно, чтобы человек в соломенной шляпе не воспринимался как вообще представитель интеллигенции в противоположность человеку в кепке — представителю народа. Тут надо найти, по-моему, какие-то нюансы, начиная с того, что, по-моему, кепка и шляпа — это не совсем удачное соединение атрибутов, я бы, скажем, заменил соломенную шляпу то ли роговыми очками, то ли портфелем с надписью — «на доклад». Наверное, все — и то, и другое, и третье — не то, что нужно, но, пожалуйста, подумай над этим очень важным, существенным акцентом в расстановке сил в пьесе.

5. Очень бы просил тебя подумать над тем местом, где в пьесе выступает голос автора. То, о чем ты говоришь там, страшно важно, но об этом, по-моему, либо не говорить, либо если говорить, то как-то веселее, сильнее. У тебя есть внутреннее право сказать об этом сильнее, глубже — и о мотивах пьесы, и о своей любви к Петрову, и о своей ненависти к Ивану Ивановичу. В общем, когда ты рассказы-

вал о пьесе и рассказывал это место, то оно мне показалось замечательным, то есть, вернее, мне показалось, что ты вкратце упомянул о месте, которое, наверное, замечательно; а когда я прочитал текст, то увидел, что, в общем, там не больше того, что ты рассказал, а там, по-моему, должно быть больше завернуто, сильнее.

6. Теперь насчет белой собачки. Это очень смешно и здорово, и я понимаю весь дальнейший построенный сюжетный ход, но меня резанула именно эта собачка в сочетании с Семеновым первым, Семеновым вторым и Семеновым и с последующим разговором насчет собачки уже в применении к ним. Мне показалось, что тут есть какая-то бестактность. Можешь смеяться надо мной, но все-таки что-то другое должно быть личное в рассказе о картине художника, а не собачка, что-то другое — голубое, знакомое, придуманное — выглянуло в картине, но не собачка. Не нравятся мне и сами Семеновы — первый, второй, третий; точно так же как никогда душа не лежала и сегодня не лежит к Двойкину, Тройкину и Фоскину Маяковского. Не любят этого люди, когда их называют Иванов — номер первый, Иванов — номер второй, Иванов — номер третий, и, по-моему, правы. Когда у Ильфа и Петрова появляется оркестр шумовиков, играющий на клистирных трубках, — Галкин, Палкин, Малкин и Залкинд, — тут все на месте, а здесь эти пронумерованные Семеновы мне не нравятся. По-моему, стоило бы подумать над этим.

7. Сцену между Петровым и Константином Сергеевичем я еще раз перечитал. Пожалуй, тут я был не прав.

8. Я не касаюсь ряда мелких замечаний по тексту, кое-где меня цепляли отдельные места, отдельные фразы, и я думаю, что тут меня дополнит Александр Юрьевич, с которым мы говорили и о тех общих соображениях, что изложены мною.

Что касается сроков печатания, то мы с Александром Юрьевичем прикинули еще раз и надеемся оба, что пьесу можно планировать в четвертый номер, если в ближайшие дни проделать всю необходимую работу.

Крепко жму твою руку.

Твой

Константин Симонов.

4 марта 1956 г.

Назым Хикмет Ран (1902—1963) — турецкий писатель и общественный деятель; Симонов был дружен с Хикметом, возглавил комиссию по его литературному наследию и много сделал для увековечения его памяти и издания его произведений.

...несколько соображений по пьесе. — Речь идет о рукописи пьесы «А был ли Иван Иванович?», опубликованной в «Новом мире» (1956, № 4).

...играть, например, у Брехта... — Брехт Бертольт (1898—1956) — немецкий писатель и театральный деятель. Речь идет о театре «Берлинер ансамбль», созданном Брехтом и Е. Вейгель в 1949 году.

А. С. Гурвичу

Дорогой Абрам Соломонович!

Прошу опять извинить меня за то, что задержал с ответом.

Статьи Ваши прочел, вторую — впервые, а первую — наново. Мне кажется, что в итоге у Вас получилось две статьи, не в смысле одной статьи, разделенной на две, но посвященной одной теме, а просто две статьи о двух произведениях — о книге Николаевой и о книге Гранина. Статьи, конечно, связаны между собой, но не столько темой «быть и казаться», сколько просто Вашими общими взглядами на явления современной литературы, взглядами, проявившимися в обеих статьях и удачно объединившими их.

Вторую Вашу статью я прочел с еще большим интересом, чем первую. Мне кажется, что, во всяком случае, Ваша монография о книге Гранина получилась не менее интересной, чем Ваша монография о книге Ажаева. Если бы речь шла о публикации обеих статей в Вашей книге, я бы сказал по ним только ряд замечаний и сообра-

жений, главные из которых касались бы вопроса о том, как рождаются отрицательные явления и отрицательные типы в социалистическом обществе, у которого за плечами почти сорок лет существования. Мне кажется, что это один из кардинальных вопросов нашей литературной критики, да и, шире говоря, жизни. У Вас он затронут, но не разрешен. Вопрос о том, являются ли эти отрицательные черты и типы результатами пережитков капитализма или самозарождаются в социалистическом обществе — это вопрос, на который в общей форме, боюсь, можно ответить только схоластически. Для того чтобы на него ответить по существу, необходимо соотнести в тех или иных данных конкретных условиях идеи и принципы развития социалистического общества с практикой осуществления этих идей и принципов, в том числе с практикой неправильного их осуществления, в том числе с практикой их искажения, не забыв при этом такую сторону дела, как субъективные намерения людей, объективные результаты, как добрая и злая воля.

Если понимать пережитки капитализма как нечто раз и навсегда данное, как некую данность, существующую до семнадцатого года, с которой мы сличаем явления современной жизни, то, конечно, нельзя все валить на пережитки, иногда это просто смешно. Но если рассматривать, например, такое явление, как культ личности, как опаснейший пережиток общественных формаций, который в опаснейших формах проявил себя в обстановке социалистического строительства, то вопрос о том, самозарождается ли отрицательное в социалистическом обществе или проявление его является новыми результатами очень старых, досоциалистических явлений в общественной жизни, то этот вопрос приобретает сразу очень серьезный и объемный характер.

Я думаю, что из двух ответов в принципе верен второй, а не первый, но, для того чтобы дать этот второй ответ, потребуются глубокие и разносторонние обоснования, или, если можно так выразиться, разыскания во всей истории нашего общества. У Вас эта проблема не занимает центрального места в статье, но в противоположность той обычной основательности, с которой Вы подходите к большим проблемам, мне кажется, здесь Вы ее только ставите и отвечаете на нее недостаточно глубоко, обоснованно, конкретно и именно поэтому совсем не так верно, как Вы могли бы на нее ответить, а, по моему мнению, в чем-то и совсем неверно.

Это главное мое соображение по существу. Если бы речь шла о публикации этой работы в книге, я бы, наверное, выдвинул и ряд дополнительных, более частных замечаний, но эти замечания не меняли бы моей общей положительной оценки Вашей статьи.

Теперь практически, если говорить о журнале. Перед нами работа на восемь листов, из них два посвящены Николаевой и шесть Гранину. В таком объеме я не могу предложить Вашу работу своим товарищам по журналу при всем моем самом доброжелательном отношении к Вашей работе, в котором, я надеюсь, Вы не сомневаетесь. Это просто нереально для нас. А что же реально? Реально, по-моему, напечатать Вашу вторую статью, дав ей тот максимальный объем, который мы можем дать у себя в журнале работе о романе Гранина, понимая при этом, что Ваша работа, сделанная на материале этого романа, касается ряда важнейших общих проблем литературы. Этот объем два с половиной — три авторских листа, то есть, практически говоря, Вам бы пришлось сжать эту работу примерно наполовину. Понимаю, что это дело не механическое, но считаю, что оно практически вполне возможно. Мне кажется, что в статье много различных даже на первый взгляд отступлений — и наряду с оправданными отвлечениями немало отвлечений неоправданных или полуоправданных. Вот за счет всего этого, мне кажется, статью и можно было бы довести до объема двух с половиной — трех листов.

Я говорю только о второй статье, потому что предлагать Вам до бесконечности сокращать параллельно обе статьи с тем, чтобы дать, скажем, две статьи по полтора листа, мне бы казалось неправильным, неразумным, да, в общем, это и невыполнимо. Из двух же Ваших статей мне кажется более сильной, более актуальной для журнала именно вторая статья, потому что о Николаевой, в общем, довольно много уже писано, в том числе и у нас в журнале, а о Гранине хотя писано и много, но многих сторон, которых Вы касаетесь, вообще никто не касался, а мы в журнале еще по-настоящему глубоко и серьезно не оценили этот значительный и важный для нашей литературы роман.

Я, прежде чем писать Вам это письмо, высказал некоторые из этих соображений А. Ю. Кривицкому, посылаю ему также копию этого письма к Вам. Когда мы обсуждали с А. Ю. Кривицким этот вопрос, то в принципе согласились на том, что проблемная статья, сделанная на материале романа Гранина, объемом в два с половиной — три листа журнал интересует. Сейчас, как Вы знаете, я временно не принимаю участия в работе журнала, решающее слово, естественно, остается за теми людьми, которые сейчас ведут журнал в целом, и его критический отдел в частности, но я хочу высказать свое мнение Вам, а также поделиться своим мнением с ними, и буду рад, если Вы со своей стороны, а они со своей стороны в той или иной мере посчитаются с этим мнением.

Уважающий Вас

К. Симонов.

22 апреля 1956 г.

Гурвич Абрам Соломонович (1897—1962) — литературный и театральный критик. ...о книге Николаевой...— Речь идет о книге «Повесть о директоре МТС и главном агрономе» (1954). Статья А. Гурвича об этой повести — «Образ и дидактика» — была напечатана в его книге «Черты современника» (М. «Советский писатель», 1958).

...о книге Гранина.— Речь идет о романе «Искатели» (1954). Статья А. Гурвича об этой книге — «Изобретатели и приобретатели» — была напечатана в сборнике «Литературно-критические статьи» (М. «Художественная литература», 1973).

...Ваша монография о книге Ажаева.— Речь идет о его романе «Далеко от Москвы» (1948). Работа А. Гурвича об этом романе — «Сила положительного примера» — была в сокращенном виде опубликована в «Новом мире» (1951, № 9), полностью — в книге «Черты современника».

...в том числе и у нас в журнале...— Речь идет о статье Г. Фиша «На колхозную тему» («Новый мир», 1955, № 8).

...временно не принимаю участия в работе журнала...— Симонов находился в творческом отпуске, предоставленном ему для работы над романом «Живые и мертвые».

Б. А. Лавреневу

Дорогой Боря!

Получил твое письмо. Спасибо тебе за него.

Дела идут более или менее нормально; вышел одиннадцатый номер, и я попросил, чтобы редакция послала тебе его бандеролью, авиапочтой, дабы не только читатели, но и удалившиеся на черноморские воды члены редколлегии получили онный номер до праздников.

Черкни мне, пожалуйста, в каком ты настроении в смысле чтения рукописей, и если в настроении, то я бы тебе сейчас от времени до времени посылал кое-какие прозаические опусы авиапочтой с обратной отправкой их при помощи оной же. Так я делал, когда был сам в Гульрипшах, и это довольно быстро все оборачивалось.

Наш общий рыжий друг, доведя до конца одиннадцатый номер, отбыл на три недели в Грузию. У него было приглашение от юбилейного комитета Чавчавадзе, а затем он останется там готовить подборку грузинской поэзии для декадного номера, ну и потом еще отдохнет немного. Ему, по правде говоря, со всеми предпраздничными номерами изрядная досталась работа. Пишу это на тот случай, что

если ты скучаешь: так, наверное, можно позвонить из Гульрипш в Тбилиси — может, он заглянет к тебе на обратном пути, навестит.

Что до меня, то я болею с самого приезда из Ташкента. Два раза вставал и второй раз опять свалился. На этот раз не только с гриппом, но и с каким-то диким карбункулом в носу, от коего температура 39, а ощущение брезгливости такое, словно тебя день и ночь держит грязной рукой за нос какая-нибудь вонючая сволочь вроде <...>. А ты не в состоянии ничего против этого предпринять... Сегодня первый день немножко полегчало.

Однако благодаря болезни дела «Нового мира» веду как будто в порядке. Двенадцатый номер уже почти целиком сдан, хотя и не особенно блещет достижениями.

Несколько дней назад, перед последним приступом болезни, позвонил мне Борис Сергеевич Рюриков и сказал, что наконец-то твоя просьба уважена и ты можешь уже не испытывать застарелой заочной ответственности за «Дружбу народов», с чем тебя от души поздравляю, так как, наверное, больше всех других знаю, насколько ты в последнее время тязготился этим. Сделали там редакционный совет вместо редколлегии, во главе его Сурков, а Корабельников первый зам. Есть еще разные реорганизационные подробности, но не пишу их, потому что вряд ли они тебя так уж интересуют. Итак, старик, ты снова весь наш, новомирский.

Я перебрался на новую квартиру. Адрес мой: Москва, 2-я Аэропортовская улица, дом 7/15, кв. 113, так что можно писать мне и сюда, и письма будут доходить, пожалуй что, быстрее, ибо дома я бываю каждый день, а в «Новом мире», слава богу, не каждый.

Чувствую, что письмо мое получается, как говорится, не шибко интеллигентное, но проклятый нос до того меня замучил, что на сегодня максимум на что я способен — это на информацию. Надеюсь, в дальнейшем мой интеллект воспрянет и я напишу тебе что-нибудь более порядочное.

Крепко жму твою руку.

Сердечный привет супруге.

Твой

К. Симонов.

Жаль, что не могу снять с себя сейчас моментальную фотографию и отправить тебе. Думаю, что она бы доставила тебе несколько часов здорового безыдейного смеха.

[Конец 1956 — начало 1957 г.]

...ры жий друг...— Речь идет об А. Ю. Кривицком.

...юбилейного комитета Чавчавадзе...— Чавчавадзе Илья Григорьевич (1837—1907) — грузинский писатель и общественный деятель; в 1957 году отмечалось пятидесятилетие со дня его гибели.

...твоя просьба уважена...— Б. Лавренев по его собственной просьбе был освобожден от должности главного редактора журнала «Дружба народов».

Сделали там редакционный совет вместо редколлегии...— А. Сурков был назначен председателем редакционного совета, главным редактором «Дружбы народов».

Корабельников Григорий Маркович (р. 1904) — критик.

...ты снова весь наш, новомирский.— Ответчая 13 февраля 1957 года на это письмо Симонова, Б. Лавренев писал: «Я глубоко тронут вниманием всей редколлегии. Оно особенно дорого в такие дни оторванности и одиночества. Очень надеюсь, что еще смогу с пользой поработать в журнале. Главного редактора «Дружбы народов» из меня по инвалидности не получилось, но членом редколлегии я еще постараюсь держаться. Материалы читать могу, и если они есть, то пусть мне присылают,— это поможет выздоровлению» (АКС).

В. В. Овечкину

Дорогой Валентин Владимирович!

Получив твое дружеское письмо, собрался сразу же ответить, но стоило один день промедлить, как навалились на меня разные трудные и малоприятные дела, и дней десять просто ни по какому повсду не мог заставить себя сесть к столу. Только вчера **осилил сам себя**,

заставил себя засесть за работу над романом, и сразу сделалось по-другому на душе.

Ты пишешь, что шестого собираешься быть в Ленинграде, — все-таки пишу тебе в Курск, потому что всяко бывает, может, твоя поездка и отменится, а если не отменится — не беда, застанешь мое письмо, вернувшись, уже после того, как повидаемся.

Посылаю тебе свою последнюю вышедшую книгу, куда вошел и «Дым отечества». Честно говорю, не знаю, какова она сейчас, эта повесть, и как она прочтется. Знаю только одно при этом, что в ней треть сокращена и очень многое поправлено и переписано, но сделал я в ней только то, что казалось нужным мне самому для того, чтобы она стала лучше, не входя при этом ни в какие привходящие соображения. Когда прочтешь, напиши или при случае скажи мне свое мнение — оно будет дорого для меня.

Вчера достал журнал и прочитал очерк Иванова, о котором ты писал. По-моему, он большой молодец. Кажется, для нашего журнала о нем пишет статью Фиш, но хочу завтра, когда приеду в Москву, посоветоваться с товарищами — может быть, есть смысл тиснуть эту вещь в третьем номере как перепечатку из «Сибирских огней». Будет другой тираж и другой резонанс, а перепечатка такой вещи сама по себе, по-моему, для журнала дело вовсе не зазорное.

Пленум наш намечается на конец марта. Когда обсуждали этот вопрос, я высказал мнение, что вряд ли мы уложимся к этому сроку, учитывая всю подготовку, которая заварена. Ну, ладно, увидим. По мне, чем он скорее будет, тем лучше.

Если ты мне пришлешь лишний экземпляр того, о чем пишешь, очень хорошо сделаешь. Пришли по тому же адресу, по которому прислал это письмо.

Завтра позвоню тебе в Курск на тот случай, если ты там, но все же хочу тебе написать, что вчера получил записку от Полевого о том, что пришел ответ от Лю Байюя относительно твоего сына. Посылаю тебе, чтобы ты был в полном курсе дела, копию этого ответа, а заодно и копию того письма, которое мы в свое время передали Лю Байюю. Рад, что дело как будто уже по существу решено, теперь дело осталось за техникой.

Первую часть моего романа прочли в «Знамени». Было обсуждение, с одной стороны, подтвердившее мое предчувствие, что там в романе еще не все готово и сделано, и в этом смысле обсуждение было полезно. Сейчас перечитываю и чиркаю роман. С другой стороны — тоже как и следовало ожидать, — дело не обошлось без изрядной дозы перестраховки, на которую предполагаю наплевать. А в общем, раньше июня — июля вряд ли начну печатать — в «Знамени», если стоворимся на приемлемом для меня, или в другом журнале, если выяснится, что в «Знамени» не договоримся.

Среди разных трудных и мало приятных для меня событий произошло одно трудное, но радостное — родилась дочка!

Вот такие дела.

Прихворнул я после Индии действительно, а не дипломатически, но сейчас чувствую себя вполне прилично.

Отправляю письмо и книгу. Завтра буду звонить и надеюсь, что на днях увидимся.

Жму твою руку.

К. Симонов.

4 февраля 1957 г.

PS. Разбирая пришедшие без меня письма, нашел одно, которое, очевидно, представит для тебя интерес, если только тебе не прислали его копию уже раньше. На всякий случай посылаю ее.

...за работу над романом...—Симонов работал над романом «Живые и мертвые».

...последнюю вышедшую книгу, куда вошел и «Дым отечества»...— В. Овечкин в письме от 20 января 1957 года писал Симонову: «Жду появления в КОГИЗе «Дыма отечества», чтобы перечитать свежими глазами. За что тогда загорелся сыр-бор?» (АКС). Речь в письме Симонова идет о кн.: К. Симонов. Повести и рассказы. М. Гослитиздат. 1956.

...прочитал очерк Иванова, о котором ты писал.— В том же письме Симонову В. Овечкин писал: «Если имеешь интерес к очерковой деревенской литературе, прочти в № 4 «Сибирских огней» очерк Леонида Иванова (кто такой?) «Сибирские встречи». Очень здорово в смысле глубины. Какая же замечательная литература появляется в последнее время! Такая деловая, хозяйская». Опубликованный в журнале «Сибирские огни», очерк Л. Иванова вызвал несправедливые резкие критические отклики в некоторых сибирских газетах.

...есть смысл тиснуть эту вещь в третьем номере...— Очерк Л. Иванова с предисловием Г. Маркова был перепечатан в «Новом мире» (1957, № 3).

...вряд ли мы уложимся к этому сроку, учитывая всю подготовку, которая заварена.— 3-й пленум правления Союза писателей СССР состоялся 14—17 мая 1957 года, на пленуме обсуждался заранее розданный коллективный доклад секретариата правления СП СССР «О некоторых вопросах развития советской литературы после XX съезда КПСС».

...лишний экземпляр того, о чем пишешь...— В том же письме В. Овечкин писал Симонову: «Видишь ли, то, что я собирался написать, я уже написал. Эта штука лежит вот сейчас передо мною на столе. А что с нею делать — не знаю. Пожалуй, это даже не литература, не статья, а докладная записка по самым нетерпеливым вопросам. Может быть, придется выступить с этим на пленуме Союза (на партгруппе), а печатать это вряд ли надо» (АКС).

Полевой Борис Николаевич в ту пору возглавлял Иностранную комиссию Союза писателей СССР.

...пришел ответ Лю Байюя относительно твоего сына.— Лю Байюй (р. 1915) — китайский писатель, в то время секретарь Союза писателей Китая. В письме Б. Полевому от 19 января 1957 года Лю Байюй писал: «В декабре прошлого года, когда я был в Москве, тов. Симонов говорил мне, что у сына Овечкина ревматическое воспаление суставов и что отец хотел бы отправить его на лечение в Китай. <...> в одной из пекинских клиник <...> сравнительно эффективно лечат такие заболевания <...>. Мы приглашаем его лечиться в Китай, и все расходы по лечению и пребыванию больного в Китае берем на себя» (АКС). Овечкин Валентин Валентинович (р. 1932) — геолог, сын В. Овечкина. В письме Симонову от 9 марта 1957 года В. Овечкин писал: «Сын сейчас в Москве, оформляет документы и, очевидно, на днях улетит в Китай. Большое тебе спасибо за него» (АКС). В. В. Овечкин в письме Л. А. Жадовой от 7 декабря 1981 года писал: «Участию Константина Михайловича я обязан тем, что не стал инвалидом» (АКС).

...раньше июня — июля — вряд ли начну печатать...— Роман «Живые и мертвые» был опубликован в журнале «Знамя» (1959, № 4, 10—12).

...родилась дочка! — Симонова Александра Кирилловна (р. 1957).

...после Индии... — В декабре 1956 — январе 1957 года Симонов ездил в Индию.

В. В. Овечкину

Дорогой Валентин Владимирович!

Прежде всего благодарю за книгу.

Во-вторых, благодарю за поздравление с прибавлением семейства. Дома хорошо, от этого на душе хорошо, от этого многое трудное и не простое, что бывает за пределами дома, проще и легче.

Рад твоему доброму мнению о «Дыме отечества». В свое время я честно пытался понять, что же такое с ним произошло, даже придумывал разные умные и принципиальные объяснения, а в конце концов на поверку от всего происшедшего с повестью осталось ощущение неизвестно для чего сделанной и никому не нужной глупости. Сейчас, с выходом книги, это ощущение, в общем, выкинуто из души.

Иванов уже верстается. Третий номер хотя и опоздает, но, надеюсь, все же к 15—20-му числу выйдет. Познакомился с самим Ивановым — замечательный, умный, знающий человек. Договорился с ним о второй части очерков, напечатаем их, видимо, летом, параллельно с «Сибирскими огнями».

Не спрашиваю тебя письменно о том, что и когда ты нам дашь, в надежде вскоре тебя увидеть. Что касается пленума, то по сей день считается, что он будет в конце марта, но я и сейчас еще в этом не уверен. Идет подготовка общего от имени Секретариата доклада, который должен быть роздан на руки. Я написал и сдал свою часть — о социалистическом реализме. Пока, кроме нее, сдана

еще одна часть, а всего их восемь. Что это будет и как сойдутся концы с концами, когда будем все это вместе обсуждать, — ума не приложу. Ну ладно, проживем — увидим!

С Зинаидой Николаевной вопрос довольно сложный, и, честно говоря, пока я не придумал, как ей можно помочь. Ну а все же попробую что-нибудь предпринять, потому что помочь хочется.

При ближайшем рассмотрении выяснилось, что внутри своего романа написал я совершенно отдельный не то рассказ, не то повесть, листа на четыре. Вынул этот рассказ, провозился над ним дополнительно последние три недели и отдал Атарову. Собирается печатать в апрельском номере «Москвы». Рассказ о первых неудачных боях за Крым осенью сорок первого года.

Кроме этого написано за отчетный период некоторое количество объяснительных записок к объяснениям, из которых одни имели место, а другим, возможно, еще иметь место предстоит. Мне иногда начинает казаться, что благодаря упорной и длительной работе именно над этим литературным жанром он в конце концов начнет у меня выходить лучше всего остального.

Позавчера заходил ко мне в «Новый мир» Дудинцев, говорит, что недели через две должна выйти его книга. От души порадовался и за него, и за то, что это вообще правильно.

Ну, до скорой теперь уже, наверно, встречи.

Жму твою руку.

К. Симонов.

2 марта 1957 г.

PS. Да, есть одна просьба к тебе: один из работников «Наших достижений», долгое время бывший в вынужденном отсутствии и вернувшийся оттуда реабилитированным, съездил после возвращения в те места, где он когда-то работал в тридцатые годы. Итог этой поездки — рукопись «На старопахотных землях». С автором я предварительно говорил, а насчет того, что можно сделать с рукописью, — хочу посоветоваться с тобой и даже сказал об этом автору. Он ни на что не претендует, не настаивает на том, чтобы печатали рукопись, хочет только одного: чтобы на поднятые им вопросы так или иначе обратили внимание.

Сделай одолжение, посмотри эту рукопись, которую я прилагаю к письму, напиши мне, что ты об этом думаешь, или прихвати ее в Москву, когда приедешь.

Познакомился с самим Ивановым... — См. об этом воспоминания Л. Иванова «История одной публикации» («Константин Симонов в воспоминаниях современников». М. «Советский писатель», 1984).

Договорился с ним о второй части очерка... — См. об этом воспоминания Л. Иванова «Городские беседы — деревенские проблемы» («Воспоминания об А. Твардовском». М. «Советский писатель», 1982).

Что касается плеяума... — См. об этом примечание к письму В. Овечкину от 4 февраля 1957 года.

С Зинаидой Николаевной вопрос довольно сложный... — Пиддубная Зинаида Николаевна (1904—1981) — секретарь редакции «Нового мира», речь идет о трудных жилищных условиях, в которых она жила.

...не то рассказ не то повесть... — Речь идет о повести «Пантелеев», напечатанной в журнале «Москва» (1957, № 4).

Атаров Николай Сергеевич (1907—1978) — в то время главный редактор «Москвы».

...должна выйти его книга. — Речь идет о кн.: В. Дудинцев. Не хлебом единым М. «Советский писатель», 1957.

...один из работников «Наших достижений»... — Шкапа Илья Самсонович (р. 1898) — писатель-очеркист, сотрудник основанного М. Горьким журнала «Наши достижения» (1929—1936), автор книги об этом «Семь лет с Горьким» (М. «Советский писатель», 1964).

...напиши мне, что ты об этом думаешь... — В письме Симонову от 9 марта 1957 года В. Овечкин писал: «Очерк Гриневского (псевдоним И. Шкапа. — Л. Л.) нельзя печатать по-моему. Но с мыслями автора, его предложениями я во многом согласен... Все же с очерком Гриневского надо что-то сделать. Это материал для изучения наверху и каких-то выводов. Мне кажется, его надо послать в ЦК, уточнив, где все это происходит — область, район, колхоз, — если очерк написан с натуры» (АКС).

Ф. М. Благовещенскому

Многоуважаемый товарищ Благовещенский!

Простите, что отвечаю на Ваше письмо с таким большим опозданием. Причина этому — отъезд, нездоровье и очень большое количество работы.

Я с большим интересом прочитал Вашу статью о первом и втором издании «Молодой гвардии». Мне до сих пор не приходилось встречаться с таким подробным, тщательным и, как мне кажется, объективным анализом той работы, которую проделал Фадеев, создавая второй вариант «Молодой гвардии». До сих пор, во всяком случае в тех статьях, с которыми я сталкивался, шел разговор «в общем и целом», — в Вашей работе анализируется практически, что именно сделано, и это, по-моему, очень интересно.

Что касается выводов относительно положительных и отрицательных сторон переработки романа и общих итогов ее, то в одном мы с Вами сходимся, в другом расходимся, но все написанное Вами я прочел с большим интересом. А соображения, высказанные Вами на 55—56 страницах по поводу педагогичности второго варианта, заставили меня задуматься именно над тем обстоятельством, о котором Вы говорите, что я упустил его из виду. Очевидно, здесь Вы в значительной мере правы, и я действительно упустил из виду известные противоречия, существовавшие в первом варианте романа, между реальным возрастом молодого гвардейцев и той продуманностью, организованностью, какой отличались их действия. Действительно, если додумать все до конца, тут одно из двух: либо эти действия выглядят в романе более организованными, более продуманными, более масштабными, чем они были в действительности, либо, если они в полной мере такими и были в действительности, напрашивается объяснение, что кто-то из взрослых и опытных людей, не вообще, а конкретно, руководил работой организации. Ввод фигуры Лютикова во втором варианте романа в значительной мере отвечает на этот вопрос.

Одновременно с отправкой Вам этого письма я передаю присланный Вами сборник редактору «Нового мира» по отделу критики — Александру Моисеевичу Марьямову на предмет обсуждения вопроса о том, в какой мере и какой форме мы могли бы использовать Вашу работу на страницах «Нового мира». Мне бы лично хотелось, чтобы отдел критики журнала связался с Вами для практического обсуждения этого вопроса.

Крепко жму Вашу руку.

С товарищеским приветом

Константин Симонов.

3 марта 1957 г.

Примите, в знак моего уважения к Вам, мою последнюю вышедшую из печати книгу.

К. С.

Благовещенский Ф. М. — литературовед, автор работы «Творческая история романа «Молодая гвардия», изданной как выпуск «Ученых записок Удмуртского государственного педагогического института им. 10 лет УАО» (Уфа, 1956).

...Вашу статью о первом и втором издании «Молодой гвардии». — Речь идет о статье Ф. Благовещенского «О первом и втором издании романа «Молодая гвардия» («Сборник статей в помощь учителям школ. Выпуск III». — Бирский государственный педагогический институт. Бирск. 1956).

...я упустил его из виду. — Симонов имеет в виду свою статью «Памяти А. А. Фадеева» («Новый мир», 1956, № 6), в которой сравнивал две редакции «Молодой гвардии» А. Фадеева.

Марьямов Александр Моисеевич — в то время член редколлегии «Нового мира».

...мы могли бы использовать Вашу работу... — Работа не была напечатана.

Н. Н. Арденсу

Многоуважаемый Николай Николаевич!

Я прочел Вашу статью «На путях изучения Л. Н. Толстого» и должен сказать, что Ваша постановка вопроса у меня лично не вызывает сочувствия. Мне кажется, что Толстой, с его величием и с его слабостями, не нуждается ни в каких натяжках. Величие «Войны и мира» не может стать больше оттого, что мы станем умозрительно представлять Каратаева более активной натурой, чем он нам представлялся при самом чтении романа. Думаю также, что ничего не добавит к нашему эмоциональному ощущению романа и какое бы то ни было приглашивание противоречий в исторической концепции Толстого, а мне кажется, что именно к этому приглашиванию сводится пафос Вашей статьи. Я не согласен с тем положительным мнением о Вашей статье, которое высказали мои товарищи по редакции. Если бы они мне показали статью Вашу раньше, я тогда же и высказал бы это несогласие.

Что касается формальной стороны вопроса — о принятии статьи редакцией, — о котором Вы пишете, то прошу Вас по этому вопросу связаться с Б. Н. Агаповым. Если им как заместителем главного редактора журнала Ваша статья была принята к печати, то тем самым, очевидно, журналом были приняты на себя определенные обязательства.

С товарищеским приветом.

Уважающий Вас

К. Симонов.

Рукопись возвращаю.

4 апреля 1957 г.

А. Ю. Кривицкому

Саша!

Письмо, о котором идет речь, ты уже прочел. Прошу тебя, если у тебя не будет возражений, дать следующее распоряжение. Пусть поездом, без лишних расходов, поедет на пять дней в командировку в Батуми кто-нибудь из толковых людей, рецензирующих рукописи по редакции. Лучше всего, если это будет коммунист, с тем чтобы он мог зайти в райком и горком и разузнать там необходимые стороны дела. Пусть этот человек вооружится копией письма, полученного нами, не отвлекаясь проверит там все на месте, все стороны дела, и напишет подробную докладную записку на имя редколлегии журнала. А потом мы дадим ход этому делу. Причем дело тут не только в том, чтобы помочь этому конкретному парню, а в том, что людей, подобных ему, находящихся в тупике, очень много. Я с этим сталкиваюсь, наверное, уже в десятый раз. Тут требуется если не поправка в закон, то практическое разъяснение, которое было бы дано соответствующим органам и позволяло бы оказывать в виде исключения помощь этим людям, а их не столь уж мало. Сделай, пожалуйста. Это первое.

Второе. Так как я до сих пор не получил от тебя пейзажа для начала повести, то начать оную не смог и, упав духом, взялся за продолжение романа. Это — если шутя. А если серьезно, то провел десять дней в упорных, но бесплодных думах на тему, что и как писать в повести, ни к чему положительному не пришел и сегодня сел работать дальше над романом. Уезжая, никак не ожидал, что так выйдет, но, очевидно, при всем моем нигилизме в этом отношении есть какой-то закон писания и неписания. При огромном романе о войне, начатом и не законченном, оказывается, не пишется о войне ничего другого. Думал, будет писаться, а оно не пишется. А те две вещи, что получились, — получились, очевидно, потому, что для них уже все было накоплено, и оставалось их только превратить из части

романа в нечто, самостоятельно от него живущее. Сознаю, что огорчаю тебя этим сообщением, но хочу написать об этом сразу же, потому что в этом вопросе должна быть ясность.

Приветствую тебя на боевом посту в твоей адской кухне. Что касается нас, то мы тоже живем неплохо, сегодня имеем 47° по Цельсию на солнце!

Море понемногу ремонтируем — а вдруг приедешь?!

Лариса шлет привет тебе и Циле, Нина Павловна также.

Я лично тебе жму руку.

Твой К. Симонов.

24 июля 1957 г.

Письмо, о котором идет речь...— Как сообщил А. Кривицкий в письме от 20 июня 1982 года в Комиссию по литературному наследию К. М. Симонова, «речь шла о юноше, страдавшем полиомиелитом. Полный инвалид, он находился в тяжелейших материальных условиях. Ему необходимо было срочно помочь. В батумскую командировку был в тот же день послан член редколлегии А. М. Марьямов. Делу был дан ход, больному человеку помогли».

...для начала повести...— Речь, видимо, идет о замысле одной из повестей цикла «Из записок Лопатина».

...взялся за продолжение романа.— Речь идет о романе «Живые и мертвые».

А те две вещи, что получились...— Повести цикла «Из записок Лопатина» — «Пантелеев» и «Еще один день», опубликованные в «Москве» (1957, № 4, 6).

...огорчаю тебя этим сообщением...— Задуманная повесть предназначалась «Новому миру».

Н. Хикмету

Дорогой Назым!

Извини, что только сейчас, после трех недель, проведенных в Москве, пишу тебе о твоей пьесе. Причина только одна; я хотел проверить сложившееся у меня впечатление о пьесе мнением своих товарищей по редакции. Впервые за все это время вещь, вышедшая из-под твоего пера, мне активно не понравилась, и притом прежде всего с художественной стороны. Настолько, как говорится, не легла на душу, что я невольно подумал: уж не ошибаюсь ли я, верно ли это? А подумав так, решил посоветоваться.

Сейчас пьесу, кроме меня и Кривицкого, прочли Лавренев и Марьямов, люди, любящие твой талант и знающие драматургию. И вот три дня тому назад мы собрались все вместе и обменялись мыслями о твоей пьесе. И надо сказать, что с некоторыми небольшими оттенками у нас сложилось общее и огорчительное для нас самих мнение: пьеса, на наш общий взгляд, тебе решительно не удалась. Мы постарались сами себе ответить на вопрос: почему же так вышло? И вот что нам кажется.

Все люди в твоей пьесе условны, они несут определенные социальные функции и, в общем, верно отражают в принципе расстановку классовых сил в то время, но они холодны именно потому, что они условны, они бесстрастны, хотя говорят о горячих вещах. И среди этих условных людей, говорящих условные вещи, начинает казаться условным человеком и твой Осман.

Условность пьесы подчеркивается условным приемом искусственной отъединенности, перенесенным из вереницы пьес, в голове которых стоит бергеровский «Потоп».

Эта последняя условность помогает построить действие, но в то же время доводит до предела его искусственность. Ты заставил застыть в неподвижности горсточку людей, в то время как эпоха революции полна движением масс, кипением перемен, ежечасным и бурным изменением ситуаций.

Неподвижная фотография плохо передает движение, тем более такое движение, как революция.

К этому надо добавить, что перенесенная из литературы, полная литературных, и не самых хороших, реминисценций ситуация треугольника — из начальника станции, телеграфиста и взбалмошной

мятущейся бабы, дразнящей обоих,— подчеркивает еще более условность всей ситуации, далекость ее от жизни. И уже если стать на позиции условной драматургии, считать твою пьесу пьесой-притчей, пьесой, состоящей из символов,— то тут тем более странен и неудачен этот треугольник, ничего не символизирующий, а просто-напросто грубыми стежками связывающий разрозненные сцены и разрозненные судьбы.

Нельзя вообще возражать против символики, но она приобретает цену, когда за ней стоит глубина не сказанного, когда в ней как в фокусе видно бесконечно многое.

Но в фокусе твоей заброшенной станции не видна громада революции, есть только признаки ее, есть хорошие и плохие, удачные и неудачные фразы о ней, но ни революции, ни людей революции в пьесе нет. И даже когда твой Осман пьет кофе с Лениным и Марксом — это не символ, а только оболочка символа. Они просто пьют кофе, а для этого не стоило беспокоить Ленина и Маркса.

Нам всем показалось, что лучшая сцена в пьесе — сцена в бывшем помещичьем доме, нам показалось, что только одна она приближается к художественному выражению того, что у тебя было в замысле.

И вот когда закрываешь пьесу — странное чувство: как будто в ней все верно и в то же время все мимо цели, ибо люди в пьесе не удались ни как символы, ни как живые люди — они и ни то и ни другое. А без людей все оказывается мертвым.

И еще одно — переводчижи перевели твою пьесу плохим русским языком. Это вообще тревожно, может быть, надо тебе попробовать, чтобы над переводом потрудились совсем другие люди. Хоть раз-другой, для проверки. Монополия в таком деле ведь иногда толкает людей на частичную, если не полную халтуру. Они начинают работать хуже, чем могут, а вдобавок еще, быть может, они и могут не самым лучшим образом.

Однако это последнее соображение — не главное, боковое, хотя и существенное.

Главное же чувство после пьесы, что это неудача, художественный промах, и ни я, ни мои товарищи считаем себя не в праве скрыть это свое, может быть, и неверное, с твоей точки зрения, ощущение от тебя, нашего друга.

Я через два дня улечу на 10 дней и поэтому, боясь, что мы можем не успеть увидеться, решил написать тебе, чтобы этот вопрос не висел в воздухе, где-то между мной и тобой.

Как только я вернусь, я сразу буду звонить тебе, чтобы повидаться.

Я огорчен тем, что огорчаю тебя, но кривить душой не могу.

Крепко жму твою руку.

Твой Константин Симонов.

19 сентября 1957 г.

...о твоей пьесе.— Речь идет о рукописи пьесы «Станция», переработанный вариант которой в переводе А. Бабаева и М. Павловой опубликован в кн.: Н. Хикмет. Пьесы. М. «Искусство» 1962.

...стоит бергеровский «Потоп» — Бергер Юхан Хенниг (1872—1924) — шведский писатель Его пьеса «Потоп» (1908) была в 1915 году поставлена в 1-й студии Московского Художественного театра Е Вахтанговым.

Г. Н. Гайдовскому

Дорогой Георгий Николаевич!

Обращаюсь к Вам и в Вашем лице к руководству военной комиссии со следующей просьбой.

В Алма-Ате живет и работает преподавателем кафедры журналистики партийной школы Федор Иванович Егоров, человек, с которым я познакомился, будучи там, человек, как мне представляется, скромный и весьма достойный.

В августовской книжке «Нового мира» была напечатана статья Бродского «БСВ» — о наших подпольных организациях в немецких лагерях. Егоров служил под начальством одного из руководителей БСВ, майора Красицкого, и Красицкий является одним из героев повести Егорова «Не склонив головы», которая напечатана в 6, 7 и 8 номерах «Советского Казахстана». До плена они дрались вместе на подступах к Сталинграду, потом плен их развел.

Я прочитал повесть Егорова. По-моему, это кристально честная книга, правдивая, оптимистичная, документальная, показывающая силу наших людей в самых трудных условиях и крепость советской закалки. Мне кажется, что эту честную, очень интересную по материалу и живо, просто, ясно — в самом хорошем смысле этого слова, — доступно написанную вещь было бы грех не издать в самое ближайшее время. Причем, мне кажется, она даже в особенно-то большой редакции и не нуждается.

К чему сводится моя просьба: хорошо бы, если бы несколько товарищей из актива комиссии прочитали в ближайшее время повесть, она небольшая. После этого, не откладывая в долгий ящик, по линии военной комиссии вызвали товарища Егорова в Москву, обсудили бы повесть, дали бы те советы по ее дальнейшему улучшению, какие у них родились, и порекомендовали ее в печать, в первую очередь, очевидно, Военгизу, которому сам бог велел ее издать.

Если я сумею физически, я буду готов участвовать в этом обсуждении; если нет — буду просить учесть мой голос и мое мнение, выраженное в этом письме.

Номера журнала с повестью посылаю Вам вместе с этим письмом. Адрес Егорова: г. Алма-Ата, улица Красина, 128.

Опять лежу больной, поэтому прибегаю к эпистолярной форме. Крепко жму руку.

Ваш К. Симонов.

2 ноября 1957 г.

Гайдовский Георгий Николаевич (1902—1962) — писатель, в то время заместитель председателя Комиссии по военно-художественной литературе Союза писателей СССР.

Егоров Федор Иванович (р. 1913) — журналист.

Бродский Ефим Аронович (р. 1913) — историк, доктор исторических наук. ...«Б С В»... — В марте 1943 года в офицерском лагере Мюнхен-Перлах группой советских военнопленных была создана подпольная организация антифашистского Сопротивления Братское сотрудничество военнопленных (БСВ). БСВ просуществовало 1943—1944 годы, распространив свою деятельность на Южную Германию, Австрию, граничащие с Германией департаменты Франции, установило связи с подпольной организацией Антинацистский немецкий народный фронт (АННФ). Для раскрытия БСВ и ее уничтожения в гестапо был создан специальный отдел. Руководители и многие активисты БСВ в 1944 году были схвачены и казнены.

...одного из руководителей БСВ, майора Красицкого... — Красицкий Михаил Львович командовал летом 1942 года 893-м стрелковым полком; Ф. И. Егоров был помощником начальника штаба этого полка, а затем адъютантом командира полка.

...порекомендовали ее в печать... — Несколько глав из документальной повести Егорова «Не склонив головы» были напечатаны с предисловием К. Симонова в «Новом мире» (1958, № 5); отдельное издание выпущено было Казгослитиздатом в Алма-Ате в 1958 году.

Е. Н. Пермитину

Многоуважаемый Ефим Николаевич!

Я прочел Ваше «Раннее утро» и искренне благодарен Вам за то удовольствие, которое я получил при чтении. Образ мальчика возникает очень зримо и сильно при всей мягкости, а порой и тонкости красок, которыми он изображен.

Я сам лишен дара чувствовать природу, и, может быть, именно поэтому многое сказанное о ней в Вашей повести показалось мне до завидного точным и художественным.

Сильное впечатление на меня произвели последние сцены, связанные со смертью бабушки. Не только сама ее тихая смерть, но все, начиная с приезда деда Емельяна.

Таковы мои читательские чувства.

А теперь насчет практически редакционных дел: за опубликованные повести в журнале то, что это хорошая проза. Против — то, что это лишь самое начало человеческой судьбы; еще нет разворота событий, нет крупно всей этой истории, нет, да и, должно быть, в этом самом начале и не может быть.

«Новый мир» поругивают — и справедливо — за отсутствие современной прозы, то есть, точнее говоря, за нехватку прозы о нашем времени, о наших днях. На поисках ее сейчас сосредоточены усилия редакции. Только в марте закончим публикацию исторического романа Голубова; начинать вскоре же вслед за этим публикацию повести о детстве, связанной с материалом дореволюционной деревни, нам довольно трудно.

Выкладываю Вам честно все «против».

Однако мне хочется, чтобы мои товарищи по редколлегии тоже прочитали Вашу вещь. Может быть, мы все-таки в том случае, если найдем и будем печатать прозу о наших днях, рядом с нею сумеем поместить в журнале и Вашу повесть.

В общем, отправляю ее товарищам, чтобы почитали, в сопровождении этой вот копии своего письма к Вам. Если меня не будет в Москве, прошу связаться с Александром Юрьевичем Кривицким по телефону К4-39-88, примерно между 10 и 15 марта.

Жму вашу руку.

Уважающий Вас

К. Симонов.

3 марта 1958 г.

...Ваше «Раннее утро»...—Первая часть трилогии Е. Пермитина «Жизнь Алексея Рокотова», повесть была опубликована в «Москве» (1958, № 6—7).

...закончим публикацию исторического романа С. Голубова а...— Речь идет о романе «Птицы летят из гнезд. О детстве и юности великого болгарина Христо Ботева, о друзьях и недругах его ранних лет» («Новый мир», 1958, № 1—3).

В. Я. Барласу

Многоуважаемый товарищ Барлас!

Вашу статью «Воспитание поэта» я прочел. Статья мне показалась интересной — в ней есть над чем поразмыслить и читателю и самому поэту. Многое в работе Евтушенко, по-моему, Вы критикуете верно и глубоко, но в то же время, мне кажется, Вы зря уделите так мало внимания революционно-романтической струе в поэзии Евтушенко. Глубокое изучение жизни, большой собственный опыт — это все великое дело, и тут я к Вам целиком присоединяюсь; но и жизненный опыт приобретать можно по-разному, и жизнь можно изучать по-разному, и во всем этом необычно важна позиция, внутреннее душевное устремление. А это очень чисто революционное устремление есть в стихах Евтушенко, оно и должно повести его по правильному пути. И если уж называть статью «Воспитание поэта», то в такой статье необходимо более решительно опереться на то уже реально существующее в творчестве поэта, на что он сам должен опереться в своей дальнейшей работе.

Если речь пойдет о практической работе над статьей, у меня будет по ней несколько дополнительных, уже более частных соображений. Я бы считал в принципе возможным публикацию Вашей статьи, может быть, под рубрикой «В порядке обсуждения», на страницах «Нового мира». Но, разумеется, чтобы решить этот вопрос, нужна коллективная точка зрения. Поэтому я пересылаю сейчас Вашу статью заместителю главного редактора «Нового мира» Александру Юрьевичу Кривицкому и редактору критики и библиографии Алек-

сандру Моисеевичу Марьямову, с тем чтобы они высказали свою точку зрения. После этого решим вопрос, и либо я, либо они свяжутся с Вами.

С товарищеским приветом

К. Симонов,

25 марта 1958 г.

Барлас Владимир Яковлевич (1920—1982) — критик. В письме от 13 ноября 1981 года Л. Жадовой он писал: «Моя первая большая работа была о его (Симонова.— Л. Л.) лирике и своей задиристостью могла задеть его самолюбие. Он же (прочтя ее первым из работников, причастных к печатанию) меня отметил и привечал и помогал вплоть до выхода книги» (АКС).

Я бы считал в принципе возможным публикацию Вашей статьи...— Статья не была опубликована в «Новом мире», в сокращенном виде под названием «Всегда ли верить вдохновенью?» напечатана в «Литературной газете» 9 января 1960 года, полностью в кн.: В. Барлас. Глазами поэзии. Об открытиях искусства и о современных поэтах. М. «Советский писатель». 1966.

А. Г. Дементьеву

Дорогой Александр Григорьевич!

Мне звонил А. М. Марьямов в связи с предполагаемой публикацией в «Новом мире» «Рассказов юного врача» М. Булгакова.

В 1956 году я был назначен председателем Комиссии по литературному наследству и в этом качестве прочел всю его прозу. Я лично очень рад был бы появлению «Рассказов юного врача» на страницах «Нового мира». Мне кажется, публикация этой вещи внесет новую и очень теплую краску в создавшийся в умах читателей литературный образ Булгакова.

В 1957 году мне довелось писать письмо-рецензию на прозу Булгакова. Вот что я там писал о «Рассказах юного врача»:

«Большое впечатление на меня произвели «Рассказы юного врача». События, происходящие в них, датированы семнадцатым годом, и это вызывает немножко странное чувство. За тот год, пока идет действие этих рассказов, происходит революция, но действующие лица так мало думают о ней, так мало слышат и говорят о ней, как будто это их не касается. Быть может, это сознательно, быть может, автор не хотел вводить эту тему именно в эти рассказы, но сейчас это звучит странно, и, мне кажется, все в рассказах встало бы на свое место и звучало бы естественно, если бы действие их происходило на год раньше. Это так и напрашивается.

Высказав это замечание, я хочу сказать о своем главном впечатлении. Мне кажется, что рассказы при их большой художественной силе имеют глубокое воспитательное значение. О профессии врача сказано с такой любовью к людям и верой в них, что многое просто восхищает. Первые шаги молодого врача описаны с таким проникновением в людскую психологию, что это звучит почти гимном одной из самых замечательных человеческих профессий.

Мне кажется, что эту серию рассказов, которая в то же время как бы составляет собою единую маленькую повесть, следовало бы издать отдельной книжкой. А может быть, некоторые из них стоило бы предварительно напечатать в журнале под рубрикой «Из литературного наследства».

Такое ощущение у меня было тогда, четыре года назад, такое же осталось и сейчас. Словом, еще раз повторяю: мне как человеку, входящему в Комиссию по литературному наследству Булгакова, будет очень радостно увидеть эту вещь напечатанной. Уверен, что это мнение подтвердили бы и все остальные члены Комиссии (В. А. Каверин, В. С. Розов, В. Ф. Пименов).

Жму Вашу руку.

К. Симонов.

8 марта 1961 г.

...в связи с предполагаемой публикацией в «Новом мире» «Рассказов юного врача»... — Публикация эта не была осуществлена.

В. В. Карпову

Уважаемый Владимир Васильевич!

Получил Ваше письмо. Должен Вас огорчить: насколько я понимаю, речь о создании толстого военного журнала пока не идет. Пока что выходит только сборник-альманах под названием «Подвиг». Вот как обстоят дела.

У меня к Вам следующее предложение: может быть, Вы, скажем, к майским дням, к годовщине победы, написали бы рассказ или очерк — как уж Вам поглядится — или о современной армии, или о прошлом и настоящем, перемешав то и другое так, как оно перемешивается все время у нас в голове. В общем, Вам виднее. Я думаю, что такой рассказ или очерк, или «записки офицера», в которых будет и прошлое и нынешнее, можно было бы напечатать в соответствующем майском номере «Литературной России», где я состою одним из 22-х членов редколлегии. Подумайте над этим предложением. Причем, для того чтобы все это было реально, прислать то, что Вы напишете, надо где-то уже в начале апреля или в конце марта, чтобы это можно было заранее прочесть и заранее спланировать.

От души желаю Вам успеха.

Крепко жму Вашу руку.

Константин Симонов.

20 февраля 1963 г.

Карпов Владимир Васильевич (р. 1922) в те годы служил в Советской Армии, в Кушке, куда и адресовано это письмо Симонова. С 23 февраля 1979 года В. Карпов — первый заместитель главного редактора журнала «Новый мир», с ноября 1981 года — главный редактор.

...речь о создании толстого военного журнала... — К. Симонов и В. Карпов не раз говорили между собой и поднимали вопрос официально о необходимости создания в Советской Армии толстого литературно-художественного журнала, который специализировался бы на военной тематике и объединил вокруг себя армейских литераторов и журналистов. Да и вообще писателей, разрабатывающих военно-патриотическую тему. Журнал не создан до настоящего времени.

...можно было бы напечатать в... «Литературной России»... — К. Симонов в то время уже не был главным редактором «Нового мира».

А. Т. Твардовскому

Дорогой Саша!

Получил и прочитал юбилейный номер «Нового мира». Он очень хороший и — думаю, что это входило в замыслы редколлегии, — дает предметное представление о составе и направлении журнала. <...>

Я с глубоким уважением к тебе и с такой же глубокой благодарностью прочел твою статью, написанную с решимостью сказать о связи литературы с жизнью, но, без признания чего литература не в состоянии выполнить свои обязанности перед народом. Ты поддержал честь и достоинство нашей литературы своей речью на съезде партии и теперь вновь сказал о том, чем должна и чем не имеет права быть наша литература, с еще большей уверенностью и силой. И право так говорить тебе дала не только твоя собственная литературная работа, но и то, как ты на протяжении долгих и трудных лет ведешь «Новый мир».

Хочу в день этого нелегкого, но тем более хорошего юбилея журнала крепко пожать твою руку, поздравить тебя и твоих товарищей по работе и пожелать журналу выполнения той очень важной для всей нашей литературы программы ведения «Нового мира», которая дана в твоей статье.

Твой Константин Симонов.

22.II.65 г.

Барвиха.

...юбилейный номер... — «Новый мир», 1965, № 1, номер посвящен сорокалетию создания журнала.

Он очень хороший...— В этом номере среди прочих напечатаны произведения М. Карима, К. Федина, А. Кулешова, О. Берггольц, Е. Дороша, А. Ахматовой, И. Соколова-Микитова, К. Кулиева, И. Эренбурга, Г. Троепольского, Д. Самойлова.

...прочел твою статью...— Юбилейный номер открывается статьей А. Твардовского «По случаю юбилея».

...своей речью на съезде партии...— А. Твардовский выступал с речами на XXI и XXII съездах КПСС.

Редакционной коллегии и коллективу редакции «Нового мира»

Дорогие друзья!

От всей души поздравляю всех вас с сорокалетием «Нового мира».

Мне, человеку, в течение ряда лет причастному к работе журнала, особенно очевидно, как много, упорно и самоотверженно пришлось всем вам работать, чтобы журнал стал таким, каким он стал за последние годы.

Как одному из бывших редакторов журнала, мне особенно хочется отметить редакторскую деятельность Александра Трифоновича Твардовского, к которой я отношусь с глубочайшим уважением и полным сочувствием.

Как и в жизни всякого журнала, в жизни «Нового мира» бывали и неудачи и полуудачи, но все равно именно этот журнал сегодня, среди всех других, говорит больше всего правды о жизни и неприимей всех других относится ко лжи в литературе.

Пусть так будет и дальше! Ничего лучшего пожелать не могу — и как читатель, и как литератор, считающий для себя за честь сотрудничать в вашем журнале.

Константин Симонов.

23.II.65 г.
Барвиха.

М. Б. Козьмину

Дорогой Мстислав Борисович!

В свое время, весной 1965 года, к двадцатипятилетию Победы, «Новый мир» печатал записки маршала Ивана Степановича Конева «Сорок пятый год»; я был причастен к подготовке этих записок в печать, и Александр Трифонович Твардовский был мне тогда признателен за то, что я привел Ивана Степановича Конева именно к нему, в «Новый мир».

Сейчас, после смерти Ивана Степановича Конева, кроме книг военных мемуаров, которые он успел издать при жизни, осталась продиктованная им незавершенная рукопись, связанная с битвой под Москвой, имеющая своим заголовком слова «Калининская операция». Рукопись не завершена в том смысле, что, очевидно, Иван Степанович, продиктовав ее, еще возвращался бы к ней, но период, в ней взятый, выглядит вполне законченным. Это октябрь сорок первого — начало января сорок второго года, то есть период, когда Конев сначала поехал на Калининский фронт командовать там находившимися войсками в качестве заместителя Жукова по Западному фронту, а вскоре после этого возглавил сам Калининский фронт.

Мне передала эту рукопись вдова маршала — Антонина Васильевна Конева. И вот я подумал, что, может быть, в продолжение установившейся традиции «Новый мир» мог бы захотеть опубликовать, скажем, в номере, посвященном 60-летию Красной Армии, эту рукопись или, во всяком случае, значительную ее часть, по материалу весьма ценную; человек, ее написавший, — один из наиболее выдающихся наших военных деятелей, первая книга его мемуаров была опубликована в «Новом мире» — в общем, мне кажется, что у меня есть достаточные причины обратиться с таким предложением именно к Вам.

По нынешним обстоятельствам своей жизни и работы я не мог бы взять на себя подготовку этой рукописи к печати, ибо до конца года буду занят работой над собственной повестью, которую никак не могу кончить. Но, я думаю, в случае принципиального положительного решения редакция сможет найти среди литераторов человека, который сумеет осуществить такую подготовку рукописи, подобно тому как я в свое время делал это с «Сорок пятым годом».

Антонина Васильевна передала мне второй экземпляр — первый, как она мне объяснила, она послала кому-то из сослуживцев Ивана Степановича Конева по Калининскому фронту на военную консульскую. Я сказал ей свое мнение о рукописи, что она нуждается еще в дополнительной работе, что, видимо, в литературном журнале может быть напечатана не целиком, а в извлечениях, в сокращенном виде, и что я по старой памяти хочу представить эту работу покойного Ивана Степановича на суд редакции «Нового мира».

Мне тут по состоянию здоровья придется в самые ближайшие дни лечь в больницу, поэтому при любом решении вопроса — положительном или отрицательном — буду просить Вас связаться непосредственно с Антониной Васильевной Коневой.

Пишу Вам это письмо на даче, где у меня нет под рукой ее адреса и телефона, поэтому и то и другое будет вложено в этот же конверт на отдельном листочке.

4.IV.77 г.

PS. О наших с Вами разговорах насчет моего собственного участия в журнале — не запамятовал, просто откладываю их до того, как кончу повесть.

Желаю Вам всего доброго. Прошу передать привет Сергею Сергеевичу Наровчатому и другим Вашим коллегам по редакции.

Ваш Константин Симонов.

Козьмин Мстислав Борисович (р. 1920) — в то время заместитель главного редактора «Нового мира».

...«Новый мир» печатал записки маршала Ивана Степановича Конева... — 1965, № 5—7.

Конев Иван Степанович (1897—1973) — военачальник, Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза

...я был причастен к подготовке этих записок... — Когда вышло в свет отдельное издание «Сорок пятого года». И. С. Конев подарил Симонову книгу с такой надписью:

«Дорогой Константин Михайлович!

На память о героических днях Великой Отечественной войны.
Благодарю Вас за инициативу и помощь в создании этой книжки.

С товарищеским приветом и уважением к Вам

И. Конев.

3 ноября 1966 года.
Москва».

...буду занят работой над собственной повестью... — Речь идет о повести «Мы не увидимся с тобой...», ставшей завершающей частью романа «Так называемая личная жизнь».

...на суд редакции «Нового мира».— Рукопись И. С. Конева не была напечатана.

Наровчатov Сергей Сергеевич (1919—1981) — в то время главный редактор «Нового мира».

Публикация и комментарии Л. ЛАЗАРЕВА.

ДНЕВНИК ПИСАТЕЛЯ

СИЛЬВА КАПУТИКЯН



МОЯ ТРОПКА НА ПУТЯХ К АКРОПОЛЮ

... **П**оздняя осень 1936 года. Я студентка первого курса Ереванского университета. С одержимостью новообращенной погружаюсь с головой в пестрый поток хлынувших на меня знаний. И высший пик этой одержимости — история Древней Греции.

Наш мягкий, доброжелательный профессор Нерсисян так доверительно, почти по-домашнему излагает нам события канувших тысячелетий, сообщает имена богов и полководцев, названия городов и рек, что мы, позабыв о том, что делается вокруг, целиком переносимся в ту жизнь, в глубь веков, загораемся любовью к златокудрому Аполлону, нас завораживает изменчивая синь очей владыки моря Посейдона, перед нами встает победоносный Перикл, воздвигаются Акрополь и Парфенон, великий ваятель Фидий создает из слоновой кости и золота Афины Палладу. И вновь — имена, боги, легенды, были...

Но вот настал час, когда все эти отвлеченные образы и имена, которые почти пятьдесят лет хранились в моей памяти и воображении, обретают форму, цвет, становятся горой, скалами, стенами и колоннами, мраморными желто-серыми лестницами, по которым я поднимаюсь, увы, с трудом, неся на плечах груз годов, поднимаюсь, еще не успев как следует осознать, что я в самом деле на Акрополе...

Высокий, окруженный белыми каменными стенами холм в центре города. На вершине его полуразрушенный, но еще сохранивший свой могущественный облик белый мраморный массив. Кажется, что он виден не только со всех концов Афин, но и со всех концов мира — через времена, через века.

Поднимаемся вверх, в крепость, потрясенные тем, что все больше и больше открывается нашему взору, — этой нарастающей красотой, этим завораживающим колдовством лестниц, которые словно затягивают нас, ведут от одних величественных развалин к другим, от мощных колоннад, от бывших некогда храмов и дворцов все выше и выше — к Парфенону.

Архитектор и его творение как будто и в согласии и одновременно в споре с окружением — с таким же желтовато-белым нагромождением скал и камней. И не поймешь, что чему придало это несказанное величие: скалы храму или храм скалам.

Мы приближаемся к Парфенону. Афине Палладе посвящен этот храм, богине мудрости, военного могущества и победы. Она явилась миру из головы Зевса в «полной боевой готовности» — в медном шлеме и доспехах. Богиня была покровительницей Афин, но, увы, это покровительство не помогло сохранить не то что Афины, но даже и ее храм, который вот сейчас перед нами какой-то словно выпотрошенный. Мраморный частокон колоннады захватил в огромный полый прямоугольник низкую синеву неба. Разрушение Парфенона началось со времен падения могущества Древней Греции, когда вышедший на арену истории Рим грабил и увозил к себе многое из богатств храма. Затем при турецком господстве это величественное сооружение было превращено в пороховой склад, а в 1687 году во время войны с Венецианской республикой бомба венецианцев упала на Парфенон. Крыша его взлетела в воздух, а шедевры искусства, в том числе фронтоны с его барельефами, были искорежены. Ко всем этим бедам прибавилось и то, что посол Англии в Турции лорд Эльджин вывез большую часть статуй из храма в Лондон и за тридцать пять тысяч фунтов стерлингов продал их английскому правительству.

Недавно Греция обратилась к Англии с просьбой вернуть обратно работы своего гениального сына Фидия и его учеников, которые находятся в Британском музее. И сейчас в Англии сумятица мнений «за» и «против». В особенности противятся возвращению ультрапатриоты. Один из их аргументов в том, что правомочный наследник Османской империи — современная Турция и, следовательно, владелец этих сокровищ, мол, не Греция, а Турция, так как все эти богатства в то время, когда их вывезли, находились именно на территории Османской империи. Трудно судить: то ли так ослабла логика престарелых лордов, то ли британский лев, прикрываясь турецким серым волком, никак не желает выпустить из своих когтей то, что около двухсот лет назад присвоил себе...

Рядом с нами по лестницам поднимается большая группа туристов. Индустрия туризма — существенная отрасль экономики Греции, и в этой классической стране сие дело, можно сказать, поставлено тоже классически. Иначе не может и быть: если страна принимает в год пять-шесть миллионов туристов, она должна обладать соответственными этому умением и организованностью.

Не знаю, правда это или нет, но говорят, что по распоряжению туристических контор несколько грузовиков каждое утро доставляют на территорию Акрополя и рассыпают там обломки мрамора, и каждый турист с благоговением берет такой кусок и увозит с собой: на нем, мол, сохранилась еще пыль веков. Хотя я и не из тех, кто в это верит, но тем не менее тоже прихватила с собой осколок мрамора якобы от колоннады Акрополя. В конце концов, дело не только в истинной древности предмета, важно то чувство, которое спустя многие годы разбудит в тебе эта привезенная издалека маленькая вещица, скажем, такой вот обломок камня.

Вместе с этим кусочком мрамора я привезла домой одну давнюю поразившую меня историю. Когда в 1321 году греческие освободительные войска окружили Акрополь, положение турок, укрепившихся внутри, стало критическим. И вдруг греки заметили, что осажденные руют уцелевшие стены и колонны, чтобы расплавить свинец, соединяющий камни, и изготовить из него пули и ядра. Охваченные ужасом греки срочно послали все это в цитадель, то есть дали оружие в руки врага, чтобы он направил его в их собственную грудь, лишь бы сохранить святыню Греции...

Медленно спускаюсь с вершины Акрополя. Спускаюсь по тем же мраморным ступеням, но мысли уводят меня на другую тропку, узенькую, но всегда и всюду бегущую передо мной тропку, — раздумий, боли о судьбах моих соплеменников, по воле истории оказавшихся в разных концах света.

Армяне на берега Элады пришли еще в V — VI веках, особенно после битвы при Аварайре, когда в Армении усилилось персидское господство. И потому что Армения, хотя она и не приморская страна, также постоянно ощущала на себе удары разрушительных волн — волн истории, Греция, близкая ей по судьбе и по вере, становилась приютом для многих ищущих спасения армян. Так было и в века османской тирании, и тем более после 1829 года, когда Греция обрела независимость.

В начале XX века, в 1915 году, султанская Турция, решив окончательно покончить с так называемым армянским вопросом, десятилетиями обсуждавшимся на всяческих международных конгрессах и дипломатических переговорах, огнем и мечом изгнала армян из их дедовских земель в сирийские пустыни. Более чем полтора миллиона людей стали жертвами этого тщательно подготовленного геноцида. А те, кто чудом спасся, разбрелись по свету. И вот от нежного, поэтического армянского слова «спрвел» — рассеиваться, расстлаться — образовалось жесткое, полное горечи и тоски слово «спюрк», что означает рассеянное по всему миру армянство.

В эти горестные годы в соседствующей с Турцией Греции нашли себе кров более чем 120 тысяч беженцев-армян.

Как и везде, в Греции наши соотечественники жили интенсивной национальной жизнью. Действовали Благотворительный союз, церковь, культурные и спортивные клубы, существовали партии, издавалось около 25 газет и журналов. С первых же лет создания Советской Армении взоры трудящихся армян в Греции были устремлены к ней, к своему молодому отчету краю. Первые, еще малочисленные караваны репатриации взяли свое начало именно отсюда, из Греции, а когда в 1946—1947 годах началась уже массовая репатриация, значительная часть здешнего армянства, преимущественно люди нуждающиеся, обнищавшие во время второй мировой войны, переместилась в Советскую Армению.

После репатриации колония изменила свое лицо. Но не изменилась острота борьбы между партиями, а в некотором смысле стала даже еще острее. Так как большая часть просоветски настроенных армян уехала, главенствующую роль в колонии стала играть буржуазно-националистическая партия «Дашнакцутюн».

Для этого была уже давно готова почва, еще до войны, а затем и в годы войны, когда в Греции господствовала антидемократическая, а потом и фашистская диктатура. В эти годы трудящиеся армяне немало сил отдали греческому народно-освободительному движению, а также партизанской борьбе, многие положили за это жизнь, пали смертью храбрых. Дашнаки все эти годы по вполне понятным причинам пользовались покровительством реакционных правителей, а некоторые из них, чтобы вывести из строя противников своей партии, спешили привлечь к тем гибельное внимание властей...

После свержения военной диктатуры «черных полковников» и установления греческой республики в стране, где уже дышалось легче, наряду с другими демократическими организациями снова набирают силы и армянские прогрессивные союзы «Арагат» и «Аракс». Они из года в год расширяют связи с Советской Арменией и вот первый раз после этих событий пригласили к себе делегацию оттуда. В составе делегации певица Мелания Абовян, пианистка Ашхен Джилазян и я.

...Сегодня за рулем нашей машины Григор Пстикян, председатель культурного союза «Аракс», — невысокий, словоохотливый, необычайно подвижный для своих лет человек. Организованный сравнительно недавно «Аракс» достаточно смело и безоговорочно заявляет о своей приверженности Советской Армении, каждый год у себя в клубе отмечает 29 ноября — день установления там советской власти — и вообще придерживается довольно радикальных взглядов.

— Видите, — голос Пстикяна звучит твердо, уверенно, — я специально постарался, чтоб гид у нас был, знающий русский язык. Познакомьтесь, пожалуйста.

Я от души признательна парону! Пстикяну за его старания. Сажусь на заднее сиденье машины рядом с гидом, чтобы лучше его слышать. Благообразный молодой человек Николос, лет двадцати — двадцати пяти, тут же приступает к своим обязанностям. До Дельф 170—180 километров, и на протяжении всего пути Николос добросовестно рассказывает историю тех мест, куда мы едем.

Наша дорога чем дальше, тем живописнее, с обеих сторон холмы, постепенно переходящие в горы. И вдруг перед нами выше горной гряды возникает еще гора, плоская, с гольми, словно обожженными склонами.

— Парнас, — бесстрастно сообщает Николос.

— Да?! — восклицаю я. В этом моем «да» и радость, что наконец-то вижу эту имеющую и ко мне некоторое отношение гору, обиталище прелестных девяти муз, и удивление, что так внезапно, без всяких там анонсов и предупреждений объявилась нам эта всесветно известная гора, и, честно признаться, разочарование: очень уж она обыкновенная, будничная, покрытая серой землей, без игры красок и оттенков, без облаков и тумана. Для моих глаз, привыкших к чуду Арарата, не знаю, какой должна быть гора, чтобы она могла выдержать с ним сравнение. Даже японская Фудзияма, которая воистину прекрасна, не произвела на меня ожидаемого впечатления.

Рассказываю об этом Николосу и приглашаю в Армению посмотреть Арарат.

— Ваш русский язык все-таки очень уж русский, — оторвавшись на мгновение от античных веков, делаю я попытку что-нибудь узнать о человеке, вот уже больше часа сидящем рядом со мной.

— Я родилась в Чебоксарах. Мои родители греки, в годы войны оказались там...

— А давно вы в Греции?

— Уже лет шесть-семь как приехали всей семьей. Захотелось вернуться на землю предков.

— И как показались вам наследники ваших предков?..

Чувствую, что замкнутому Николосу мои расспросы не столь уж по сердцу, но поскольку вопрос задан, он отвечает:

— Издалека все иначе представляешь...

¹ Господин (арм.).

— Разочарованы?

— Это слишком сильно сказано,— уклоняется от прямого ответа Николос.— Ну, сейчас век культа материального, и нынешняя Греция не может избежать веянья времени... Очевидно, мы, приезжие, крайне романтичны: родина, славное прошлое, дух предков и тому подобное... Действительность же не такова. Люди мельче, себялюбивее...

Я больше не задаю вопросов, и это не только потому, что щажу молодого человека, не желаю теребить его душу, но и потому, что мне и так все понятно. Я, к сожалению, хорошо знакома с горестным стереотипом состояния души тех моих соплеменников, которые бесконечно скитаются из одной страны в другую и, оторвавшись от прежней, не приняв новую, бесконечно колеблются между «здесь» и «там»...

Дельфийский храм Аполлона когда-то главенствовал среди других святилищ античной Греции, постепенно он стал своеобразным музеем эллинского мира. Греческие и не греческие прославленные города в свое время построили по обеим сторонам восходящей к храму дороги своеобразные галереи-сокровищницы, каждый по собственному вкусу и кошелку. Там они выставляли свои подношения храму, трофеи, захваченные в боях, а также произведения искусства, сделанные руками мастеров.

Мы проходим дорогой, по обочинам которой громоздятся развалины тех каменных галерей-сокровищниц. К сожалению, больше всего время не пощадило главное — сам храм Аполлона, от которого остались лишь плиты пола да несколько колонн.

Все вокруг исполнено величия и покоя. Хотя день солнечный, но мы на высоте, у склона лесной горы, поэтому воздух здесь холодный, озноб пронизывает тело и диктует нам: закружитесь. Николос рассказывает, что Аполлон в зимние месяцы отбывал отсюда в теплые края и возвращался в Дельфы только весной, когда солнышко уже основательно пригревало. Видать, знал себе цену, берег себя этот обитающий в небесах юноша со златострунной кифарой, исполненный сил и завидного здоровья. А что же делать нам, у которых ни юности Аполлона, ни его сил, ни мускулов? Так что, осмотрев музей, мы усаживаемся в машину.

На обратном пути происходит перемещение: я сажусь рядом с господином Пстикяном, а Николос, который считает себя свободным от дальнейших объяснений и особенно от моих вопросов, не имеющих прямого отношения к Дельфам, на заднем сиденье.

Еще в начале нашего путешествия председатель культурного союза «Аракс» Пстикян раскрыл передо мной карты:

— Многие задают мне вопрос: «Господин Пстикян, куда вы девались? У нас гости из Армении, а вы где-то в сторонке». «Не извольте беспокоиться,— говорю я им,— дойдет и до меня очередь». Знал ведь, что должен везти вас в Дельфы и что целый день мы проведем вместе. Хочу рассказать вам о многом.

Итак, на обратном пути все 170—180 километров я, уже психологически настроившись, предоставила уши в распоряжение Пстикяна, лишь иногда пытаюсь прервать его льющуюся речь, ибо в ней заключалось кое-что довольно спорное.

— Вас пригласил в Грецию именно наш союз «Аракс»,— начинает господин Пстикян,— а «Арагат» уже потом выскочил на арену... Я хочу, чтобы вы правильно представили себе обстоятельства жизни греческих армян. Правда, «Арагат» раньше, чем мы, начал свою деятельность, но именно наш «Аракс» первый после долгого перерыва установил реальную связь с Советской Арменией... Я архитектор, был раньше в стороне от армянских дел, но теперь согласился стать председателем союза. Повторяю, только наш «Аракс» до конца предан отчизне и не страшится заявить об этом публично. Остальные — приспособленцы, конъюнктурщики...

— Не годится так, господин Пстикян. Почему вы искусственно сужаете круг друзей Советской Армении? Мы благодарны всем, кто встает рядом с нами. Зачем отвергать протянутые для дружбы руки?

— Я знаю, вы побывали во многих армянских колониях. Но уверяю вас, там совсем другие условия, здесь же положение особое. Вы не знаете, какие черные дела творились тут, в Греции... Триста армян погибли в годы реакционных правительств и фашизма.

— И что, всех выдали дашнаки?

— Большой частью... Спросите у художника Асатура Бахаряна, он шестнадцать лет просидел в тюрьме.

— Бахарян ведь был видным коммунистическим деятелем. Об этом было известно и без всяких доносов.

— Вы, люди из Советской Армении, не все знаете. Слышали вы, например, что этой весной 24 апреля² дашнакские молодчики срывали со стен наши плакаты?

— Да что вы?

— Не верите, спросите у ребят из «Арарата». В этот день мы вроде бы объединились с ними, вместе выпускали эти плакаты. А те, которые срывали, кричали нам: «Кто вы такие, чтобы представлять нашу нацию? Только мы на это имеем право. Только мы выражаем ее требования».

Я молчу, не в силах поверить, что подобные распри могут происходить в такой священный, такой скорбный для всех армян день.

В моей ереванской комнате стена слева от окна отведена сувенирам — песчинкам, выброшенным на берег тяжелой волной, откатывающейся в бездонную глубь времени. После Греции там прибавился еще один. Три маленьких пучка спелых пшеничных колосьев прикреплены к похожему на небольшой фонарик незатейливому плетению из соломы. Сдается, что торжественное слово «сувенир» не вяжется с этой нехитрой, пахнущей полем и зерном штучкой. Но, по сути, она-то и есть самый что ни на есть подлинный сувенир, то есть то, что вызывает в твоей душе давно канувшую минуту, встречу.

Мы у знаменитого Коринфского канала. Только что прошли по перекинутому через него железному мосту и тут же у моста встретили крестьянина, продающего эту соломенную плетенку. Я подошла и, к удивлению своих спутников, купила.

Каждый раз, глядя на эту милую вещицу, вспоминаю тот наш разговор, вспоминаю греческих загорелых крестьян, вспоминаю Пелопоннес, то, как мы сошли с машины и двинулись по мосту смотреть канал.

Он похож на длиннющий и глубокий арык, потому что не бетонирован. Два глиняных берега, вернее, две стены, как два склона огромной воронки, вбирают в себя воду, которая течет по прямому, будто линейка, руслу, течет медленно, мутная от отраженных в ней рыжеватых глиняных склонов. Течет спокойно, даже вяло, и трудно поверить, что здесь на строительстве канала, длившегося около десяти лет, погибло более сорока тысяч людей и в их числе приехавшие из Муша и Сасуна, ищущие хлеба и заработка армянские скитальцы — пандухты. Канал открыли в 1892 году, когда Греция переживала подъем своего капиталистического развития, этим каналом сокращался водный путь от Эгейского моря к Коринфскому заливу. Значит, уже около девяноста лет как этот мост, по которому мы только что прошли, заменил собой узкий перешеек, соединявший когда-то Пелопоннес с материком.

Конечная точка нашей сегодняшней поездки — Эпидавр. Дорога петляет по берегу, но места, по которым мы едем, побережьем назвать трудно. Какое же это побережье, если мы не то что едем, а словно парим по устремленным ввысь почти на километр горам и скалам! То сверкнет в просвете гор огненная синь моря, и мы с маху врезаемся в этот узкий просвет, и поросшие зеленью скалы забирают нас в свой полон, то вновь выбираемся из каменной клетки и на этот раз уже по прямой, где-то на высоте продолжаем свой путь.

Эпидавр также из знаменитых мест Древней Греции, то священное место, где по преданиям жил и врачевал бог Асклепий — сын Аполлона от смертной его жены. Обычно этот бог медицины изображается с длинной бородой, в руке жезл, вокруг которого тесно обвилась змея. Вот и выходит, что змея, выходящая вокруг сосуда, — такая привычная нам эмблема, то, что мы встречаем на всех аптечных вывесках, на всевозможных медицинских документах, — спокойноенько доползла до нас из незапамятных времен с того жезла Асклепия.

Сюда, в этот густо-зеленый лесной бассейн стекались человеческие реки со всех концов Греции. Здесь была прославленная лечебница, при ней постоялые дворы, бани, здесь, наконец, был заложен театр, построенный в 350—338 годах до нашей эры, в который мы и пришли после осмотра развалин лечебницы и музея.

Если в древности людей притягивала сюда слава врача Асклепия, то сейчас это делает театр, который стремятся увидеть все, потому что здесь, в Эпидавре, он со-

² День памяти жертв геноцида 1915 года.

хранился почти полностью. Каждый год с началом тепла тут начинаются фестивали, спортивные празднества, концерты всемирно известных хоров и солистов. Говорят, что каждый раз, приезжая на родину, здесь пела и Мария Каллас³.

Сейчас декабрь, этой зимой в Греции холоднее, чем обычно, и почти нет туристов. Интересно было бы посмотреть, как эти древние места вновь оживают, наполняются людскими разговорами, песнями, музыкой, но думается, что и в этой опустелости, безлюдности есть свое очарование. Оно подвигает тебя дать волю воображению, погрузиться в себя и — через себя же — в глубь веков, окликнуть тени прошлого, подозвать их, заставить разговариваться с тобой. Вероятно, эта работа мысли и души похожа на истолкование классики. Одно дело, когда ты сама читаешь Шекспира, Бальзака или Толстого, сама воссоздаешь для себя образы того времени и его героев, другое — когда все это преподносит тебе режиссер, актер в фильме или спектакле.

Театр и впрямь великолепен. Мрамор лестниц, конечно, пожелтел, стерся, но именно эти следы прошедших веков, этот мох времени вызывает в тебе благоговение, словно приобщает к вечности. Гладкотесаные плиты мрамора — сиденья — восходящими рядами поднимаются к лесистым холмам. И они, эти холмы, как зеленая стена, стоят позади амфитеатра, принимают его в свои надежные объятия и, словно представляя, какая ценность доверена им, хранят его для потомков, а значит, немножечко и для нас.

Мы целиком поддались таинству места. Стоим в середине амфитеатра, там, где находилась сценическая площадка, переживаемся словами, читаем стихи, пытаемся петь, напрягая слух, ждем отзвуков наших голосов. И вдруг от восходящих мраморных рядов амфитеатра, от зеленых лесистых холмов доносятся знакомые звуки: «Сурб, сурб...»⁴ Это Мелания, обычно так берегущая свой голос от простуды, теперь вот на открытом воздухе, откинув шаль, туто окутывающую шею, освободившись от стесняющего ворота шубы, поет... Поет, вся уйдя в себя, самозабвенно, и мы, трое армян, молча, осторожно, чтобы не слышны были наши шаги, поднимаемся по ступеням амфитеатра и оттуда, застыв на месте, слушаем...

Огромная мраморная чаша театра наполнена «сурб, сурбом...», наверное, впервые за все свое двадцатитрехвековое существование. Мелодия на какой-то миг словно бы охристианивает эти языческие владения и тянется, тянется вдаль, в Армению, в глубь веков и вновь возвращается в настоящее, к нам...

Пение заканчивается, и вдруг откуда-то издали, из пустого амфитеатра, раздаются аплодисменты. Глядим: в самом последнем ряду — молодая пара. Горюливо спускаются вниз. Девушка в брюках, в модной кожаной куртке обнимает, целует Меланию. На глазах слезы.

— Никогда ни одна мелодия так не трогала меня, — тихо, будто стесняясь своей откровенности, говорит девушка, — чудесно!

Не знаю почему, но я тоже обнимаю, целую девушку. Ее зовут Марией. И она и муж, стоящий рядом, — архитекторы, приехали из Испании. Все мы на одной и той же волне, на одном и том же внутреннем накале, все слова кажутся излишними. В нас говорят камни, время, расстояние, говорят Греция, Армения, Испания. Это из тех редких мгновений, когда словно какой-то мощный магнит вытягивает из глубины души — кому бы ни принадлежала эта душа, армянину, греку или испанцу, — заряд человечности, доброты, преклонения перед красотой и, вытягивая, соединяет, плачивает всех.

То были, пожалуй, самые возвышенные, самые наполненные минуты в нашей поездке — минуты высокого человеческого общения. Ведь бывают такие мгновения, когда хочется выйти из своей привычной оболочки, из круга своих горестей и забот, на миг сорваться со своего якоря и выйти на морские просторы, почувствовать, что ты частица могучего целого — созидającego и страдающего человечества, что твои не только храм Рипсимэ и Нарекаци, но и Парфенон, не только Терян и Исаакян, но и Сервантес, Микеланджело, Бетховен, Толстой и вот этот, заполненный «сурб, сурбом...» Эпидавр, что ты со всеми, с этой девушкой и парнем из далекой Испании, среди всех тех, кто думает и чувствует, как ты, что и твое сердце вносит в мир свою долю света и тепла, отчего мир становится чуточку светлее, чуточку теплее...

³ Известная греческая певица.

⁴ Древнее армянское церковное песнопение, равнозначное русскому «свят, свят...».

В Эпидавр нас привезли активные деятели культурно-спортивного союза «Ара-рат». По сравнению с «Араксом» этот союз более умеренный, остерегается прямой демонстрации своих политических взглядов, но он также за сплочение вокруг Советской Армении как надежды и опоры существования всех армян.

Один из наших спутников — Арис Азарян, полный, простоватого вида парень, и я ничуть не удивилась, когда он сказал, что занимается всего-навсего изготовлением и продажей бастурмы. Удивилась же всерьез, когда он всю дорогу то читал стихи Вагана Текеяна⁵, то со знанием дела рассказывал о падении Коринфа, то излагал историю лечебницы Асклепия, то вспоминал о встречах с писателями Ваграмом Мовяном и Андраником Царукяном⁶. Выяснилось, что Арис из питомцев известной армянской школы-лицея на Кипре «Мелконян». Но чтением стихов Текеяна в Греции не проживешь. И вот свой хлеб Арис добывает мясными изделиями, которые сам же и развозит в своем старом фургончике.

— Почему не бросишь эту свою мелочовку, не заведешь покрупнее дела? — спрашиваю я, пытаюсь раскусить, что же за человек Арис.

— А я и не рвусь к этому, на жизнь зарабатываю, и ладно! — коротко бросает он и снова заводит речь о стихах, о нации, об истории. — Обрати поедом другой дорогой, хочу, чтобы вы увидели еще и Нафплион.

Невелик этот прибрежный город, но в истории Греции занимает большое место. Взятием Нафплиона и провозглашением его столицей освобожденной страны победно завершается самая славная страница истории новой Греции. Впрочем, не страница, а объемистая книга, богатый эпос многовековых усилий и борьбы за освобождение народа Эллады от османских оков.

Боль и гнев охватывают, когда думаешь, что родившая Гомера и Фидия, Платона и Аристотеля, воздвигшая Парфенон и Эпидавр, создавшая богов и обожествленная поэтами страна столько веков пребывала во мраке и унижении и ее гениальный мрамор разлетался на куски под копытами озверелых коней. Помню, в сербском городе Нише мне показали строение, не имеющее себе подобного. Подавив восстание сербов в XVIII веке, победители-османы решили воздвигнуть башню из черепов победленных на проезжей дороге из Софии в Стамбул в наизидание всем проходящим и проезжающим мимо. Ничего не скажешь, «памятник культуры»! Памятник смертям, бедам, разрушениям, под тяжестью которых пять-шесть веков стонала огромная часть планеты. Недаром строка великого француза Виктора Гюго: «Здесь турок страшный след...» — оторвавшись от его стихотворения о греческом мальчике, стала нарицательной, стала своеобразным эпитафием ко многим ужасам.

Здесь турок страшный след: развалины, зола...
 Пустынно все... Иль нет — вот мальчик среди камней,
 Голубоглазый грек. один в тоске своей
 Поник уныло головою.
 Боярышник густой ему отныне дом —
 Куст свежий, как и он, увенчанный цветком.
 Что спасся чудом среди боя.
 ...О бедное дитя! Чего же хочешь ты?
 Цветок? Ту птицу? Плод?
 «Нет! — гордо отвечал мне гордый сулиот, —
 Дай только пули мне и порох».

(Перевел Вс. Рождественский)

Сколько сочувствия и восхищения вызывал этот образ горящего жаждой отмщения греческого юноши — горячей жаждой отмщения Греции, которая не желала склонить голову перед тиранией, неотступно боролась, погибала!

На страницах греческой истории запечатлены образы клефтов, таких же смельчаков, как наши повстанцы-фидай, как болгарские гайдуки, как русские партизаны, — людей, которые, оставив дом и семью, уходили в горы и леса громить врага. Эта праведная борьба за свободу вдохновила многие и многие благородные сердца далеко за пределами Греции. Вспыхнувший на высоких Пиренеях костер воспламенил гениального сына Англии Байрона, и он направил свой корабль в Грецию, туда, к этому маяку, чтобы помочь восставшим, и сгорел, едва успев добраться до цели.

⁵ Известный западноармянский поэт.

⁶ Современные прогрессивные западноармянские писатели.

Греческая национальная освободительная революция победила в 1829 году, и именно здесь, в приморском городе Нафплионе, была провозглашена республика. Но не прошло и двух лет как после предательского убийства Иоанниса Каподистрии — первого президента республики в стране снова утвердилась монархия.

Следующее столетие не принесло Греции долгого мирного расцвета. Географическое положение страны, скудость земли и природных ресурсов, резкие социальные контрасты не позволили ей встать в ряд сильных, экономически развитых государств.

После первой мировой войны фашиствующие режимы развязали гражданскую войну в Греции. Народ находился в постоянном противоборстве с правительством, ширилось движение сопротивления. И только теперь, после свержения власти «черных полковников», восстановлена наконец республика. Греция набирает силу для экономического и социального развития, стремится вести самостоятельную политику, не стать слепым инструментом в руках НАТО и его покровителя — Соединенных Штатов.

Залог этого — растущее из года в год дружеское сотрудничество с Советским Союзом, упорные усилия премьер-министра Греции Папандреу, заявившего в декларации от 22 мая 1984 года о решимости всеми силами добиваться соглашения, которое может помочь обезопасить человечество от ядерной катастрофы.

— Эта дружественность с Советами на пользу нам, здешней армянской колонии, — в свою очередь комментирует и Арис Азарян, продолжая показывать нам город.

Мы выходим из машины, идем по берегу к пристани. Дома в Нафплионе невысокие, большей частью одноэтажные и двухэтажные, с печатью старинной уютности. Улицы узкие, извилистые. Вдруг Арис отрывается от нас и подходит к объявлению, прикрепленному к стене одного из домиков.

— Смотрите, смотрите... Удивительное дело! Василис Гювасизян, армянин. Надо же! — Такое оживление в голосе Ариса, что нам кажется, речь идет о свадьбе, о крестинах или о чем-либо в таком роде.

— Да нет, извещение о кончине. — Голос его все еще хранит оживление.

Да, опять армянин! Кто он, как попал сюда, в этот самый Нафплион? Сколько ему было лет? Есть ли кому оплакать его, есть ли кому похоронить? Я никак не могла отогнать от себя эти мысли, шагая по незнакомым улицам незнакомого города.

Сегодня у нас намечены встречи в армянских школах Афин; из них одна, «Галпакия», принадлежит Благотворительному союзу, а две, «Софи Акопян» и «Заварян», подведомственны дашнакам.

У дверей школы «Софи Акопян» нас ожидают дети и учителя, навстречу к нам спешит ее директор, господин Курдогян.

— И Курд и оглы — не густовато ли сразу? — шучу я, знакомясь.

Входим в школу, двухэтажное современное строение, затем в зал. Дети уже там. Мы — Мелания, Ашхен и я — усаживаемся в первом ряду.

— Добро пожаловать в нашу школу, — начинает по всем правилам директор. Он из Бейрута, говорит по-армянски бойко, с привычными ораторскими приемами.

Итак, первая армянская школа в Греции. Невольно охватывает волнение, когда смотришь на этих смуглых ребят, большеглазых, темнокудых, когда слышишь, как они складно поют и читают стихи по-армянски. У Мелании влажные глаза; вспоминая, она говорила мне, что, бывая в спюрке, в школах, не в силах остаться спокойной. Взволнованная, она поднимается на сцену. Поет без аккомпанемента — рояля нет. Поет песни Комитаса⁷, народные песни и в самом конце — «Ереван» на мои слова:

...Ты — каменный цветок,¹ расцветший на полях.

Ты — моя жизнь, мой Ереван.

Но вот приходит очередь мне сказать свое слово детям. Приветствую от того же каменного цветка — Еревана, от имени ереванских детей, говорю, что они такие же темнокудые, большеглазые, поют на том же языке, читают стихи, растут... Мой взгляд скользит по стенам зала. На них кроме огромного трехцветного знамени даш-

⁷ Всемирно известный армянский композитор, ученый, дирижер и общественный деятель.

наков необычные плакаты, лозунги, призывающие к оружию, к мести. Ничего знакомого — ни детских рисунков, ни картин, ни видов Еревана, Матенадарана, Бюроканской обсерватории, ни Гарни-Гехарда и Эчмиадзина... Из привычного мне — одно: Арарат. Нарисован он от руки, две вершины покрашены в немислимо черный цвет, окольцованы красными цепями.

Речь моя двигается туго, спотыкаясь. Я встревожена, взволнована странным видом этого зала и невинно-милыми взглядами сидящих в зале детей, которые бог знает чего ждут от гостей, приехавших из Армении. Как бы я хотела, чтобы стены эти не были такими мрачными и гнетущими, чтоб эти плакаты и рисунки, какими бы воинствующими и криливо-горделивыми они ни казались, не выглядели такими щемяще-убогими и беспомощными!

— Как бы я хотела, дорогие дети,— говорю я,— чтобы вы росли радостными, как и все остальные дети мира, чтобы вокруг вас были цветы и бабочки, чтобы вы пели песни об этих цветах и бабочках... Вот я смотрю на Арарат, нарисованный на стене. Мы в Армении тоже любим наш Арарат, грустим, что он далеко от нас. Но наш Арарат не так мрачен и черен, он нам видится синим, белым, светлым, потому что перед ним, вокруг нас — наш розовый Ереван, наша родина...

В конце я дарю школе привезенную из Еревана чеканку с изображением Матенадарана.

Выходим из школы все в том же странном состоянии. Зал, напоминающий военный лагерь, воинственные призывы не выходят из головы. Обстановка становится более понятной, когда узнаешь, что зал этот одновременно служит местом сбора дашнаков и господин Курдогян там один из самых усердствующих деятелей.

Водитель старается прибавить ходу, путаясь в узких улочках старого района: на школу «Галпакян» почти не остается времени. В два часа туда придут автобусы, чтобы развезти детей по домам, и не существует никаких обстоятельств, чтобы эти наемные машины задержались. Между тем встреча в школе «Галпакян» была воистину праздником души. Школа принадлежит Благотворительному союзу, в ней просторный, светлый зал, на стенах — сделанные самими ребятами веселые рисунки, разноцветные бумажные гирлянды, фотографии. На сцене в центре — портреты Аветика Исаакяна и Паруйра Севака.

Празднество начинают малыши из детского сада, а затем, класс за классом, дети взрослеют. С ними взрослеют и стихи и песни — от «Куп-куп» до поэмы «Раздумья на полпути». Чтение иногда перемежается хоровыми песнями, в которые включаются и сидящие в зале дети. Исполняют также греческие песни.

Во всех хоровых песнях участвует учительница греческого языка, симпатичная, лет за пятьдесят гречанка с тонким лицом, уверенная, энергичная, которую директор Завен Григорян рекомендует нам самыми хвалебными словами.

— Познакомьтесь. Мадам Элени Антунскун. Это один из столпов нашей школы. Очень любит Армению и все, что связано с ней.

Ашхен Джизазян подходит к пианино, чтобы аккомпанировать Мелании. Та поет с настроением, вдохновенно, и вдруг я замечаю, как по залу пролетает шепот: «Прибыли автобусы...» Мелания торопливо заканчивает песню, я также торопливо произношу несколько слов, говорю о Греции, ее гостеприимном народе, который был так добр к армянам-беженцам, нашедшим приют на этих берегах. Успеваю упомянуть также доблестных армянских сынов, павших в борьбе за свободу Греции, подчеркиваю, что мир крайне нуждается в таком братстве народов и один из примеров этого братства — наша новая знакомая мадам Элени Антунскун.

Лицо директора расплывается в улыбке. Он с благодарностью принимает преподнесенный нами сувенир — это опять чеканка, где изображен Матенадаран с памятником Месропу Маштоцу⁸ перед ним. Сидит он, Месроп Маштоц, величественно, задумчиво, а у ног его коленопреклоненный мальчик приник к месроповским письменам. Приникает он вот сколько уже веков на всей шире древних армянских земель и городов: в Двине, Ани, Киликии, Ване, Битлисе, а теперь вот в Ереване и по всему миру — в Бейруте, Алеппо, Каире, Багдаде, Париже, Монреале, Детройте, Лос-Анджелесе, Буэнос-Айресе, Мельбурне и здесь, в Афинах, в трех школах Афин. И они, эти словно бы литые буквы, все 1600 лет постоянно сплавляли, собирали воедино

⁸ Создатель армянского алфавита, великий ученый, переводчик, просветитель.

целый народ, учили чувствовать воедино, мыслить воедино, радоваться и горевать воедино. Так неужто бессильны уже они, эти литые буквы, не могут ныне сплотить нас вокруг того же языка, вокруг первой написанной месроповскими письменами фразы: «Познать мудрость и наставления, понять изречения разума»?.. И неужто нынешним поколениям суждено отступить, отвернуться от этого бессмертного призыва к разуму, к мудрости, суждено усомниться в его правде, мятежно и растерянно искать иные пуги?..

С каждым днем, с каждой встречей слагаются, накапливаются слова, которые я должна произнести на главной встрече с армянами Афин в понедельник 19 декабря в театре «Диана». А пока поживем немножечко веселей, приобщимся к местной повседневности. А так как в повседневность Афин входит не только день, но и ночь, то и мы, хотели этого или не хотели, должны были познакомиться с пресловутыми афинскими ночами. И первое в этом знакомстве — кабаре «Диоген». Пела там одна из звезд современной Греции Маринела. Уже два десятилетия не сходит она со сцены, хотя и частенько меняет сцены. В начале пела в концертных залах, но вот уже несколько лет как свила гнездо в этом фешенебельном заведении, которое носит почему-то имя неприхотливого, обходившегося одной только своей бочкой философа Диогена.

Конечно, они не последователи его философии, те, что до отказа заполнили длинноватый полутемный зал, в центре которого на полукруглом возвышении разместились эстрадный оркестр.

Мы занимаем стол близости от него, прямо напротив — самое удобное место для наблюдения. Синхронно с открытием и закрытием парчового занавеса электрические огни освещают сцену, польхают всеми красками радуги, то угасают, то вспыхивают. Так на пару с оркестром огни эти оповещают о выходе каждого следующего артиста. Но вот зал словно вздрагивает от резких аккордов музыки и световых вспышек, и на сцене появляется она, Маринела. Гладкие неуложенные рыжие волосы, белое лицо, на нем крупным планом ярко окрашенные губы. Воссе не красавица, плюс к тому же заметные уже для певицы «накладные расходы» — морщинки. В модной узкой юбке, над которой плещется просторная блуза в мягких складках с широкими — «летучая мышь» — рукавами. И все это искрится, переливается сине-зелеными блестками. Костюм, по-моему, не так уж идет ей. В первые минуты ощущаем что-то вроде разочарования: это и есть та самая прославленная певица? Но вот Маринела начинает петь. Одна песня, вторая, третья — и мы вынуждены сложить оружие.

— Как здорово! — Оборачивается ко мне Мелания. Ашхен одобительно кивает головой. Я, вначале устлая и равнодушная, тоже чувствую себя приподнято, как это бывает при встрече с настоящим искусством.

Оркестр эстрадный, певица, в общем, тоже, но как не походит она на наших ереванских, подчас ультрамодерных эстрадных певиц, в исполнении которых и в самих песнях нет хотя бы намек на национальный оттенок, на естественное, живое слово. Маринела же певица национальная в самом высоком, классическом смысле. Греческие народные песни она исполняет так вдохновенно, так всей душой сливается с мелодией, создает вокруг себя такое магнитное поле, что невольно начинаешь тянуться к сцене, к певице. Не понимая языка, полностью понимаешь ее.

Со всех сторон к ногам Маринелы летят гвоздики, одни головки без стеблей, и на сцене постепенно образуется ковер, вытканый из гвоздик. Я сперва удивилась: почему же без стеблей, откуда столько алых гвоздик? Но потом заметила, что в руках движущейся между столиками молодой женщины полная корзина этих самых головок, она продает их.

Ковер из гвоздик стал еще плотнее, когда к Маринеле присоединился молодой чернородый певец из ансамбля Теодоракиса. Я с этим ансамблем встретила вперые несколько лет назад в Монреале в огромном, битком набитом зале. Все участники этого ансамбля — греки, покинувшие Грецию «черных полковников» и, вероятно, поэтому ставшие, если можно так сказать, еще более греками, еще крепче и еще больше любящими свою землю. Пел знаменитый Теодоракис — исполинского вида мужчина, усталый, с озабоченным лицом, сутуловатой спиной. На нем была черная простая блуза с высоким воротником. Казалось, что он пришел сюда, в этот зал, не петь, а выполнять ежедневную трудную работу. Однако стоило ему начать, как и он сам, и его товарища, я все вокруг преобразилось. Что бы они ни исполняли, будь

это греческие народные мелодии, или песни на слова Гарсиа Лорки и Пабло Неруды, или баллада, посвященная убитому в те дни Альенде, или грустные напевы любви,— все это как-то объединилось, различные оттенки сливались, становились одним цветом, служили одной-единственной цели — освобождению Греции.

Концерт нельзя было назвать концертом в обычном смысле. Это был бунт и мятеж против тирании, десант мстителей, от действий которого взлетают в воздух не воинские склады и железные дороги, а рушатся устои вражеской морали, исчезает душевная леность тех, кто до поры до времени воздерживался от самоопределения, тех, кто был не против, но и не за.

Отрадно было сызнова встретиться с этими певцами, вернувшимися домой с дороги ссылок, победившими и умиротворенными.

Вот так умиротворенно и поет сейчас этот молодой певец, присоединив свой звучный, глубокий голос к сильному, но в эту минуту приглушенному — словно она тихонько напевает колыбельную или шепчет любовный наговор — голосу Маринелы. И они оба будто не стоят на эстраде, а просто сидят у себя дома каждый на своей низенькой скамейке. И люди вокруг уже не зрители, тесно окружив певцов, они сами причастны к песне, если не голосом, то чувством, откликом души, всем своим существом.

Я слушала неотрывно, и настолько все это было свободно, непринужденно, что мне показалось: именно так пели ушедшие в горы клефты в минуты передышек между боями, именно эти песни тоски и свободы еле слышно напевали греческие партизаны перед схваткой с фашистами.

На обратном пути наш здешний приятель Завен Григорян рассказывал про салон художника Асатура Бахаряна — один из популярных культурных центров Афин. Там собираются наиболее свободомыслящие интеллигенты города, художники, артисты, писатели, спорят об искусстве, показывают новые работы и просто общаются.

— Бахарян здесь почитаемый человек, это имя всегреческого масштаба. Давайте заглянем к нему!

Комната, в которую мы вошли, маленькая, письменный стол завален бумагами. Зная биографию художника, я представляла его хмурым, со строгими глазами. Но лицо Бахаряна излучает улыбку, идущую, кажется, из самой глубины души. Это мягкое, доброе лицо, домашность обстановки настраивают на открытость.

— Вы, кажется, не очень связаны со здешними армянскими кругами?

— Почему? У меня много друзей армян, когда-то вместе боролись.

— А теперь?

— Теперь... Теперь живем несколько разное, время теперь другое... Наши армяне, по-моему, очень нетерпимы друг к другу, надо быть шире, рассуждать более вдумчиво...

— Даже по отношению к противостоящим кругам?

Бахарян смеется.

— В свое время я похлеще других досаждал дашнакам, даже получил взбучку от них, да, да, просто физически... И сейчас я не по душе им. Но это неважно. Главное — общие интересы народа. А для этого надо теснее сплотиться вокруг Советской Армении. Мне кажется, что и у вас так считают...

Родился Бахарян в Афинах, кончил армянскую начальную школу, после поступил в высшую школу искусств. Он был из тех, кого не удовлетворяла только живопись, только четыре стены мастерской. Он стремился на улицу, на видимые и невидимые баррикады, прибавляя к цветам своей палитры огненный цвет политической борьбы, цвет крови. Эти баррикады в годы фашизма привели его в тюрьму, на которую на целых шестнадцать лет. Свободе Греции, великим идеалам человечества так же, как и Мисак Манушян во Франции, посвятил свою жизнь коммунист-революционер Асатур Бахарян. Бахаряну повезло, он остался в живых, и вот сейчас в его мастерской — полотна, на которых желто-серой охрой как бы написана история его жизни: тяжкие цепи, угрюмый взгляд надзирателя, крошечное, забранное решеткой окошко, а за ним огромный, обещающий рассвет мир.

Гляжу в его улыбающиеся, добрые глаза, возвращаюсь мысленно к прожитому им пути и вспоминаю свое стихотворение, написанное много лет назад:

Народ мой, не был ты числом силен
И громкой славой не был осенен,
Но я твоих сынов повсюду вижу,
На всех путях свободы ты в бою,
Везде — от Илиона до Парижа
И до Керчи — кровь проливал свою...

(Перевела Е. Николаевская)

Где только, в каких окопах не воевали сыны нашего народа. Здесь, на этой искореженной боями земле, плечом к плечу с греками боролись против фашистского насилия и отдали свои жизни — на улицах, в тюрьмах, в ссылках — более трехсот армян, в числе которых рядом с известными революционерами сражались и подростки и девушки. Среди павших Ваграм Сакавян, Геворк Бареджаниян, Акоп Грышкян, Андраник Гукасян, Габриел Тавулучян, Саркис Аветисян, партизанка Сирарби — всех не перечислишь... Жизнь и смерть каждого из них заслуживает отдельной книги, стихотворения, поэмы. Не зря греческий народ, столь богатый героями, назвал ими также и храбрых сынов-армян. Их памяти посвящены песни, во множестве книг рассказано об их борьбе, скалу Неа-Макри, на которой погиб Акоп Грышкян, называют скалой Арменико.

Своим героизмом прославились не только отдельные люди, но и целые армянские кварталы. В историю антифашистской борьбы вписан такой вот населенный армянами квартал в Афинах — Дургут, принявший на себя первый удар врага, когда ЭЛАС⁹ разворачивала свои боевые операции на передовой. «В день большой облавы весь Дургутский район остался без мужчин, — пишет греческий коммунист, публицист Мелпс Аксисти. — Оккупанты не оставили ни одного из них... На следующий день после той же облавы в центре квартала была собрана куча женских волос. Их срывали с голов армянок. Бездна охватила всех. ЭЛАС была разгромлена. Но через несколько дней она вновь возникла, еще более многолюдная и боевитая».

Читаю эти строки и вспоминаю, как в 1947 году в дни репатриации теплоход «Чукотка», переполненный греческими армянами, подошел к пристани в Батуми. Крики радости, восклицания звучали с палубы. А когда прибывшие сошли с теплохода, даже нас, перенесших четырехлетнюю жестокую войну, поразил изнуренный вид репатриантов, скудость их имущества. Видно, мы все должны обладать очень большим дополнительным зарядом сочувствия, любви и тепла, чтобы понять и согреть по-разному пострадавшие души.

Во всех углах мира жили и живут армяне, и может, оттого, что издавна переходила из уст в уста строчка старинной песенки: «Нет прекрасней острова, чем наш Кипр», может, оттого, что в годы репатриации столь многие питомцы лицея «Мелконяня» приехали в Армению и привезли с собой добрую славу о Кипре, может, оттого, что у меня потом появилось немало друзей оттуда, не виденный мною никогда, этот остров еще издали стал мне близок.

И вот я на Кипре.

Справедливо, что наши встречи начинаются с лицея «Мелконяня» в столице Кипра Никосии. Уже у ворот юноши и девушки, образовав живой коридор, приветствиями и аплодисментами встречают гостей из Армении. Проходим по этому коридору и преподнесенные нам цветы кладем к подножию белой мраморной стены, по обе стороны которой — бюсты Карапета и Григора Мелконянов. Простые крестьянские лица с орлиными носами и длинными усами. И впрямь — вошедший сюда не может не остановиться, не поклониться памяти людей, которые создали это учебное заведение. Вот уже около шестидесяти лет лицей «Мелконяня» принимает под свой кров совсем еще юных армян со всех концов спорка, закрепляя в них вместе с науками любовь и преданность Советской Армении, отправляя их в жизнь уже повзрослевшими, готовыми стать на службу своему народу.

Осматриваем здания школы, интерната. Два корпуса — для мальчиков и для девочек, — построенные пятьдесят — шестьдесят лет тому назад. В 1974 году во время турецко-кипрского конфликта турецкие бомбы не минули и мелконянцев, разрушив большую часть корпуса для мальчиков. Ходим по тому лесу, который десятилетия назад посадили сами ребята. Там твердение их рук — памятник Месропу Машпоцу,

⁹ Национально-освободительная армия, вооруженные силы греческого движения Сопротивления.

точно такой же, что стоит в Армении по дороге в Ошакан. Две высокие колонны, а на них месроповские письма.

Входим в классы, спальни учащихся, в просторный зал, и кажется, что пришли в какое-то давно знакомое место, в один из уголков нашей Армении. Вокруг улыбающиеся лица, слова «добро пожаловать», на стенах — снимки площади Ленина в Ереване, Дворца молодежи, вновь построенного метро, портреты советских армянских писателей, композиторов, художников. В самом почетном месте зала на середине стены — изображение Эчмиадзина и фотография католикаса Вазгена I. Почти нигде до сих пор мы здесь такого не встречали.

В дружеском добром духе прошла и вся встреча в большом зале — декламация, песни, сердечные слова, которые больше, чем гостям, были адресованы матери Армении.

Запомнились стихи студентки Мелине Паповян, приехавшей из Ирана. Побывав в Армении, она написала:

Что ты за ветер —
 Подул и исчез!..
 Легкий и нежный.
 Приходишь, уходишь,
 Словно Севана волна..
 Ах, если б было возможно
 С собой прихватить и меня!..
 Унеси в Ереван,
 Унеси в Бюракан,
 Чтобы снова вдохнула я
 Воздух прозрачный ночной,
 Ивой склонясь
 Над родною водою речной!..

(Перевела Е. Николаевская)

На Кипре мы жили в городке Ларнаке. Всего четыреста армян обитают здесь. Маленький уютный зал городского муниципалитета заполнен сейчас ими. Присутствует на встрече и мэр города.

Когда мы входили в здание муниципалитета, в дверях я увидела смуглого мальчика лет восьми — десяти, который протянул мне пакет и сказал по-русски:

— Это вам от нашей семьи!..

Удивляюсь: Ларнака — и вдруг говорящий по-русски армянский мальчик. Откуда, каким образом?

Удивление рассеивает он сам:

— Моя мама вчера в школе встретила с вами, помните?

Конечно, помню, как же можно забыть! Вчера из толпы, окружившей меня после выступления, вдруг вышла молодая светловолосая женщина, крепко обняла и поцеловала.

— Я так рада, что побывала на вечере! Я очень люблю ваши стихи, — немного волнуясь, сказала она по-русски.

Обрадовалась и я. Эти теплые слова напомнили тех русских девушек, что встречались мне в разных уголках России. Влюбленные в поэзию, они в числе других знали наизусть и некоторые мои стихи. Но как сие русскоязычное вкрапление попало сюда, в эту густо заполненную армянской речью комнату? Очень просто: оказывается, где-то у себя дома в Советском Союзе она встретила зарубежного студента, армянина, вышла замуж и вместе с ним приехала на Кипр.

Я пообещала женщине оставить ей на память свою русскую книгу. И вот она, опережая меня, через сына преподносит милый сувенир — маленькую фарфоровую корзиночку и в ней — тоненькие фарфоровые цветы. В конце вечера в муниципалитете Ларнаки и она и сын — ее зовут Валеи, а сына Андраником — подходят ко мне. Надписываю обещанную книгу, женщина сокрушается:

— Жаль, что мужа здесь нет сейчас, если б увидел вас, как обрадовался бы! Он очень любит Армению!..

Вернувшись в Ереван, я поставила на полку в книжный шкаф Валин сувенир и каждый раз, глядя на него, вспоминаю ее, вспоминаю пришедшую на тот же вечер знакомую пару — кипрского поэта Яргоса Малискоса и его жену армянку Анаит, вторично готовящуюся стать матерью, вспоминаю дочку ереванской художницы Лавинии Бажбеук-Меликян, Мариам, которая также связала свою судьбу с островом Кипр, «пре-

краснее которого нет на свете». Она тоже вышла замуж за приехавшего на учебу в Москву художника-киприота и живет теперь в селении близ прибрежного города Пафос. Вспоминаю и думаю: какие только штуки не выкидывает с людьми Афродита и как это получается, что ее своенравные прихоти тут же скрепляются узами предусмотрительного и дальновидного Гименея...

Ларнакская гостиница «Китион», в которой мы остановились, принадлежит Араму Галачяну, представителю здешней армянской общины в кипрском парламенте.

Родившись на Кипре, в этом же городе Ларнаке, Арам отлично знал колонию и ее особенности. Как и многие в этих краях, родители Арама поселились на Кипре после 1915 года. В магазине тканей, принадлежащем Галачянам, я увидела на стене большую, видимо увеличенную, старую любительскую фотографию: сторбленный человек простецкого вида в потертом костюме тащит двухколесную тележку, на которой мануфактура для продажи.

— Мой отец,— объяснил Арам,— вот с этой тележки он и начал свое дело.

Спокойный, ровный характер у этого депутата кипрского парламента. Можно предположить, что в перевесе голосов во время выборов кроме «материальных гирь» не малую роль сыграл также и характер Арама Галачяна.

27 апреля 1982 года по его предложению кипрский парламент поставил на повестку дня в качестве первоочередного армянский вопрос. В единогласно принятой резолюции парламент безоговорочно осудил давнее преступление против армянского народа, которое обрело размах геноцида. Резолюция завершилась заявлением, что Кипр стоит за полное восстановление прав армянского народа.

Надо сказать, что правительство Кипра очень доброжелательно настроено к армянской общине, глубоко ценит вклад, внесенный армянами в политическую, экономическую и культурную жизнь страны. Община без помех занимается своими национальными делами. Армянские школы получают от государства пособия и помощь вплоть до очень высокой оплаты труда учителей. Ежедневно ведет свои передачи армянский радиочас, где дается подробная информация о жизни колонии. Характер Галачяна, его способность сглаживать острые углы в какой-то мере оставили свою печать и на образе повседневной жизни колонии. По закону мирного сосуществования действуют церковь, партии, благотворительный союз, школы. Об этом и говорила я в интервью для армянского радиочаса, пожелав другим колониям применить у себя кипрскую модель. Говоря это, я вовсе не думала, что на Кипре все проникнуто духом тех самых цветов и бабочек, которых я хотела бы видеть на рисунках детей школы «София Акоюян» в Афинах. Под кажущейся спокойной синью моря есть и подводные течения, хотя на поверхности все кажется безмятежным.

Еще в один из первых дней по приезде сюда Галачян сказал, что несколько членов местной дашнакской культурной организации «Амазгаин» хотят повидать нас.

— Если примете, будет хорошо,— тонко подсказал ратующий за единство колонии депутат.

Назначили день и час: в пятницу в десять утра. На стук открываю дверь, и вместо ожидаемых двух-трех человек входит целая делегация. У всех улыбки на лицах, женщины с цветами, последним ходит человек крупного сложения с крупным лицом — Левон Сарян, с которым я познакомилась еще вчера вечером во время приема, устроенного Галачяном в честь гостей из Армении.

— Да, это был один из счастливейших вечеров в моей жизни.— Сарян вольно располагается в кресле.— Разве мог я вообразить, что когда-либо мы снова увидимся с вами?!

Другие гости из «Амазгаина» тут же вторят Саряну, произносят всяческие сверхлюбезные слова, и, следовательно, наша беседа продолжается так, как и началась,— непринужденно, шутивно, в духе цветов и бабочек. Просто какой-то медовый час.

Председатель «Амазгаина» Арто Давтян тем не менее желает придать целенаправленность своему приходу.

— У нас хороший струнный оркестр, хотелось бы попросить прислать для него произведения армянских композиторов... И ансамбль танца есть у нас, может быть, Армения пришлет нам на несколько месяцев балетмейстера?

— Вряд ли, вы, наверное, знаете, что «Амазгаину» мы никого и ничего не посылает.

— Почему, **тикин**¹⁰ Капутикян? Мы ведь уже изменились,— сладко улыбаясь, тянет Левон Сарян, член местного комитета «Дашнакцутюна».

— Не знаю, насколько вы изменились, но знаю, что в этом году 24 апреля в Лос-Анджелесе во время траурного митинга в Монте-Бело ваш оратор публично заявил, что у армян существует два врага — Россия и Турция..

— Не может быть!..

— Как это «не может быть»? Кесеян сказал это в своей речи, произнесенной по-английски..

— Это невозможно,— прерывает меня Сарян.— Уже более десяти лет у нашей партии положительная ориентация на Россию.

— Что там за занавесом, мне не известно, а вот по эту сторону занавеса... Тот, кто всерьез озабочен судьбой нашего народа, будь это человек или партия, не может позволить себе такое. Но, вероятно, вашим ораторам из Монте-Бело очень необходимо было подпеть антисоветскому хору Рейгана..

Арто Давтян, видя, что медовый час чем дальше, тем больше приобретает горький привкус, пытается вернуть нас к исходной тональности беседы.

— Значит, получить балетмейстера невозможно?

— Почему невозможно? Пусть его пригласит Благотворительный союз Кипра. А когда он приедет сюда, вы можете попросить его заняться и вашей группой. Такие прецеденты бывали в Канаде, Франции.

Амазгаинцы, которые просили свидания минут на пятнадцать — двадцать, видят, что дело уже подходит к часу, и встают. Так закончился этот обмен любезностями, никого и ни к чему не обязывающими.

Как бы армянские заботы и тревоги ни владели мной, тем не менее надо хоть немножко познакомиться с Кипром, осмотреть его памятные места, набережные, музеи. К сожалению, большая часть достопримечательностей оказалась на оккупированной стороне острова, и увидеть их, само собой, было невозможно. Оставались Пафос, скала Афродиты, античный памятник «Дом Диониса», которые и взялись показать нам хозяева.

По дороге в Пафос мы должны были заехать в армянскую школу в маленьком городе Лимасоле. Это уже третья школа, которую мы посещаем. Отраднo то, что все три армянские школы в Никосии, Ларнаке и Лимасоле носят одно и то же имя — Нарекаци¹¹. Закинутые так далеко от священной земли Нарека, собравшись вместе, дети поют, танцуют, читают стихи на языке Нарекаци, своим ребяческим щебетом как бы возвращая детство тысячелетнему старцу и тем самым переосмысливая символику его скорбного отшельничества..

Подъезжаем к школе в Лимасоле. Во дворе, как всегда, нас встречают дети, учителя, родители. И, как всегда, в зале праздничное оживление, слова приветствий, пение, декламация.

Эта встреча вызвала во мне дополнительную волну воспоминаний. Ровно пятьдесят лет назад в этот же день, 24 декабря 1933 года, в ереванской газете «Пионер канч» («Пионерский клич») увидело свет мое первое стихотворение. Называлось оно «Живем мы не как вы». Именно об этом важном для меня событии я и рассказала в своем выступлении, рассказала о трудном пути, пройденном мной и моим поколением, вспомнила свою школу, своих учителей, вспомнила маму, которой, увы, уже не было, и я на этот раз впервые поехала в спюрк, не унося в своих глазах родного образа — сухонькую, но такую живую фигурку, слившуюся с ковром на тахте,— не оставив дома человека, который так трепетно ждал бы меня издали, так тосковал бы обо мне.

Ту давнюю дату я собиралась отметить дома не официальным юбилеем с громким названием «Пятидесятилетие литературной деятельности», а небольшим поэтическим вечером, после чего собиралась посидеть с друзьями за накрытым столом. Может, был свой смысл в случайном стечении обстоятельств, в том, что этот небольшой вечер состоялся здесь, в не известном мне до сих пор, таком далеком от нас городе Лимасол, в армянской школе «Нарек», и этот накрытый стол оказался в совсем уж не представимом для меня месте, в маленьком ресторанчике на высоком берегу Эгейского моря возле скалы Афродиты. Ведь больше половины этих пятидесяти лет про-

¹⁰ Госпожа (арм.).

¹¹ Великий армянский поэт X—XI вв., автор «Книги скорбных песнопений».

шло с того дня, когда мое стихотворение «Слово сыну» дошло до спюрка и было услышано там. Начиная с того дня я тоже почувствовала себя связанной с этими еще неизвестными мне дальними далями. Дали эти потом приблизились, обернулись людьми, ставшими друзьями, близкими, не отделимыми от меня, ставшими частью моей жизни, моей души, моей повседневности.

Хотя я собиралась поведать о жизни на Кипре, но вижу, что рассказывать-то мне почти не о чем: все четыре дня, проведенные там, мы вертелись в орбите кипро-армянских дел, и таким стремительным было это верчение, что трудно оказалось даже на несколько часов вырваться из него. Только в день отъезда появилось какое-то окно.

Часа два мы гуляли с нашими здешними друзьями по Никосии. Белый благоустроенный город. Неширокие улицы, одноэтажные, двухэтажные чистенькие дома, осеннее немногочисленье придает городу какую-то спокойную размеренность. По обеим сторонам улиц — магазины, со вкусом сделанные витрины, которые озабочены только тем, чтобы заманить внутрь прохожего.

Неторопливо прогуливаемся, заглядываем в магазины, рассматриваем дома, и вдруг...

— По этой улице ходить нельзя, — предупреждают наши спутники, — видите, на здании турецкий флаг...

Несколько узеньких улиц искусственно превращены в тупик. Дальше прохода нет. Демаркационная линия. На близстоящих домах — флаги с полумесяцем. Таким образом, пограничная полоса проходит по намеченной этими флагами черте, тянется через город и продолжается поперек северной части острова, оставляя за собой самые плодородные земли, центры туризма, знаменитый порт Фамагусту. Две-три недели тому назад все эти улицы и площади были заполнены манифестантами, протестующими против создания на кипрской земле турецкого государства. Дух этих манифестаций поддерживают также правительства Кипра и соседней с ним Греции, которые устами своих лидеров на разных международных форумах и заседаниях ООН поднимают вопрос о независимости, о целостности и единстве Республики Кипр, об уважении к суверенитету и правам стран Эгейского моря. Но, видимо, как горестно сокрушался Аветик Исаакян, «право — лишь в силе, другого права нет»...

Новогодний вечер в Никосии в разукрашенном зале «Хилтона» достиг своего апогея. Столики оставались уже почти пустыми, зато площадка для танцев забита до отказа, и танцующие — молодые и пожилые, женщины и мужчины — так густо толпятся, так усердно жестикулируют, что и не разберешь, кто из них есть кто, какого возраста и во что одет.

Господин Галачян предлагает Мелании спеть. Я немножко трушу, что в этой суматошной суতোлке сейчас не до Комитаса или Канаच्याна. Тем не менее Мелания и Ашхен направляются к сцене. Оркестр мгновенно замолкает, танцующие поспешно возвращаются на свои места, затихает скрип стульев, и Мелания начинает петь. Минуту спустя эти, казалось, бесповоротно сдавшиеся горячке диско и роков, лихорадочно мечущиеся души постепенно скупиваются, по-сиротски беспомощно съеживаются под материнским крылом армянского крунка и, затаив дыхание, слушают, грустят, тоскуют.

Крунк, куда летишь? Крик твой слов сильнее.
Крунк, из стран родных нет ли хоть вестей?¹²

После Мелании к микрофону подошла я. И потому что это было моим завершающим выступлением не только на Кипре, но и во всей поездке, невольно речь моя обрела какие-то обобщающие акценты.

Я говорила о том, о чем говорила в Афинах в театре «Диана» на самой главной нашей многолюдной встрече, а затем на Кипре в зале лица «Мелконян», — о своем впечатлении от Греции и Кипра, от наших посещений здешних армянских колоний.

— Побывав в этих колониях, — говорила я, — еще и еще раз восхитилась я теми неустанными усилиями, которые люди проявляют здесь, чтобы сохранить школы, газеты, культурные и благотворительные общества. Но я и огорчилась, увидев, что иные в спорке, руководствуясь мелкими, корыстными интересами, углубляют разрыв между различными национальными кругами.

¹² Народная песня «Крунк» («Журавль»), положенная на музыку Комитасом, в переводе В. Брюсова.

Мы, люди из Советской Армении, не можем не радоваться тому, что в некоторых колониях, как, например, на Кипре, постепенно смягчается напряжение и, несмотря на существенные разногласия, противоборствующие стороны склоняются к более терпимому решению возникающих проблем.

Наша родина, наша возрожденная Армения — духовная отчизна и для своих раскиданных по свету сынов. Гордый ею армянин увереннее шагает по чужим асфальтам. Армянский учитель в спорке умножает свои старания сохранить родной язык, самобытную культуру. Неотступная тоска спорка по родине, которая часто была просто инстинктивной, даже в чем-то умозрительной, становится земной, материальной, становится имеющим адрес и направление патриотизмом.

Угроза бездуховности нависла над всем миром, угроза душегубительной страсти к материальному. Для нас, армян, это особенно существенно. Разбросанные по всему свету, мы должны сохранить свою национальную целостность, сохранить ее тем, чем мы были живы века, — своей духовностью. Именно об этом и написаны строки, которые я хочу вам прочесть.

О, душа, чтоб тебе не застыть, по горé
Той далекой, святой ты должна тосковать.
У источников щедрых — по капле воды
Родниковой, живой ты должна тосковать.
Фитилем для свечи все мечтанья скрутив,
Ты должна все гореть, и гореть, и гореть.
У амбаров, наполненных сытным зерном.
По просвирие простой ты должна тосковать.

(Перевела Е. Николаевская)

Мир сейчас в таком состоянии, что никакие классические прилагательные — безумный, хаотический и прочее в этом роде — не в силах его определить. В его основание заложена взрывчатка, которая в какую-то нервную секунду может взметнуть землю вверх, затопить все атомной лавой. Так давайте же пожелаем миру, его буйствующим страстям успокоения, пожелаем миру мира, который необходим всему человечеству, и в том числе нашему народу, потому что, как вновь показали события последнего десятилетия, в каком бы конце мира ни поднялась буря, будь то в Ливане или Иране, в Греции или на Кипре, волны докатываются и до наших армянских островков и делают еще менее надежными их и без того зыбкие берега. Значит, пусть победит мир, который во все времена был правом и мечтой человека. С этой верой я оставляю далекие згейские берега, оставляю нашедших здесь приют и гостеприимство греческого народа своих братьев и сестер. Я счастлива и благодарна судьбе, что принадлежу к малочисленному, но создававшему и создающему народу, что я его дочь и поэт, награжденная им, по словам Текеява, даром «чувствовать красоту той боли и тех надежд, которые заключены в самом понятии „родина“».

Во мне твои радости и раны,
И тяжестей твоих влачу я груз,
Но лишь тобой дышу я и горжусь.
Горжусь уделом твоего поэта,
Тобой горжусь — пусть велика планета,
Я счастлива, что не в ином краю,
А здесь я рождена, не там, не где-то.
Мой скромный дар — простая песня эта...
Я так стараюсь жить и так пою,
Чтобы во мне узнали дочь твою...

(Перевел И. Стефанович)

Перевела с армянского ТАТЬЯНА СМОЛЯНСКАЯ.

О ЧИЕ РУКИ НАШИ ИХ ДНЕИ

Трикалье — продолжение встреч

ГРИГОРИЙ РЕЗНИЧЕНКО

★

БРИГАДИР

На литейном заводе Камского объединения по производству большегрузных автомобилей «КАМАЗ» я был последний раз в феврале нынешнего года. В этот, да и в более ранние мои приезды в Набережные Челны, кажется, не проходило дня, чтобы литейный не посещали экскурсии.

Речь идет не о передаче опыта или изучении новой технологии теми, кто совершенствует литейное производство на других заводах. На литейный кроме специалистов просятся директора школ и учителя, старшеклассники, торговые работники, колхозники. Посмотреть на работу литейщиков едут на завод партийные и советские, профсоюзные и комсомольские работники. Не только челнинцы, но и приезжие, командированные, притом не имеющие порой даже косвенного отношения к литейному делу.

Литейный завод — предприятие уникальное. Он, как говорят специалисты, единственный в Европе. И, пожалуй, нет ничего зазорного в том, что люди хотят увидеть, ощутить его уникальность. А она, если говорить проще, может быть объяснена так: новая и новейшая технология плюс объемы. Завод в год дает 600 тысяч тонн литья! А если уж быть совсем точным — должен давать. И уточнение: дает или должен давать — впереди.

Второй важный показатель завода в том, что он производит не просто слитки, или чушки, а готовые детали. Притом такие, которые после минимальной механической обработки идут непосредственно на сборку узлов, а оттуда поступают на сборочный конвейер. Есть на заводе корпус серого и ковкого чугуна, корпус стального литья, корпус цветного литья, корпус ремонтного литья...

У человека, впервые попавшего на литейный может создаться впечатление, что завод работает в автоматическом режиме. Рабочих на нем почти не видно, но эта громадина прячет в своих корпусах, цехах не одну тысячу тружеников. Автоматических, полуавтоматических линий и участков там тоже множество, и все же это еще не завод-автомат, хотя последнее слово в литейном производстве. Наверное, и это притягивает посторонних.

...Но сначала был РИЗ.

Когда начиналось строительство заводов будущего объединения «КамАЗ» и пришла очередь пуска первого из них — ремонтно-инструментального, его обитатели, вставшие к станкам первыми, пережили стресс под названием внимание.

На РИЗе полно станков для сверхточной обработки деталей, и не дай бог, завихрит пыль от быстро несущегося по широкому пролету автопогрузчика или температура на градус-два поколеблется. Иностранные фирмы, поставявшие станки, не гарантировали точность обработки при несоблюдении оптимальных условий эксплуатации.

Как же было соблюсти эти параметры, если РИЗ тогда, словно остров в океане, возник первым из шести заводов среди траншей и котлованов, груд развороченной глины. А она коварная, то в виде прицепившейся грязи к сапогам или шинам колес, то превратившись в пыль, что еще хуже, проникала на завод. Надо ли объяснять, что такое пыль для точнейшего станка? Наждак! Тогда приходилось рассказывать, убеждать. Поняв, люди стали наводить чистоту, будто в собственной квартире. Прежде всего огромным пыленепроницаемым полотном перегородили завод. Устроили санитарную зону. На одной половине работали строители и монтажники, на другой токари, фрезеровщики, шлифовщики точили детали. Но были станки, которые не освобождались от полиэтиленовой одежды до полного пуска завода и наведения идеальной чистоты.

Собственно, после пуска РИЗа, наверное, и эта идеальная чистота, да еще на таком огромном предприятии, плюс уникальное практически оборудование и привлекали к себе горожан, рабочих со стройки, монтажников с других заводов.

Люди приходили толпами, приводили с собой детей. Сначала были вопросы: «Ну как? Хорошо? Удачно?» А потом пошла людская молва: «На все сто сделано! Игрушка, а не завод!» И после такого «анонса» наступило короткое, правда, время, когда многие, кто имел профессию металлста, устремились в отдел кадров РИЗа. Но... ниже 4-го, а по ряду профессий и 5-го разряда рабочих туда не принимали. Значит, надо учиться? Да. Учились, если очень хотели попасть на РИЗ, а спустя два года — и на литейный.

— С восьмилеткой не берем, — говорили в отделе кадров.

— Но я иду к вам рабочим, а не начальником, — настаивал претендент.

— Формовка — дело тонкое.

— Да я на формовке не один год вкалывал, — не унимался желающий работать на литейном.

И тогда инженер объяснил:

— Там трамбовку в руки и — вперед, а здесь автоматические формовочные линии, конвейеры. Приходите с аттестатом зрелости. Остальному научитесь у нас...

Челнинцам первенец РИЗ запомнился надолго. Его называли «стартером» объединения «КамАЗ». Рассказывают, после пуска к воротам завода не раз подкатывали свадебные автомобильные кортежи. Сторожа не имели права пропускать на завод посторонних и все же иногда делали исключение — разрешали пройти туда женихам и невестам, желая последним такого же образцового порядка в их будущем жилище, какой царил на заводе. За РИЗом пошли дизельный и пресово-рамный, литейный, кузнечный, агрегатный, автосборочный. Пуска литейного ждали с нетерпением. Не только ждали, но и делали для этого все.

Ныне на литейном работает 15 тысяч человек. Один из них — Геннадий Баштанюк. Нет, он не литейщик, не формовщик и не стерженщик (это чисто женская профессия), не плавильщик и не обрубщик. Геннадий Баштанюк слесарь-ремонтник. Рабочий не основной профессии? — спросит читатель. Да, не основной. Но таких рабочих на заводе более 4 тысяч человек. Операторы орудуют на линиях, эксплуатируют их, а наладчики и ремонтники, как врачи, следят за «здоровьем» этих линий и агрегатов.

Биография рабочего Геннадия Баштанюка крепко переплелась с историей литейного, хотя по ее началу, по тому, как развивались события, трудно было предположить, что именно этому заводу (как теперь уже ясно видно) суждено стать главной страницей в его жизни.

Геннадий Баштанюк — бригадир. На КамАЗе 3200 бригад, на литейном заводе — 490. Он возглавляет специализированную комплексную бригаду, работает сам и руководит советом бригадиров объединения «КамАЗ». Сейчас в народном хозяйстве начался массовый переход на рельсы, как говорилось в годы индустриализации, бригадной формы организации труда. Перевод производства на такую форму работы, а тем более внедрение хозрасчета (хотя бы частичного), как это делается на литейном и в объединении, сулит множество всяких выгод и рабочему и предприятию. Попробую с этой точки зрения дать краткую характеристику, например, бригаде Баштанюка. Хотя... Какой же хозрасчет может быть у ремонтников? — спросят знающие люди. И что принять за конечный результат? В практику ремонтных бригад с недавнего времени вошел такой показатель, как лимит простоя оборудования. Должна же быть у каждой бригады своя цель, чисто производственная. Ведь форма формой, а результат прежде всего. Бригада ремонтников, о которой идет речь, обслуживает 16 гидростанций завода. В недалеком прошлом простой гидростанций достигали восемнадцати — двадцати часов в месяц. Соответственно, то же количество часов из-за ремонтников не работали и автоматические формовочные линии. Бригада Баштанюка постепенно добила резкого сокращения простоев: один-два часа в месяц — не более. Этот показатель и является для нее конечным результатом. Добившись такого положения, рабочие бригады стали получать на 35—40 процентов больше.

В Челнах, на заводе я впервые оказался в феврале 1976 года. Самолеты, кажется, туда еще не летали или летали, но не совсем регулярно. Поэтому из Москвы мы, группа сотрудников журнала и авторов, поехали поездом. Через полтора суток оказались на станции Круглое Поле. Оттуда на восьмиместном «глазике» добрались до завода.

Глубокая ночь. Яркая луна. Дома как на ладони, ни единого почти деревца. И снега тоже нет. На зубах скрипит песок. Мороз под тридцать градусов. Пронизывающий насквозь ветер с Камы, скованной льдом. И желание хоть чем-нибудь согреться. Но, увы, в городе сухой закон.

На следующий день пуск первой очереди КамАЗа, первого конвейера. Что было! И кумачом повязанные новенькие долгожданные красавцы «КАМАЗы», выплывающие с конвейера, словно Стенки Разина челны, и сияние улыбок, и гром оркестра, и открытые, задушевные, без бумажек речи, море людей и, несмотря на холод, общее веселье на улицах.

На пуске первой очереди автосборочного конвейера строители и рабочие, горожане слышали о новых своих героях, добывших славу трудом. Упоминался тогда и Баштанюк. Бригадир пусконаладочных работ, слесарь 6-го разряда, лауреат премии Ленинского комсомола. В тот год его наградили орденом Трудового Красного Знамени. Геннадью было неполных 27 лет. А средний возраст горожан, к слову будет сказано, равнялся 24 годам. КамАЗ строила молодежь! Геннадия Баштанюка я еще не знал, не успел даже щепотки соли с ним съесть. Но уже много слышал о нем, о его бригаде от партийных работников города. Тогда же хотел познакомиться с ним, однако встреча не состоялась: Геннадий болен.

Когда пришло время пуска второй очереди конвейера, имя Баштанюка не просто упоминалось, а гремело на весь город, на всю Татарскую республику.

В Автозаводском райкоме КПСС мне не стали ничего рассказывать о Баштанюке. Мол, и так все известно, слышал, наверное, зачем повторяться. Посоветовали ехать на завод, в бригаду. Подвезли, потому что заводы «КамАЗа» по самым современным нормам планировки построены вдали от города. Машиной около получаса ехать, а трамваем, автобусом — минут сорок.

Баштанюка на месте не оказалось. В тот день по графику у него был выходной. Начинать разговор в бригаде без него я не стал, ведь не дело какое-то расследовать взялся. В парткоме завода сказали:

— В «Энергетике» вечером торжественный митинг по поводу пуска второй очереди автосборочного конвейера. Баштанюк там выступает.

Разочарованный таким неожиданным поворотом дела, я все же хотел хоть что-нибудь узнать о нем. Заведующая общим сектором парткома предложила мне тощенькую папку. В ней я обнаружил две газетные вырезки да «Основные данные» на Баштанюка Геннадия Сергеевича на полутора машинописных страничках и три фотографии шесть на девять. Одну попросил для себя. Слегка кудрявые светлые волосы, спадающие на лоб, серые глаза, прямой нос, волевой подбородок, в общем, лицо строгое, серьезное, просветленное изнутри. «Основные данные» положил обратно в папку, предварительно сняв для себя копию. Теперь это своего рода документ времени.

«ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ

Баштанюка Геннадия Сергеевича, 1949 года рождения,
члена КПСС с 1977 года, образование среднее,
слесаря-наладчика ЦРО-7 литейного завода

Баштанюк Геннадий Сергеевич поступил на завод в октябре месяце 1972 года слесарем-ремонтником. Прошел стажировку на сталелитейном заводе в г. Фролово, на Волжском автозаводе г. Тольятти, где повысил квалификацию до 6-го разряда слесаря-ремонтника. В период стажировки проявил себя хорошим производственником и активным общественником. В г. Фролово был комсоргом группы рабочих КамАЗа. С 1973 по май 1974 года работал в составе стройуправления «Металлургстрой» на строительстве встроенных помещений, монтаже и пусконаладочных работах по металлооборудованию.

С августа 1974 года работает в штате завода в ЦРиОТО¹ слесарем-ремонтником 6-го разряда. Был комсоргом комсомольско-молодежной бригады, которая неоднократно занимала призовые места среди комсомольско-молодежных бригад завода и КамАЗа. Тов. Баштанюк Г. С. участник монтажа первого станка на литейном заводе. С августа 1975 года возглавил бригаду по монтажу и пусконаладке первой, четвертой и пятой формовочных линий в корпусе серого и ковкого чугуна. Избран председателем совета бригадиров в цехе.

¹ Цех ремонта и обслуживания технологического оборудования.

За время работы на заводе тов. Баштанюк зарекомендовал себя как грамотный специалист, добросовестный и инициативный работник, хороший организатор. Производственные и нормированные задания бригада его выполняет в срок и с хорошим качеством.

За высокие производственные показатели в работе и активную общественную деятельность он неоднократно признавался лучшим по профессии по цеху и заводу, награжден серебряным знаком «Молодой гвардеец пятилетки», знаком «Ударник строительства КамАЗа», медалью «За воинскую доблесть», грамотой ЦК ВЛКСМ...»

Вечером на митинге я увидел Баштанюка в президиуме. Он сидел во втором ряду сосредоточенный и подтянутый. Деловая часть затянулась, и Геннадия слова не дали. Последними выступали пионеры. Как только закончилось их звонкое приветствие, Геннадий, пригибаясь, покинул зал. То ли на завод вызвали, то ли дома что-то случилось. В тот день я его больше не видел. Наутро мы вылетели в Москву.

Познакомились мы с Геннадием Баштанюком в Москве. А потом неоднократно встречались в Набережных Челнах и снова в Москве. Познакомились в памятный для нас обоих день. Памятный, думаю, потому, что мы по сей день поддерживаем связь. Всероссийское театральное общество и журнал «Новый мир» проводили тогда в Центральном доме актера имени А. А. Яблочкиной вечер «Наш друг КамАЗ». Вели его Вера Васильева и Михаил Ульянов. Встреча получилась проникновенной, душевной. Цвет искусства, его звезды радушно принимали у себя цвет рабочей гвардии с берегов Камы.

От Набережных Челнов речи держали: начальник Камгэсэнергостроя, Герой Социалистического Труда, делегат XXVI съезда КПСС Е. Н. Батенчук (дядя Женя, как зовут его между собой только близкие и строители), Геннадий Баштанюк, избранный на съезде кандидатом в члены ЦК КПСС, секретарь горкома партии Лидия Шилова, бригадир слесарей-трубоукладчиков Спецстроя депутат Верховного Совета СССР Раис Ганеев, бригадир каменщиков, Герой Социалистического Труда Вазых Мавликов, директор кузнечного завода Алексей Суббота.

Расходились мы из Дома Яблочкиной в первом часу ночи. Следующий день был в нашем полном распоряжении.

...Пятнадцать лет из тридцати шести Геннадий прожил в Орехово-Зуево, древнем городе текстильщиков, и тринадцать — на Каме. Родился в Хомутовке Курской области, что в двух километрах от автомагистрали Москва — Киев. До восьми лет жил с бабушкой и дедом в селе. Екатерина Семеновна, завербовавшаяся на фабрику, не раз пыталась забрать сына в Орехово-Зуево. Да не получалось, пока не подошла школьная пора. Однажды по настоянию Екатерины Семеновны бабушка среди лета приехала в Орехово с Геней. Решили все-таки отдать его в детский сад, пусть привыкает к коллективу, да и матери с отцом скучно без него. В общем, определили. День проходит, второй, третий. Успокоились родители, а бабушка засобиралась обратно в Хомутовку: «Дед мой один там, корова, свинья, куры, огород — все на нем». Поджидая трехчасовой поезд, заранее сложила пожитки свои нехитрые, упаковала кое-что из гостинцев. И все же уехала она не в этот день, а на следующий. И не одна, а с Геней.

«Унучик сбежал из детского сада», — сообщила она радостно дочке, пришедшей со смены. «Хочу с бабушкой, — твердил Гена. — Только с бабушкой».

Екатерина Семеновна, вспоминая этот случай, рассказывала:

— Мы жили с Сергеем бедновато, прямо скажем, а у мамы огромный сад, горы яблок белый налив, антоновка, грушовка, огород свой, раздолье, а еще она очень любила внука, души в нем не чаяла. Когда устроили в садик, она и говорит: «Плохо ему там. Плачет, каждую минуту домой просится. Катя, я его заберу». Я противилась, возражала. Не надо, пусть с нами живет. Сбежал.

Сеуя на воспитателей, Екатерина Семеновна все допытывалась: «Как же ты сбежал? Как умудрился?»

Нет, не рассказал он матери. А бабушке, когда приехали в Хомутовку, изложил все, как было: «Притворился спящим. Глаза закрыл, одеяло натянул и жду. Воспитательница все ходила, посматривала. Потом, видно, удостоверившись, что все уснул, ушла. Тихонько поднялся. Кровать сильно заскрипела. Замер, жду. Сейчас придет кто-нибудь. Никто не появился. Открыл окно. С окна по веткам забрался на дерево. Посидел на дереве, подождал. Тихо кругом, мертвый час. Спустился по стволу на землю и бегом».

Детский сад, длинный одноэтажный деревянный дом под зеленой металлической крышей, еще не снесли. И барак, двухэтажный сруб, словно из сказки, в котором жили Баштанюки когда-то, тоже состоит на службе. А прошло уже лет тридцать с лишним как поставили те дома. Крепко они стоят... Увидев внука, бабушка прослезилась.

Ее уже нет в живых, а деду под девяносто. Работал он и председателем колхоза, и бригадиром, и кладовщиком, а потом, когда семьдесят пять отметил, в сторожа перешел.

— Он умел работать. Сад держал в полном порядке,— рассказывал Геннадий.— Ранней весной окуривал, чтобы завязь не померзла, осенью подпиливал сушняк. И плоды у него никогда не валялись. Каждую грушу, яблоко, сливу подберет и в дело пустит. Подбирал каждый упавший плод, а когда приходило время урожая снимать, ведрами раздавал, не жалел. Я, конечно, все время при дедушке был, помогал ему. Или с бабушкой в огороде, но это реже. Они негласно разделили обязанности, и каждый делал свое дело. По субботам да воскресеньям дедушка — его все знакомые звали Кузьмичом — ходил на базар. И если в обычные дни я мог и поспать подольше, то перед базаром вставал вместе с ним. Мы на зорьке шли в сад, собирали яблоки, аккуратно упаковывали корзины и отправлялись. Дедушка на рынок ходил не столько ради того, чтобы натроговать денег,— яблоки он продавал по копейке за штуку,— а чтобы с людьми пообщаться, узнать новости. И мне очень интересно было услышать, о чем говорили взрослые. И об урожаях, и о том, как коров держать, об урезанных огородах, о новых комбайнах да тракторах. Машины мне в душу запали тогда еще. Наверное, поэтому, пока восьмилетку заканчивал, каждое лето ездил в Хомутовку. Там по подсказке дедушки работал помощником комбайнера. А одно лето со строителями коровник ставил. Научился электросварке...

Екатерина Семеновна попала в 1944 году на шелкоткацкую фабрику и с тех пор всю жизнь почти ткала сатин. Обслуживала по восемь — десять и более станков. Сергей Андреевич тоже из рабочих. Работал сновальщиком на той же фабрике, затем на карболитном заводе на тяжелом участке. Южанин. Из-под Херсона. Настырный или, точнее, настойчивый. Встретились и познакомились они в поезде.

— Судьба. От нее никуда не денешься,— говорила Екатерина Семеновна.— Брал он билет в воинской кассе на Киевском в Москве. Я в обыкновенной. Он ехал после демобилизации из армии в Херсон, я до Брянска. А места оказались рядом. Познакомились, переписывались, а потом и поженились. Геннадий рос самостоятельным и чуть-чуть упрямым. Может, и отец в этом виноват. Сергей Андреевич ни к кому не обращался за помощью. В доме все делал сам. И обувь починит, и стекло вставит, и табуретку смастерит, если надо, инструмент какой огородный отремонтирует, ножи наточит, топор, косу отобьет. Любил работу и умел работать. В общем, без дела Сергей не сидел. Ко всему относился очень строго, ответственно. Сергей, бывало, и Гену с собой в сарай частенько брал. А там у него инструмента всякого... Он возится, и сын при нем.

Как ни старался отец, как ни тянулся, мало чего прибавлялось в доме. Скромно жили. Тогда Геннадий и подумал: «Зря штаны протираю. Надо помогать отцу».

Он закончил восемь классов. Поступил в ремесленное училище.

ГПТУ № 115 расположено прямо на территории завода. Можно в цеха заглядывать, есть своя учебная мастерская, выточить и выпилить можно что захочешь. И название профессии привлекало — слесарь по ремонту промышленного оборудования.

Вернувшись домой, Геннадий перепугал родителей, прямо с порога отрезал: «Поступил!» «Куда ты поступал, Гена?» «В московскую ремеслуху». «Как? — Сергей Андреевич строго посмотрел на сына.— Почему меня не спросил? Не посоветовался?» «Я смогу отремонтировать любое промышленное оборудование, отец. Это так интересно!» Отец, услышав его ответ, успокоился, посоветовал только: «Смотри, Гена, не ошибись в выборе» Екатерина Семеновна же была недовольна, она мечтала о пединституте: «Там аядя Володя работает, он человека бы из тебя сделал». Но сын уже сам сделал выбор

И он начал учиться.

— Это были нелегкие для меня годы,— вспоминал Геннадий.— От Орехово-Зуева столица вроде бы и недалеко, всего девяносто километров. Но их приходилось преодолевать каждый день туда и обратно. На дорогу уходило шесть часов. В четыре, в пятом часу вставал, бежал на электричку шестьдесят. На Курском вокзале пересаживался на «букашку». Ехал троллейбусом по Садовому кольцу до Павелецкого, а оттуда две остановки трамваем до кожзавода, в училище. Учиться очень нравилось. Почти с первых дней занятий нас стали водить в мастерскую. Пошла электротехника, механика,

металловедение. И преподаватели чем больше ты интересуешься, тем больше тебе внимания уделяли. Но все же было тяжело. Иногда засыпал. Я ведь одновременно ходил в вечернюю школу. Мать настояла. В наше время без среднего образования, говорила она, ты никому не будешь нужен. И я послушался. Домой, в Орехово, возвращался часов в пять. А к семи торопился в вечернюю школу. Еще и во двор тянуло погулять. И с Олей, женой будущей, надо было повидаться. Мы с ней познакомились в пионерском лагере. Судьба, как говорит мама. Сестренки подрастали, им тоже внимание требовалось. Но мне тогда ничего так не хотелось, как спать. Постоянно не высыпался.

— Да, доставалось ему,— вспоминает и Сергей Андреевич.— Придет со школы где-то в одиннадцать, в двенадцатом часу. Картошечки там поджаришь, поставишь перед ним, а он уж спит. Мать разбудит, ложку в руки. Ел, не ел, глядишь — опять спит. Утром будишь, а он с куском хлеба в руке, не доел. Но учился Гена всегда на отлично. Когда стал ездить в Москву, и без шапки возвращался, и с фонарями. Павлопосадские тузили ореховских, а эти тех.

Геннадью, когда он поступил в училище, не было еще шестнадцати. А мастеру производственного обучения Михаилу Николаевичу Кровякову, его, можно сказать, первому учителю, шел двадцатый год. Михаил Николаевич заканчивал это же училище, затем — вечерний машиностроительный техникум, армия. Сейчас у него диплом пединститута. Кровяков по-прежнему работает в ГПТУ-115.

— Геннадий — человек принципиальный. Он хваткий и жадный до работы, прямой,— сказал Михаил Николаевич при нашем знакомстве.— Он жил в Орехове-Зуеве, а учился у нас. Еще ходил в вечернюю школу. И представляете, ни разу за два года не опоздал на занятия! Ни разу! Играл в хоккейной команде за училище и после игры, бывало, возвращался домой в полночь. Но на занятия опять-таки не опаздывал.

Михаил Николаевич рассказывал, как учился Геннадий, как закончил училище. Потом рассматривал его аттестат с отличием.

Производственную практику молодой рабочий проходил на кожевенном заводе имени Тельмана. Освоился за две-три недели. Когда заболел фрезеровщик, встал к станку. И месяца два не расставался с ним. Уже тогда он приобрел вторую специальность. Тяжело отпускал его начальник цеха Филипп Григорьевич Кутовский, мастер старой закалки. «Оставьте его на заводе,— упрашивал он.— Мы присвоим ему высокий разряд».

Но строгая комиссия распределила выпускника училища на одну из московских фабрик. Поначалу он даже несколько разочаровался. Многие его товарищи попали на новые заводы, их много строилось в 60-е годы, а ему досталась работа на старой фабрике, да еще с допотопным оборудованием, и наставник — дядя Паша, сам бригадир Павел Янышев, хмурый, казалось, неразговорчивый. Кряжистый, крепкий мужчина, он никогда не делал ничего лишнего, не читал нотаций, не любил шумихи, а дело знал. О выходных днях говорил: «Это дни лодырей».

— Помню,— вспоминал Геннадий,— как обижался на бригадира, когда он давал задание рубить зубилом огромные гайки на сушильных барабанах, чтобы снять прикипевший хлостовик. Обижался и на старших товарищей, когда они смеялись, глядя на мои распухшие от прямого попадания ударов молотка руки. Дядя Паша в такие минуты успокаивал: «Это ты мужаешь, сынок».

Работая на фабрике, да и в последующие годы Геннадий не раз виделся со своим мастером из училища Михаилом Николаевичем. Они, видно, оказались «одной группы крови». Оба любят технику, умеют работать. Нередко приезжал к нему. Потом был большой перерыв, лет пять. Когда Геннадий в очередной раз попал в Москву, что выпадало не часто, решил навестить своего учителя. А Кровякова на месте не оказалось. И дома его не было. В училище сказал: «Передайте Михаилу Николаевичу, что к нему приходил Баштанюк». Пообещали. Но, как потом выяснилось, забыли.

Это досадное недоразумение разъяснилось при их следующей встрече. Она произошла в Москве в дни работы XXVI съезда КПСС, на который Геннадий Баштанюк прибыл в качестве делегата.

Кровяков пришел в гостиницу «Россия», где остановились делегаты, поздравить былого питомца. И вот тот предстал перед своим наставником — куртка нараспашку, руки раскинуты для объятий. А Кровяков с ходу ему: «Я злой на тебя, Геннадий! Зазнался... Училище забыл». «А вам разве не передавали? — удивился Геннадий.— Ведь я приезжал к вам в тот день, когда мне вручили премию Ленинского комсомола. Спасибо хотел сказать. Это благодаря вам...» Кровяков удовлетворенно улыбнулся. «Что ж,

хорошо. Не зря я, значит, тебя учил». Они обнялись. Геннадий с радостью сообщил своему учителю: «Работал на ситценабивной в Москве, в Орехове — на красивой фабрике, на «Карболите», в Набережных Челнах — в Metallургстрое, но любимой своей специальности не изменил».

— Геннадий умел держать слово,— рассказывал Кровяков.— Однажды пообещал достать новогоднюю елку. Собрали деньги, а купить приличную красавицу не удавалось. Тогда он роздал деньги и сказал, что привезет из-за города, да еще бесплатно. Взял с собой трудного, недисциплинированного Брехова, шефствовал над ним. И они уехали под Каширу. Брехов где-то там жил, а учился тоже в ПТУ. Уговорили лесника, и тот разрешил им срубить ель. В вагон электрички они еще кое-как, с горем пополам попали, втиснулись. Но потом ни в какой городской транспорт запрянуть елку не могли. И Геннадий с Бреховым тащили ее по центральным улицам Москвы от Курского до Павелецкого вокзала и дальше до училища на себе.

Спустя год после окончания училища Баштанюк получил повестку из военкомата. Пришло время служить в армии. Парни гордились предстоящей службой, родители же возлагали на нее свои надежды. Были традиционные проводы. Не шумные, как ныне, когда собирается человек сто, а то и двести. Скромные. Отец говорил: «Ничего, Гена, армия — дело хорошее. По себе знаю». А мать еле сдерживала слезы. Тревожилась она не только за сына, но и за внучку. В Орехово-Зуеве оставалась хрупенькая Оля с трехмесячной Наташей на руках. Говорили, что поторопился Генка с женьтибой. Отслужил бы сначала. Два года все-таки.

Под утро молодожены расцеловались и поклялись друг другу в верности. Долго потом под перестук колес Геннадию слышались слова той клятвы: «Буду ждать тебя сколько потребуется». Да вспомнилось, как бежала за автобусом заплаканная жена, останавливалась, махала рукой и снова бежала.

Геннадий окончил школу радистов. Он десантник, связист. Через три месяца — первый прыжок с парашютом.

— Страх никакого,— делился воспоминаниями Геннадий.— Потому, видимо, что в первый раз и ощущения еще не ведомы, не с чем сравнивать. Второй раз когда прыгал, напрягался, зная, что будет яма, потом купол раскрывается, будет рывок, а затем радость плавного спуска. Правда, пока спускаешься, надо сориентироваться, как действовать, в каком направлении развернуться на стропях. Спустившись, собрав парашют, если обстановка позволяет, сразу же начинаешь готовить рацию, зная, что через минуту-другую раздастся голос комбата: «Радиста ко мне!» После пятого прыжка привык. Иной раз казалось, что на ходу с трамвая прыгнул. Так было, пока мы прыгали с «АН-2». Когда же стали выбрасываться с «АН-12», дух захватывало. Скорость у этого самолета, когда десант выбрасывают, больше. Не успеешь подойти к краю люка, как тут же-е-х — и тебя уже оторвала от самолета неведомая сила. Внизу поля, леса. Ширь земная перед тобой! Стучит сердце, отсчитывая секунды задержки. Потом рывок — и ты под куполом! Удивительное ощущение! На земле этого не испытать...

Геннадий считает, что ему с армией повезло. Он прошел хорошую физическую подготовку, получил специальность радиста, которая в случае чего могла согдиться и на гражданке. Радисты — солдатская интеллигенция. Говорит, служилось легко. Правда, до одного случая.

Формировали батальон на уборку урожая в Херсонскую область. Геннадий — радистом, связь давать. Собирался на родине отца побывать. До отъезда оставались сутки. Колонну расположили в лесу, спали в машинах. И тут узнал он от дружка, что есть недалеко птицеферма. Девчата приглашают сковорода большая имеется, пятьдесят яиц сразу можно поджарить. Лакомство, конечно, после солдатской каши. Немного стемнело. После отбоя, как говорится, ноги в руки, в кусты и — айда! По дороге договорились не задерживаться, чтобы не влипнуть. Но девчата оказались гостеприимными. Возвращались на рассвете. Старшина же не спал: кто-то сказал ему, что шестеро в самоволке. Четверо проскочили. Геннадий подкрался к машине, перемахнул через борт и укрылся плащ-палаткой. А тут старшина: «Ага, еще один чижик. Подъем!» Выстроили. Баштанюку и Кириллову — десять суток гауптвахты.

Отсидел он положенное вдали от своей части. Батальон давно уже был в Херсоне, когда за ним прислали машину и конвоира. Майор, начальник связи полка, внимательно осмотрев солдата, строго сказал: «Нет, мне недисциплинированные не нужны. Пойдешь в стрелковый батальон, к куркам поближе. Там тебя перевоспитают... Идите готовьтесь».

Геннадий молча выслушал, отчеканил: «Есть идти готовиться к отбытию в стрелковый батальон». Круто развернулся и ушел в расположение своего взвода. Радист в стрелковом батальоне пришелся ко двору. Дело свое, главное, он знал, имел второй класс. Командир батальона обрадовался: «Мне как раз радист нужен. Во как! Вот тебе «ГАЗ-69». Назначаю командиром радиостанции».

Служба в батальоне труднее, но зато быстрее пошла. Батальон был передовым. Частые учения, боевые стрельбы. То прыжки, то разведывход с задержкой раскрытия парашюта. Мечта! Не летишь, а паришь! Были выбросы и на воду ночью. Сверху звезды и внизу тоже, отраженные. Опускаешься как в бездну. У самой воды надо успеть отстегнуть парашют. Завоеваешься — затынет. Намучаешься! К концу первого года службы Баштанюку присвоили звание сержанта. Ему был предоставлен десятидневный отпуск.

— За что? — переспросил Геннадий. — На учениях отличился. Батальон выбросили ночью в подкрепление. Снег. Ничего не видно, не разберешься сразу. Прыгали с четырехсот метров. Двенадцать секунд — и земля. Я не успел сгруппироваться, и рукоятка кинжала при приземлении повредила десны, верхнюю губу. Ее в буквальном смысле слова завернуло на нос. Все распухло. Настроил радиостанцию, нашел комбата. Протягиваю ему наушники, а сам думаю: хоть бы не отправил он меня в санчасть. А он приказал: «Санитара ко мне!» Тот наскоро наложил пластырь, и я уже снова настраиваю рацию. Батальон пошел в наступление. Командир бежит, и я бегу. Пальба идет кругом. Потом залегли. Снова вперед. Комбат бежит, и я бегу с рацией. Так мы с ним пробегали трое суток по району учений.

Когда батальон вернулся в казарму, командир построил бойцов и объявил: «Гвардии сержант Баштанюк во время ответственных учений, близких к боевым действиям, несмотря на травму, полученную при приземлении, не оставил строй, обеспечивая четкую и бесперебойную связь. За отличное несение службы гвардии сержанту Баштанюку Геннадию Сергеевичу предоставляется отпуск на родину. Срок отпуска десять дней».

«Поезжай, сынок, посмотри на свою дочку, — напутствовал на прощание командир батальона. Пожал руку, добавил: — Удивляюсь, как ты выдержал те трое суток. Гляжу на тебя: глаза навывкате, красные, как у карася, а ты все бу-бу-бу. Молодец, в общем. Возвращайся скорее!..»

Перед самой демобилизацией Баштанюк получил свою первую правительственную награду. Пять человек в полку, и он в том числе, были награждены медалью «За воинскую доблесть» в ознаменование столетия со дня рождения В. И. Ленина. Геннадию шел тогда двадцать первый год.

Отдохнув две недели после армии, он начал думать о работе. Его тянуло к делу. Сильный, с крепкими, истосковавшимися по работе руками, с хорошим настроением, Геннадий начал искать место, где бы он мог разгуляться, где можно было бы приложить накопленные за два года силы.

— Иду на фабрику, — объявил он Оле, не догуляв положенные десять дней. — Хватит! Соскучился по работе.

Первые дни и первые месяцы вкалывал не разгибая спины. Оборудование на красивой фабрике старое, почти первобытное, еще зингеровское. Зубило да молоток — основной инструмент слесаря. Руби себе болты.

Прошло полгода. Наступило разочарование. Не о таком деле мечталось. Геннадию хотелось работать с настоящей, современной техникой. Правда, на красилке обещали реконструкцию. Ждал. Да не выходило пока. Ничего полезного на фабрике он не приобрел, хотя и узнали его там как трудолюбивого, настойчивого и усердного.

В это же время на «Карболите» строили три корпуса. Один пустили. Литье под давлением. Собирались отливать для «Жигулей» разную мелочь из пластмассы типа подфарников, коробок всяких, ручек, кнопок. Поговорил Геннадий с одним из знакомых: «Возьмут, как думаешь?» — «Разряд какой?» — «До армии был четвертый». — «Подойди к механику, поговори».

С фабрики не отпускали. Геннадий, как он выразился, пошел на затяжной прыжок. Подал заявление, отработал две недели и ушел. На «Карболите» он впервые в своей жизни столкнулся с гидравликой. Пришлось взяться за книги. Днем слесарничал, а по вечерам докапывался до сути, пытаясь постичь основные принципы этой науки.

На заводе Баштанюк попал к Владимиру Соловьеву, слесарю от бога, душевному человеку. Геннадий не просто сменил место работы. Он встретился с настоящим мас-

тером. Именно тогда из рассказов, уроков Соловьева он впервые понял, как нежна и прихотлива гидравлика.

Через год Геннадий сдал на 5-й разряд. Событие для молодого человека значительное. И не только из-за надбавки к зарплате. По своим знаниям, умению узнавать машину, ее «болезнь» он теперь отставал от своего мастера всего на один разряд.

Способности его заметили. Вскоре позвал к себе начальник корпуса и предложил:

— Надо попробовать с комсомольско-молодежной бригадой.

Геннадий не сразу понял, к кому это относится, и поддакнул:

— Конечно, надо. Оборудование хорошее, новое.

— Вместо тридцати литейщиц оставим в смене человек пять, от силы шесть. Пусть автоматика поработает. Эффект налицо. Более чем в пять раз повысится производительность.

— Здорово, — поддержал Баштанюк. — А оплата — как сейчас?

— Пока да. Но потом перейдем на повременно-премиальную. Бригада серьезная.

План известен. Перевыполнили — получаете надбавку.

— А если не вытянули?

— Будем снижать зарплату.

— Эксперимент, в общем?

— Да, эксперимент. Во всей отрасли. Тебя в бригадиры предлагаем. Возьмешься?

— Есть слесаря постарше и поопытнее...

— Но ты человек свежий. Тебя интересует, как я заметил, все новое. Берись, поможем.

— Справлюсь ли? Очень уж ответственное дело.

— Справишься, Геннадий.

Бригаду скомплектовали быстро. В нее, кроме литейщиц, вошли слесари, электрики, наладчики. В приказе по заводу бригаду назвали комсомольско-молодежной, экспериментальной.

Год с небольшим просуществовала та бригада. Но настоящего эксперимента, как предполагалось, не вышло. Баштанюк так об этом рассказывал:

— В корпусе литейных машин работала тогда в основном молодежь. На одном из участков смонтировали тридцать новеньких итальянских машин. И у каждой — по человеку. Накладно, конечно. Предложение о том, чтобы возглавить бригаду, застало меня врасплох. Когда сказали, что нам надо будет обслуживать тридцать автоматов в три смены, совсем оробел. Но когда взялся, доверие, наверное, ободряло, крутился как белка в колесе. День смешался с ночью. Мне двадцать один год. Слесарить мог, нравилось, но опыта работы с людьми практически никакого. А в мои обязанности входило многое: обеспечение участка материалами, сдача продукции, наладка машин. Главное, надо было добиться, чтобы тот же план выполнялся меньшим количеством людей. В общем, к концу рабочего дня ноги страшно гудели. Мы и премии получали, и в приказах нас отмечали. Но удовлетворения не чувствовал, потому что бригады как единого, сплоченного коллектива не было. И вся вина — на мне. Как вспомню тогдашние свои действия, смешно становится. Я думал о плане, о выходе качественной продукции, о машинах, а на товарищей по работе времени не хватало, не знал, кто чем живет, как живет, что волнует каждого...

Поначалу, с полгода наверное, пока притирались между собой да присматривались друг к другу люди в бригаде, пока еще и оборудование, как говорится, было с иголочки, все шло вроде бы нормально. Работать бригадиру приходилось и в дневную, но больше в ночную смену. Не ради себя и не в корыстных целях выкладывался Геннадий, хотя нужда в деньгах была не у него одного.

Шли дни. Баштанюку все чаще приходилось напоминать своим товарищам по работе о сверхлимитном простое машин, о недоданной продукции, о том, что зарплата по всей бригаде будет снижена. К отдельным машинам спустя год пришлось снова приставить литейщиц. Бригада стала увеличиваться. Громко объявленный эксперимент в отрасли никак не мог набрать силу. С трудом, но план еще давался. Кое-какую прибавку к зарплате получали. Но что-нибудь да мешало. Сырье не всегда оказывалось под рукой, подводила техника, хоть и новая но еще плохо освоенная.

Геннадий продолжал надеяться на ребят, на себя, на свою армейскую закалку, на командирские навыки, наконец, на силу, не теряя веры в успех дела. Ему хотелось понять: почему так по-разному люди относятся к делу? Не раз он наблюдал: пока сам в

бригаде, рядом со всеми, работа идет, стоит отойти, заняться вышедшей из строя машиной, как многие начинают отлынивать от дела, а там и бутылка вдруг откуда-то появится, перекуры затягиваются.

В конце 1971 года Оля родила Сережку. В одной барачной комнате жили тещь, теща, Олина сестра Надя да теперь четверо Баштанюков. Жилье тесное. Коммунальных услуг никаких, горячую воду Геннадью приходилось ежедневно приносить из фабричной котельной. Там вывели кран за ограду. Бывали и очереди за водой. Постоишь, натечет два ведра, отнесешь. И снова к забору. Хотя бы комнату для семьи, мечтал Геннадий. Но жилье для завода строили медленно.

И на работе не все получалось. Пошли разговоры: «Чего пупа-то надрывать. Сколько захотят, столько и выпишут». Увеличивались простои литевых машин. Не все оказались добросовестными... Эксперимент не удался. Главная причина, как считает Баштанюк, в нем, бригадире. Нельзя допускать к бригадирству людей без жизненного опыта, без твердых, хороших профессиональных навыков, без знания человеческой психологии.

В середине лета Оля увидела телевизионную передачу о строительстве автомобильного завода КамАЗа. Вечером, когда Геннадий вернулся весь издерганный с работы, она ему рассказала: «Семь заводов будет. Многоотрасльный город. Жилье обещают. Через два с половиной года. Долго?» «Да, такие вот дела творятся кругом,— заметил спокойно, как он умеет, Геннадий.— А мы с тобой, Оленька, ничего и не знаем. «Город строится вместе с заводом,— добавила жена.— Школы, больницы, ясли. Все сразу идет у них. Здорово, да?» «Может, и вправду съездить туда? — хитровато сощурив глаза, спросил Геннадий.— На разведку...» «А что, попробуй!»

— Приезжаю в Челны,— вспоминал Геннадий,— не город, а непролазная грязь. Август, а несколько дней кряду шел нудный, обложной дождь. Без резиновых сапог делать нечего. От станции Можга я пять часов тащился на автобусе. А в нем народу как сельдей в бочке. Четыре часа простоял на ногах и только к концу дороги немного посидеть удалось у одного дядьки на коленях. Устал как сатана. Никогда, кажется, так не уставал, даже в армии. А тут вижу: месиво кругом, грязь, никаких тебе корпусов, никакого города, все разворочено, земля вздыблена. Куда же я попал? Что это за стройка такая? Одни хибары вокруг, да еще хуже, чем в Орехове. Может, зря понесло? И работа там хорошая, нравится. Оборудование новое. Не получается с бригадой? Значит, не по мне. Буду работать слесарем, что за дело!

И тут меня тронул за плечо незнакомый парень, видно недавно демобилизованный, в кирзовых сапогах со спортивной сумкой. Поглядев на мои легкие туфельки, предложил: «Возьми эти, не пропадешь. Мне вчера один тут передал. Я устроился, еду домой за расчетом». «А ты как же? Мои наденешь?» Парень полез в сумку, достал кеды. Переобулся. «Спасибо!»

Одев кирзачи, я воспрял духом, подумал: «Вот где настоящие-то люди живут!» И ринулся искать отдел кадров. Пройдя с километр, еще издали увидел вагончик, на нем плакат, аршинными буквами написано: «Литейный завод». «Ага, значит, близко к литевым машинам,— подумал,— это для меня». Подошел ближе, ужаснулся: в вагончик не пробиться. Уйма людей. С чемоданами, портфелями, спортивными сумками, с узлами, и все лезут в одну дверь, все молодые, здоровые, тлочки луженые, кричат: «Возьмите меня! Меня возьмите! Меня-я!..»

В общем, лишь к вечеру попал я в вагончик. А до этого наслушался... И что РИЗ первым будут пускать, и о домах московских, девятиэтажных, которых от вагончика не увидеть было. Показал документы. Пятый разряд по литевым машинам. Дали вызов по месту работы. Квартиру пообещали. Уезжая, оставил кирзачи на пристани: вдруг еще кому-нибудь сойдется.

Вернулся в Орехово-Зуево. Заявление подал на увольнение. Стали отговаривать. Начальник корпуса твердил: «Отремонтруем дом и тебе первому там комнату выделим». В бригаде отговаривали тоже, обещали работать на совесть. Но я уже принял решение и не мог отступить.

Четырнадцатого октября отметили годик Сережке, и через два дня Геннадия не стало в доме. В его трудовой книжке записано: «18 октября 1972 год. Зачислен слесарем-ремонтником на завод КамАЗ».

В тот год в Набережные Челны приехало 42 тысячи человек, в следующем — 39... Затем — 43...

17 января нынешнего года Геннадий позвонил мне вечером домой и радостно закричал:

- Поздравьте меня!
- С чем? Что произошло?
- Дочь родилась.

Я от души поздравил, передал привет Оле. Сказал, что скоро увидимся, собираюсь на завод и, конечно, побываю в бригаде. После этого телефонного разговора невольно вспомнил одно из писем Баштанюка, где он сообщал о предстоящем пополнении в семье и, главное, чем это вызвано. Действительно, объяснения требовались, ибо третий ребенок в семье редкость. Горожане в лучшем случае обзаводятся ныне двумя. А тут третий, да еще когда обоим минуло тридцать пять.

Теперь Баштанюки живут в отдельной благоустроенной трехкомнатной квартире. Оказавшись однажды у них дома, я не удержался и спросил Геннадия о «двух гарнитурах». Дело в том, что как-то на КамАЗе мне случайно довелось услышать беседу двух женщин о том, что якобы Баштанюк второй раз мебель сменил.

Да, ему предложили купить гарнитур. Но он отказался в пользу одной семьи с завода, не просто. видно, бывает сводить ему концы с концами, а кроме того, он тогда сам начал строить мебель. Я не сразу поверил, что кухонный гарнитур, детский спальный в двухэтажном варианте, гардеробы в прихожей, шкафы для обуви не заводского производства. До тех пор, пока не увидел следы от ударов топора на дверях шкафов и не услышал их историю.

- Их десятками списывали тогда и сжигали.
- Шкафы?
- Именно. Хорошие, целые, правда требующие ремонта. Когда московские строители закончили работу в Челнах (они ведь целый дом под общежитие занимали) и стали уезжать, мебель свезли на склад ЖКУ. Там накопилось ее целые горы. Под солнцем и дождями она начала портиться. Вот и начали ее жечь. Я случайно увидел полыхавший костер. Поинтересовался.

- И тебе сказали, бери сколько хочешь?
- Нет, пришлось побегать.
- Зачем тогда их жгли?
- Потому что это дешевле, чем ремонтировать, приводить в порядок. Так мне объяснили.

- А следы топора?
- Чтобы списать шкаф, который прослужил два-три года, но начал разваливаться, его добивали топором. Так, наверное, убедительнее выглядело для комиссии.
- А подаренный ЦК ВЛКСМ автомобиль? Тоже слух?
- Кто распускает эти сплетни?! Я когда-то приобрел старую машину в комиссионном магазине. И отремонтировал ее так, что она ходит теперь, как новая.

Но до мебели и машины еще надо дожить. Геннадий еще только появился в городе и не ведал, как дальше пойдет его жизнь. У него был небольшой опыт, хорошие знания и высокий разряд. Но как и где это применять, ему должны были подсказать. Не ему одному. Тысячам приезжавших. Им помогали коммунисты, горком партии, горком комсомола, кадровики, опытные строители, те, кто оказались здесь раньше. В самые напряженные годы в горкоме партии круглые сутки, бывало, не закрывались двери и до утра не гас свет в кабинете дежурного.

Приехав в Набережные Челны, Геннадий не подозревал, что через неделю ему придется покинуть город, и притом надолго. Он понимал, что слесарю-ремонтнику, пока строятся заводы, делать там нечего. Но, окрыленный надеждой через два-три года получить «малосемейку», готов был выполнять любую работу.

Баштанюк не знал, что еще при строительстве ВАЗа оправдала себя практика набора и подготовки рабочей силы, как говорится, на голом месте. Завода еще нет, а рабочие-специалисты — вот они, ждут пуска. Так сделали и на КамАЗе. Тысячи рабочих, прибыв в Челны, вскоре разъехались по передовым предприятиям. Кто в Минск, кто в Тольятти на ВАЗ, кто на ЗИЛ в Москву, кто на Урал. А Баштанюка послали во Фролово. Фролово — небольшой городок в Волгоградской области. Там строился современный сталелитейный завод, шел пуск первых цехов, а рабочих не хватало.

В конце октября во Фролово приехали сто камазовцев. Перед отъездом их напутствовали:

— Три-четыре месяца на одном заводе постажируетесь, затем на другом, третьем. Заводам КамАЗа потребуются классные специалисты. Оборудование для него идет новейшее. Овладейте профессией как следует...

У Геннадия был уже пятый разряд. Во Фролове его избрали группкомсоргом. Люди подобрались энергичные, трудолюбивые, не белоручки. Многие и полторы смены могли бы работать. Но... Время. Жаль, что хозрасчет тогда еще не заслужил такого серьезного внимания, как сейчас. В группе было тридцать девушек. Крановщицы, стерженщицы. И семьдесят парней. Молодежь. На сталелитейном, как обещали, их ждали не самое новое оборудование. Никто не разочаровался, не уехал, зная, что впереди будут заводы с более современной технологией. Не хватало жилья. Мирились. Так начиналось для Геннадия Баштанюка Фролово.

К трудностям роста завода, выпавшим и на долю камазовцев, примешались здесь и другие неурядицы совсем иного порядка, не технического. Из-за недостатка рабочих рук во Фролово по разнарядке как временная, но вынужденная мера направлялись в тот год люди условно осужденные за разные проступки, вербовались туда и те, кто освобожден из мест заключения. Ехали и добровольцы. Такой замес не очень подходил для хорошей выпечки.

Селились где придется, вплоть до снятия комнат в частных домах. Как манны небесной ждали строившегося общежития. Вдохнули, дождавшись наконец. Съехались камазовцы, зажили вместе.

После нового года в общежитии стали селиться досрочно освобожденные по амнистии. Потянулась молодежь из деревень, надеясь хорошо устроить свою жизнь. Бывшие заключенные, осознавшие свою вину, тоже собирались жить нормально. Но не все. Кое-кто брался за старое. Начались пьянки, драки пошли. И вот тут камазовцы не смирились. Создали свою крепкую дружину. Дежурили допоздна, почти до первых петухов.

Драк со временем не стало. Но самому Геннадию жилось несладко. Ему не давали прохода. «А-а! Комиссар! — шипели в глаза. — Ничего, попадешься еще. Посмотрим, чья возьмет...»

И началось. То ком формовочной глины полетит в спину, когда некогда оглядываться, ибо надо быстро устранить неисправность и пустить станок, то поздней ночью, когда самый сон, кто-то сапогом двинет в дверь и исчезнет, то водой, будто случайно, обольют. Баштанюка подобные выходки злили. Но он терпел. Главное — прекратились драки.

В конце февраля Геннадий начал подумывать, что забыли, видно, о них в Челнах, коль не отзывают. Установленные сроки, кажется, прошли. Написал письмо на завод. Оттуда ответили: «Еще не время, работайте». Работали, не подозревая, что сверху, из министерства, пришло одно распоряжение, КамАЗу еще долго строиться, а во Фролове не хватает рабочих.

В марте снова отослал письмо: «Все, что можно было здесь изучить, мы изучили. Разобрались в технике, запаслись опытом наладки, ремонта, отзывайте...» Ответ опять неутешительный: «Ждите, отзовем, когда надо будет».

Вся эта волокита не давала Баштанюку покоя. Что-то не то с ними делают. Не могут так долго держать на рядовом заводе с рядовой техникой и технологией литья. На КамАЗ придет сверхновая технология и сверхсовременное оборудование. И люди в Челны по-прежнему едут, и их по-прежнему с удовольствием принимают, а они сидят тут уже полгода.

Валерий Малахов, Владимир Каширин и Баштанюк послали еще одно письмо, коллективное. Долго думали, прежде чем решились в конце приписать: «Если завод не нуждается в специалистах, просим сообщить, будем увольняться».

Мучительно долго тянулось время в ожидании. Рано белый флаг выкинул, думал Геннадий. Возьмут и напишут: «Не нуждаемся». Тогда надо уезжать. Восемь месяцев не видел жену, детей. Видно, не стоило ехать в Челны. Оставался бы на «Карболите»...

Через месяц примерно пришел вызов. Но больше недели Геннадию в Челнах побывать не довелось. С группой литейщиков Баштанюка командировали в Тольятти, на ВАЗ. Там он впервые встретился с формовочной линией «СПО», той самой, которыми будет оснащен литейный завод КамАЗа. В первый же день Геннадий подумал: «Подольше бы не отзывали. Здесь интересно. Какая техника!» Брался за любую неисправность, не стесняясь, расспрашивал, докапывался до истины. Вечерами садился за учебник. Одной практики оказалось мало. Месяца три не знал он покоя, пока не

разобрался, пока сам не постиг синхронность сцеплений, передач, работу отдельных механизмов, схему управления автоматической линией «СРО», не подозревая еще, как все это пригодится ему в будущем. Seriously относились к той стажировке в Тольятти и его товарищи Захария Батаргалева, Владимир Бакунович, Холодовский, Коваленко, ставшие потом коренными челнинцами.

Жили камазовцы в общежитии. Девятиэтажный дом на Революционной, 29 полностью был заселен стажерами с КамАЗа. О доме том вскоре узнали в городе, слава о нем пошла. Любили песню камазовцы. Голоса из общежития, веселые, задорные, далеко разносились по округе.

В конце года Баштанюк сдал на 6-й разряд и вернулся в Набережные Челны. В двадцать четыре—6-й разряд! Выше не бывает.

Очень захотелось к семье. Он поддерживал Олю материально и своими письмами. Но очень уж соскучился по Наташе да Сереже и стал уговаривать, чтобы послали его на какой-нибудь родственник завод в Москву или в Подмоскowie. Дни считал, дожидаясь разрешения. Не выдержав, недели через две пошел в отдел кадров и предложил: «Ликинский автобусный завод».

Там посмотрела его документы. Обратили внимание на разряд. Главное, Тольятти прошел. Такого специалиста упускать уже нельзя. Надо пойти навстречу. «Ладно, езжай на ликинский».

Жил в Орехово-Зуеве, дома, в комнате у тещи. На работу ездил в Ликино. Сережка уже пошел. «Папа» стал говорить. Через недельку, освоившись, потянулся на руки.

Не обошлось в Орехове без подуживания. Один из подвыпивших знакомых, встретившийся на улице, подковырнул:

— Что, объегорили тебя, Генка? Шиш квартиру дали.

— Дадут. Завод еще строится и город растет.

— Догонят и еще раз дадут, как же!

— А тебе что до этого? — оборвал сердито Геннадий. — Ждать, пока тебе на тарелочке готовенькое преподнесут? Нет! Заработать надо сначала, построить, а потом... Гусь какой нашелся. Объегорили?! Сам ты объегорился. Хлещешь вон отраву, подумал бы о детях...

Ничего нового на ликинском автобусном Геннадий, впрочем, не приобрел. Да и трудно наверное, было после Тольятти. Хотя почти полгода он работал на токарном и фрезерном станках и теперь мог спокойно встать к любому из них. Правда, это не имело отношения к тем автоматическим линиям, которые собирались строить на КамАЗе. И все же слесарь, которого можно было поставить к станку, ценился на заводе.

Отправляясь на работу, Геннадий все чаще стал вспоминать Набережные Челны. И однажды сказал Ольге: «Пора, наверное, ехать. А то еще забудут обо мне». «Да, поезжай. Гена. Может, квартиры уже дают,— поддержала, как всегда, жена.— Первым делом сходи узнай, ладно?»

«Подождите. Не торопитесь»,— сказали в профкоме. «А долго еще ждать?» «С год примерно» «Выходит, обещанного три года ждут?— с иронией спросил Геннадий.— Почти два прошло уже». «Выходит».

Расстроил Геннадия этот разговор. После того как побыл дома, окончательно убедился: семью надо оттуда забирать. Хотя на частную квартиру, а везти надо. Дети уже большие, растут без отца. Наташе скоро в школу. Походил неделю-другую по частным домам в Старых Челнах, Орловке, Зябе, Сидоровке, Солнечном. Все забито. Узнал, что и дальше за 30—40 километров от города, по колхозам и совхозам расселились, ожидая квартир, строители и будущие заводчане. Да и видел, как ежедневно по утрам в город втягивалась нескончаемая автобусная колонна со школьниками. Правда, ему легче от этого не становилось. Потом услышал, будто в Солнечном кто-то продает вагончик. Помчался. И опоздал...

Но Геннадий не унывал. Молодость не позволяла, наоборот, подсказывала решение. Выйдя из дома, куда надеялся вселиться, и прошагав с полкилометра, Баштанюк увидел сначала один, потом второй, а еще дальше, на окраине поселка, третий строящийся домик, вернее вагончик. С другой стороны цепочкой стояли стандартные полевые домики. В них жили строители. Может быть, вагончик можно заполучить, прикинул Геннадий. И направился к одному из строящихся. Поздоровавшись, вежливо поинтересовался, как эти вагончики получают. «Эти сами строят». «А разрешение?»

У кого берут?» «У тебя где семья?» — вогнал топор в бревно хозяин будущего домика и повернулся к Геннадию. «У меня в Подмоскowie». «А у меня в Свердловске. Не могу больше. Погляди вон: Кравченко колотит, Пантелеич тоже, Сидоров строит, Генатулин заканчивает, Кузнецов селится. Спроси, есть ли у них разрешение. Близко не лежало. Здесь самстрой. Нахаловкой называется».

Дважды наведывался сюда Геннадий, прикидывал что да как, а на третий, уговорив знакомого тракториста, завез на место будущего домика три или четыре огромных упаковочных ящика из-под оборудования. Так началась стройка. На работе это не сказывалось. Заканчивался трудовой день, и Геннадий отправлялся на самстрой.

Новые Набережные Челны начинались с нуля. И как ни старались советские партийные и хозяйственные органы (а они сделали в то время почти невозможное), принимая ежегодно по 40 тысяч человек, устроить вновь прибывших, создать им условия для нормальной жизни, Нахаловка разрасталась. Нахаловку терпели, не спешили выгонять застройщиков, понимая, что она — явление временное.

Баштанюк тоже рассчитывал на это понимание, взявшись строить вагончик. Работал он временно в Металлургстрое сварщиком, арматурщиком, дожидаясь начала монтажа автоматических линий. Использовал каждый выходной день, каждую свободную минуту. Сбив каркас, оставался там ночевать.

Строителей одевали хорошо, робу выдавали на меху. Купил клеенки метров пять, заворачивался в нее и спал на столе, укрывшись с головой.

В общем, от холода Геннадий не страдал. Просыпался, будто по будильнику, в заказанные часы. К весне хатенка обрела внешне привлекательный вид. Теперь от нее осталась только фотография, которую Геннадий показывал с гордостью. Одно окно широкое, на весь домик, резное, сам фигурничал, да одна дверь, которую вместе с рамой нес на себе, ни разу не передохнув.

В тот день помочь взялся Володя Нечаев. Закончили проводку. Часть стен обили картоном под обои. Включили две электроплитки, чтобы поскорее подсыхало, а сами отправились в столовую. Сытно пообедав, заторопились обратно. Геннадий заметил дым над Нахаловкой: «В нашем районе, кажется». «Нет, это у кого-то горит, не у нас». Подойдя ближе, Баштанюк обомлел: «Гляди, горит-то наш вагончик». «Я один картон дотащу. Беги скорей!» — крикнул Нечаев.

Пока Геннадий бежал, сосед Борис уже успел перерубить топором кабель. Сторел почти весь потолок. Проводку делали в спешке. Вот и получилось короткое замыкание. Хозяин домика чуточку растерялся: «Володя, а я собрался за Олей ехать. Написал, что заканчиваю». «Поезжай. Вези своих. Мы тут и без тебя завершим».

Геннадий пошел в кадры. Так и так, мол, за свой счет, за семьей еду. «Не положено. Получишь нормальный отпуск, вези».

Разозлился Геннадий. Может быть, единственный раз за все годы, сколько живет в Челнах. Он не конфликтный, как принято сейчас говорить о людях с таким характером. А тут вышел из берегов: «Вы что ж, вынуждаете меня уволиться? Я два года без детей, без жены, без квартиры. Спрятались в кабинеты...» «Мы строителей только зимой отпускаем, есть указание». «А я не строитель, слесарь...» «Нет, вы строитель. Вот последняя запись: «Металлургстрой». Видите?»

Вмешался начальник постарше. Внимательно посмотрел учетную карточку, шепнул инспектору: «Он через Тольятти прошел, отпускайте».

Уехал Геннадий. А через неделю друзья встретили всю семью Баштанюков и отвезли в готовый вагончик. Оле жилье понравилось. Комната в шестнадцать квадратных метров, с самодельными топчанами и столом, с книжной полкой, кухонька небольшая со шкафом для посуды да крохотные сени. По углам четыре электрических обогревателя. Оля так соскучилась, что согласна жить хоть в шалаше. И Геннадию радость: семья рядом, дети лопочут, покоя не дают. Отец семейства доволен таким поворотом событий, хотя одного этого ему вскоре становится мало. Он переживает, маятся в ожидании монтажа. Его переводят в Камдорстрой, в СУ-930, и он все лето строит дороги в новом городе. Отработав положенные часы, спешит домой. Впереди монтаж оборудования. Как он ждет этого дня! Но еще целый год ему придется быть строителем. Правда, теперь он ближе к заводу. Его перевели в бригаду, которая начала строить ремонтную базу в КСКЧ (корпус серого и ковкого чугуна). Заливали полы бетоном, устанавливали станки, пускали, регулировали, вели наладку.

Баштанюка в своей бригаде избрали комсоргом. Бригадир достался деятельный. Сначала Геннадий восхищался им, а потом охладел, разочаровался, узнав, что тот в

основном для себя старается. Бригады эти числились у строителей, и надо было каждый раз бегать с нарядами, выколачивать доплату. Немного, а 150—200 рублей набегало. Бригадир, бывало, по две пары сапог в месяц стирал. И денежки те почти все у него оседали. Бросит на бригаду пять—шесть червонцев, остальные — в свой карман.

В бригаде шел разговор о его нечестности, да никто не осмеливался в открытую идти. Люди новые, бригаду только создали. Кто как себя поведет? Может, все на его стороне окажутся, коль нет смелых? Сложная обстановка требовала действий и от комсорга, а он воздерживался. Бригадир-то деятельный, энергичный, инициативный, его даже побаиваются. Возьмет и закроет наряд по-своему. Но все же момент подоспел. Бригадир сам показал свое лицо.

Шло собрание. Один из цеховых руководителей, год проработавший в Питсбурге в США на закупке оборудования, указал ему на неверное распределение заработка. Выступил и комсорг. Как ему самому показалось, не совсем удачно, потому что лишь вскользь затронул волновавшую многих проблему, а больше говорил о недостатках материального обеспечения. Выступающий вслед за ним коснулся не только зарплаток, но и отношений в бригаде, организации работ. Говорил он резко, чем и задел бригадира. Вот тогда тот и раскрылся. Он рьяно набросился на цехового руководителя: «Ага, ты за границей работал. В Америку ездил. Тебе можно, у тебя все есть, а мне нельзя, да? Нельзя?..»

Вскоре после того собрания он рассчитался и ушел с литейного завода. Для Геннадия Баштанюка то был первый серьезный урок по линии человековедения. Он увидел, каким не должен быть бригадир. А каким должен? До этого дня, до того времени, когда он сможет ответить на этот вопрос без посторонней помощи, пройдет еще немало дней. В Нахаловке неожиданно случился пожар. Второй от Баштанюка вагончик польхнул пламенем ранним утром. Все сгорели. Лишь одного мальчика удалось спасти. Геннадий выносил его на своих руках и с ужасом глядел, как лопаются на его теле огромные волдыри от ожогов.

Умчалась «скорая помощь», и Геннадий представил, что такое же несчастье могло случиться с его детьми, с женой, когда он на работе. Оле велел смотреть в оба и следить за ребятами, чтобы не лезли к электроприборам. Дождавшись обеденного перерыва, Баштанюк зашел в отдел кадров: «Товарищи, больше не могу. Так ведь можно и без семьи остаться. Ведь обещали квартиру...» Сотрудница, не ожидавшая от Баштанюка такого напора, опешила: «Ты же не один, Геннадий». «О пожаре слышали?» «Ужасно, конечно. Хоть бы мальчик выжил». «Я живу в таком же вагончике, все на завязках...» Баштанюк не успел договорить, в комнату вошел начальник отдела кадров: «Что такое, Геннадий? Какие проблемы?» «За квартирой пришел, Николай Андреевич. Всё. Больше не могу...»

Вскоре Баштанюку дали квартиру. Двадцать восемь метров, две небольшие комнаты. И все же жилище им с Олей показалось дворцом. Началось постепенное расселение Нахаловки. Когда ордер был на руках, Геннадий сказал жене: «Надо отработывать. На добро отвечать добром. На заводе создается очень трудное положение. Ты потерпи, ладно? Потом ходим в кино». «Потерплю, Гена», — пообещала Ольга.

Литейный завод отставал от других объектов КамаАЗа. То время далеко позади. Напряженное горячее время. Кто строил завод, вел монтаж оборудования, кто причастен был к литейке, как принято в среде рабочих именовать нынешний литейный гигант, тот надолго сохранит впечатление от размаха стройки, от необычной для такого производства чистоты в корпусах и цехах, от самих отливок, от пятидесятитонных электродуговых плавильных печей, автоматических линий, многокилометровых конвейеров, снующих по цехам и переносящих тысячи тонн формовочного материала, жидкого металла, готовых отливок, стержней...

Приведу небольшую техническую справку в доказательство. В ней сказано, что литейный завод КамаАЗа должен обеспечивать заготовками, что он сейчас и делает, агрегатный дизельный и колесный заводы объединения. По уровню проектных и технологических решений объему и характеру производства у него нет аналогов в мировой практике. Территория завода 192 гектара. Из них более половины занимают производственные площади. На заводе установлено 3420 единиц технологического оборудования, 21 автоматическая линия, 20 километров толкающих конвейеров. Производство сосредоточено в четырех основных корпусах: чугунолитейного, стального, цветного, ремонтного литья. Есть и вспомогательные цехи. В состав завода входят обогатитель-

ная фабрика, корпус восстановления горелой земли, складские помещения, мощные энергетические сооружения. Каждый корпус литейного не уступает специализированному заводу. Так охарактеризовали его проектировщики. И последнее, о чем непременно надо сказать. Управление производством, его учет, анализ, оперативный контроль параметров технологического процесса осуществляется с помощью электронно-вычислительной техники. Наконец, на литейном заводе созданы необходимые социально-бытовые условия и удобства, отвечающие последним требованиям промышленной санитарии, эстетики и техники безопасности.

О том, что завод будет именно таким, представляло тогда подавляющее меньшинство: принимавшие проектную документацию, закупавшие оборудование за границей ведущие специалисты министерства автомобильной промышленности да кое-кто из эксплуатационников. Геннадий Баштанюк относился к тому большинству рабочих, которые в те дни, когда только начинался монтаж, не могли себе представить в комплексе ни корпус, ни весь завод в целом. Но они знали одно: литейка отстает. А пуск первой автоматической линии был намечен на 22 апреля 1976 года.

Шла, как говорят, сборка на коленях первых «КАМАЗов», отладка узлов и линий, вспомогательного оборудования первой очереди сборочного автомобильного конвейера. Блок двигателя везли из Ярославля. Но он не совсем соответствовал качеству, заложенному на камазовской литейке. Там формовка осуществлялась вручную. Может быть, поэтому первые автомобили фыркали, нервничали. В результате литейный осенью 1975 года оказался «под лупой» многих министерств, партийной организации города, дирекции объединения. Полторы тысячи будущих литейщиков взялись за работу в субподрядных строительных организациях. Завод и собственными силами вел строительно-монтажные работы, за полгода освоив на монтаже и пусконаладке более миллиона рублей. Не поддавались учету выполненные заводчанами многочисленные переделки из-за изменений проекта.

Геннадий Баштанюк давно рвался на монтаж оборудования. И наконец попал в бригаду. Сначала ее определили в ЦриОТО, но вскоре спешно перевели в Союзшахтспецмонтаж. Геннадий как-то рассказал:

— Хорошо помню двадцатое августа семьдесят пятого года. Короткий митинг. На фундамент плавно опустилась станина начального узла будущей формовочной линии — машины изготовления нижних полуформ. Будто бы здесь и стояла! И пошел монтаж! Я начинал с первой формовочной линии. Работал монтажником в бригаде Николая Князева. Фундамент под формовочную машину строители замонолитили миллиметров на сто выше отметки. На столько же пришлось поднимать и всю линию. К лапам-опорам стали приваривать «косынки». Монтаж первой линии завершился в январе. Начали опробовать ее и обнаружили: «косынки», на которые опирается линия и которые несут на себе всю тяжесть, стали подгибаться, не выдерживая нагрузок. Тогда и прозвали их лепестками, которые следовало сдуть автогенем, а на их место (в уже собранной линии!) поставить другие опоры. Срочно создали бригаду. Мне предложили ее возглавить. Я не стремился в бригадиры, ведь уже пробовал однажды на «Карболите». Не вышло не получилось. Вот я и думал: справлюсь ли? Людей знал. С одними во Фролове работал, с другими — в Тольятти. Да и на КамАЗе за полгода успел узнать слесарей.

Спустя неделю Баштанюк дал согласие, и его утвердили бригадиром. Монтаж и наладка. Сколько этих подошв (чтобы поднять линию на ноги) пришлось поставить, по месту подогнать, приварить, закрепить, отрегулировать! Вдобавок ко всему требовалось за строителей доделывать и еще кое-что. Чтобы закрепить литейную технику, приходилось пробивать в полу сотни отверстий для анкерных болтов. «Не бетон, а броня», — говорил в сердцах кто-нибудь, отшвыривая в сторону долбежный вибратор. Но его тут же подхватывал другой. И работа продолжалась. По всей линии отклонение от проектной отметки не должно было превышать трех десятков — то есть 0,3 миллиметра. При этом надо учесть, что общий вес каждой из машин изготовления верхней и нижней полуформ составляет почти шестьдесят тонн. Да и другие узлы прилично весили. Домкраты, нивелиры, инструмент разный, приспособления всякие, приборы передвигались метр за метром вдоль линии.

В корпусе серого и ковкого чугуна в первые месяцы 1976 года яблоку негде было упасть. Сотни строителей и монтажников предстали бы перед каждым, кто смог бы одним взглядом охватить весь корпус. Десятки автокранов и автомобилей. Не счесть ящиков с оборудованием, одни уже открыты, другие еще под пломбой. Пере-

мигивание огней электросварки. Грохот отбойных молотков. Жужжание вибраторов. Взмахи десятков рук: «вира» — «майна». И все же в той невероятной сутолоке каждый знал свое место, как солдат свой маневр, у каждого было свое, конкретное дело, вдвоем одну гайку не крутили. По трое суток, бывало, не уходил Геннадий с завода. И бригада оставалась. Спали на фанерных листах. Пораньше схватывались и под пожарный кран — умываться. Ночью рабочих кормили в столовой. Выдавали бесплатные талоны, поддерживали. Закончив с опорами, бригада Баштанюка занялась отладкой, пуском первой линии. Она оказалась страшно строптивой, неподатливой. Длина ее 700 метров. Состоит из 190 единиц разного оборудования. Чтобы линия бесперебойно работала, требовалась почти филигранная точность регулировки. Она вся держится на гидравлике, пневматике, управляется с помощью электроники. Последнее слово в литейной формовке.

Близился апрель. Подходили сроки пуска первой очереди литейного завода. Геннадий по моей просьбе вспоминал самое памятное, значительное:

— Лев Борисович, генеральный, в час ночи оперативки проводил. Инженерию собирал, бригадиров звал, с рабочими советовался, каждую ночь приходил. Монтаж и наладка шли в три смены. Ночью прожектора польхают, гигантские тени перекрещиваются, ну прямо как в кино. Работали от души. Не за рублем гнались, нет. По сто пятьдесят часов сверхурочных иногда выходило. «Отгуляете, ребята», — говорили. «Отгуляем», — отвечали. Собственно, не об этом речь. Энтузиазм во все наши поры проник. Мы по-рабочему честно были преданы делу, за которое взялись. И не оторвешь никого, пока не пойдет линия. Секретарь парткома не отходил от нас, жил, можно сказать, с нами. Его все в лицо знали. И коммунисты и беспартийные. Он напоминал в те дни военного комиссара из хорошего фильма. Придешь домой иногда, Оля спрашивает: «Ужинать будешь?» Отвечаю: «Буду». Сажусь за стол. Минута, другая проходит, пока жена несет, а ты уже спишь, не до ужина. Однажды пришел домой, а Сережка — он обычно на колени заберется и просит, чтобы я его на завод взял, — обошел вокруг меня, посмотрел и неожиданно спросил: «Папка, ты почему такой тонкий стал?» Я успокоил сынишку: «Еще успеем вес набрать, Сережа». В один из дней мы обнаружили, что сделано все, что линия отныне — единый, взаимосвязанный механизм, где, как в часах, все подогнано и притерто. И сами удивились этому. Двадцать второго апреля в час ночи линия приняла первый пробный металл.

1976 год для монтажников и будущих литейщиков оказался самым напряженным. Сдав первую линию, Баштанюк перешел на пятую. Здесь создали новую бригаду пусконаладки. Затем были четвертая линия и первая — в КСЛ (корпусе стального литья). На каждой линии Геннадий принимал новую бригаду. Из старой люди оставались на прежней, вели доводку, работали операторами. Четыре формовочные линии за год! И каждая стоит около семи миллионов.

— То был самый тяжелый период моей жизни на КамАЗе, — говорил Геннадий, — самый сложный, но и интересный. Времени ни на что не хватало. Спасибо Оле. Она хорошо обеспечивала тылы. А у меня один путь был: от дома до завода, домой и снова на завод... Целый год.

С первых дней монтажа на литейном постоянно находились человек двенадцать шеф-монтажников из американских фирм «Свинделл-Дресслер» и «С-И Каст Эквипмент». Пять лет Геннадий бок о бок работал с американцем по фамилии Стибел, Уолтер Стибел, от «С-И Каста...». Английский язык немножко подучил, а Уолтер русского набрался, и через год монтажник и шеф-монтажник могли разговаривать без переводчика. Не обходилось и без курьезов, но жили, в общем, дружно.

— Поначалу не очень понимали друг друга, — делился воспоминаниями Геннадий. — Потом притерлись. А то, бывало, он как заладит: «Ай синк, нот» («Я думаю, нет»). А я ему свое: «А я думаю, да». И так пока не докажешь, что надо вводить модернизацию. Даже несмотря на то, что оборудование новое и что оно американское. Были и настоящие профессора своего дела. На ночь забирала чертежи, изучали. Приходя утром в цех, говорили: «Ай синк, йес» («Я думаю, да»). Был такой мистер Колман. Когда линию пускали, по восемнадцать гидронасосов летело в месяц. Он приходил со специальной трубкой, выслушивал каждый насос. Однажды спустились на нулевую отметку, к гидростанции. Слышу, один двигатель: ро-р-ро-р-ро-р-р. Он приложил трубку, послушал. Важный такой, как гусь праздничный. Подумал, потом еще послушал. Говорю мистеру Колману: «Я думаю, сейчас будет бух». А он: «Ай синк,

нот». И в этот миг как рвануло! Колмана струей масла сбило с ног. Он весь в масле. Белая сорочка, светлые брюки стали темными. Кто-то подбежал, повернул рубильник. Посмотрели — в корпусе трещина с палец. Кого хочешь собьет — мощность двести сорок литров в минуту. От сильных нагрузок летел игольчатый подшипник. На заводе уже тогда велись испытания чугунных, медных и стальных каленых втулок. Подошли каленые. Мистер Колман все ухирался. А после того случая сказал: «Ай синк, йес. Надо ставить утулки заместо подшипник».

Как говорится, все познается в сравнении. Баштанюк и на себе испытал. Пускали первую гидростанцию. Сердце формовочной линии. Сложная техника: микронные зазоры, капризные сервоклапаны, высокое давление. Остановится гидростанция — замрет и линия. Начали пробный пуск. Уолтер Стибел спрашивает: «Кто будет наладка вести?» «Гена», — отвечают ему. «Гена? Он сварка умеет, домкрат жи-жи-жи, направлять линия хорошо может. Специалист по гидравлике нада». «Гена будет», — подтвердил инженер Оглобин, закупавший линии в США. «Я думаю, нет. — Стибел развел руками: странные, мол, вы люди. Потом через переводчицу четко сказал: — Наладку гидростанции должен вести специалист по гидравлике, инженер». «Этим займется Геннадий с бригадой...» — снова ответил ему Оглобин.

Когда станция заработала в нужном режиме, Уолтер нашел Баштанюка и пожал руку: «Теперь я верю в ваших рабочих».

Стибел и Баштанюк часто работали на одних и тех же объектах, помогали друг другу, стремясь хорошо подготовить к эксплуатации первую очередь. Отношения складывались деловые, порой дружеские.

Вспоминая Уолтера, Геннадий как-то говорил:

— Высокого роста, крепкий. Работящий. Кувалдой так наяривал, аж гудело. Ему сейчас лет под пятьдесят. Трое сыновей. У него жена умерла. Женился на нашей. Американцы отказались вести наладку формовочных линий на чебоксарском тракторном. А он взялся. Сколотили втроем в Австрии фирмочку-посредницу и теперь налаживают там «Германа». Научил меня с теодолитом обращаться, нивелировке. В общем, мужик что надо... Остальные американцы, с кем работали, так себе. Холодные, расчетливые, каждый сам себе хозяин и слуга. А один из «Свицдел-Дресслер» мистер Ирвинг очень запомнился. Ему нравилось, когда его называли мистером. Мистер Ирвинг, мистер Ирвинг... Даже имени его теперь не помню. Ходил он постоянно с фотоаппаратом. И нет-нет, да и щелкал затвором. Стаканы бил в цехе. Как только вода не направлена газом, так стакан летит на пол. И вдребезги...

Однажды, кажется, это было в конце восьмидесят первого года, вернувшись из Набережных Челнов, я понял, что продолжительный разговор с Баштанюком на заводе, в гостинице, а потом снова на заводе оказался все же не завершенным. Тогда как раз широко стали примериваться к бригадной форме организации труда, родился «калужский вариант». А подойдет ли это ремонтникам? Ведь от них зависит успех работы любого завода, не говоря о таком, как КамАЗ. На всем КамАЗе (и на литейном заводе в том числе) множество автоматических линий, механизированных участков, повсюду телемеханика, вычислительная техника. Словом, 87 процентов механизированного труда и 13 — ручного. Техника XXI века! К ней, наверное, и отношение должно быть соответствующее. Она же не вечная, хоть и лучшая. Первоклассная техника требует отличного ухода.

Как поставлено это дело? Такая техника, надо думать, порождает новые, еще не изученные основательно взаимоотношения между оператором на автоматической линии или участке, наблюдающим за работой уникального станка, и тем человеком, который должен вести профилактический ремонт и устранять любую неисправность. Скажем, если у оператора заработок в два раза выше, чем у ремонтника, захочет ли последний, как говорится, лезть из кожи вон, добиваясь хорошей работы агрегатов и сокращая лимит простоев? А если сравнить их заработки? Ведь если взять в целом по стране, то в руках операторов (кстати, их не так уж и много) сотни, тысячи автоматических и автоматизированных линий. И на современном предприятии ведущей фигурой становится ремонтник, наладчик. Как решают эту проблему на КамАЗе? Словом, вопросов накопилось достаточно. И я послал Геннадию письмо. Он ответил:

«Григорий Иванович!.. Наш литейный завод не только крупнейший в мире, но и оснащен самым высокопроизводительным оборудованием. У нас установлены автоматические формовочные линии производительностью 230—250 форм в час, это высокие

цифры, и отсюда вытекает та высочайшая ответственность нас, ремонтников, наладчиков, за техническое состояние этого оборудования. Одна минута простоя такой линии стоит очень дорого... Практически постоянно идет обновление деталей и узлов, и самое главное, что ремонтники должны делать это по заранее продуманному, разработанному графику, не дожидаясь, когда узел создаст аварийную ситуацию, что парализует работу всей технологической цепочки. Не будет подаваться металл, стержни, земля, прекратит работу обрубочный участок, в общем — огромные потери продукции, электроэнергии, рабочего времени. Я не знаю, какой урон нашей экономике наносят простои автоматических линий в масштабах страны, но уверен, что это огромные потери, и тем более обидно, если они происходят из-за халатности тех, кто отвечает за техническое состояние оборудования.

Станок — это ведь организм. Особенно если говорить о гидравлике, которая уже твердо и надолго заняла позицию в машиностроении. И для нас, ремонтников, конечно, очень важно не просто изучить механизм, технологию, а чувствовать, что в нем происходит. Вовремя услышать его «стон», помочь избавиться от «боли». Бездушный человек на это не способен, он никогда не научится понимать машину, если его не волнует чужая боль, независимо — машина перед ним или человек.

Вы спрашиваете о сложности. На этот вопрос трудно ответить однозначно. Для меня, например, не сложно было изучить устройство отбеливающей машины в семнадцать лет, но трудно было в те же семнадцать понять, за что мне попало, когда при монтаже, уронив лом, я поцарапал краску на станине машины. Мелочь, а какой разнос от шеф-монтажника получил. Но прошли годы, и понимание пришло. Для человека изучить механизм не трудно, а вот всеми своими внутренностями почувствовать его жизнь, отдать частицу души своей — это гораздо сложнее.

Конечно, Григорий Иванович, вы правы в отношении работы и обслуживания автоматических линий. Именно два контингента людей связаны отношением к линиям. Одни делают продукцию, другие налаживают и ремонтируют. У нас много идет разговоров и споров о взаимоотношениях между операторами и ремонтниками, но мне кажется, что не менее важно, как должны относиться операторы и ремонтники к оборудованию, а здесь пока нет единого взгляда. Пока еще не созданы, не отработаны те условия, которые позволяли бы сообща решать главную задачу. Операторы отвечают за выполнение плана по выпуску продукции, мы отвечаем за техническое состояние оборудования. И бывают такие случаи, когда оператор видит, что механизм находится в полуаварийном состоянии, но он не предпринимает никаких мер, стараясь дотянуть до конца смены и выпустить побольше продукции. В какой-то мере и мы заинтересованы в этом, ведь и наша зарплата частично зависит от плана. Правда, непосредственно с операторами мы не сталкиваемся, потому что обслуживаем гидравлические станции, которые установлены на первом этаже и работают в автоматическом режиме с линиями, которые установлены на втором этаже. С другой стороны, когда создавалась бригада, я еще не представлял, какие трудности нас ожидают, ведь одно дело обслуживать оборудование, которое работает рядом, на виду, соприкасаться с теми, кто работает на нем, и совсем другое — десятки гидравлических систем, установленных в разных корпусах огромного завода. Гидравлические станции должны работать как часы, иначе замрут линии. Вот нам с ребятами пришлось попотеть, пока мы отработали эффективную систему обслуживания. Самое главное, поняли, что проверять нас некому и нужно трудиться, надеясь на совесть и сознательность каждого члена бригады. В первую очередь мы добились замкнутого цикла работ. Сами ремонтируем насосы, гидроаппаратуру, установленную на наших станциях, испытываем ее на стендах, отвозим на место, устанавливаем, ведем наладку и включаем в работу. Потом, используя специальные датчики, мы разработали систему диагностики по предупреждению аварийного выхода из строя насосов, что позволило вернуть к жизни десятки сложнейших насосов. Потом мы произвели модернизацию быстро выходящих из строя сервоклапанов, заменив многие импортные детали на наши. В общем, много было сделано, чтобы исключить простои линии по нашей вине, меньше стало вызовов, больше времени мы получили для других работ. Сейчас берем под контроль гидравлические системы машин для литья под давлением фирмы «Ботан», сами изготовили испытательные стенды, специальные приспособления, что заметно повысило качество работ, а планы на будущее еще масштабней, еще интересней.

Ну, вот, Григорий Иванович, остался последний вопрос: кто идет в ремонтники? Где их готовят?

В нашей бригаде работают разные люди, по-разному пришедшие к профессии ремонтника. Есть слесари-ремонтники настоящие профессора, прекрасно владеющие слесарным инструментом, определенными навыками, схватывают все на лету, способны самостоятельно решать самые сложные технические задачи, вот из них и состоит костяк бригады. Другие пришли, работая до этого наладчиками, операторами на автоматических линиях других заводов. Когда формировалась бригада, нас было пять человек, кто уже был знаком с работой, а сейчас нас двадцать, и наша главная задача — чтобы все быстрее достигли профессионального уровня «старичков». Переучиваются прямо в бригаде в основном, практически я не знаю курсов на КамАЗе, где бы обучали нашей работе. Сейчас на нашем заводе делается для подъема ремонтных служб на качественно новый стиль работы, есть много интересных людей, занимающихся этими проблемами... Ну вот пока и все.

С уважением Геннадий».

Мы стали регулярно переписываться с Геннадием Баштанюком.

В октябре 1982 года Геннадий Баштанюк приезжал в составе большой группы камазовцев — строителей и рабочих — в Москву на встречу с писателями. Ее проводили «Новый мир» и Центральный дом литераторов.

По дороге из аэропорта, в редакции, в гостинице, а затем в ЦДА наша почти не прерывавшаяся беседа мало уклонялась от проблем бригадирства и бригады. Но времени, как бывает, не хватало.

Работать бригадой, брать бригадный подряд, рассчитывать с людьми по конечному продукту не только и не просто модно, но и очень выгодно. Выгодно бригаде, выгодно государству. Бригадир становится вровень с мастером, с тем мастером, который уже был — не есть, а был, — который проявил себя примерно в 50—60-е годы. В то время мастер был незаменимой фигурой. А сейчас? Ни для кого не секрет, что бригада может спокойно обходиться без мастера и пять и десять дней. Сегодня мастер как фигура на производстве до конца еще не состоялся, не получился. Его место занял или почти занял бригадир. Мне вспомнилось, как в разговоре Баштанюк сказал: «Бригадир — это связной между рабочими и начальством. С одной стороны у него — начальство, с другой — рабочие. Если что-то произошло у рабочего или с рабочим, идешь к начальнику цеха, иногда и выше, а если что-то начальству нужно, собираешь бригаду и объясняешь...»

В годы моей юности вскоре после войны, припомнил я тогда в нашей беседе, был у нас десятник. Полномочиями располагал большими. Он обеспечивал людей фронтом работ, оценивал труд, выписывал и закрывал наряды, вел табель, в его руках находились строительные материалы, транспорт — крытая грузовая машина. Для меня это был бог и царь на стройке, который мог решить, кажется, любой вопрос. Он оформлял отпуска, хлопотал о жилье, назначал премию или лишал ее и т. д.

Вспомнился и другой пример. До стройки я года три в летний период имел дело с колхозным бригадиром. У того тоже все было в руках: лошади, волы, земля, урожай. Урожай, правда, только номинально. Хлеб обычно в те годы весь до зернышка свозили на элеватор, не оставляя даже посевного фонда. Так вот, бригадир каждое утро объезжал тридцать дворов, значащихся в его подчинении, выдавая каждой бабе по наряду — в зависимости от сезона — на прополку подсолнуха, на укос, снопы вязать, зерно веять, на комбайн или к молотилке, хлеб отвозить на элеватор... Каждый день и в каждый двор заезжал бригадир. Только он мог разрешить какой-нибудь женщине не выйти в поле — не больше одного-двух раз в месяц. По его разрешению можно было привезти соломы на топку — одну или три арбы: этим он оценивал отношение колхозниц к делу. Он мог дать бесплатно лошадь или волов для вспашки огорода. Раздав женщинам наряды, бригадир ездил на своей бедарке, двухколесном тарантасе, от одного поля к другому, наблюдая за тем, кто как работает. А учет вел учетчик. Тот чаще ходил пешком и саженью мерил сделанное, прополотые или скошенные гектары. Он ставил палочки — трудодни. От этого человека ничего не зависело. Учетчик погоды не делал. Обедал бригадир всегда на полевом стане вместе с бригадой. Ели из общего котла.

С тех пор прошло много лет. Изменилась жизнь, изменилось сознание людей, далеко вперед шагнули наука и техника. Сегодня бессмысленно сравнивать десятника стройки или послевоенного колхозного бригадира с бригадиром такого современного гиганта, как КамАЗ. Но я вспомнил о них тогда потому, что кроме обязанностей — выполнять и перевыполнять планы — они располагали определенными правами. А ка-

кими правами располагает современный бригадир? Лично Баштанюк? Кто решает вопросы жизни, работы, настроения бригады? Сам ли Баштанюк или не зависящие от него обстоятельства? Либо же мастер, начальник цеха? В какой зависимости — материальной, правовой — оказывается бригадир по отношению к этим людям? Письмо от Баштанюка пришло спустя два месяца:

«Григорий Иванович! Вначале отвечу на ваши вопросы. Сразу о мастере. Полностью я, конечно, не согласен с той мыслью, что мастера сегодня можно исключить из производственного ритма, а вот изменить к нему отношение, наделить его функциями с большей самостоятельностью в решении вопросов производства, воспитания, организации труда — это задача сегодняшнего дня, и вопрос, каким он должен быть, мастер современного производства, не менее важен и серьезен.

Здесь много претензий и к системе высшего образования, где будущие руководители получают знания. Они приходят на производство просто не подготовленные для того, чтобы вести диалог с рабочими, которые имеют богатый практический опыт, способны ориентироваться в любых ситуациях. И здесь, конечно, роль бригадира выглядит гораздо солиднее. Но ведь если соединить теоретические знания мастера с богатым практическим опытом бригадира, подчинить это одной цели — это будет цемент. Тут многое зависит от человеческих качеств этих двух руководителей, от их характеров, понимания того, для чего они находятся на производстве. К сожалению, не все мастера с успехом преодолевают этот первый психологический барьер, а отсюда страдают производство и в первую очередь государство, которое затратило и средства и время, страдают люди, которые не нашли своего места в жизни. Я заметил, что товарищи, которые окончили высшее учебное заведение после того, как поработали на производстве, гораздо быстрее завоевывают авторитет у рабочих и администрации. В общем, здесь много вопросов. Это зарплата — один из важнейших факторов, отношение администрации, стиль ее работы с мастерами, в общем, это целая тема.

Очень хороший пример вы привели из жизни о десятниках. Уже то, что вы видели в нем человека, который мог решить любой вопрос, говорит о многом. В-первых, это огромный авторитет, уважение товарищей, во-вторых, желание работать так, чтобы у этого маленького руководителя, от которого многое зависит, не создалось плохое мнение, в общем, для многих бригадиров это мечта. Главное, конечно, чтобы этот человек был принципиален, истинен, не равнодушен к судьбам товарищей.

Наша бригада сейчас трудится в таких условиях, о которых я как бригадир мечтал давно. В первую очередь это полная самостоятельность в организации работы.

В общем, все решается в бригаде, если, конечно, не требуется решить вопрос, который нам самим не под силу. Например, получить станок и т. д. А вопросы жизни, настроения в коллективе, я думаю, должны решать сами рабочие. Что это за бригада, если житейские вопросы, настроение будут зависеть от внешних факторов? Почему я так думаю? Просто иногда в цехе, на участке отсутствует атмосфера взаимопонимания, настроя на производительный труд, а отдельные бригады продолжают стабильно работать, перевыполняют планы, там царит атмосфера дружбы и взаимовыручки. Это, конечно, целая тема, но я думаю, вы поняли, что мне хотелось раскрыть...

С уважением Баштанюк».

Одно из последних писем Геннадию Баштанюку я написал в конце прошлого года. Мне тогда просто захотелось поделиться с ним впечатлениями от последней поездки на КамАЗ. 24—27 октября 1984 года в городе Брежневе проходило выездное заседание редколлегии журнала «Новый мир». Нас тепло и радушно принимали рабочие КамАЗа. Много внимания нашей группе уделили и секретарь парткома М. Ф. Юртаев, и директор завода В. П. Абросимов, и Автозаводский райком партии. Встречались мы со строителями, с партийными и советскими работниками, были в пригородном колхозе, в зеленой зоне КамАЗа. В который раз переступал я порог прекрасного города на Каме и каждый раз убеждался в том, что и город и завод не знают себе равных, особенно завод. С того момента, когда был вынут первый ковш земли, и до того дня, когда с конвейера начали сходиться «КАМАЗы», прошло шесть лет и два месяца. Всего шесть лет. И какие грандиозные перемены!

Очень запомнился мне разговор с главным конструктором КамАЗа В. Ф. Баруном. Он живет уже будущим. Перед ним реально встают первые годы XXI века. Говорили мы о новых модификациях автомобиля. В частности, для села. Мне даже удалось увидеть одну из них. Это автомобиль с десятью кузовами примерно. Я с удо-

вольствием наблюдал, как водитель в считанные минуты, не выходя из кабины, сбросил на землю кузов, а затем также успешно вернул его обратно. Научиться бы лить такие кузова из какого-нибудь прочного дешевого полимера, и эффективность использования автомобиля возросла бы раз в шесть-семь. Мне даже удалось самому поездить на «КАМАЗе». Управлять машиной легко. Приемистость почти не уступает «Волге». Кабина уютная, просторная.

Все было хорошо. Жаль только, Геннадий был в эти дни в отъезде. На мое письмо он ответил сразу же:

«Дорогой Григорий Иванович!.. Голова у меня сейчас забита очень многим. Это и совет бригадиров объединения, его эффективность работы, поиск новых форм, это и проблема передовиков: сегодня не хочется быть в передовиках, потому что общественное мнение о нас не вызывает приятных ощущений. Я этот отряд сейчас делю на две группы: передовиков настоящих, любящих свое дело, занимающих активную жизненную позицию, равнодушных к судьбам окружающих их людей и передовиков, которые ворочают, лишь бы побольше заработать да премий получить, а душа пустая, равнодушная. В этом большую ошибку совершают и средства массовой информации, потому что чаще всего видим цифры, планы, а вот что он за человек, его отношение к жизни, товарищам, семье если и открывается, то стандартно, незаинтересованно. Поэтому не удивительно, что на встречах не спрашивают, сколько процентов даешь, а сколько детей, какой самый счастливый день в жизни, какая цель в жизни и т. д.

Все чаще задумываюсь о проблемах семьи. К этому призывают всевозможные статистические данные о разводах, бытовых драмах, трудных детях, пьяных оргиях. Как-то робко мы вмешиваемся в семейные дела, считается это неприлично, незтично, но ведь семья — это частица нашего общества. Нет ответственности у родителей за поступки детей, школа сегодня большую ответственность несет, чем родители. А что она одна может, без родителей? Что-то надо делать с пьянством, мне иногда становится страшно за будущее. Это настоящая эпидемия, сколько людей теряют свое лицо, сколько семей страдает, а конкретных мер пока не принимается, а здесь и производительность труда, и качество работы, и здоровье людей, в общем, это беда, болезнь, и с ними надо бороться самым решительным образом...

В бригаде все хорошо, дома тоже, ждем с Олей пополнения, может, посчастливится — хоть одного камазенка от начала до совершеннолетия вырастим. Наташа росла — я в армии служил, Сережа родился — я по стажировкам два года мотался, так что еще и настоящим отцом не числюсь. Обидно, конечно! В общем, приезжайте, обо всем поговорим.

Крепко жму руку.

Геннадий.

26.XI.84 года».

Когда-то мне стоило немалых трудов добраться до бригады ремонтников Баштанюка. В парткоме тогда сказали: «Выйдешь из АБК (административно-бытовой корпус), пройдешь по застекленной галерее и, попав в корпус, держись правой стороны. Будет надпись: «Бригада ремонта ЦРО-7».

Пройдя примерно половину пути, я стал спрашивать, читать надписи, вглядываться в таблички, что попадались по правую руку. Одни говорили: «Дальше». Другие пытались вспомнить, что это за бригада и где она, да безуспешно. И я шел, уступая место то грузовику, то автокару, стараясь не выходить за сплошную желтую линию, отделяющую пространство для движения транспорта от дорожки пешеходов.

Бригаду Баштанюка я обнаружил у 93-й осевой линии и тут же подумал: «Куда проще было сказать мне: «Держись такой-то колонны».

Под стать заводу и помещение бригады: просторное, светлое, ничего лишнего, цветы на длинном широком подоконнике. На стенах — графики осмотра гидравлического оборудования, отдельных его узлов, графики ремонта замены насосов, сервоклапанов. У окна — токарный станок. Слева от него — сверильный, а еще левее — длинный верстак, шкафы для инструмента, приборов, рабочие места слесарей. Справа — комната мастера. Два телефона, внутренний и городской. Между токарным станком и комнатой мастера (в которой, кстати, проводятся заседания совета бригады, обсуждаются разные житейские проблемы) длинный стол с прочными стульями, отгороженный от токарного станка ажурной решеткой. Здесь можно передохнуть, перекурить. На стене напротив стола — стенд с различной информацией. Там есть и

поименный состав бригады, и методика начисления премий к тарифу повременщика, и график смен. В другой половине помещения за металлической стеной-перегородкой четыре испытательных стенда. На них ремонтники проверяют работу насосов, сервоклапанов, другой гидро- и пневмоаппаратуры. В углу — чистенький, опрятный, словно недавно купленный мотороллер.

В тот самый первый день меня долго не покидало ощущение, будто я посетил лабораторию современного типа. Те, с кем делился впечатлениями, в парткоме завода к примеру, соглашались или почти соглашались. Геннадий же говорил:

— Обыкновенная бригада. Ничего особенного, комплексная специализированная сквозная бригада.

— Кто выделит вам станки, испытательные стенды, мотороллер? И выгодно ли в бригаде иметь свой токарный станок? Ведь он не всегда загружен?

— Не всегда.— Геннадий при этом так серьезно посмотрел на меня, что невольно показалось — вопрос лишний.

— А все-таки?

— Бригаду создали в семьдесят восьмом году. Было нас пять человек. Опыт у меня уже хотя и небольшой, но появился. Набил руку на монтаже и отладке четырех формовочных линий. Отвечал за работу всей бригады. Дело спорилось. Наладив и пустив одну линию, мы переходили на новую. Тут, когда вошел в строй завод, мы стали следить за гидравлическим оборудованием, вести мелкую профилактику, испытания различной гидроаппаратуры, замену вышедших из строя насосов, ремонт их. Когда назначили бригадиром, невольно вспомнил «Карболит». Та неудача настораживала. И здесь тоже побаивался. Но уже кое-что знал, почувствовал что к чему. Появились более глубокие знания. О гидравлике перечитал все, что было в заводской библиотеке. Уолтер Стибел, американец, многое передал мне из своего опыта. В общем, пришла уверенность. Не сразу, правда. Если у меня что-то не получалось, я испытывал чувство неловкости. И в следующий раз добивался, чтобы получилось. Брал книги, советовался, недосыпал, но доводил дело до конца. Просто так говорить бесполезно. Надо самому лезть в пекло, если хочешь, чтобы тебя уважали, в конечном счете слушались. Работали мы в основном в дневную смену. Ночью, правда, тоже выходили, если требовалось в аварийном порядке менять насосы. Днем, если что-то случалось, гуртом наваливались. Поначалу хорошо шло, хотя и часто приходилось менять гидронасосы. Самое больное место было. Год, кажется, прошел. На второй повернуло. Оборудование новое, мощности большие, мало сказать, грандиозные! Задания по литью наращивались постепенно, шло освоение оборудования. Знамена давались легче обычного. И, кажется, кое-кому вскружили головы, отодвинули на второй план заботу о будущем оборудовании. Требования к предупредительным ремонтам снижались, запчастей истощались, простой увеличивались... Стали падать заработки. Бригада наша со временем выросла почти втрое. Нам расширили фронт обслуживания. Еле успевали менять гидронасосы. В месяц выходило из строя по десять — двенадцать насосов. Адская работа. Гидростанции находятся на нуле, в подвалах. Там грязно, вентиляция не работает, жара, масло кругом. Далеко. Пока дойдешь, да еще с инструментальной сумкой, много минут потеряешь. Не успел закончить работу — новый вызов. Мотороллер бы, да нет его, не положено. И ремонт можно самим произвести в считанные часы, когда вдруг выпадет спокойное время, да деталь, нужную для замены, будут точить не один день. Заявку надо сделать, наряд оформить, отнести куда следует, в общем, одна бюрократия. Станочек бы свой. Мечта!.. Обстоятельства складывались непростые. Условия работы усложнялись, объемы возрастали. Но бригада держалась, позиций не сдавала, хотя так работать дальше не имело смысла. Надо было перестраиваться. Собрались всей бригадой, стали думать, как жить дальше. «Нам бы станок свой, — говорил Виктор Юзупов, — токари среди нас найдутся, да и другой оснащнности побольше требуется. Гидронасосы, например, где испытывать после ремонта?..»

Да, вопросы ставились верные. И бригадир ходил к начальству. Но безуспешно. На том собрании впервые повели разговор о трехсменной работе, о реорганизации бригады. Цеховое руководство пошло навстречу. Инициатива дельная. Стали разбивать бригаду на звенья: три работают — одно выходное. Оборудование должно постоянно находиться в поле зрения ремонтников. Такой неписанный закон приняла на себя бригада. В дальнейшем родились и другие идеи. Прежде всего взялись за совершенствование диагностики оборудования. Не ждать, пока какой-нибудь узел

выйдет из строя, а менять заранее, по графику. Ведь дальше ехать было некуда: лимит простоя подошел к шестнадцати часам. Целых две смены в месяц простаивали формовочные линии только из-за гидростанций...

— Значит, постоянный осмотр, наблюдения, своевременная замена насосов, другой аппаратуры — путь к сокращению простоев?

— Да, — делился со мной как-то своими мыслями Владимир Чекин, ближайший помощник бригадира. — При таком подходе мы брались резко снизить простой, может быть, свести их к нулю.

— И вам поверили?

— Так случилось тогда, что поверили. Прежний директор стал главным металлургом КамАЗа, а на его место пришел новый, Бех Николай Иванович. Он с Тольятти, вазовец. Главным инженером металлургического производства работал...

Было так. Бригада производила ремонт на аварийном объекте. Сгорела гидростанция плавильной печи. Ремонтники тянули трубки, меняли гидроаппаратуру. Вдруг прибегает начальник цеха: «Тебя новый директор вызывает». Баштанюк быстро собрался. Оставляя ребят, подумал: «Неужели более срочная работа? Ведь и так на аварийной...»

«Слышал о вас, — протягивая руку, произнес вместо приветствия Бех. — И о бригаде тоже». «Спасибо. Не знал этого. Работаем и все, на совесть». «Вам спасибо, а не мне. В чем нуждается бригада? Какие вопросы приходится решать бригадиру? Цеховое начальство как? Поддерживает?» Баштанюк заколебался. Говорить начистоту? Или дипломатию разводить? Что за человек этот новый директор? Лицо открытое. Глаза внимательные, строгие, но светятся добром. «Николай Иванович, в медицине как раньше было? — Баштанюк передохнул, заговорил свободнее. — Заболеет человек, и лечат. Дома или в больницу кладут. В общем, ждали, пока гром не грянет. У нас с оборудованием тоже так. Ждем! А в здравоохранении теперь повсеместно введены ежегодные медосмотры, вводится предупредительное лечение, действенная профилактика. И нам так надо. Но...» Геннадий рассказал директору и о положении с гидравлическим оборудованием, и о том, как можно предупредить надвигающиеся сюрпризы, и что для этого требуется.

Идеи бригадира упали на плодородную почву. Многие на заводе помнят стиль работы одного и другого директоров. Первый топал ногами и кричал: «Дайте мне план. Кровь из носа, а план чтоб был! Знать ничего не хочу!»

Действительно, как рассказывают заводчане, тот директор многого не знал.

У Беха был свой стиль, противоположный. Проработав на заводе с полгода, он только после этого решился на выступление перед коллективом. И начал не с производства. «Что ожидает наш коллектив в ближайшее время? — спрашивал он у зала, а отвечал сам. — Мы намерены построить пионерские лагеря на Черном море, свой пансионат. Уже есть согласие на строительство новой заводской турбазы. На заводе построим медико-оздоровительные комплексы с саунами, банями. Будет свой спорт-комплекс, бассейн. Почти решен вопрос о повышении заработка ремонтников. Потому что они сегодня, на мой взгляд, несут большую ответственность за работоспособность технологического оборудования... Столовой займемся...»

То, чего Баштанюк добивался два года, Бех решил за сорок минут, за те сорок минут, когда беседовал с бригадиром. В бригаде поднялось настроение. Она получила и материальное подспорье. Взались за дело споро и дружно все — от новичка до бригадира. Заметив неполадки во время инспекционного осмотра, ремонтники ночью снимали насос, а на его место ставили отремонтированный. Бригада получила сверлильный, а затем и токарный станки. Не надо кого-то упрашивать: «Выточь-переточи». Сами управлялись. В бригаде появились свои токари, шлифовщики. Чтобы гидроаппаратура после ремонта соответствовала стандарту, потребовался испытательный стенд. Для насосов завод закупил стенд, а вот для клапанов и цилиндров — нет. Где его взять? Кому заказать? Нашли один институт, уговорили. А кровь играет: поскорее бы! И вот творческая группа бригады, а в нее входят и Чекин и Баштанюк, сама взялась за его изготовление.

Без чертежей, без проекта... За два месяца соорудили! Из института дали о себе знать спустя год. Приехали согласовывать чертеж, да опоздали. Стенд уже работал на полную нагрузку. Успех окрылил. И началось. Пошли рационализаторские предложения — рацухи, как говорят в бригаде для краткости.

Когда-то в детстве Геннадий слышал, как бабушка говорила: «Никуда не надо

спешить. Надо все мерить». Вспоминая бабушку в самые напряженные дни, он вспоминал и ее слова: «Надо все мерить». Ко всему надо примериваться, все надо изучать. И он следовал этой житейской мудрости. Прежде чем изготовить запасную деталь, изучали металл, отдавали его в лабораторию на испытание, советовались со специалистами. Оборудование-то импортное! Забегая вперед, заглянем в сегодняшний день. Сейчас планируемый лимит простоя — главный показатель ремонтной бригады — составляет пять часов в месяц. Фактический же не превышает часа.

— Может быть, и свести этот план до одного часа?

— Рискованно,— говорили в бригаде и Чекин и Сакерин.— Во-первых, идеально-го оборудования не бывает. Во-вторых, мы этот лимит и так уже снизили, да и аварийные случаи исключать нельзя.

А вот еще один показатель сегодняшнего дня. Благодаря бригаде Баштанюка и бюро гидравлики завода, с которым она работает в непосредственном контакте, КамАЗ почти отказался от покупки гидравлических насосов в США. Это случилось еще до того, как США объявили бойкот и прекратили нам поставки оборудования ряда наименований и запасных частей. И тут невольно вспоминается время, когда Баштанюк выбивал токарный станок, сверлильный, тот же мотороллер. Все это окупилось сторицей. Один гидронасос стоит около 7 тысяч долларов.

Словом, к 1980 году гидравлическое оборудование прочно встало на ноги. А формовка продолжала хромать. Линиям тоже, как оказалось, требовался срочный ремонт. Министерство прислало бригаду наладчиков из минского управления пуска наладочных работ. Они вместе с заводчанами принялись лечить формовочные линии, агрегаты.

Однажды в цех зашел директор завода. Он интересовался делами минчан. И Баштанюк как раз оказался там. «Может быть, и мне поработать здесь? — неуверенно спросил он у Бега.— Я ведь пускал эти линии». «Иди,— спокойно ответил Николай Иванович.— Хотя бы для начала. Пока гости разберутся».

С понедельника Геннадий вышел в ночь на пятую линию. Оборудование обычно работало в две смены. В третью, ночную, к делу приступали наладчики.

Баштанюка в бригаде временно подменял Владимир Чекин. Вологжанин, он мягко окает, постоянно носит очки, нетороплив, спокоен, уверен в своих действиях. В бригаде его считают главным инженером, заядлым технарем. Совсем недавно к своему срокалетию он на отлично защитил диплом в автомеханическом техникуме. Его второй раз переизбрали партгруппоргом.

Три месяца подряд Геннадий вместе с минчанами выходил в ночь. Не успевали остыть опоки, как наладчики брались за дело. Они перебирали узлы и узелки, проверяли соединения, крепления, меняли подносившиеся детали. Минчане впервые столкнулись с американскими формовочными линиями. И помощь Баштанюка им оказалась очень кстати. Работая в ночную, Геннадий вспоминал и армию, как по трое суток не смыкал глаз, давая связь во время учений, и ночные авралы на пусконаладке, и то, как еще раньше он с бабушкой допоздна засиживался летом у дома, слушая житейские рассказы. И как она, прежде чем перейти к новой истории, повторяла одну и ту же притказку: «Вот такие вещи — хомуты да клещи».

Вспоминалось все это и потом, когда Баштанюк вернулся после трех месяцев в бригаду, перешел в дневную смену и ночью все никак не мог уснуть. Ни в первую, ни во вторую, третью, пятую... Ни на секунду не закрывались глаза. А утром ведь на работу. Уходил. Клонило ко сну, сваливало, ноги подкашивались, а он крепился, работал как все, виду не подавал. Со смены приходил домой разбитый. Уснуть бы, забыться, отдохнуть, сил набраться. Ан нет, сон не идет. Ночь наступает. Все спят — Оля, Сережа, Наташа. А Геннадий бодрствует. Утром он отправлялся на работу. Днем его ломало, скручивало, пропал аппетит. Оля настояла: «Гена, иди к врачу. Не пуццу на работу!»

Пошел к врачу. Сначала к знакомому терапевту, своему соседу. А уж тот срочно отправил в клинику. Кардиограмма выявила нежелательные зубцы. Бюллетень назначили, специальный режим сна и бодрствования, режим питания предложили врачи. На семнадцатый день Геннадий вышел на работу. Организм перестроился.

Выслушав его рассказ, я поинтересовался:

— Ты когда-нибудь жалел, что выбрал эту профессию?

— Нет. Ни разу с тех пор, как попал в училище. Сам выбрал.

Будущее за его профессией, за ремонтниками, наладчиками. Однажды, когда Баштанюк был в отъезде, я разговорился с Чекиным:

— Вам нравится слово «ремонтник»?

— Да так. Куда денешься?!

— А что лучше звучит: дояр или оператор машинного доения?

— Оператор машинного доения...

Поняв, чего я хочу от него, Владимир сказал:

— Психологически это можно понять. Но на первом месте должна быть тонко продуманная материальная заинтересованность. Она — решающий фактор...

— А если конкретно?

— Вот как у нас было. До восьмидесятого года ремонтники зарабатывали меньше, чем основные рабочие. Мы в процессе пуска завода осваивали, изучали оборудование, технологию, докапывались до истины: ведь машины, станки неизвестные нам, много импортных. В общем, шло освоение, чтобы все это знали, как говорится, от «а» до «я». Планов жестких тоже не было. Из-за сложности работ возникла текучка. Переходили туда, где знаний почти не требовалось, а заработки выше. Потом, спустя какое-то время тариф ремонтникам повысили на десять процентов. Кстати, Баштанюк этого добивался с первых дней, как только бригаду нашу создали. Он на всех собраниях утверждал: «Ремонтной службе требуется такое же внимание, как и рабочим основных профессий. Если этого не сделать, мы загубим оборудование».

Бех вскоре разрешил эту проблему. К тарифу приложили очень интересную раскладку. Из семи пунктов. Первое: профмастерство — 16 процентов; второе: условия труда — 21 процент; третье: за выполнение нормативного задания (лимит простоя) — от 20 до 40 процентов (если лимит простоя не выдерживается, ремонтник теряет 20 процентов зарплаты); далее: от выполнения плана заводом — 20 процентов, за качество работы — 20 процентов и районный коэффициент — 15 процентов. Потом ввели еще 10 процентов к тарифу. Зарплата повысилась. Подошла к уровню, а нередко была выше, чем у рабочих основных профессий. Поинтересуйтесь средним заработком по КамАЗу. В прошлом году слесарь механосборочных работ получал двести семнадцать рублей, кузнец — двести тридцать девять рублей, слесарь-инструментальщик — двести сорок один рубль, станочник на универсальном оборудовании — двести сорок четыре рубля, наладчик технологического оборудования — двести сорок пять рублей, а слесарь-ремонтник оборудования — двести пятьдесят семь рублей. Раньше, к примеру, от нас уходили на ЗРД (строющийся завод ремонта двигателей), а после введения новых ставок стали возвращаться. Интерес у людей появился. К учебе потянулись. Это же и государству выгодно и рабочему...

Бригада Геннадия Баштанюка, одна из многих на КамАЗе, сегодня заявляет о себе как о коллективе дружных, спаянных одной целью единомышленников, которые способны решать не только профессиональные, экономические, но и нравственные вопросы. Эти опытные люди могут влиять и на воспитательный процесс и влияют.

— В бригаде когда-нибудь выпивали? — спросил я как-то между прочим у Владимира Бахорина.

— Из наших? Никто. — Сделал он удивленные глаза.

— А что значит «из наших»?

— Имеется в виду основной костяк бригады. Был, правда, один, и тот ушел. Мы с Баштанюком работаем обычно в первую смену. А тут случился какой-то срочный вызов. Вторая смена уже началась. На подходе к рембазе я нагнал бригадира, и мы вместе поспешили в бригаду. У одного из стандов возился Николаев. Ну, как водится, поздоровались за руку. Смотрю, Геннадий почему-то не отпускает его. Наверное, запах спиртного учуял. «Выпил?» «Пиво пил. В двенадцать». Баштанюк ему говорит: «Не знаю, что ты пил и во сколько, но работать сегодня не будешь». «Последний раз, Геныч. Прости». «Нет. Выйдешь в воскресенье. От смены отстраняю». Покрутился Николаев и ушел. А мы на совете бригады решили просить администрацию о снижении ему на три месяца разряда с шестого на четвертый. Администрация нас поддержала. Ничего не могу сказать, он хороший слесарь. И его никто не прогнал из бригады. Сам уволился. Может быть, теперь и жалеет, да поздно. И новичок тут один был, да быстро сплыл. Бригадир у нас требовательный. И совет бригады твердо настаивает на своем: либо работать — либо пить, двух положений быть не может. Кстати, не одни мы стоим в этом ряду. Так же смело решают подобные проблемы бригады Марата Хуснутдинова, Николая Мальнева, Владимира Ватагина, Валерия Бородулина, Филатова, Переведенцева...

Я согласился с Бахориным, зная и названных бригадиров и людей из тех бригад. Но в одном вопросе (я имею в виду работу с подростками и трудновоспитуемыми) отдаю предпочтение бригаде Баштанюка.

Однажды, будучи в конторке Геннадия, я стал свидетелем такого разговора. Мы беседовали с Юрием Сакериним. Слесарь 6-го разряда, высокого роста, во всем любит аккуратность. И вдруг заходит чисто выбритый, опрятный мужчина, спрашивает: «Могу я видеть Геннадия Сергеевича?» — «Его сейчас нет. Уехал в КЦЛ (корпус цветного литья). По вызову. Он вам срочно нужен?» — «Нет, до завтра терпит». — «А что у вас? Может, я передам?» — «Сын у меня. Подрался. Из техникума исключили. Хочу, чтобы вы его к себе в бригаду взяли». — «Почему именно к нам?» «Все говорят так. Сюда, мол, надо», — помялся отец незадачливого сына и, поблагодарив нас за внимание, ушел.

Откуда это у Баштанюка? В Орехово-Зуеве Геннадий дружил с детдомовцами, много времени проводил с ними, жалел ребят, домой зазывал. Ведь детская душа отзывчивее взрослой, она не знает расчетливости. Мама Гены, Екатерина Семеновна, не отжавливала его от этих ребят. Наоборот, хоть жили и небогато, делилась последним, угощала сирот, одаривала их вниманием. Видно, эта материнская сердечность передалась и Геннадию.

Десятки парней с благодарностью вспоминают Геннадия Сергеевича за доброту, за науку, за тепло да и за приобретенную специальность. Пионервожатый с производства в школе № 14 — не благоприобретенная формальность моды. Слесарь Леонид Завязкин ушел вожатым в дружину на все лето. Уехал с ребятами в лагерь. Вернется, и сразу же возобновится работа вожатого из бригады Баштанюка в стенах школы. Бригадир и сам 6 лет подряд, приходя в школу, одевал пионерский галстук. Проводил сборы, обменивался книгами, ходил с ребятами в кино, готовил походы, делился мыслями о работе бригады, о ее назначении. Мне он как-то сказал: «Шесть человек прошло через бригаду. Получили парни хорошую специальность, сдали на разряды. Не жалуются, благодарят. Но бригада из-за них иногда теряла первые места. Приходилось выбирать: либо судьба мальчишки, либо первое место».

Знакомиться с новыми людьми всегда интересно. В бригаде Баштанюка работают 20 человек. О каждом можно сказать добрые слова. Владимир Бахорин, например. Баштанюк о нем говорит: «Наш электронщик». А он и слесарь, и электрик, и, действительно, электронщик. Бахорин спокойный, уверенный. Улыбка сдержанная. Волосы стрижет ежиком. Внушает доверие. Тот, кто рядом с ним, может ничего не бояться. Учился в институте. Со второго курса ушел. Сынишке глаз во дворе ранило. Жена работу на время из-за этого оставила, а он институт. По нескольку раз возили мальчика в Одессу в клинику Филатова. Боролись, чтобы зрение сохранить. У Бахорина тоже 6-й разряд, как у Баштанюка, Чекина, Сакерина, Шевченко, Власова, Минкина. Вообще с разрядом ниже 4-го в бригаде только четверо. На днях из армии вернулись Расих Нуриддинов и Алексей Бугайцов. До них с 4-м было два человека.

Или вот Валерий Пономарев. Он камазовский старожил. В бригаде, правда, с 1982 года. Слесарь и токарь. Кстати, смежной профессией в бригаде овладел каждый второй ремонтник. Официально это именуется профмастерством. За овладение второй специальностью рабочим идет доплата от 4 до 16 процентов. Мне кажется, что это очень выгодно и рабочему и заводу. Конечно, если речь идет о настоящем профессиональном мастерстве. Такое ощущение у меня возникло после одного эпизода.

Утром, когда все собрались, Баштанюк вытащил из кармана винтообразный, загадочной конструкции ключ и показал Пономареву: «Сможешь замок к нему сделать?» Валерий подождал, внимательно разглядывая ключ, подумал. «Постараюсь».

Мы ушли с Баштанюком к плавильным печам. Туда с самого утра отправился Федя Идрисов. Что-то случилось с вибрационно-долбежной машиной. Ни свет ни заря, не успели мы с Баштанюком войти в конторку, — было минут пять восьмого — позвонил мастер с плавильного участка. Трубку поднял Геннадий. Я разговаривал с Пономаревым, но до моего слуха донеслось: «Раньше могли, а теперь не можете?.. Ладно, выхожу».

В голосе Баштанюка послышалось недовольство, легкое раздражение. Я спросил у него, когда мы были в пути:

— Что-нибудь случилось?

— А-а. Сейчас увидим. Мастер с плавильных торопит. Машина там остановилась, которая футеровку долбит. Идрисов уже там. Но мастеру показалось, что Федя один не справится.

— Что-то полетело?

— Гидромотор течь дал. Но я из-за другого расстроился. Обходились же. Сколько месяцев они стояли? Теперь все бросай и беги...

— И сколько таких машин?

— Три. Купили в США. Огромные деньги стоят. Хорошие долбежки. Но на карбюраторном движке. Сначала одна машина вышла из строя, затем вторая и третья. Все три двигателя заporоли. Оттащили эти машины в сторону и бросили. Вместо них здоровых мужиков с отбойными молотками поставили. И, кажется, забыли про те механизмы. Потом кто-то вспомнил. На собрании говорили. Вот мы с нашими ребятами и вернули им жизнь. Электрики помогли. Заменяли движок на электромотор. Две машины подняли. До третьей руки еще не дошли. Теперь нас же еще и торопят, видите ли. А с другой стороны приятно, что нужда в этих механизмах появилась, что мы сделали людям добро.

Гул мощных электроплавильных печей нарастал, как рев моторов приближающегося к аэровокзалу самолета. Разговаривать было уже почти невозможно. Мы молча приблизились. Картина перед нами открылась более чем любопытная. Вокруг долбежки разлиты лужи зеленоватого масла. Напротив — пять ковшей с обгоревшей футеровкой. Возле одного из них с ломом в руках, в каске, очках, в одной майке, прикрыв носовым платком рот, работал среднего роста, полный, мускулистый парень. Занесет аж до плеч руки, поднимет лом, шарахнет по оплавленному кирпичу — кусочек отвалится, шарахнет еще — еще кусочек, а там, глядишь, и целый кирпич вывалится.

Федю я не сразу увидел. Оказалось, он залез под чрево машины. Ясно было, что гидромотор надо снимать. Но у Феде что-то там не получалось. Баштанюк схватил профнастил, бросил между гусеницами сумку с инструментом и полез к Феде. Мы остались с мастером вдвоем.

Возле печей жарко. С рабочего пот градом катился, но он бил и бил по отслужившей свое футеровке. Потом бросил лом. Взял обычную совковую лопату, зачерпнул песку и стал засыпать зеленые масляные «лужайки», которые постепенно приняли бледно-серый цвет. Затем стал сгребать обмасленный песок в кучку и относить к сбросному люку, куда выкидывают обугленный кирпич. Отдохнув немного, рабочий снова взялся за лом.

— Часа за полтора он, наверное, освободит ковш?

— Нет, за смену три-четыре ковша. И то если с помощником.

— А машина?

— Почти десять ковшей.

Баштанюк вылез из-под долбежки. Вытащил за собой профнастил и бросил его к стене. Отряхнул грязь и пыль с одежды и, старательно протирая руки ветошью, весело бросил:

— Костя, гони погрузчик. Менять мотор будем. Идрисов все сделает как положено. Через час заработает машина.

Обратно в конторку мы вернулись часа через полтора. Оказавшись в помещении бригады, Геннадий первым делом поискал глазами Пономарева и спросил:

— Валерий где?

— В конторке, у мастера.

— Валера, как замок?

— Вот, готов. — И тот положил на стол небольших размеров поблескивающий параллелепипед, а рядом замысловатый ключ.

— Спасибо, Валера.

Пономарев ушел. Геннадий повернулся ко мне:

— Я и при нем могу сказать. Вот это настоящее мастерство! Золотые руки у парня. За такую работу и денег не жалко. А то бывает...

Поговорить о волновавшей Баштанюка проблеме в тот раз не удалось. Зазвонил телефон.

— Вызов?

— Нет, это не срочное. Но я давно обещал...

Геннадий надел танкистский подшлемник, очень модный головной убор у рабочих, натянул фуфайку, сел на мотороллер и уехал.

Февраль 1984 года для объединения «КамАЗ» был необычным. Появился приказ — постановление генерального директора и профсоюзного комитета «О дальнейшем повышении эффективности бригадной формы организации и стимулирования труда». Приказ сопровождался тринадцатью приложениями. В них подробное разъяснение о производственной бригаде, совете бригады и бригадиров — от совета самой бригады до совета бригадиров при генеральном директоре объединения, его правах и обязанностях, о материальном стимулировании, о разных доплатах и премиях в зависимости от инициативы рабочих, количества и качества произведенной продукции. Прошло больше года. Что же сделано по тому приказу?

Центральный Комитет КПСС требует в принятом на сей счет постановлении повсеместного внедрения хозрасчета, бригадной формы организации труда. Нет, не формального создания бригад ждут и от КамАЗа, а конкретной экономической отдачи. Речь идет об обоюдной заинтересованности государства и рабочего. Игра в одни ворота не получается. Да и торопливость ни к чему. Дело серьезное и очень важное. В объединении уже сделаны первые шаги. Созданы бригады почти везде, избраны советы бригадиров на всех уровнях. Председателем совета бригадиров объединения «КамАЗ» в прошлом году избрали Геннадия Баштанюка. А недавно снова переизбрали. Он выступил с докладом на собрании бригадиров. Результаты есть, сдвиг намечился. Можно назвать такой интересный показатель. Все 600 бригад основного производства (а на КамАЗе они составляют около 20 процентов, остальные относятся к разряду вспомогательных) переведены на работу с элементами хозрасчета и полухозрасчета. Начиная с прошлого года этим бригадам установлены плановые задания по фонду заработной платы. Первые шаги. Они действительно первые, ибо хозрасчет влечет за собой огромную экономическую перестройку.

На литейном заводе мне посоветовали поговорить с бригадиром стерженщиц в корпусе стального литья Антониной Ивановной Небарака. Совет опытных людей всегда полезен. Именно Антонина Ивановна и рассказала, что произошло в ее бригаде после внедрения элементов хозрасчета:

— Всегда, как подходило лето, завод присылал нам двадцать — тридцать студентов. В эти месяцы у нас всегда не хватало людей. А в прошлом году обошлись своими силами. У нас есть фонд зарплаты и есть задание. Выполняем план меньшим количеством людей. Больше стали платить, и проблема отпала.

— А экономия сырья, энергии?

— За это тоже платят. Сэкономил столько-то — получи. Перерасходовал — отдай. В этом заинтересованы и завод и мы. В январе бригаде полторы тысячи рублей прибавилось. Мы их распределили при помощи КТУ — коэффициента трудового участия.

В бригаде у Небарака 170 человек. Работают люди в три смены. В основном женщины. В тот февральский месяц тридцать работниц находились в декрете. И ничего — бригада обходилась. Помощников со стороны не приглашали. Хотя не все еще тут гладко.

Антонина Ивановна минчанка. Круглолицая, глаза радостно светятся, быстрая в движениях, решения тоже быстро принимает. Работает здесь с 1977 года. А вообще по профессии она линотипистка. В Минске 5-й разряд имела. А в Чelнах, стыдно сказать, предложили 3-й. Отказалась — самолюбие не позволило, — ушла на завод. Начинала с азав, сейчас у нее 4-й разряд, самый высокий у стерженщиц.

Пока Антонина Ивановна рассказывала о себе, о своих заботах, к ней в конторку, маленькую комнатку в бытовке, заглядывали работницы с текущими проблемами: «Нужен газовщик, Тоя. Газ плохо горит». «Сейчас вызову». Небарака немедленно бралась за трубку.

Участок как раз простаивал: не было уротропина, а значит, нет и гексы — раствора воды с уротропином. На один замес требуется два с половиной литра гексы. Без нее стержни производить нельзя — рассыпятся.

— Какой же выход из сегодняшнего конкретного положения? — поинтересовался я у Антонины Ивановны.

— У нас (я имею в виду на заводе) вводится автоматическая система управления производством. На ЭВМ уже зафиксировано начало нашего простоя и указан виновник.

— А вы могли бы не указывать простой, а потом как-то наверстать упущенное, сократив время на профилактике, мойке, чистке машин?

— В этом нет необходимости. К порядку надо приучать всех. В скором времени не бригадир или мастер, как сейчас, а датчики в случае остановки оборудования, линии автоматически подадут сигнал в АСУ...

О своей беседе с Антониной Ивановной Небарака я рассказал Баштанюку. Геннадий загорелся:

— Мы на грани новых производственных отношений! Теперь никто не скажет: «Ваня, не пиши простой, я нагону». Остановилась линия — и АСУ уже в курсе, зафиксировала.

— Но это важно при полном хозрасчете?

— Конечно. Хотя многие стали задумываться. «Ты — мне, я — тебе» уже не проходит. А если глубже заглядывать в производственные отношения, то уже сегодня надо кое-что ломать. Надо в ряде бригад отменить наряды, эту ненужную писанину. Липу, по существу, мастер пишет. Зря время тратит. Есть лимит простоя у ремонтников, электриков, наладчиков, есть бригада. Вот и держитесь твердо лимита. Но и к этому показателю, наверное, требуется более гибкое отношение. Как у нас сейчас происходит? Соблюдаем мы установленные часы простоя — значит, получаем все надбавки. А если вместо пяти лимит составит пять с половиной или шесть часов, бригаду полностью лишают надбавки. Хотя надо бы как надбавку, так и снижение ее за перепростой вводить скорректированно, учитывать все колеблющиеся данные простоя. А главное, не ставить задание бригаде от достигнутого результата, а давать его, соотносясь с проектной производительностью оборудования. Заинтересованность ремонтников повысилась бы.

Второе — о починах. При более совершенных производственных отношениях и четкой организации труда они, по-моему, отомрут. Не надо починов на голом месте, не подкрепленных ни материально, ни морально. Необходимо создать нормальные условия для работы, для выполнения плана. Собственно, хозрасчет этого в первую очередь и требует.

...В докладе на годовом совещании бригадиров КамАЗа Баштанюк отметил, что за прошедший год коллектив объединения выполнил план и социалистические обязательства, добился сверхпланового повышения производительности труда на 1,1 процента. Себестоимость продукции дополнительно к плану снижена на 0,53 процента. Задание четырех лет пятилетки выполнено еще 29 ноября. Объединение дало на 50 миллионов рублей продукции сверх плана. В связи с выходом пятисоттысячного «КАМАЗа» объединение награждено орденом Ленина. Эти трудовые успехи достигнуты благодаря в том числе и тому, что на заводах КамАЗа внедряется бригадный метод организации труда.

Это совершенно конкретная форма участия рабочих в управлении предприятием. Уже одно то, что в приказе генерального директора записано: «Вопросы улучшения социально-бытовых условий работников никто не должен рассматривать без учета мнения, зафиксированного в протоколе заседания совета бригады», говорит о серьезном доверии к новой форме работы...

Не обошел Баштанюк в своем сообщении перед бригадирами объединения и тот вопрос, вернее, наболевшую проблему профмастерства, которой он делился со мной.

«В конце прошлого года совет бригадиров рассмотрел вопрос о совершенствовании доплаты за профмастерство. Старое положение не в полной мере соответствует своему назначению, — читал я в докладе. — Речь-то идет о мастерстве именно по основной профессии, чтобы рабочий был прямо заинтересован в своем профессиональном росте... Вместе с тем и стимулирование за освоение смежных профессий не должно исключаться. Мы не просим дополнительных средств на это, их достаточно, чтобы решить обе проблемы в соответствии с их значимостью для производства. Вопрос этот можно целиком доверить советам бригад. Они в состоянии определить, кто заслуживает доплаты за профмастерство, а кто нет...»

Дочитав доклад, я спросил Геннадия:

— Чем объяснить, что стержневой участок в КСА своим простоем — уротропин подвезли часам к одиннадцати — не нанес в тот день серьезного урона производству стального литья?

Геннадий помолчал.

— Всерьез говорить об этом рано, потому что как наш завод, так и объединение в целом еще не вышли на проектную мощность. Тормозом по-прежнему остаются смежники.

— Допустим, объединение вышло на проектную мощность.

— Тогда тот простой — нож в сердце, срыв плана. При полном введении хозрасчета (если уж мы говорим о стержневом участке) от выхода стержней должны зави-

сеть в зарплате и те, кто снабжает материалами, и те, кто поставяет газ, воду, электричество, и ремонтные службы.

— Значит, энергетики, снабженцы должны иметь свой хозрасчет, свой баланс, чтобы в случае срыва было чем рассчитаться?

— Видимо, так... Но не так все это просто...

Да, наверное, не просто. Как показала жизнь, нынешнему директору литейного завода В. П. Абросимову да и другим руководителям все меньше и меньше приходится заниматься заводом, судьбами рабочих, проблемами совершенствования технологии, экономики, а больше — выколачиванием сырья: металла, формовочного песка, уротропина, и т. д., — и речь о том, чтобы завод ежемесячно тютелка в тютелку выдавал плано-проектное литье, конечно, пока не идет. Ни на самом заводе, ни в Министерстве автомобильной промышленности.

Обсуждая вопросы, связанные с подрядом, мы не могли не коснуться проблем организации социалистического соревнования. Как повлияет на него хозрасчет?

— Соревнование начинается с отдельного рабочего, с выполнения им плана, — сказал Баштанюк. — Для начала, мне кажется, надо добиться — о чем мы уже говорили, — чтобы по стране буквально каждый рабочий ежедневно выполнял свой план. А затем двигаться дальше. При наличии КТУ и материальной заинтересованности отпадет необходимость в некоторых формах соревнования. Нужны будут новые. При этом, возможно, придется отказаться от личных социалистических обязательств. Ведь нередко так бывает. Бригадир напишет свои личные обязательства, а потом их, как под копирку, зафиксируют все члены бригады. Сплошной формализм! Вспомним комплексные планы-обязательства. Я с горечью отмечаю, что они стали «галочными». В первые годы, когда они только появились, каждую строку такого плана взвешивали, обсуждали. Вы, наверное, знаете, что этот план состоит из обязательств рабочих и тех мероприятий, которые осуществляет администрация для их выполнения, повышения производительности труда. Все следили, чтобы намеченное выполнялось в срок. А теперь только обещают и месяцами, бывает, ничего не делают. Конечно, бригада как производственное звено заслуживает самого пристального внимания. И мне кажется, что любой эксперимент должен начинаться с нее. Ведь она, выражаясь военным языком, основная тактическая единица нашего народного хозяйства. Но если эта единица станет еще настоящей и хозрасчетной, тогда многие сегодняшние проблемы, которыми занимаются порой десятки инженеров, перейдут в бригаду к непосредственным исполнителям. У них, к сожалению, еще очень много обязательств и совсем мало прав. Так, если не вдаваться в глубину проблемы, видится мне ближайшее будущее бригады...

Прошло 20 лет с тех пор, как Геннадий решил стать слесарем и поступил в училище. Ровно 20 лет. И ни разу за это время он не пожалел об однажды избранном пути. Никто не слышал от него жалоб или разговоров о неудовлетворенности своей работой: ни мать с отцом, прошедшие нетореными трудовыми дорогами и помогавшие сыну в силу своего жизненного опыта, ни дедушка Семен, 90 лет от роду, переживший на своем веку не одну беду, ни так страстно любившая внука бабушка, которая до последних дней проявляла заботу о нем, вязала для него теплые носки да варежки, ни жена Оля, хотя и хрупкая, но сильная женщина, ставшая ему настоящей помощницей во всем, ни его закадычные друзья, несмотря на то, что в жизни случались дни, когда волком хотелось выть. И мне за годы рождения КамАЗа и превращения его в современный автомобильный завод Геннадий ни разу не пожаловался на свою судьбу. Нет у него такой черты в характере, чтобы жаловаться.

Совсем недавно я спросил у Геннадия:

— Тебе легко живется?

Он посмотрел на меня загадочно и также загадочно улыбнулся, ответил не сразу:

— Хорошей и одновременно легкой жизни не бывает...

Кто же станет оспаривать справедливость подобного утверждения?! Хорошей и вместе с тем легкой жизни действительно не бывает. Да Баштанюк и не из тех, кто ищет такой жизни.

ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

М. ХРАПЧЕНКО



МЕТАМОРФОЗЫ КРИТИЧЕСКОГО СУБЪЕКТИВИЗМА

I

Истина, как известно, рождается в процессе столкновения различных точек зрения. Но отсюда вовсе не следует, что любая высказанная в споре идея справедлива. Это относится и к рассмотрению идейно-эстетических связей классического литературного наследия с духовной жизнью современного общества.

В последние годы у нас развернулись бурные дискуссии относительно интерпретации в театре и киноискусстве крупнейших произведений русской и мировой классики. К сожалению, дискуссии эти редко приводили к ощутимым результатам.

Весьма интенсивными были и во многом остаются споры в критике и литературоведении о характере и основных тенденциях творчества Достоевского и Гоголя, сущности и смысле их художественных обобщений, споры, поводом и основанием для которых явились юбилейные даты — сто лет со дня смерти Ф. М. Достоевского (1981) и сто семьдесят пять лет со дня рождения Н. В. Гоголя (1984). В центре внимания участников дискуссий находились и находятся вопросы о значении творчества этих писателей для нашего времени, или, точнее, о современном «прочтении» их произведений.

Критические разноречия не могут и не должны заслонить несомненное, бесспорное — тот огромный интерес, который вызывает к себе творчество Гоголя у современного читателя и зрителя. Об этом с достаточной убедительностью свидетельствуют многочисленные издания произведений писателя, новые сценические воплощения его пьес, экранизации его художественных шедевров.

Массовыми тиражами в 1984—1985 годах в Москве опубликованы два собрания сочинений Гоголя (издательства — «Художественная литература» и «Правда»). Двухтомник избранных произведений писателя вышел из печати в количестве свыше миллиона экземпляров. Помимо того, в Москве изданы в виде отдельных сборников повести, «Ревизор», «Женитьба» (тираж 3,5 миллиона) и затем «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Миргород», повести и драматические произведения писателя — книга также адресована широкой читательской аудитории.

Новые издания сочинений Гоголя в переводах на национальные языки народов СССР осуществлены во многих братских республиках. Избранные произведения писателя в 1984 году опубликованы на украинском языке, в переводе на узбекский язык в Ташкенте вышло собрание сочинений Гоголя в пяти томах, избранные сочинения писателя напечатаны на армянском, молдавском и других языках народов СССР.

Отдельные произведения Гоголя изданы в Киеве, Алма-Ате, Тбилиси, Ереване, Фрунзе, Улан-Удэ, Красноярске, Иркутске, Омске, Хабаровске и многих других городах нашей страны.

Современное восприятие Гоголя трудно выразить в какой-либо одной формуле. Оно включает в себя широкий спектр душевных откликов, идей, эмоций, размышлений. И вместе с тем ему присуще живое своеобразие, которое обусловлено взаимодействием художественных обобщений писателя и духовных интересов, запросов современных читателей и зрителей.

Многие явления жизни, которые изображал Гоголь, давно стали достоянием исто-

рии. Но не они сами по себе привлекают внимание читательской аудитории нашего времени. Историко-познавательное начало в современном восприятии Гоголя, думается, не играет существенной роли. Глубокий интерес читателей вызывают прежде всего гоголевские характеры, нарисованные с потрясающей художественной силой, характеры, в которых и сейчас угадываются приметные, существенные черты немалою числа наших современников. Читателей привлекают художественные обобщения Гоголя, получившие общечеловеческое значение.

Иногда высказывается мнение, что общечеловеческий смысл имеют лишь те художественные образы, в которых воплощены, преобладают положительные качества людей. Но это, разумеется, неверно. Широкое признание в мире получили не только Ромео и Джульетта, король Лир, но и Яго, Макбет, не только Андромаха Расина и Сид Корнеля, но и мольеровские Тартюф, Журден. Фауста сопровождает Мефистофель. К художественным обобщениям, имеющим мировое значение, принадлежит ряд героев Бальзака, в духовном облике которых преобладают отрицательные черты, в том числе такие, как Растиньяк, Гобсек, Люсьен Шардон Вотрен. Пушкин создал великолепные образы Татьяны Лариной и Ленского, но в его произведениях мы видим и совсем иные творческие обобщения — Германи, скупой рыцарь. Среди характеров, изображенных Л. Толстым, общечеловеческое значение приобрели образы не только Наташи Ростовой, Андрея Болконского, Пьера Безухова, Анны Карениной, но и Николая Ростова, Друбецкого. Каренина, Ивана Ильича Головина («Смерть Ивана Ильича»).

Длительность жизни художественных обобщений, масштабы их воздействия прямо не связаны с их позитивной однозначностью, а зависят от силы, глубины проникновения художников в весьма разнообразные явления жизни. И даже можно сказать, что в кругу мировых образов преобладающее место принадлежит героям, наделенным отрицательными свойствами. Это лишнее свидетельство тому, что критическое, в том числе и сатирическое, освещение процессов действительности, характеров (а мы говорим сейчас о Гоголе) само по себе отнюдь не уменьшает длительности исторического бытия великих художественных созданий не ослабляет внутренних связей творчества писателя — юмориста, сатирика с нашей эпохой.

Современного читателя заражает и увле-

кает неистощимый смех Гоголя, смех над презренным, ничтожным, над душевным убожеством, выступающим в сочетании с кичливой претенциозностью и самонадеянностью, над беззастенчивым «устройством», хищничеством, жадной наживы и чиновничеством, над цинизмом и лицемерием и многими иными негативными качествами

Произведения Гоголя проникнуты глубокой верой в высокое призвание человека, его творческие возможности, которые столь часто не получают своего осуществления. Юмор, сатира неотделимы от стремления писателя к идеалу, оно составляет характерное свойство его художественного труда. В «Театральном разъезде» одним из действующих лиц высказывается следующая примечательная мысль: «В руках таланта все может служить орудием к прекрасному, если только правится высокой мыслью послужить прекрасному». И здесь же: «Разве все, до малейшей, излучины души подлого и бесчестного человека не рисует уже образ честного человека? Разве все это накопление низостей, отступлений от законов и справедливости не дает уже ясно знать, чего требуют от нас закон, долг и справедливость?»

В наши дни, в условиях советской действительности значительно острее и глубже, чем раньше, воспринимаются мысли Гоголя о высоком призвании человека, яснее и глубже вырисовываются по принципу контраста черты тех людей, для которых идеи справедливости, добра, долга являются принципами их жизни. Осуждая вместе с писателем мелочное, лишенное истинно человеческого содержания, ничтожное существование, низменные побуждения и страсти, оказываясь во власти гоголевского смеха, советский читатель испытывает при этом чувство уверенности в силе положительных начал жизни, тех начал, которые неуклонно развиваются в советском обществе, странах социализма. Это одна из существенных особенностей восприятия творчества Гоголя в наши дни. Но уверенность в силе положительных начал действительности ни в какой мере не ослабляет восприятия глубины художественных обобщений писателя, того критического содержания, которое в них выражено. Ведь социальное зло, общественные, человеческие пороки, охарактеризованные автором «Ревизора» и «Мертвых душ», широко и весьма активно проявляют себя в нынешнем сложном и противоречивом мире.

Между восприятием наследия Гоголя современными читателями и тем «прочте-

нием» его произведений, которое предлагается некоторыми нашими критиками и литературоведами, нередко наблюдаются глубокие расхождения. Исходя из предвзятых идей о своеобразии исторического развития нашей страны, идей, которые временами принимают «неославянофильский» характер, отмечая преимущественно положительные начала исторической действительности, получившие свое отражение в отечественной литературе, отдельные критики и литературоведы стремятся придать произведениям Гоголя, всему его творчеству иной облик, чем тот, который им был присущ в их реальном историческом бытии и в каком они воспринимаются современным читателем.

Серьезно приуменьшаются или даже просто игнорируются критическое освещение Гоголем негативных явлений жизни, его страстное отрицание социального зла, того, что человеку мешает быть настоящим человеком. Реальное содержание художественных произведений писателя временами существенно трансформируется, произвольно подтягивается к его идеалам, представлениям о великом будущем России.

Если читательскому восприятию литературы свойственна эмоциональная непосредственность, то критико-аналитическое ее рассмотрение, признанное обогатить читательское восприятие, предполагает помимо всего иного исторический взгляд на литературные явления, будь то классическое наследие или же значительные произведения современных авторов. Исторический подход позволяет глубже, объективнее не только охарактеризовать место, роль того или иного писателя в литературном процессе, но и верно оценить художественно-эстетическое, общественное значение его творчества.

Особенно важен историзм при современном прочтении произведений писателей прошлого, классиков русской и мировой литературы. В этой сфере деятельности историзм противостоит тому субъективизму, который нередко наблюдается в научно-критических работах, в театральных постановках и во многих кинофильмах. Критики и литературоведы, настаивающие на коренном пересмотре взглядов на творчество Гоголя, а также и на художественное наследие других русских писателей XIX века, избегают исторического подхода, вероятно полагая, что он не нужен при «свободном» анализе классики и, более того, способен помешать ему. Судя по всему, как раз поэтому игнорируются социально-эстетическая функция произведе-

ний Гоголя на протяжении многих десятилетий, их роль в освободительном движении. Все это, естественно, не может не сказаться отрицательным образом на суждениях, концепциях тех наших критиков и литературоведов, которые вместо реально-исторического рассмотрения художественных произведений оперируют абстрактными категориями.

В 30-е годы в литературоведении появились так называемые вопрекисты. Сущность их взглядов заключалась в следующем: крупные художники слова чаще всего (или даже почти всегда) творили вопреки своему мировоззрению. Под этим углом зрения рассматривалось развитие почти всей мировой литературы. Однако внимательное изучение литературных фактов показало несостоятельность теории «вопрекистов». Сейчас мы наблюдаем как бы новую волну «вопрекизма», но нынешние «вопрекисты» выступают с иных позиций: они конструируют свои теории, концепции творчества ряда писателей вопреки содержанию, пафосу их произведений, иногда ссылаясь при этом на современное прочтение классиков. Взгляды и критическая практика нынешних «вопрекистов» еще более уязвимы, чем идеи и принципы их предшественников. Тому, что не имеет под собой подлинной опоры, построено на песке, не суждено длительное существование.

II

Недавно в связи с гоголевской юбилейной датой опубликована книга «Гоголь: история и современность» (М. «Советская Россия». 1985). В ней предприняты попытки сказать новое слово об авторе «Ревизора» и «Мертвых душ». Попытки такого рода бесспорно следует приветствовать, если они основаны на глубоком анализе текста произведений, на рассмотрении их социально-эстетической функции, их роли в истории отечественной и мировой культуры, в духовной жизни современного общества. К сожалению, составляющие книгу различные статьи в значительной своей части поставленной цели не достигают. Некоторые же из них рельефно демонстрируют открытый самодовольный субъективизм, отказ от серьезной аргументации положений, развиваемых их авторами. В этом смысле, пожалуй, наиболее примечательными являются статьи В. В. Федорова «Поэтический мир Гоголя» и А. В. Михайлова «Гоголь в своей литературной эпохе».

Какие же новые идеи выдвигают авторы? Один из основных тезисов статьи В. В. Федорова состоит в том, что почти каждый

персонаж, скажем, «Мертвых душ» заключает в себе две стороны, два разных облика, не похожих один на другой и, более того, противостоящих один другому.

Вначале речь идет о Собакевиче. В. В. Федоров пишет: «...характеристика персонажа (это относится не только к Собакевичу) строится таким образом, что она в известный момент начинает противоречить себе». Эта вторая сторона персонажа, по мнению автора, может быть оправдана лишь в том случае, если имеет положительный смысл. В. В. Федоров продолжает: «Рискуя быть заподозренными в «плетении словес», все же скажем, что — по логике изображения — Собакевич, безусловно являясь тем, чем он является, вместе с тем является и тем, чем он не является». Не стану слишком иронизировать по поводу «плетения словес», которое успешно осуществляется уже в самом начале размышлений автора, обращаю внимание на его доводы, касающиеся второй, положительной стороны персонажа.

Оказывается, что все в описании дома Собакевича находится в полном соответствии с характером героя, кроме одного — портрет Багратиона, висающий в гостиной, совершенно не похож на Собакевича. Тем самым вводится как бы новый критерий оценки героя. Автор статьи придает этой детали весьма важное значение. Судя по всему, она должна свидетельствовать о патриотизме Собакевича. Но это никак не противоречит общей характеристике героя. Почему бы Собакевичу и в самом деле не выдать себя за патриота, не предстать в таком обличье перед людьми, с которыми он встречается, которые посещают его дом? Ведь Собакевич вообще нередко хочет казаться не тем, кем он является на самом деле. Вот эту позу, видимость автор статьи и склонен принимать за вторую натуру персонажа.

И хотя доводы относительно положительных качеств гоголевского героя совершенно неубедительны, своей мысли о второй природе действующих лиц «Мертвых душ» В. В. Федоров придает широкое, основополагающее значение. Он пишет: «...кроме очевидного и явного жизненного контекста (в котором персонаж присутствует как нечто определенное, что мы, собственно, и называем характером), существует и другой (другие), который неотделим от первого и постоянно с ним взаимодействует».

Идея о двойственности героев «Мертвых душ» отнюдь не нова. Известно, что ее настойчиво развивал еще С. Шевырев. Но если современник Гоголя подчеркивал то, что персонажи «Мертвых душ» могут быть

иными, обладать разного рода добродетелями в жизни — за пределами поэмы-романа, — то наш автор усматривает двойной или даже множественный отсчет в самом произведении, пытаясь оспорить внутреннюю логику гоголевского повествования.

Особо показательны в этом плане суждения В. В. Федорова об изображении Чичикова, его душевных качествах: «Покупка Чичиковым мертвых душ у Собакевича и его же размышления над «реестром» — поступки двух различных персонажей (разрядка здесь и в дальнейшем моя.— М. Х.), которые суть различные проявления «третьего», и этого «третьего» мы тоже называем «Чичиковым», не сводимым, однако, ни к одному как из упомянутых персонажей, так и многим другим: фальшивомонетчику, Наполеону, капитану Копейкину и т. п. Вот этот Чичиков, содержащий в себе и подлеца-приобретателя и его антагониста, и есть главное лицо поэмы». Далее к этим многим проявлениям («реализациям») Чичикова наш автор, помимо фигуры Наполеона и капитана Копейкина, добавляет еще и облик черта.

Вряд ли В. В. Федорову следует настаивать на том, что Чичиков предстает в облике Наполеона или капитана Копейкина. Ведь таким герой рисуется воображению насмерть перепуганных чиновников, и об этом достаточно ясно сказано в «Мертвых душах». Вместе с тем многоликость Чичикова совершенно очевидна: так этот характер задуман и гениально изображен Гоголем. Хорошо известно, что Чичиков в общении с различными лицами обычно, если в том есть необходимость, «выглядит», действует по-разному, приспосабливаясь к собеседникам. Меняется Чичиков не два-три раза, а многократно. Но великая сила мастерства Гоголя в том и состоит, что при всей многоликости героя блистательно нарисован единый характер не стесняющегося в средствах приобретателя, ловкого, циничного дельца. Несхожие между собой похождения Чичикова — это не поступки различных персонажей, а действия собранного внутри, в самом себе, целустремленного человека, которому свойственны, однако, и свои слабости.

Картины, возникающие при чтении реестра мертвых душ, приобретенных героем, не колеблют цельности его характера. В контрастной связи с характеристикой главного действующего лица поэмы-романа находят народные сцены. В воспоминаниях Чичикова раскрывается не восприятие ге-

роем людей и событий, а отношение к ним автора.

Готовя новое издание «Мертвых душ», писатель вслед за рассказом о размышлениях Чичикова набросал следующее добавление: «Но не мешает уведомить читателя, что это размышлялся не Чичиков. Сюда несколько впутался сам автор, и, как весьма часто случается, вовсе некстати. Чичиков, напротив, думал вот что. Ну что, если бы эти мужики были, точно, живы. Безделица. Тогда можно навсегда остаться в деревне. При тысяче душ можно получить тысяч двадцать дохода»¹.

Попытки В. В. Федорова облагородить Чичикова, равно как и других героев «Мертвых душ», отыскать у них — вопреки художественному замыслу писателя — те положительные качества, которые имеют существенное значение для характеристики их духовного склада, явно не удались.

В рассуждениях В. В. Федорова и некоторых других авторов о двойственной природе действующих лиц «Мертвых душ» упускается из виду то важнейшее обстоятельство, что Гоголь часто изображает своих героев одновременно в их реальной сущности и том виде, в каком они хотят предстать перед миром, подлинные их стремления, чувства и постоянные амбиции, претензии, иллюзии, которыми они себя тешат. И это характерная особенность не только персонажей поэмы-романа, но и героев других произведений писателя. Вспомним городничего, его хамство, неудержимое самоуправство, произвол, которые отличают его действия, и обходительность, велеречивое радушие, с каким он встречает «ревизора». Двойственность присуща и Хлестакову, постоянно стремящемуся к тому, чтобы внушить о себе представление как о значительной персоне. В иных своих проявлениях черты эти присущи Пирогову («Невский проспект»), Ковалеву («Нос») и некоторым другим гоголевским персонажам. Однако это вовсе не сочетание неоднородных качеств действующих лиц, а раскрытие различных сторон комических характеров.

Опираясь на тезис о соединении в духовном облике гоголевских героев существенно разных начал, В. В. Федоров развивает мысль о двойной фабуле и более того, о многофабульности «Мертвых душ». Он пишет: «Своеобразие поэмы Гоголя, следствием которого являются «диспропорциональные» сравнения, можно кратко опре-

делить как многофабульность. Одновременно с основной фабулой писатель вводит, а точнее, одна фабула порождает другую, — побочные и параллельные, которые взаимодействуют с основной...» Суждения автора статьи о многофабульности «Мертвых душ» довольно туманны. Цитированное высказывание можно понять в том смысле, что основную фабулу составляет критическое изображение людей, явлений жизни, то есть того, что, по мысли автора статьи, образует, так сказать, первый план повествования.

В дальнейшем выясняется, что это не так. В пределах вторичной фабулы «разворачивается отрицательная (мертвая) жизнь. Эта — вторичная — фабула стремится утвердить себя как «целое», выступая, таким образом, против целого, в состав которого входит фабула первого порядка, основная, первичная фабула. Отрицательное целое стремится узурпировать первичное, положительное целое, целое автора». Следовательно, первичную фабулу образует изображение положительного. Но где и как эта первичная фабула преодолевает или же стремится преодолеть «отрицательное целое», остается совершенной загадкой. Более того, «борьба» фабул приобретает какой-то фантастический колорит.

И уж совсем обескураживает заявление автора статьи о том, что «конфликт поэмы — конфликт творца со своим творением. Этот конфликт возникает, развивается и разрешается только в «целом поэмы»... Очевидно, что речь идет не о последующем отношении Гоголя к первому тому «Мертвых душ», а о коллизии, заключенной в самом произведении. Известны факты, свидетельствующие о сложности претворения жизненного материала в художественные образы, о возникающих при этом противоречиях, о «столкновении» писателей с некоторыми своими героями, которые в ходе повествования приобретают свою логику развития, известны и многие иные литературные факты, характеризующие всю сложность художественного труда.

Они понятны. Но понять конфликт «творца со своим творением», который при этом развивается в самой поэме, весьма и весьма затруднительно. Во всяком случае, мне освоить это не удалось. И потому должен ограничиться некоторыми элементарными вопросами: замечал ли сам автор «Мертвых душ» этот конфликт? если же заметил, то предпринимал ли какие-либо усилия для его преодоления или же считал явление это закономерным? если же не за-

¹ Н. В. Гоголь. Полное собрание сочинений. Издательство Академии наук СССР 1951, т. VI, стр. 598.

мечал конфликта, то как могло сложиться великое художественное произведение, стройное и гармоничное по своей структуре? и наконец последнее: в завершённом творческом создании на чьей стороне правда (жизненная, художественная) — на стороне Гоголя или же его произведения? К сожалению, ответов на эти вопросы у автора статьи мы не находим.

Но как бы ни были сложны многие рассматривавшиеся до сих пор творческие проблемы, выясняется, что они находят свое сравнительно легкое решение в процессе читательского восприятия «Мертвых душ». Вот что пишет по этому поводу В. В. Федоров: «Конфликт между творцом и творением, поставшим на творца,— это, как мы сказали, конфликт целого, которое учреждается, формируется в акте восприятия поэмы, то есть поэтическое событие разворачивается «здесь» и «теперь» (а не «там» и «тогда») — в крепостнической России прошлого века). Творец должен победить и «побороть» свое творение». Никак нельзя согласиться с той мыслью, что поэма как целое возникает лишь в процессе ее читательского восприятия. Это ни на чем не основанное умаление замечательных достоинств классического произведения. Обратим внимание и на то, что о читательском восприятии говорится в настоящем времени («сейчас», «теперь»). А как воспринимались «Мертвые души» раньше, в течение более чем векового исторического бытия поэмы-романа? И потом выдвигается своеобразное требование — Гоголь должен победить свое творение. Но когда и в какой форме писатель мог это осуществить? Произвольность суждений автора статьи неуклонно заводит его в тупик.

В. В. Федорову принадлежит и еще одно интересное открытие (с открытиями в работах разных авторов мы встретимся не раз). Анализируя «Ревизора», он отмечает: «У Гоголя нет деления на смеющегося субъекта и объекта, вызывающего смех... Не отдельные моменты действительности смешны у Гоголя на общем нейтральном фоне, смешна вся действительность «сплошь». Смех в «Ревизоре» — не субъективная реакция на «внешний раздражитель», а выражение «смехового состояния мира»...

В свое время Гегель выдвинул идею о героическом состоянии мира, которое отличало античную Грецию и прозаическом состоянии мира, характеризовавшем современную философу действительность. К этим уже известным историческим периодам В. В. Федоров добавляет новый этап со-

циальной жизни — «смеховое состояние мира». Вероятно, оно распространялось не на какую-либо одну страну, а по крайней мере на несколько, имело международный характер. Однако о нем до сих пор нам ничего не было известно. Можно не замечать юмористические особенности самой этой концепции и относиться к ней серьезно, что, в общем, нелегко, но тогда возникают серьезные недоумения, и прежде всего вот какого характера: что же произошло с теми положительными жизненными качествами, которые В. В. Федоров так старательно выискивал у комических персонажей Гоголя? Куда же девались эти качества, положительные начала жизни?

Само по себе «смеховое состояние» означает, что во времена Гоголя вся действительность «сплошь» была смешна не только в его произведениях, но и в ее реальном облике, в самых различных ее сторонах и проявлениях. Автор «Ревизора» и «Мертвых душ», разумеется, так не считал. Писатель хорошо знал, что он современник Пушкина, Глинки, Александра Иванова, Брюллова и многих других выдающихся людей, творчество, деятельность которых составляли гордость и величие нашей страны. И на этот раз В. В. Федоров стремится поправить Гоголя, и притом весьма существенно.

Поправляет он писателя и в том смысле, что у него не было «деления на смеющегося субъекта и объекта, вызывающего смех». Это решительно не соответствует коренным свойствам искусства Гоголя. Выходит, что в «Ревизоре», «Мертвых душах» да и в других произведениях писатель лишь пассивно воспроизводил то, что видел в окружающей его жизни. Однако творческая история произведений Гоголя со всей очевидностью свидетельствует о том, как активно, тщательно отбирал писатель то, что подлежит осмеянию. Вспомним его слова: «В «Ревизоре» я решил собрать в одну кучу все дурное в России, какое я тогда знал, все несправедливости, которые делаются в тех местах и в тех случаях, где больше всего требуется справедливость, и за одним разом посмеяться над всем». Гоголь никогда не ограничивался простым копированием жизни, его комические персонажи — поразительно рельефное, концентрированное выражение различных черт, особенностей психологии людей. Его смех был разящим, метким, действенным.

III

В статье «Гоголь в своей литературной эпохе» А. В. Михайлов нередко перекликается с суждениями В. В. Федорова, но

идет гораздо дальше в «позитивном» истолковании творческого пафоса Гоголя. С точки зрения А. В. Михайлова, у автора «Ревизора» и «Мертвых душ», в сущности, не было значительных противоречий, конфликтов с социальным миром его времени. Гоголь добился «такого слияния с действительностью, такого погружения во все детали и поры ее», какое впервые выявилось в русской литературе.

Что же представляет собой действительность, ставшая объектом изображения писателя, получившая отражение в его произведениях? Разумеется, в ней есть непривлекательные, уродливые черты, но это нечто внешнее и даже «случайное», то, что никак не характеризует ее реальные свойства. «Любая черта, даже с карикатурной, чрезмерной резкостью запечатлевшаяся на теле бытия, не принадлежит для Гоголя окончательно к виду бытия, — нет, на деле-то, по правде, не так выглядит бытие, а всякая резкая, грубая, карикатурная черта — это момент преходящий, внешний, иной раз — предвестие грядущего преобразования».

Судя по всему, наш исследователь излагает здесь точку зрения Гоголя на социальную действительность своего времени. Но не трудно видеть, что это позиция А. В. Михайлова, а не Гоголя. Общественные пороки, меркантилизм, забвение гражданского долга и другие социальные беды писатель никогда не рассматривал как что-то внешнее и скоропреходящее. Иначе он не стал бы писать обо всех этих явлениях с той глубиной взволнованностью и болью, которые так ясно выступают в его произведениях. А. В. Михайлов подчеркивает, что «окончательный вид» социального бытия «на деле, по правде» совсем не тот, каким его могут представлять временами возникающие грубые, негативные явления. Но где, в каких произведениях Гоголя, да и других авторов — его современников запечатлен этот совершенно таинственный «окончательный вид» бытия? Писатель не был метафизиком, он хорошо знал, что мир, действительность развиваются, и потому не выдвигал многих идей, которые приписываются ему современными «вопрекистами», в том числе и А. В. Михайловым.

Исследователь пытается нас уверить, будто Гоголь разграничивал внешний, вызывающий восторг облик жизни своей эпохи и глубинную ее сущность. Вместе с тем, противореча себе, автор статьи подчеркивает целостность, полноту бытия, которые воплощены в творческих созданиях писателя. «Гоголь не страшится,— пишет

А. В. Михайлов,— осуждать действительность (действительность «первого плана»), не боится показать всю тщету и убожество ее, не боится быть насмешливым и ироничным. У Гоголя так сообразованы эти два плана, что никакое несовершенство первого не причиняет вреда второму, широкому. Несовершенство первого часто творит избыток второго — то есть именно ту переполненность и преизобильность, которая присуща второму миру с его стихийным кипением, бурлением». Если проникнутые комизмом художественные образы Гоголя схватывали только действительность «первого плана», ее лежащие на поверхности особенности — а именно так не только можно, но и должно понять приведенные здесь высказывания А. В. Михайлова, — то автор «Ревизора» и «Мертвых душ» никак не заслуживал бы признания его великим художником слова. Стремясь «приподнять» Гоголя (в чем он никогда не нуждался и не нуждается) и одновременно игнорируя глубокий смысл его юмора и сатиры, наш исследователь невероятно принижает историческое и эстетическое значение его творчества.

И тут же рядом А. В. Михайлов так характеризует «подлинное» содержание произведений Гоголя: «Мерой всего оказывается материальная, стихийная полнота, которая насыщает все до предела и которая начинается за самой поверхностью всего реального, будучи основой всего существующего. Разнообразие реальной действительности прорастает в праздничность бытия и служит ее элементом, а эта праздничность — торжество самого материально-духовного тела бытия». И снова возникает вопрос: а где же изображены эти полнота, преизобильность и праздничность бытия?

Однако на сей раз у нашего исследователя есть ответ, и ответ достаточно категорический. Он пишет: «...можно иронизировать над любителями поесть, над обжорами, тем не менее еда — это здесь и нечто духовное, пир бытийной полноты... В «Мертвых душах» едят часто, вкусно — во славу бытия!» Главным выразителем праздничности, полноты жизни оказываются Собакевич, конечно же, и Петух, равно как и другие восторженные почитатели гастрономических удовольствий. Это уже похоже на анекдот, автор которого, разумеется, не Гоголь, а исследователь его творчества.

Согласно мысли А. В. Михайлова о некоей полноте бытия свидетельствуют и вепци, окружающие героев, их изобилие, которое наблюдает Чичиков, например, в усадьбе Коробочки.

Но этого мало. Все повседневное, мелкое, обыденное — «частица общей полноты мира и несет свой материал в картину полноты, богатства, сытости, разнообразия, удалства, широты, не знающей края». Впрочем, Собакевич в эту картину вносит некоторые свои коррективы: «Лучше я съем двух блюд, да съем в меру, как душа гребует». Замечание героя сопровождается умиленными комментариями исследователя: «...и действительно, тут, в этом мире, не безмерность царит, но мера — огромная, широкая, как душа». Чья? Конечно же, Собакевича.

Удивление и недоумение читателя возрастают, но чувства эти возникают не раз при чтении работ современных «вопрекистов». Рядом с Собакевичем в сотворении полноты, богатства, разнообразия жизни и надо думать, ее удалства широты деятельное участие принимает Чичиков. Он «тоже созидает, вместе с другими, полноту существующего прямо посреди этого здепшего земного мира, и это его главная и первостепенная роль в романе, а его мошеннические предприятия, плутовские операции в сюжетном ряду — уже нечто вторичное».

Как и всегда, наш исследователь не утруждает себя доказательствами, он считает совершенно достаточным лишь объявлять читателям и поражать их открытой им истиной. Однако то, что с такой торжественностью объявляет наш автор статьи, истиной не является ни в малейшей степени. Это относится и к суждениям нашего исследователя об образе Чичикова. В главе одиннадцатой «Мертвых душ» Гоголь, размышляя о том, почему он не взял в герои «добродетельного» человека, пишет о Чичикове: «Нет пора наконец припрячь подлеца. Итак припряжем подлеца!» Очевидно, что мысли автора статьи о гоголевском герое не имеют ничего общего с его изображением в поэме-романе так же как весьма далеки от верного освящения творчества Гоголя и многие другие суждения А. В. Михайлова, в том числе его идеи о богатстве изобилии, широте жизни будто бы изображенной в «Мертвых душах».

Настойчиво повторяя положение о «переполненности стихии бытия», наш исследователь заявляет: «Весь первый том «Мертвых душ» в целом — такая картина вещественного и притом глубокого по

смыслу бытия. Конечно, не на всех страницах представлена она в одинаковую силу, есть отклонения от такого тона в сторону большей прозаичности, а есть и те знаменитые страницы, где Гоголь дает ему (вещественному бытию? — М. Х.), прямо перераста в ликующий гимн жизни с ее неизведанными широтами и неизведанными судьбами...» «Знаменитые страницы» говорят о потенциальных силах русского народа, о будущем России. Они не являются логическим продолжением реальных картин жизни мертвых душ, а находятся с ними в противоречии, возникают в противовес им. Страницы эти раскрывают веру писателя, убежденность его в том, что России принадлежит великое будущее.

Но это отнюдь не побуждало Гоголя к идеализации действительности его времени. Второй том «Мертвых душ» начинается словами: «Зачем же изображать бедность, да бедность, да несовершенство нашей жизни, выкапывая людей из глуши, из отдаленных закоулков государства? Что ж делать, если уже такого свойства сочинитель и заболел собственным несовершенством, уже и не может изображать он ничего другого, как только бедность, да бедность, да несовершенство нашей жизни, выкапывая людей из глуши, из отдаленных закоулков государства». В свете этих высказываний Гоголя стремление А. В. Михайлова представить «Мертвые души» как выражение полноты и праздничности бытия совершенно несостоятельно; суждения исследователя решительно противоречат сущности, всему характеру творчества писателя.

Размышления Гоголя о бедности и несовершенстве изображаемой им жизни, естественно, касаются не только «вещественного» бытия, но в гораздо большей степени духовного мира его героев, душевного оскудения человека. Между тем наш исследователь неизменно подчеркивает гармонию, единство вещественного и духовного как признак значительности и высоты бытия. По его мнению, в произведениях Гоголя «вещественное и духовное не противопоставлены, не разъединены, но и не слиты, они — как два начала — в непосредственной близости одно к другому». В качестве важнейшей особенности творческих созданий писателя отмечается «исключительное гоголевское единство», полное воплощение «в материальной стихийности вещей единства вещественного и духовного, пронизанности вещей духом, смыслом».

Но ведь одна из основных тем поэмы-романа — духовное обнищание людей под

воздействием собственных стремлений, меркантилизма, корысти (отсюда и мертвые души) Гоголь глубоко раскрыл пагубность власти вещей, накопительства. Где же то единство духовного и вещественного, та пронизанность вещей духом, смыслом, о которых без малейших колебаний пишет наш исследователь? Их нет и в помине. И даже, как говорят, совсем наоборот. Не гармоническое единство духовных, интеллектуальных начал человеческой жизни и вещественного бытия нарисовал писатель, а горестное и нередко страшное торжество эгоизма, мелочных и грубых побуждений, накопительства и прозаизма повседневноности.

Общему смыслу концепции А. В. Михайлова соответствуют и его суждения о характерном, о типичности героев Гоголя. С точки зрения нашего исследователя, «характерность и характерное — искажение основного и человеку заданного, человеческой изначальности, результат следования своему частному, своим привычкам, слабостям... Особость, особенность гоголевских персонажей почти всегда подчеркнута» Бесспорно, героям Гоголя, и в первую очередь действующим лицам «Ревизора» и «Мертвых душ», присущи свои, особенные, глубоко впечатляющие черты. Гоголевских героев невозможно смешать — одних с другими.

Однако никак нельзя согласиться с тем, что характерное искажает изначальную человеческую природу. При всем своем индивидуальном своеобразии люди — не обособленные монады. И уж совсем неверна мысль, что характерность чужда природе гоголевских персонажей. Сила художественных обобщений писателя как раз и заключается в смелом и ярком раскрытии характерного, типического, того, что во многих своих видах и формах существует и проявляется в различные исторические периоды. В «Мертвых душах» Гоголь неизменно отмечал типические свойства своих героев. Вот некоторые тому примеры. «Лицо Ноздрева верно, уже сколько-нибудь знакомо читателю. Таких людей приходилось всякому встречать не мало. Они называются разбитными малыми, слынут еще в детстве и в школе за хороших товарищей...» Изображение Коробочки «Минуту спустя вошла хозяйка, женщина пожилых лет, в каком-то спальном чепце, налетом наскоро, с фланелью на шее, одна из тех матушек, небольших помещиц, которые плачутся на неурожай и убытки и держат голову нес-

колько набок, а между тем набивают понемногу деньги жонк в пестрядевые мешочки, размещенные по ящикам комодов». Во имя «особости» гоголевских героев наш исследователь не хочет замечать, выносит, так сказать, за скобку одно из глубоких достоинств произведений Гоголя — его замечательное мастерство создания типических образов.

IV

Серьезного внимания заслуживает тема целостного восприятия и изображения действительности Гоголем, его близости к Гомеру. Но тут придется затронуть не только положения, выдвигаемые А. В. Михайловым, но и высказывания некоторых других авторов. А. В. Михайлов решительно настаивает на том, что «Гоголь достигает взгляда на бытие, мир, народ как на органическую целостность». Жизнь, народ — все это на переднем плане может сколько угодно дифференцироваться, быть ущербным, искаженным, извращенным, но все равно живо изначальное всеобъемлющее сознание правдивости, здравости, цельности, святости самого бытия, самого народа».

О полноте и разнообразии бытия, как они, по мнению А. В. Михайлова, выражены в произведениях Гоголя, у нас уже есть представление. Что же касается органической целостности гоголевского восприятия и изображения жизни, то она — в истолковании А. В. Михайлова — имеет несколько сторон. Первая из них — социальная, связанная с внутренней дифференциацией общества. По утверждению исследователя, несмотря на любую дифференциацию (с существенной оговоркой «на переднем плане»), жизнь, бытие в произведениях Гоголя выступают в своей нераздельности, в своем единстве. Однако суждения эти не только никак не доказаны, они недоказуемы.

Разве только «на переднем плане» являются глубокие противоречия жизни, ее дифференциация в «Ревизоре» — противоречия между властью предрержащими, чиновной средой, олицетворяющей их, и простыми людьми, народом? Разве не составляют жизненную основу «Мертвых душ» противоречия между косным бытием, эгоистическим сознанием господствующего сословия страны и ее подлинными нуждами, потребностями развития творческих сил общества? Сопоставление душ мертвых с потенциальными духовными возможностями народа внутренне устремлено в том же

вздравлении. А изображенный Гоголем маленький человек, обреченный на бесчеловечные условия существования? Это ли не свидетельство дифференциации, которая присуща самой структуре общества?

Признание органической цельности социальной жизни, современником которой был писатель, означает ее безудержную идеализацию. Но как бы ни пытались нынешние «вопрекисты» свести концы с концами — никому не удастся представить Гоголя-художника апологетом социального эгоизма и косности.

Другой аспект теории «органической целостности» социального бытия — художественный. Но и тут неправомерно смешиваются объект творчества и особенности изображения действительности. При этом следует подчеркнуть, что объектом творчества у Гоголя органическая целостность жизни не стала, да и не могла стать уже вследствие того, что ее просто-напросто не было. И сами творческие поиски писателя имели совсем иной смысл и содержание, чем те, которые им придает А. В. Михайлов. Гоголя поражала раздробленность, дисгармония, низкая бесцветность жизни его времени, а не «органическая целостность».

Характеризуя своеобразие своего творческого подхода к действительности в седьмой главе «Мертвых душ», Гоголь указал на явления и процессы, которые привлекали его пристальное внимание. Писатель стремился «вызвать наружу все, что ежеминутно пред очами и чего не зрят равнодушные очи всю сграшную, потрясающую тину мелочей, опутавших нашу жизнь, всю глубину холодных, раздробленных, повседневных характеров, которыми кишит наша земная, подчас горькая и скучная дорога...». Не ясно ли, что суждения об органической цельности социального бытия, будто бы выраженной в произведениях Гоголя, не заключают в себе и тени сходства с мыслями писателя о своем творчестве, лишены научной достоверности?

Иное дело органичность и цельность изображения повседневных раздробленных характеров. В той же седьмой главе «Мертвых душ» Гоголь отмечал: «...много нужно глубины душевной, дабы озарить картину, взятую из презренной жизни, и возвести ее в перл созданья...» Писатель ставил своей целью превращение жизненного материала, не отличающегося ни целостностью, ни внутренней значительностью (взятого из презренной жизни), в яркие, захватывающие читателя образы. И этого

он в полной мере достиг, создав произведение (точнее, произведения), исполненное глубокой жизненной правды, внутреннего единства, соразмерности, художественного совершенства, тех качеств, которые отличают выдающиеся творения искусства.

Нетрудно заметить, что идеи о целостном характере действительности в восприятии и изображении Гоголя, о всесторонности и полноте бытия, выраженных в поэме-романе, восходят к статье К. С. Аксакова «Несколько слов о поэме Гоголя: Похождения Чичикова, или Мертвые души», статье, которую в свое время подверг обстоятельной критике В. Белинский. В последнее время в кругах «вопрекистов» она приобрела немалую популярность.

К. С. Аксаков писал: «...езде у Гоголя такое совершенное отсутствие всякой отвлеченности, такая всесторонность, истина и вместе такая полнота жизни, не теряющей ни малейшей частицы своей от явлений природы...» Одновременно с тем критик утверждал, что в «Мертвых Душах» «на все устремлен художнический, ровный и спокойный, бесстрастный взор, переносящий в область искусства всякий предмет с его правами...». Эти и некоторые другие положения послужили основанием для такого вывода: «В поэме Гоголя является нам тот древний, гомеровский эпос; в ней возникает вновь его важный характер, его достоинство и широкообъемлющий размер»².

В статье А. В. Михайлова решительно подчеркивается близость Гоголя к Гомеру. В чем же видит исследователь их близость, в чем состоит родство «Илиады» и «Мертвых душ»? А. В. Михайлов заявляет, что общее для Гомера и Гоголя — «открытость к бытию, бесконечно доверчивое отношение ко всему существующему как элементу целого, органически-живого бытия. Эта открытость к бытию, при котором все существующее выступает и рисуется как органичный элемент целостного бытия» Положения эти неверно характеризуют как «Илиаду», так и «Мертвые души». Об органической целостности жизни в изображении Гоголя только что шла речь. Но целостное бытие отсутствует и в «Илиаде». Хорошо известно, что в гомеровской поэме описываются острые столкновения, война между греческими городами и Троей, изображаются героические действия и трагические события. Но с каких пор вой

² К. С. Аксаков, И. С. Аксаков. Литературная критика. М. «Современник». 1981, стр. 148, 141, 143.

на, трагические переживания стали признаками целостного бытия?

Не имеет под собой ни малейших оснований и мысль о бесконечно доверчивом отношении ко всему существующему как характерной черте «Мертвых душ». Как раз наоборот. В гоголевском произведении ярко отразилось — и это очевидно — остро-критическое отношение ко многим явлениям действительности. Совершенно не прав был К. С. Аксаков, говоря о «бесстрастном взоре» автора «Мертвых душ». Критик не захотел увидеть того, что было несомненным для читателей.

Да и в «Илиаде» отношение повествователя к разным героям поэмы неодинаково. Современный исследователь по этому поводу пишет: «Из двух гомеровских стариков, патриархов многочисленного рода, троянский царь Приам обрисован с искренним сочувствием к его тяжелой судьбе, ахейский же вития — Нестор — не без легкой иронии в отношении его многословных наставлений и советов»³.

И тем не менее между «Илиадой» и «Мертвыми душами» есть некоторые соприкосновения. Творческие создания Гомера и Гоголя — произведения широкого, эпического характера. Но если «Илиада» — это героический эпос, в котором рельефно выступает также трагическое начало, то «Мертвые души» — это критический эпос. А разве такой существует или существовал? — спросит читатель. Несомненно, об этом говорят факты. В XIX веке эпическое творчество — в значительной своей части — развивалось под знаком критического изображения действительности. Вспомним в этой связи «Человеческую комедию» Бальзака, романы Стендаля, произведения Теккерея, Мопассана, Салтыкова-Щедрина и ряда других художников слова этого времени. В творческих созданиях одного из величайших художников эпического склада, Льва Толстого, критическое освещение действительности является не только неотъемлемой их частью, но и основой изображения поисков правды и справедливости, духовного обновления героев. Да и в XX веке критический эпос получил достаточно широкое развитие. В этой связи нельзя не назвать «Жана Кристофа» Ромена Роллана, «Сагу о Форсайтах» Голсуорси, «Верноподданного» Генриха Манна.

Роль Гоголя как творца широких эпических полотен в русской и мировой ли-

тературе велика, особенно если рядом с «Мертвыми душами» поставить «Тараса Бульбу» с его героикой национально-освободительной борьбы. В мировой литературе XIX века не много можно найти произведений, в которых с такой художественной убедительностью были бы изображены люди высокой силы духа, самоотверженности, глубокой преданности народу.

Непонятно, почему критики, писатели, высказывающие свои суждения о близости Гоголя к Гомеру, оставляют в стороне «Тараса Бульбу». Об этом можно лишь гадать. В то же время именно в «Тарасе Бульбе» в наибольшей мере раскрываются черты, так или иначе родственные «Илиаде». Это и изображение героических действий, подвигов запорожских казаков, это и сочетание героики с подлинным трагизмом, это и некоторые особенности самого способа повествования, в том числе так называемые эпико-лирические отступления, так ярко представленные в «Тарасе Бульбе».

Однако известное сближение «Тараса Бульбы» с «Илиадой» никак не может умалять глубокой самобытности произведения Гоголя. Как ни характеризовать каждое из этих творческих созданий, очевидно, что «Илиада» — эпос древнего мира, в котором важное место принадлежит мифологии, «Тарас Бульба» — эпическое произведение нового времени. Его своеобразие состоит не только в том, что оно освещает проблемы национально-освободительного движения, но и в том свойстве его художественной структуры, которое заключено в обрисовке конфликта между индивидуальным, точнее индивидуалистическим сознанием и сознанием народным, народными устремлениями. Тут отчетливо сказываются идеи, проблемы нового времени, так же как они рельефно выявились и в критическом эпосе «Мертвых душ».

Попытки оценить поэму-роман Гоголя, исходя из определяющих качеств «Илиады», явно не приносят удачи. По существу, это относится и к положениям, высказанным в этой связи писателем С. П. Залыгиным. В статье «Гоголевский вопрос», опубликованной в «Литературной газете» 16 января этого года, он пишет: «Имея в виду ту галерею художественных образов, которые представлены в «Мертвых душах», исследователи издавна сравнивают Гоголя с Гомером. Наверное, они правы: кажется, никому ни до, ни после Гоголя не удалось повторить гомеровский подвиг в новое время, на новой, уже не мифологической, а реалистической основе». Никак

³ «История всемирной литературы» в девяти томах. М. «Наука». 1983. Т. 1, стр. 322.

нельзя согласиться с мыслью С. П. Залыгина, что исследователи и эдавна сравнивали Гоголя с Гомером. Выходит, что сравнение это стало обычным, общепринятым. Однако это не так. До последнего времени известны единичные сопоставления такого рода, и среди них прежде всего нашедшая в свое время поддержку в отечественной критике и литературоведении.

Высокое достоинство Гомера и Гоголя С. П. Залыгин видит в том, что они создали «наиболее полную экспозицию человеческих характеров». Но для этого надо было их открыть, а затем «собрать в одно произведение искусства, и сделать это так, чтобы это общее собрание, этот сбор был не только логически оправдан, но и вполне привлекателен и убедителен сам по себе, то есть по своему сюжету... Разрозненные же и «бессюжетные», вне связей и сравнений друг с другом, все эти типажи еще мало о чем говорили, каждый из них оказался бы по-своему немым и далеко не столь общечеловеческим».

Так написано в статье С. П. Залыгина «Гоголевский вопрос», опубликованной 16 января этого года, а вот что мы успели прочитать прежде в его же статье «Силою правды», напечатанной в той же «Литературной газете» 4 апреля 1984 года: «Разве «Мертвые души» — это не перечень удивительных анекдотов и парадоксов? Но в то же время разве Гоголь не достигает в них высшей художественной убедительности в изображении людей, их проблем и характеров? Именно через гениально задуманный и безупречно, на высшем уровне исполненный анекдот он и достигает того, что мы называем типизацией». Очень жаль, но встречаемся мы здесь не с малыми разноречиями, а с диаметрально противоположными суждениями автора, неверными в том и другом случае. Конечно же, «Мертвые души» не перечень удивительных анекдотов, исполненных на высшем уровне. И это опроверг сам С. П. Залыгин в своей статье «Гоголевский вопрос». И действительно, как можно быть почти равным Гомеру, возводя свое произведение на основе анекдота? Но одновременно С. П. Залыгин неправ и в другом, утверждая, что только Гомер и Гоголь осуществили такую полную экспозицию человеческих характеров, какую до них никому из художников слова не удалось создать, — «ни Средневековье, ни Возрождение не могли произвести на свет нечто подобное „Мертвым душам"». Мы очень вы-

соко ценим Гоголя, но зачем же забывать таких великих писателей, его предшественников, как Шекспир, Сервантес, Бальзак, создавших целую галерею бессмертных образов?

Хочу оспорить и еще одну мысль С. П. Залыгина. По его мнению, Гоголь «определил тот предел, при котором фантазия, вымысел, мистицизм еще существуют как составляющие реализма и за которым они ведут совсем иную, самостоятельную жизнь...». То, что вымысел и фантазия выполняют существенную роль в ряде произведений Гоголя, бесспорно. Однако мистицизм никогда не был составной частью реализма, и не был потому, что враждебен ему. Известно, что в некоторых произведениях реалистическое изображение жизни находится в соседстве (и вместе с тем в противоречии) с картинами, в которых проявляются мистические настроения и идеи. В определенной мере это является в «Портрете» Гоголя, но выступает здесь как столкновение противоречивых начал произведения. История мировой литературы знает и другие факты аналогичного характера. Но отсюда никак нельзя сделать вывод, что мистицизм вместе с другими элементами составляет образующее начало реализма как творческого метода.

V

Разноречивые отклики вызвала книга И. Золотусского «Гоголь», вышедшая в серии «Жизнь замечательных людей». Положительные и даже восторженные отзывы чередовались с весьма критической оценкой ряда существенных положений этой книги, которые касаются прежде всего отношений Гоголя и Белинского, значения «Выбранных мест из переписки с друзьями» в наследии Гоголя, в истории русско-общественного сознания. Мне также представляется противоречащей исторической истине мысль И. Золотусского, заключающаяся в том, что в споре Белинского с Гоголем в связи с опубликованием «Выбранных мест...» прав был Гоголь. Решительно не согласен я и со стремлением И. Золотусского охарактеризовать «Выбранные места...» в позитивном духе, поставить это сочинение, в сущности, рядом с «Мертвыми душами». Но обо всем этом уже написано немало. Поэтому намереваюсь рассмотреть некоторые другие идеи И. Золотусского, касающиеся творчества Гоголя, идеи, которые, по моему мнению, являются отчетливым выражением критического субъективизма.

В 1983 году вышла в свет книга И. Золотусского «Очная ставка с памятью» (М. «Современник»). Ряд статей, включенных в нее, посвящен автору «Ревизора» и «Мертвых душ». И. Золотусский считает, что для понимания творчества Гоголя большое значение имеют мысли писателя, высказанные им в статье «Несколько слов о Пушкине»: «...чем предмет обыкновеннее, тем выше нужно быть поэту, чтобы извлечь из него необыкновенное и чтобы это необыкновенное было между прочим совершенная истина». Действительно, эти замечательные суждения многое открывают в творческом облике Гоголя, его методе и стиле, но открывают лишь в том случае, если не истолковываются в духе, противоположном их реальному смыслу, реальным особенностям произведений писателя. Извлечь из обыкновенного необыкновенное означает для Гоголя увидеть в повседневном общественно-интересное, общезначимое, то, что может взволновать читателя, открыть ему глаза на совершающееся вокруг него. Необыкновенное в контексте различных высказываний Гоголя, в свете важнейших свойств его реалистического искусства — это отнюдь не сверхординарное, возвышающееся над повседневным, представляющее собой исключение из него.

Но именно в этой сверхординарной тоналности И. Золотусский («Очная ставка с памятью») и истолковывает приведенные выше суждения писателя. Критик пишет: «Гоголь в мелком видит крупное, ищет крупное, доискивается до него». По мнению И. Золотусского, для писателя «нет разделения на людей крупных и мелких». Как «певец утраченной цельности», Гоголь «хотел бы вернуть миру и человеку разорвавшуюся между ними связь». Такую задачу он ставит перед каждым своим героем. «Поприщин у него (с сумасшедшей мечтой о спасении Луны) не менее значим, чем Бульба, а майор Ковалев, производя сотрясение в своей судьбе утерею собственного носа, производит сотрясение во всем российском колоссе».

Итак, Гоголь в мелком искал крупное и, как можно понять критика, изображал преимущественно крупное. Однако писатель творил совсем иначе, чем это представляется критику. Мне уже пришлось сослаться на слова Гоголя об изображении им «холодных, раздробленных, повседневных характеров». В этой связи необходимо напомнить пушкинскую характеристику творческого дара Гоголя, характеристику, с которой писатель был в полной мере согласен. В третьем письме по

поводу «Мертвых душ» Гоголь отмечал: «Обо мне много толковали, разбирая кое-какие мои стороны, но главного существа моего не определили. Его слышал один только Пушкин. Он мне говорил всегда, что еще ни у одного писателя не было этого дара выставлять так ярко пошлость жизни, уметь очертить в такой силе пошлость пошлого человека, чтобы вся та мелочь, которая ускользает от глаз, мелькнула бы КРУПНО в глаза всем»⁴.

Здесь нет никаких недомолвок. Главное существо Гоголя-художника, как оно охарактеризовано в этом высказывании, состоит в том, что пошлость пошлого человека, раздробленность жизни писатель изображает крупно, рельефно. Недаром слова «мелочь» и «крупно» подчеркнуты самим Гоголем. Очевидно, что суждения критика никак не согласуются с мыслями писателя. Изображение мелкого человека крупным планом вовсе не значит, что писатель рисует крупную личность. Смешение или даже отождествление объекта творчества со способом его изображения мне уже приходилось рассматривать. Такого рода смешение свойственно и суждениям И. Золотусского, но оно вовсе не результат простого недоразумения. Для критика мысль об открытии Гоголем в мелком крупного — неотъемлемая часть его концепции, неверной, но концепции.

Относительно того, что у Гоголя нет деления на крупных и мелких людей, нужно сказать следующее: в мире, где господствуют прозаизм, корыстные стремления, писатель настойчиво искал людей, которые могли бы повести общество по пути прогрессивного развития. Во втором томе «Мертвых душ» Гоголь торжественно провозглашал: «Где же тот, кто бы на родном языке русской души нашей умел бы нам сказать это всемогущее слово ВПЕРЕД? кто, зная все силы, и свойства, и всю глубину нашей природы, одним чародейным мановеньем мог бы устремить нас на высокую жизнь?» Но если все или почти все изображенные Гоголем персонажи — крупные люди, настоящие личности, то зачем же нужно было писателю искать человека, людей, которые могли бы устремить общество на высокую жизнь? Судя по концепции И. Золотусского, это по плечу многим гоголевским героям, в том числе, скажем, майору Ковалеву или Ноздреву. Чем не крупные личности? Ведь майор Ковалев, по словам И. Золотусского, произвел

⁴ Н. В. Гоголь. Полное собрание сочинений. Издательство Академии наук СССР т. VIII, 1952, стр. 292.

сотрясение во всем российском колоссе. И если писатель не отдал должное этим героям, то, может быть, это был его творческий просчет?

С мыслью об изображении Гоголем крупного, значительного тесно связана и идея критика о соотношении высокого и низкого в его произведениях. «Гоголь,— пишет И. Золотусский,— не только ищет в низком высокое, но и монтирует низкое с высоким, в контрасте их соседства обнаруживая как смешные стороны высокого, так и высокие стороны низкого».

Несомненно, что Гоголь с целью комического заострения повествования часто монтирует разнородные явления, в том числе и низкое с высоким. Но чаще всего это сочетание мнимовысокого с мелочным и ничтожным. Что же касается поисков и открытий Гоголем высокого в низком, то этого критик никак не обосновал. Да и обосновать это весьма затруднительно, если исходить из того смысла, который придавал этим понятиям сам писатель.

Но выход был все-таки найден. И. Золотусский решился на то, чтобы стать... соавтором Гоголя. Он приписывает ряду его героев самые высокие духовные качества, которые им совершенно не свойственны.

Рассмотрим ход рассуждений критика по этому поводу. И. Золотусский отмечает, что кризисные состояния, когда «герои Гоголя становятся не тем, чем они были», обычно связаны с любовью. «То может быть любовь к женщине, любовь к теплой шинели, которая заменит «подругу» Акакию Акакиевичу, любовь и тоска по молодости, любовь к искусству или просто супружеская любовь». Чувства эти не только возвышают человека, они превращают героев Гоголя в необыкновенных людей «О любви мечтают Пискарев в «Невском проспекте», Поприщин: в «Записках сумасшедшего», она грозовым облаком навигается и на Шпоньку (еще не ведавшею любви), она всплшкой молнии освещает жизнь старосветских помещиков. То именно удар молнии, как любил говорить Гоголь, гром среди ясного неба, возвеличивающий вдруг человека и разоблачающий его гений». Вот так и не как-нибудь иначе.

И. Золотусский понимает, что он совершенно поразил читателей, обнаружив в Шпоньке и других гоголевских героях гения; поэтому критик стремится объяснить что к чему: «Гений... в Шпоньке?— скажет читатель. В Пулехерии Ивановне, в Башмачкине? Полно, вы шутите. Но гений для

Гоголя не только особый творческий дар, дающийся избранным. Гений— это скрытый талант любви, способность к любви, которые живут в душе каждого человека, и извлечь их и показать свету должно искусство». Объяснения критика мало что проясняют. Его суждения действительно можно было бы принять за шутку, если бы она была хоть сколько-нибудь остроумной. Но шутки в сторону, критик всерьез защищает выдвинутые им положения.

Первое, что хочется сказать относительно удивительного открытия И. Золотусского: как мало надо, чтобы стать гением. Любовь, о которой пишет критик, это ведь даже обязательно чувство к другому человеку или другим людям, оно может распространяться на вещи (например, шинель), такую же роль, вероятно, способны выполнять, скажем, комнатная собачка или кошечка. А вдохновенная любовь Петуха к кулинарному искусству, разве она не относится к той сфере, где рождаются гениальные люди? Это тем более существенно, что привязанность к искусству критиком отмечена как один из признаков того дара, который пробуждает в человеке качества гения.

Примечательно, что само чувство любви у героя может еще и не возникнуть, он лишь ощущает потребность в нем, и тем не менее герой становится гением. Именно так раскрывается жизненная история Шпоньки, который, оказавшись по воле тетушки перед перспективой женитьбы, переживает не столько увлечение своей будущей супругой, сколько испытывает чувство смятения, вызванное грядущими переменами в жизни. И тут он напоминает Подколесина. Нельзя не удивляться тому, что критик не хочет замечать основного тона повествования в «Шпоньке...», повествования, проникнутого иронией, комизмом. Гоголь рисует существо, духовно крайне ограниченное. Ну какой уж тут гений! Однако И. Золотусскому, судя по всему, важно не столько изображение героя писателем, сколько собственное восприятие, которое оказывается совершенно произвольным.

В самом деле, есть ли в «Шинели» хотя бы малейший намек на то, что восхищение Башмачкина новой шинелью преобразует героя, придает ему черты гения? При самом тщательном перечитывании повести этот мотив невозможно отыскать. Есть другое: Гоголь подчеркивает, что Башмачкин—обездоленный человек, но это совсем не то, о чем пишет И. Золотусский.

При отсутствии каких-либо аргументов критик настаивает на своей мысли о незаурядности Башмачкина.

Аналогичный характер имеют и суждения И. Золотусского о Поприщине. Критик отмечает, что незавидное положение мелкого чиновника «толкает его сначала на зависть, на мечтания о чинах и лентах, об эполетах и испанском короле. Но, став «испанским королем», Поприщин испытывает страдания. Возвышение в чине — пусть и мнимое — не дает ему счастья. И тут-то просыпается его истинный гений. Честолюбие побеждается любовью, изгоняется любовью. Безумный король, «придя к власти», начинает заботиться не о своих личных благах — его мысль устремляется в холодную пустоту космоса, в которой ему видится «нежный» и «непрочный» шар луны». Трудно удержаться от предположения, что сказанное здесь если не шутка (что критик решительно отвергает), то непроизвольная, но достаточно впечатляющая пародия на «серьезные» критические размышления.

Прежде всего выясняется, что истинный гений Поприщина просыпается после того, как он «приходит к власти», то есть тогда, когда попадает в сумасшедший дом. Но, как известно, в этом учреждении всегда находится немало гениев. Затем оказывается, что безумный король заботится не о своем личном благе, а о чем-то более значительном. О чем же? Поприщин чрезвычайно встревожен странным явлением: завтра в семь часов «земля сядет на луну». Вот, в сущности, и все заботы и волнение о «внеличном», все то, в чем, по мнению И. Золотусского, проявляется гений гоголевского героя. Глубокое впечатление производит заключительная запись — в ней рассказано о невыносимых муках, страданиях Поприщина. Но эта тема к суждениям критика прямого отношения не имеет.

Зачислением Шпоньки, Башмачкина, Поприщина в гении соавторство И. Золотусского в Гоголем не заканчивается. По мнению критика, в произведениях писателя есть и другие «сверхординарные» личности. Вот, например, Хлестаков. «„Счастье“ в «Ревизоре», — пишет критик, — почти карточный термин. Оно прерогатива Хлестакова и всего, что связано с ним. Хлестаков играет — играет и выигрывает. Для Хлестакова игра есть жизнь, и в игре он гений»⁵. Обратим внимание на то, что

ранее выдвинутые критиком признаки гениальности гоголевских героев (любовь в различном ее выражении) здесь отсутствуют. Имеются в виду какие-то иные критерии, но какие — неясно.

Жизненные успехи Хлестакова мнимые. И даже в карточной игре, в которой он несомненный гений, ему явно не везет. Пехотный капитан, с которым он встретился в Пензе, «сильно поддел его». «Всего каких-нибудь четверть часа посидел — и все обобрал». Но самое главное в другом — как в целом изображен Хлестаков в «Ревизоре». При всем его призрачном возвышении он представляет собой человека, лишенного интеллектуальных и нравственных достоинств. И это не нуждается в доказательствах. В замечаниях Гоголя по поводу первого представления «Ревизора» сказано о Хлестакове: «Он даже хорошо иногда держится, даже говорит иногда с весом, и только в случаях, где требуется или присутствие духа, или характер, выказывается его отчасти подленькая, ничтожная натура».

Развивая свои положения о незаурядных личностях в произведениях Гоголя, И. Золотусский подчеркивает идею, будто бы принадлежавшую писателю, — «идею воскресения и оживления мертвых душ, которые, мертвые они или живые, все же души...»⁶. Такого рода суждения высказываются не только И. Золотусским, но и некоторыми другими критиками. Однако это не делает подобные суждения по-настоящему убедительными. Писатель хорошо понимал, что на свете существует немало людей, которым при самых различных жизненных обстоятельствах недоступны — в сколько-нибудь глубоких проявлениях — подлинные человеческие чувства и стремления. Л. Толстой, уделявший пристальное внимание теме возрождения человека, в «Воскресении» характеризовал людей, которые «были неуязвимы, непроницаемы для самого простого чувства сострадания», «они были непроницаемы для чувства человеколюбия». Конечно, действующие лица первого тома «Мертвых душ» вовсе не похожи на злодеев, и это отмечал писатель. Но вместе с тем у большинства из них не было качеств, которые могли стать источником, основой их духовного обновления. Вовсе не случайно во втором томе поэмы романа, в котором и предполагалось показать возрождение Чичикова, а с ним — и живые души, не нашел своего продолжения рассказ об основных действующих ли-

⁵ И. П. Золотусский. Еще о «Ревизоре» (в книге «Гоголь: история и современность», стр. 292).

⁶ Игорь Золотусский, «Горизонт без конца» («Новый мир», 1984, № 4, стр. 239).

цах первого тома. Их воскрешение не вошло в творческие замыслы писателя, необычайно выпукло нарисовавшего сложившиеся, законченные характеры.

Вопрос о возможностях возрождения человека глубоко интересовал многих крупных писателей (русских и зарубежных) XIX века, в том числе Гюго, Некрасова, Тургенева, Достоевского, Толстого. Каждый из художников слова подходил к раскрытию этой темы по-своему. Я не имею возможности — хотя бы и бегло — рассмотреть слагаемые названной темы, их связи и взаимодействия. Хочу лишь подчеркнуть, что тут с особой напряженностью возникала проблема жизненной, художественной правды при изображении героев, сложных душевных процессов. Проницательная мысль Гоголя-художника, его обостренное чувство правды открывали ему недостоверность, фальшь «возможного» духовного преображения таких действующих лиц, как Собакевич, Ноздрев, Плюшкин и другие.

VI

Развитие научной мысли в различных областях знания, в том числе и в литературоведении, происходит на основе накопления новых фактов, установления ранее неизвестных связей между явлениями, уже в той или иной мере изученными, новое осмысление процессов, характеризующих мир природы, общество, его эволюцию. В литературоведении и критике нередко сопоставляют традиционное и нетрадиционное понимание литературных явлений, особенно классики. Сопоставление это имеет свой известный смысл. Однако «удельный вес» научных исследований, равно как и критических работ, реально определяется не столько этим разграничением, сколько значительностью, оригинальностью и, что следует специально подчеркнуть, глубокой обоснованностью научно-критических обобщений и выводов.

В вышедшей в 1983 году книге В. Турбина «Герои Гоголя» (М. «Просвещение») содержится немало суждений, идей нетрадиционного характера. К сожалению, они нередко также оказываются произвольными, не вытекают из анализа текста произведений писателя, а налагаются на них извне. По своим оценкам некоторых сторон творчества Гоголя В. Турбин заметно отличается от тех исследователей и критиков, которые видят в творческих созданиях писателя воспевание пиришества жизни, изображение незаурядных личностей и т. д. В то же самое время в его книге

есть существенные черты сходства с этими критиками и исследователями — частое игнорирование реальных свойств произведений писателя, декларативность и патетический субъективизм.

В процессе критического анализа, по мнению В. Турбина, важное значение имеет изучение жеста. В его описании наблюдается своего рода доминанта. «Жест, которым движется творчество Гоголя, — пишет автор книги, — жест, переходящий от писателя к его беспокойным героям, виден явственно, он очевиден. Это — жест *протягивания руки*, жест даяния, дарования: жест напутствия и готовности оказать помощь, жест объединения, соединения». Заявляя, что изображение жеста составляет первоэлемент художественного мышления писателя, В. Турбин приводит значительное количество примеров, иллюстрирующих различные описания рук гоголевских героев, в том числе и протянутой руки. Но все это лишено реального значения. Отмечу, что в демонстрируемых примерах не содержится обозначения готовности героев оказать помощь друг другу, не видно стремлений к объединению. Но самое существенное заключается в том, что обрисовка жестов действующих лиц никак не может служить опорой для характеристики творческого облика писателя. Это явления несопоставимые, они разного рода. Но именно этот путь установления непосредственных связей между качественно различными началами и привлекает внимание В. Турбина. Однако, как показывает исследовательская практика автора книги, он не приводит к положительным результатам. Авторская фантазия превалирует здесь над обоснованными выводами.

Развивая идею о протянутой руке как символе помощи людям, В. Турбин утверждает, что Гоголь изображает преимущественно бедняков, к которым он относит и тех, кто действительно бедствует, и тех, кто по своему духовному состоянию нуждается в поддержке. «Герои Гоголя, — пишет В. Турбин, — бывают бедными в обоих смыслах этого слова. Бедняки, нищие толпятся на паперти; бедны вечно голодные бурсаки; безысходно беден считающий копейки Акакий Акакиевич». Но не только эти люди вызывают сочувствие писателя, но и «бедняги» иного характера, духовного склада. «У того же Плюшкина — психология бедняка: будучи достаточно состоятельным, он все время помнит о бедности, окружающей его, пребывающей где-то рядом. А Иван Александрович Хлестаков, он же

тоже предстает бедняком, терпящим и голод, и хамство гостиничного слуги. Словом, мир Гоголя — это шествие бедняков. Бедняков и бедняг, потому что все же нет бедности горше забвения, отторжения от мира и одиночества. И Гоголь подает руку тем, кто забит и забыт».

Бесспорно, что автор «Шинели», «Невского проспекта», «Записок сумасшедшего» глубоко осветил жизнь обездоленных людей, боль и страдания маленького человека. В этом его великая заслуга. Однако трудно согласиться с тем весьма расширительным пониманием «бедных», несчастных людей, которое предлагает В. Турбин. Довольно странно выглядит причисление к ним Плюшкина, Хлестакова и даже Бобчинского, которые изображены писателем в совсем иной тональности, чем это представляется В. Турбину. Кроме того — и это весьма существенно, — Гоголь изображал не только «шествие бедняков». Ни «Тараса Бульбу», ни повесть о ссоре, ни «Мертвые души» к описанию этого «шествия» никак нельзя отнести. В этих произведениях, как и в некоторых других, получили свое образное отражение совсем иные стороны человеческой жизни.

А между тем В. Турбин своей формуле о бедняках и «беднягах», о сочувствии к ним склонен придать весьма широкий характер. Исследователь пишет: «Явное, доходящее до какой-то творческой мании влечение Гоголя к жесту протягивания руки, объятия лежит и в основе мнения Гоголя о предназначении писателя... Он тоже призван протянуть руки к миру, объять весь мир; и горе ему, если жест отвергнут... Трудно, трагически трудно быть всеобщим отцом и всеобщим учителем, всех объемлющим и всем указующим праведный путь. Но Гоголь простодушно стремился быть и тем и другим. Это — основа его величия». Из такого истолкования художественного творчества Гоголя следует, что писатель не замечал или не хотел замечать ни реальности социального зла, ни существования добра, все едино («обнять весь мир»).

Хорошо известно, что развенчание и отрицание социального зла составляет важнейшую особенность произведений Гоголя. Отсюда как раз и вытекает то, что писатель не был всеобщим отцом и учителем, который все объемлет. Не случайно, что, рассматривая основные черты творческого облика Гоголя, В. Турбин ничего не говорит о смехе, о юморе и сатире писателя. Но разве можно хотя бы на некоторое время исключить из его произведений

комическое, юмор? В том случае, если бы эти существенные стороны творческих созданий Гоголя стали предметом внимательного анализа, сразу же обнаружилось эфемерность внешне эффектной концепции В. Турбина, ее расхождения с реальными литературными фактами.

В сущности, основными чертами прозы писателя исследователь признает дидактизм, поучительность, назидание. Но ведь это же не Гоголь периода расцвета его творчества, а автор «Выбранных мест из переписки с друзьями».

Согласно взглядам В. Турбина в произведениях Гоголя моральное главенствует над социальным. Анализируя образ городничего в «Ревизоре», исследователь заявляет: «...и не должностные преступления и проступки его судит Гоголь, а его грех, его вину перед собою самим. Он утратил цельность, которая, по мнению Гоголя, могла оправдать царственного страдальца Бориса» (имеется в виду герой пушкинской трагедии). И далее: «Городничий и сострадание вызывает, и жалость, смех... В речи городничего то и дело проskalьзывает какая-то полемика...» И это полемика в том числе «с чем-то задушевым, убитым в себе; не вне себя кого-то убил городничий, а в себе самом убивал он «младенца» — духовность и чистоту. И осталось от бывшего немного: порывы украсить град памятниками, склонность к стати и некстати вздыхать...». Как и откровенные «вопрекисты», В. Турбин стремится переиначить Гоголя, поправить его. Все то, что он пишет о «Ревизоре», городничем, могло бы стать сюжетом заурядной драмы или даже мелодрамы. Вспомним, что и Хлестаков, по Турбину, «бедняга». Но ведь «Ревизор» — это комедия, комедия социальная, притом высочайшего художественного уровня. В. Турбин в значительной мере оставляет в стороне комическое в «Ревизоре», но зато поистине комичны его собственные суждения о желании Сквозник-Дмухановского украсить «свой» город памятниками.

Поразительно то, как некоторые почитатели Гоголя не хотят слушать и слышать его слово, интонацию его художественного текста. В. Турбин в своей книге часто не склонен воспринимать подлинное звучание и тем самым реальный смысл образного слова писателя. Он заявляет, например, следующее: «Отношение к вещи в творческом мире Гоголя панегирично. Вещь тяготеет к тому, чтобы оказаться в жанре панегирика, стать предметом не знающей удержу похвалы». И дальше ав-

тор книги цитирует из «Повести о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» известные строки: «Славная бекеша у Ивана Ивановича! отличнейшая! А какие смушки! Фу ты пропасть, какие смушки! сизые с морозом!»— и т. д. Но ведь для любого немудрствующего читателя совершенно ясно, что восхищение, патетика имеют здесь глубоко иронический характер. Писатель высмеивает восторженную привязанность к вещам, их культ.

Однако В. Турбин, не замечая иронии, комизма процитированных строк, выстраивает целую систему силлогизмов о высоком предназначении вещей, силлогизмов, удивляющих своей социально-философской «насыщенностью» и одновременно своей явной несостоятельностью. «Но то, что сделано, сотворено человеком, заслуживает панегирика не менее, чем то, что сотворила природа. А панегирик — хвала, основанная на проникновении в душу хвалимого, в его идею. Душа прозаической одежды, бекеши раскрывается в сопричастности этой вещи чему-то другому: драгоценным тканям, металлу, огню. В то же время запечатлевается уникальность, единственность вещи, и сие особенно важно ввиду того, что в современный Гоголю мир губительно проникала связанная с индустрией серийность». Пользуясь словами Гоголя из названной повести, хочется воскликнуть: «Господи боже мой! Николай Чудотворец, угодник божий!» Что же критик способен открыть, обосновать, если он обмят горячим желанием творческого самовыражения? Многие, очень многое, даже то, чего нет в произведениях писателя. И это, как мы видели, особенность не только книги В. Турбина.

Не стану задерживаться на других идеях, развиваемых в ней, они неоднозначны, с некоторыми нельзя не согласиться. Но свою задачу я вижу не в том, чтобы написать рецензию на рассматриваемые здесь книги и статьи или же дать обзор юбилейной литературы, а в выявлении и характеристике определенных тенденций в изучении творчества Гоголя, тенденций, по моему мнению, не только маложелательных, но и отчетливо негативных — с точки зрения дальнейшего плодотворного развития советского литературоведения и критики.

Субъективизм, произвольность в оценках произведений Гоголя, созданных им художественных образов заключает в себе несомненную, хотя, может быть, и не всегда осознаваемую внутреннюю логику. Хотят того или не хотят авторы нового прочтения Гоголя, но ряд выдвигаемых ими идей реально означает обособление великого писателя от освободительного Авижения, представляет собой решительное принижение, подчас отрицание критического пафоса произведений Гоголя, признание его примирения с действительностью, которую современники называли гнусной.

Некоторым критикам и исследователям представляется, что выяснение связей Гоголя с освободительным движением способно принизить мировое значение его творчества, всеобщий характер его гуманизма. Разумеется, это серьезное заблуждение. Именно в том, что писатель необычайно рельефно, смело осветил глубинные явления жизни, духовного мира человека, в том, что с поразительной чуткостью отзывался на народные запросы и потребности, в том, что его слово и сегодня зовет к решительному преодолению несовершенств социального мира, зовет к добру и справедливости, к полному развитию творческих сил человека, торжеству человечности,— во всем этом и раскрывается высокий гуманизм Гоголя, мировое значение его творчества.

Тенденции, подобные тем, которые обнаруживаются в освещении художественного наследия Гоголя, получили свое выражение и в исследованиях, посвященных некоторым другим русским классикам — Пушкину, Лермонтову, Островскому, Гончарову. Затушевывание или даже игнорирование роли передовых идей, вдохновлявших этих художников слова, замалчивание и игнорирование связей их с передовыми течениями времени достаточно ясно проявляются в ряде последних работ по истории отечественной литературы. Творческое самовыражение критика, исследователя временами оттесняет на задний план или просто подменяет глубокий анализ литературных явлений. Все это подчеркивает тот факт, что тема критического субъективизма приобретает сейчас немалую актуальность.

СЕРГЕЙ ЗЕМЛЯНОЙ



ДЕЙСТВЕННОСТЬ ПРИНЦИПА ПАРТИЙНОСТИ

Исполнилось восемьдесят лет со дня выхода в свет ленинской работы «Партийная организация и партийная литература». Работы, которую с полным основанием называют творческим манифестом коммунизма по вопросам литературы и искусства.

В своем учении о партийности литературы и искусства Ленин развивает живую и перспективную теорию и практику научного социализма, опирается на марксистскую философию культуры. Его глубоко занимают проблемы, которые, к слову сказать, находились в совершеннейшем забросе у теоретиков II Интернационала: социализм и культура, проблемы свободы творчества, партия и интеллигенция, искусство как товар в буржуазном обществе и т. д.

Благодаря Ленину большевистская партия получила самую глубокую, марксистски выдержанную, подлинно пролетарскую программу в области культуры. Обоснование принципа партийности художественного творчества знаменовало собой решительный вызов как капитулянтской позиции реформистов, которые объявляли культуру, а вместе с ней и мировоззрение частным делом каждого, не имеющим отношения к политике, так и всякого рода догматикам, сектантам, нигилистически отрицавшим культурное наследие, приносившим значению гуманистических традиций.

Ленин своими трудами внес ясность в основополагающие проблемы культуры и культурного строительства. «Принцип партийности является непреложным моментом современного состояния и исторического движения мировой культуры», — читаем мы в недавно вышедшем сборнике «Ленинский принцип партийности литературы и современная идеологическая борьба». И дальше:

«Без этого принципа и его определяющей роли было бы невозможно само существование советской художественной культуры. Актуальное значение ленинского принципа партийности для современной советской литературы проявляется в направляющей роли партии в деле развития всей художественной культуры, в определяющей весь процесс художественного творчества идейной установке, в вытекающих из этой установки идейно-художественной и социальной активности литературы, оказывающей воспитательное воздействие в духе коммунизма на личность читателя, в идейном, моральном, художественно-мировоззренческом противостоянии буржуазной культуре и ее модернистским формам, в критериях оценки результатов художественного творчества».

Упомянутый сборник выпущен в издательстве «Наука» под грифом Академии наук СССР, Института мировой литературы имени А. М. Горького. Создан он большим коллективом известных советских литературоведов, литературных критиков. Можно сказать, что данная публикация появилась как нельзя ко времени. Читая ее, безошибочно ощущаешь, что к ленинскому тексту, к наследию Ленина авторы книги обращаются именно с современных хронологических и жизненных рубежей, со свойственными именно этому периоду развития советского общества идейными запросами.

«Данный сборник, — говорится в редакционном предуведомлении, — представляет собой коллективную попытку прояснить ряд действительно сложных теоретических вопросов, связанных с идеологией и литературой. Ленинское учение о партийности, составляющее основу нашей идеологии, требует применения в конкретных, исторически меняющихся условиях. Созданное на

заре революционной эпохи, в условиях классового общества, классовой и многопартийной борьбы, это учение было развито Лениным применительно к условиям социалистического общества. Ленинский принцип идеологического руководства культурой наглядно проявил себя в первые послереволюционные годы, он раскрылся в общей партийной линии, в ленинских оценках художественных тенденций и отдельных произведений. Являясь золотым фондом нашей теории, это учение должно быть умело используемо в условиях развитого социализма — без шаблона, формализма и, главное, лениности мысли, умственной инерции, которая была особенно чужда Ленину. О том, что вопросы, обсуждаемые в данном сборнике, действительно сложны, говорит хотя бы тот факт, что, придерживаясь единых исходных позиций, авторы далеко не во всем между собой единодушны, не говоря уж о полемике с авторами многих других появившихся у нас работ по той же проблематике.

И действительно, современное литературоведение, упомянутый сборник в частности, демонстрирует непоказной пietet перед ленинским словом, огромное методологическое доверие к самому ходу ленинской мысли. За этим стоит ясное понимание всей философской гениальности ленинских работ, в которых не было места проходным словам и случайным мыслям.

Эта особенность современного подхода вписывается в еще более широкую тенденцию, связанную с резким возрастанием в последние годы общественного интереса к «прямой речи» Ленина, на что немедленно отреагировала историческая проза и документалистика, публицистика и драматургия, кинематограф и театр...

Для понимания принципа партийности, его современного преломления весьма важно положение Ленина о том, что «при богатстве и разносторонности идейного содержания марксизма ничего нет удивительного в том, что в России, как и в других странах, различные исторические периоды выдвигают особенно вперед то одну, то другую сторону марксизма... Это не значит что позволительно когда бы то ни было игнорировать одну из сторон марксизма; это значит только, что не от субъективных желаний, а от совокупности исторических условий зависит преобладание интереса к той или другой стороне»¹.

С интересом наблюдаешь, как к классической ленинской статье о партийной орга-

низации и партийной литературе советские литературоведы постоянно адресуются со своими актуальными теоретическими заботами, ищут в ней идейный и методологический ключ к назревшим сегодня проблемам. Весьма плодотворная методология. Факты приобретают большую историческую плотность, высвечиваются линии ближней и дальней преемственности с прошлым и настоящим, расширяются философско-исторические и культурные горизонты. Вот, например, содержательное историко-культурное комментирование, проливающее свет на ленинское высказывание, которое иные современные интерпретаторы обходят стороной как для них неудобное. Речь идет о том месте статьи, где Ленин утверждает, что литературное дело должно стать «„колесиком и винтиком“ одного-единого, великого социал-демократического механизма»². Б. А. Бялик показывает, что некоторые выражения статьи «Партийная организация и партийная литература», взятые Лениным в кавычки (когда он говорит о необходимости противопоставить партийную литературу «барскому анархизму» и сделать ее «колесиком и винтиком» единого великого социал-демократического механизма), перешли сюда из его более ранней, относившейся к 1904 году, работы «Шаг вперед, два шага назад». В той работе, разоблачавшей дезорганизаторскую, анархическую деятельность меньшевиков, речь шла, в частности, о том, как они захватили «Искру», отказавшись подчиниться контролю партийного большинства и сделать сотрудников центрального органа партии его «колесиками и винтиками». Повторив это выражение в статье «Партийная организация и партийная литература», Ленин оговорился, что «всякое сравнение хромает» и что хромает «сравнение литературы с винтиком, живого движения с механизмом», поскольку литературное дело нуждается в более сложном, отнюдь не шаблонном подходе. Но при этом он еще резче подчеркнул, что всякая попытка освободить партийную печать от партийного руководства является выражением буржуазно-анархического индивидуализма.

Столь обстоятельный комментарий только одного ленинского сравнения дает богатую пищу для раздумий современного читателя, помогает понять в ленинской статье логику перехода от рассмотрения вопросов внутрипартийной литературы к проблематике свободы литературного и всего духовного творчества, партийности

¹ Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 20, стр. 128.

² Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 12, стр. 101.

творческой позиции художника. Очевидно, что без учета этих взаимосвязей нельзя дать вполне точной систематической трактовки идей Ленина о партийности литературы.

Можно было бы привести еще немало примеров удачного освещения исторических, культурных, философских взаимосвязей, помогающих восприятию ленинской статьи. Но имеются, однако, и другие примеры, когда задачи историко-культурного комментирования решаются в названном сборнике не столь убедительно и успешно. Ю. В. Боров в статье «Историческое и теоретическое соотношение партийности с другими категориями эстетики и смежных наук» справедливо подчеркивает, что к ленинскому принципу партийности тянутся многие и многие нити от мировой прогрессивной эстетической мысли. Со знанием дела автор анализирует и критикует некоторые буржуазные концепции, в иллюзорно-искаженном виде отражающие проблематику, которая осмысливается ленинским принципом партийности,— это идеи «ангажированности» искусства, «завербованности» художника, «социального заказа».

Но вот мы читаем в статье Ю. Б. Борева такие строки: «Мировая эстетика, начиная от аристотелевских понятий катарсиса и каокологии, обозначающих очищающее и нравственно-эстетическое воздействие искусства на читателя и зрителя, так или иначе учитывала социально-функциональное, социально-практическое значение искусства. В этих идеях исторически зачиналась та теоретическая линия утверждения социальной активности искусства, которая нашла свое продолжение в концепциях народности искусства, развивавшихся Гумбольдтом, Форстером и другими, а затем в представлении о народности и о ее связи с общественно преобразующей ролью литературы в эстетике Белинского, Добролюбова, Чернышевского. Именно эту прогрессивную линию развития эстетической мысли венчает марксистское учение о классовости искусства и ленинский принцип партийности».

Мы далеки от мысли опротестовать правомерность присутствия какого-то из названных имен в этом ряду, но, право же, никакая предыстория учения о социальной активности искусства не может миновать Лессинга, для которого поэзия, драматургия, критика, журналистика были в первую очередь средствами пробуждения классового самосознания немецкого «третьего сословия», или Шиллера с его трактовкой театра как «морального учреждения» и

идеями «эстетического воспитания человека». Заслуга четкой формулировки принципа партийности литературы безусловно принадлежит Ленину, но нельзя также забывать, что лучшие из его современников — революционных марксистов, например, Клара Цеткин, шли в том же направлении: стоит лишь вспомнить такие ее выступления, как «Пролетариату — самую лучшую социалистическую литературу!» и «Против сотрудничества социал-демократов в журнале „Цукунфт“», где дана уничтожающая оценка с позиций социалистической партийности так называемой беспартийной прессы...

Наши замечания вытекают не из несогласия с выдвинутыми в книге общими положениями, а, напротив, из стремления пойти дальше по пути их апробирования на конкретно-историческом материале — в связи с проблемным генезисом ленинского принципа партийности, в связи с осмыслением того идейного и художественного опыта, на почве которого этот принцип вырастает, с развитием философско-эстетической мысли нашего века. Немало интересного материала и плодотворных посылок можно найти в статьях из сборника, написанных В. Р. Щербиной, А. Н. Иезуитовым, Б. А. Бяликом, В. А. Дмитриевым, Н. И. Някулиным, К. Рехо...

Ленин ясно и точно увидел проблему партийности литературы там, где до него, за редким исключением, никакой особой проблемы не видели. И это было непревзойденным триумфом классического марксизма, свободное как от перекосов ревизионизма, так и от всякой догматической закостенелости. Быть марксистом для Ленина всегда было равносильно тому, чтобы быть творцом, стоять на позициях тех, кто творит историю.

Современные работы советских литературоведов компетентно помогают понять, в процессе решения каких идейно-политических проблем Ленин сформулировал и развил принцип партийности, в силу каких причин это сделал именно он, что этому объективно и субъективно способствовало. В. Р. Щербина показывает, что статья «Партийная организация и партийная литература» неотделима от усилий, связанных с созданием партии нового типа, выдвиганием ее на роль не только организационного, но и идейного авангарда рабочего класса, всего трудового народа. Создание революционной партии Ленин связывал со всей совокупностью социально-экономических, политических и культурных задач эпохи, со всем богатством исторического и современного опыта революционной обществен-

ной мысли и литературы. Программное значение имеют труды Ленина, в которых он перед II съездом партии разрабатывал организационные и теоретические основы большевизма. В работе «Что делать?» Ленин утверждал, что «роль *переговорого борца* может выполнить только партия, руководимая *переговорной теорией*. А чтобы хоть сколько-нибудь конкретно представить себе, что это означает, пусть читатель вспомнит о таких предшественниках русской социал-демократии, как Герцен, Белинский, Чернышевский и блестящая плеяда революционеров 70-х годов; пусть подумает о том всемирном значении, которое приобретает теперь русская литература»³.

Вот как высоко ставил Ленин идейный потенциал русской литературы, ее воздействие на общественную жизнь! Думая о роли партии как идейного авангарда общества, он много думал и о пути, на котором классическая русская литература завоевала общество, приобрела мировое значение. Как писал в одной из своих работ о нашей революции замечательный итальянский мыслитель и революционер-ленинец Антонио Грамши, русские писатели «достигают в своем сознании таких вершин духовности, каких не достигали ни в одной другой стране. Русская литература — это полный боли документ самосознания, не имеющий себе равных: никогда и нигде больше не было такого поиска человеческих ценностей, такого проникновения в глубины внутреннего мира личности»⁴. В литературе, говорил в свое время Максим Горький, «вся наша философия».

О такого рода духовной гегемонии в общественной жизни и думал Ленин, обосновывая необходимость для партии выступать в качестве идейного авангарда. Об идейном руководстве таким художественным миром размышлял, обосновывая принцип партийности литературы и искусства. Речь шла, по сути дела, о союзе, объединении под классовым знаменем пролетарской освободительной борьбы двух самых богатых в идейном смысле духовных начинаний, двух вершинных достижений мировой культуры: великой традиции марксизма и великой традиции русской классической литературы! Именно в силовом поле этой огромной по своему значению проблемы и очерчивались Лениным принцип партийности литературы, концепция культурного наследия, многие идеи куль-

турной революции и культурного строительства после завоевания рабочим классом политической власти в обществе.

Нельзя не учитывать также одну специфическую сторону этой проблемы, которая занимала немалое место в дискуссиях вокруг ленинской программы вовлечения литературы и искусства в социально-преобразующую деятельность рабочего класса. В русской классической литературе всегда находило отражение предчувствие грядущего обновления общества, предчувствие революции, надежда на обновляющую миссию социализма. Для нашей отечественной словесности была характерна ярко выраженная антибуржуазность, критика капиталистической цивилизации, живой и постоянный (хотя и включающий в себя всю гамму отношений — от безусловного принятия до безусловного неприятия) интерес к социалистическому идеалу общества и личности.

Особую окраску всем этим чертам придавал широкий, но достаточно устойчивый комплекс идей, связанных с обоснованием исторического пути России и различными вариантами общинного социализма, народничества, «мужичьей утопии». Неослабное внимание к этому комплексу идей позволяло русской литературе брать на себя функции удовлетворения мировоззренческих потребностей общественности. Это влияло и на художественное своеобразие русской литературы, обуславливало выдвижение в ней на первый план того принципа художественного обобщения, суть которого, по определению Н. К. Михайловского, состояла в «проверке цивилизации идеей народа»⁵. Критическое исследование глубоко укоренившейся в отечественной литературе проблематики, осмысление стоящих за ней жгучих вопросов российской действительности было одной из важнейших теоретических задач Ленина на протяжении всего его творчества — от первых работ до статьи «О нашей революции», которая венчает его идейное наследие.

Понимание и принятие ленинской, большевистской концепции преобразования общества, решения назревших национальных и эпохальных проблем и по сей день для каждого литератора, каждого художника является неременной предпосылкой его утверждения на позициях партийности. Думая о сложных, противоречивых путях, которыми лучшие представители дорево-

³ Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 6, стр. 25.

⁴ Грамши Антонио. Избранные произведения. М. Политиздат. 1980, стр. 38.

⁵ См.: Купреянова Е. Н., Макогоненко Г. П. Национальное своеобразие русской литературы. Л. «Наука». 1976, стр. 332.

люционной русской литературы двигались к признанию ленинской правды о России и ленинской партийности, вспомним записанные Александром Блоком в дневник 1918 года строки: «Россия, Россия, Россия, мессия грядущего дня!» И тут же о происходящем в стране: «Вот что еще я понял: эту рабочую сторону большевизма, которая за летучей, за крылатой... Крылья у народа есть, а в умах и знаниях надо ему помочь. Постепенно это понимается. Но неужели многие «умеющие» так и не пойдут сюда!»

Это были именно те январские дни, когда складывался замысел и рождались немеркнущие блоковские «Двенадцать» и «Интеллигенция и революции». Когда рождалась первая классика новой, свободной, открыто связанной с трудящимися литературы!

И «рабочая» и «крылатая» стороны большевизма, партийной программы созидания социалистической культуры, главного принципа ее — ленинского принципа партийности и неразрывно связанного с ним принципа народности ярко и впечатляюще раскрылись в ходе становления и упрочения нового общественного строя. В основу всей многогранной деятельности партии и народа по возведению здания социалистической культуры легла глубочайшая формула ее, принадлежащая Ленину: «...развитие лучших образцов, традиций, результатов сущест в у ю щ е й культуры с точки зрения миросозерцания марксизма и условий жизни и борьбы пролетариата в эпоху его диктатуры»⁶. Эта формула четкой гранью отделяла позицию нашей партии в вопросах культуры, литературы и искусства от левосектантских, пролеткультовских установок на фабрикацию уже после революции химически чистой пролетарской культуры исключительно силами самих пролетариев. Отделяла и от меньшевистской апологетики культурного самотека, хаотического брожения сил, всякого рода идей, цель которых была одна — отстранить партию от руководства культурно-идеологическими процессами.

Мы знаем — борьба партии за новые, проникнутые духом ленинской партийности литературу и искусство, за внесение социалистической организованности в сферу художественного творчества, понимание его как составной части общепартийного, общенародного дела была отнюдь не легкой и отнюдь не идеалистической. Она потре-

бовала от коммунистов огромной выдержки и настойчивости, такта и принципиальности.

Вехами настойчивой работы партии по объединению литературных сил, обеспечению здоровой, товарищеской атмосферы в творческой среде стали как резолюция XIII съезда РКП(б) «О печати», так и — особенно — историческое решение Центрального Комитета партии «О политике партии в области художественной литературы» от 18 июня 1925 года, которое и в наши дни, по прошествии шестидесяти лет, сохраняет свою жизненность. Это шестидесятилетие — еще одна славная дата в нашем календаре, сегодня мы вспоминаем об этих решениях партии с особой признательностью.

Да, жизненно в резолюции «О политике партии в области художественной литературы» практически каждое его принципиальное положение: и тезис о том, что руководство в области литературы принадлежит рабочему классу в целом; и тезис о поддержке всех отрядов советской литературы и о необходимости борьбы с проявлениями комчванства как самого губительного явления; и указание на особую роль литературной критики, которая в руках партии является одним из главных орудий воспитания писателей в духе коммунистической идеологии, критики, обязанной изгнать из своего обихода тон литературной команды... Вспоминаем мы сегодня и о том, какое выдающееся значение имел этот партийный документ в подготовке условий для объединения всех писателей, поддерживающих платформу социализма, в единый Союз советских писателей.

И хорошо, что на страницах сборника «Ленинский принцип партийности литературы и современная идеологическая борьба» выказывается такой живой и творческий интерес к опыту литературы и литературной критики 20—30-х годов, к острейшим дискуссиям по коренным вопросам теории социалистического реализма, партийности и народности. Особенно уместно такое обращение к прошлому, когда идет полемика с вульгарно-социологическими рецидивами, которые нет-нет да дают себя знать в нашей нынешней критике и литературоведении. Действенным средством против них является целенаправленная эстетическая разработка принципа партийности в его имманентности литературному творчеству, тщательное различение аспектов партийности — политического, философского, нравственного, художественно-эстетического. Этих вопросов так или иначе касаются все авторы книги, во особое внимание уделяют

⁶ Ленин В. И. Полное собрание сочинений, т. 41, стр. 462.

им В. В. Новиков, А. Г. Дубровин, М. С. Кургиян.

Ю. И. Суровцев в этой связи пишет: «Сейчас часто в нашей критике утверждают, что партийность (художника, в художественном творчестве) есть категория эстетическая. Это, конечно, правильные утверждения. Но надо идти от них дальше, в глубину проблемы. Она есть, эта глубина, и в ней есть немало вопросов, еще только ожидающих внимательного исследования. Например, что это, «партийность художественного творчества», — «обычная» политически понимаемая партийность плюс некая партийность эстетическая, т. е. подходящая к миру под углом зрения «красоты — безобразия»? Если «да», то каковы здесь между ними могут быть соотношения: то, что не всегда гармоничные, — это, пожалуй, ясно, но каковы и когда какие? Если «нет», если мы будем утверждать, как это делают многие наши ученые, «интегрирующий», результирующий характер эстетической функции искусства, вообще эстетического отношения человека к действительности, то каким образом воспитательная, познавательная, коммуникативная... функции искусства «поглощаются», «растворяются» в результате?»

Признав относительную оправданность различных аспектов партийности творчества, критик справедливо делает упор на то, что в творческом акте они органичны, целостны. Вне собственного действия, вне творческой работы (работы мысли, накопления и перепроверки знаний и т. д.) нет партийности. Партийность не просто позиция личности, это ее осуществление, дви-

жение, развитие. В статье Д. М. Урнова сделана интересная попытка разобраться в том, как именно партийность художника, его общественно-классовая позиция, включается в сам творческий процесс.

Размышления наших литературоведов о могуществе ленинского принципа партийности в литературе, повторю, созвучны времени. Видишь стремление к тому, чтобы понимание эстетической роли и сущности этого принципа не оставались за рамками творческого дела, отражаясь лишь пообочь, в интервью и декларациях по поводу «творческих планов». Непосредственно в своих книгах проявляет сегодня литератор партийность, высокохудожественными произведениями ратую за высокие цели партии и народа, за осуществление наших больших планов. Именно к этому призывают творческую интеллигенцию документы апрельского (1985) Пленума ЦК КПСС:

«В обогащении духовной жизни общества новыми ценностями, идейном и нравственным возвышении советского человека велика роль литературы и искусства. Художественная интеллигенция — писатели, поэты, композиторы, художники, работники театра и кино — пользуется большим авторитетом и признанием. Но отсюда и их огромная ответственность перед обществом. Все лучшее, что создано советской литературой и искусством, всегда было неотделимо от главных дел и забот партии и народа. Нет сомнений в том, что новые задачи, которые решаются сегодня, найдут достойный отклик в художественном творчестве, утверждающем правду социалистической жизни».



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Константин Кедров. Столетний Хлебников. — В. Днепров. Симонов: личность, писатель. — Ан. Афанасьев. От простого к сложному.

ПОЛИТИКА И НАУКА

И. Левин. Слагаемые Подвига. — А. Разгон. Главный рубеж революции. — Вин. Ерофеев. Похвала здравому смыслу.

Литература и искусство

СТОЛЕТНИЙ ХЛЕБНИКОВ

Велимир Хлебников. Ладомир. Поэмы, стихотворения. Элиста. Калмыцкое книжное издательство. 1984. 160 стр.*

Многие из нас в свой срок приходят к Хлебникову. Одни как к учителю Владимира Маяковского; другие, любящие лирику Заболоцкого, узнают, что и этот поэт всю жизнь считал себя заочным учеником прославленного бюджетянина (так именовал он себя, бюджетянин, а не футурист). Сам Хлебников входил в поэзию под залпы Цусимы, как ученик Кузмина, Ремизова, Северянина, Городецкого.

Ученик, однако, не многим походил на учителей.

В XVIII веке Тредиаковский открыл путь Ломоносову, Сумарокову, позднее Державину, а сам оказался в тени. Вот так на какое-то время имя Велимира Хлебникова отошло на второй план в середине XX века, чтобы засиять с новой силой в конце столетия.

Поэт родился сто лет назад под Астраханью в семье профессора-орнитолога. Интерес к поэзии появился в студенческие годы, когда молодой студент Казанского

университета изучал геометрию Лобачевского, но события 1905 года прервали обучение. Участие в студенческих волнениях, удар казацкой нагайки, непродолжительная отсидка — все это, конечно, лишь молниеносные эпизоды одного года, но не будем забывать, что нагайка нависла над головой, в которой уже гнезвился замысел новой, неевклидовой поэтики.

Дойдя до этого момента, биограф уже не сможет сказать, где жил Хлебников. Он, как неуловимая волна-частица, появлялся внезапно в Москве, Петербурге, Харькове, Киеве и так же внезапно исчезал.

Воспоминания о нем пестрят перечнем так называемых чудачеств: ходил в мешковине носил цилиндр, таскал за собой наволочку, набитую стихами... Все это несомненно было: мешок, наволочка, цилиндр, полная погруженность в творчество, вычисление законов времени. В 1912 году в статье «Учитель и ученик» Хлебников рассказывает, что Российская империя рухнет согласно его вычислениям в 1917 году.

Разумеется, исполнение своего пророчества поэт приветствовал с восторгом. Гражданская война, голод, разруха ни на секунду не поколебали уверенности, что близится полное торжество человека над законами времени и пространства. В «Ладомире», «Лебедии будущего» светятся го-

* Непосредственным поводом для этих заметок, публикуемых в библиографическом разделе, послужила книга стихов В. Хлебникова, изданная в Элисте. Но с тем же основанием здесь могли быть использованы и другие схожие книги, выходящие к столетнему юбилею поэта. — «Стихотворения, поэмы» в издательстве «Советская Россия», «Ладомир. Поэмы» в «Современнике» и др.

рода из «стекло-хат». Волны времени и пространства уловлены в линзы света. Звуки «звездной азбуки» сияют, переливаются, как малые солнца: С — сияние, исходящее из одной точки; З — луч, преломленный преградой зеркала; В — вращение света вокруг оси. Этим звездным языком изъясняются влюбленные, ученые, поэты. Они посылают знаки звездного языка в другие миры.

Проект «звездной азбуки» дан в последней поэтической драме «Зангези» Жизнь тридцатисемилетнего поэта (возраст Пушкина) прервалась в селе Санталово Горьковской области, в одной из точек его бесконечных странствий.

Нынешняя слава Хлебникова намного больше прижизненной. Вышли книги о нем, появляются все новые и новые статьи литературоведов, поэтов, художников, математиков, и все же о самой поэзии Хлебникова сказано пока мало. Так поэзия Ломоносова растворяется в теории «о трех штилях», а поэзия Тредиаковского тонет в причитаниях о незаслуженном забвении.

Хлебникова ныне не назовешь забытым. Но есть опасность, что его феерические, подчас пророческие теории могут затмить поэзию. В Хлебникове действительно все поэтично: судьба, образ жизни, порывы научной фантазии. Но всего важнее сама поэзия; Хлебников — поэт и прежде всего поэт.

Велимир Хлебников — автор Единой книги. Ключ к его творчеству — в понимании этого замысла. Для русской культуры образ Единой книги настолько важен, что без него нельзя понять поэзию XX века.

Представление о книге, написанной звездами, птицами, травами, людьми и горами, восходит к фольклорным истокам нашей литературы. Вселенская книга жизни по-своему читалась Есениным, Заболоцким, Хлебниковым. «Голубиная книга» русской поэзии еще не вся заполнена. О ней говорил и Хлебников:

Эту единую книгу
Скоро ты, скоро прочтешь!
В этих страницах прыгает нит
И орел, огибая страницу угла,
Садится на волны морские груди морей,
Чтоб отдохнуть на постели орлана.

Поэт Единой книги, он писал ее всю жизнь, как Нестор-летописец всю жизнь писал «Повесть временных лет», как Гёте всю жизнь писал «Фауста». У Хлебникова нет отдельных стихов или отдельных поэм. У него все время один сюжет и один образ, получающий все новые преломления. Для него книга — весь мир, и пишет он

обо всем мире. Книга — небо, книга — горы, реки, леса, книга — человеческое лицо:

Пришел и сел. Рукой задвинул
Лица пылающую книгу.
И месяц плачущему сыну
Дает вечерних звезд ковригу.

Поднимая лицо к небу, он видит, как застыли сказочными птицами письма в поднебесье. Его образ книги-мира переключается со словами псковского летописца, именующего книги реками, наполняющими вселенную.

Первую страницу Единой книги мы уже приоткрыли. Это славянская вязь корней, сплетенных в единый узор, подобно заставке древних рукописей. «Слово о полку Игореве» воскресает здесь в каждой букве.

«Соловушка вселенноокый» напоминает нам Бояна, которого автор «Слова» назвал соловьем старого времени. «Мысленное древо» вещего Бояна прорастает новыми корнями сквозь всю поэзию Хлебникова. Сядем с ним под «неботорым деревом» и прислушаемся к первым звукам его поэтической свирели — мирели:

«Так пел пастушонок-свирельщик, не отымая свирель, свитую из золотых кругов и лиц..»

Так пел он. Ужасокрыл смирился улетая.
Будучи руном мировых писем стояла
людия, заклиная кого-то опрокинутыми
в небо взорами, молящаяся, мужественная
и строгая».

За этими строками — тень Ярославны, плачущей в Пугивле, «на забрале оркучи». И то, что вместило в стрске Хлебникова: «Небее неба славянская девушка».

Хлебников начинал свое творчество как верный ученик Бояна и автора «Слова».

Попытки возродить древнерусский свободный стих предпринимались давно. Сказки Пушкина, дерматовская «Песнь о купце Калашникове»... И все же для сегодняшнего читателя опыты раннего Хлебникова — единственный случай осуществившегося в XX веке возрождения свободного русского стихосложения.

Поистине революцией в русской живописи начала столетия стало открытие художниками живописи Рублева, Дионисия, Феофана Грека. Революция в поэзии началась с поэтического открытия Хлебниковым «Слова о полку Игореве», а открывая «Слово», нельзя не открыть вместе с ним и всю тысячелетнюю Русь.

В этой дивной стране «травяная ступень неба была близка и мила», здесь пастушок играет в мирель вместо свирели, и слуша-

ют его «девоорлы с грустиями вместо «крылий», и качаются «грусточки над озером грустин». Там поэт «соловушка вселенно-окий», а с лица не сходит «овселенная улыбка»... Сколько новых слов обрушено на читателя, но как они знакомы и корнями славянскими и принципом словообразования. Все эти Резьмодеи, Ястмиры, Ясавицы напоминают причудливых зверептицерыб и людоптиц из древнерусского орнамента. Там из цветов вылетают птицы с девичьими лицами, а мохнатый зверь обростаёт крыльями, пока лапы его уходят в землю корнями.

В древнем словотворчестве можно найти завязь сегодняшних прозрений. В прошлом надо искать будущее. Ибо кольцо времени неразрывно. Здесь могут встретиться древний миф с новейшей космогонией и радостно протянуть друг другу руки.

Но что ж: бог, длинноты в кольце нашёл уют

И птицы вечности в кольце поют —
Так и в душе сумеи найти кольцо...

Хлебников свято верил в поэзию, наука была для него такой же поэзией. Истинными поэтами называл он Альберта Эйнштейна и Лобачевского. Поэзия Хлебникова немыслима без теории относительности и геометрии Лобачевского, как немыслима она без «Слова о полку Игореве».

О «Слове» вспомнит поэт, вглядываясь в пожар мировой войны: «Мы создадим слово Полку Игореву или же что-нибудь на него похожее»... Это «что-нибудь» — Единая книга, которую поэт создавал всю жизнь.

Поэта всегда тянуло в мир, где «Малявина красавицы, в венке цветов Коровина подымали небо-птицу».

Россия Хлебникова всемирна и совершенно чужда национальной или расовой ограниченности. Любовь к прошлому у него никогда не затмевала будущее.

В своих славянских вещах Хлебников современен. Переходы от тончайшей иронии к трагическому хохоту роднят его поэзию с пересмешничеством древнерусских скоморохов. В то же время его ирония подетски беззащитна, когда он жалуется какому-нибудь лешему или русалке на непримиримость «учебников»:

На острове вы. Зовётся он Хлебников.
Среди разъяренных учебников
Стоит как остров храбрый Хлебников.
Остров высокого звездного духа,

Он омывается морем ничтожества.

В хрестоматии вошло всего два-три стихотворения. Среди них «Смехачи», кото-

рые почему-то читаются «на полном серьёзе». Да, это смех не для гостиной, скорее для площади:

Я смех, я громоотвод
От мирового гнева,
Где гром ругается огнем...
Я слова бурного разбойник,
Мои слова — кистень на Волге!

Презрение и даже ненависть Хлебникова к усреднённой цивилизации и мещанской морали сродни такому же презрению у юродивых и скоморохов. Хлебников — передразниватель и пересмешник всех устоявшихся литературных сюжетов:

Чудовище — жилец вершин,
С ужасным задом,
Схватило несую кувшин,
С прелестным взглядом.
Она началась точно плод
В ветвях косматых рук...

Раек, балаган, перевертень — традиция русского скоморошества и европейского шутовства — эпатировали и ужасали. Еще не было трудов М. Бахтина об очищающем карнавальном начале, не было термина «смеховая культура». В смехе виделось нечто низменное, второсортное. Хлебников тосковал по смеху Древней Руси:

Айные радости делаю,
Как ветер проносятся
Жених и невеста, вся белая.
Не зевай!
В месяце Ай
Хохота пай...

Конечно, существуют люди типа диккенсовского Сластигроха, не понимающие никаких шуток, в принципе чуждающиеся смеха. Для них Хлебников был и останется сумасшедшим. Об этой грани непонимания очень хорошо говорится в книге Д. Лихачева, А. Панченко и Н. Поньрко «Смех в Древней Руси». Когда перед вами подлинное безумие, а когда сознательное юродство и пародирование? Древнерусским поэтам смеха — юродивым и скоморохам — доставалось и как безумцам и как возмутителям общественного спокойствия. К тому же и сам юродивый не всегда отличал игру от реальности.

Не следует отождествлять полностью иронию и смех Хлебникова с древнерусским юродством. Хлебников — поэт XX века, высокоинтеллектуальный во всех своих проявлениях. Его смех переполняет душу весельем. Он делится своим весельем со всеми. Его нашумевшее «Заключение смехом» — всплеск бесконечной радости:

О, рассмейтесь, смехачи!
 О, засмейтесь, смехачи!
 Что смеются смехами, что смеяньствуют
смеяльно,
 О, засмейтесь усмеяльно!
 О, рассмешиц надсмеяльных — смех
усмейных смехачей!

Не зная принципа древнерусского «плетения словес», не слыша заговоров и заклинаний, такое стихотворение не напишешь, но ведь главное здесь — само чувство смеха и радости.

Сколько горя прошло перед глазами поэта, когда он скитался по России во времена голода, разрухи, гражданской войны. И тем не менее Хлебников остается поэтом радости.

Личной жизни у Хлебникова просто нет. Он с самого начала чувствовал себя «огромным народом», заселяющим все пространство от Дона до Амура. Сам же он, родившись в устье Волги, близ Астрахани, видел себя Разиным со знаменем Лобачевского, Пугачевым, бредущим по Москве, «свернувшим в своем сердце знамя дикой свободы моего народа». Но более всего — небом, вселенной, мирозданием. Не существует дома Хлебникова, квартиры Хлебникова, их не было у поэта, но у него была вся вселенная.

Портрет женщины у Хлебникова сплетен из цветов и растений — ива, вишня, тростник, осока; пение лебедей — вот черты любимого облика. И все-таки порой поэт негодует, обращаясь к читателю с традиционной и милой жалобой, что для любви не хватает слов:

Я, написавший столько песен,
 Что их хватит на мост до серебряного
месяца.
 * * * * *
 Я ж негодую на то, что слова нет у меня,
 Чтобы воспеть мне изменившую
избранницу сердца.

Как странно звучит старомодное сочетание «избранница сердца» у такого поэта. В отношениях с людьми, с близкими и вообще в этике Хлебников был более чем традиционен. То, что иному может показаться манерностью или театральной позой, для поэта было нормой жизнеощущения. У него не было семьи, но не потому, что Хлебников отрицал семью. У него не было женщины, которая могла бы разделить с ним поэтическую судьбу. Эта пустота никем не заполнялась и всегда ощущалась грагически. Хлебников видит в синей воде женских взоров море и «птичью Русь»:

В этот день голубых медведей,
 Пробежавших по тихим весницам,

Я провижу за синей водой
 В чаще глаз приказанье проснуться.

Иногда женский образ обернется весенней веткой над рекой: «И вы точно ветка весны летя по утиной рекой паугиной...» И в этот же миг женщина может превратиться в галактику разбегающихся солнц: «Вилось одеянье волос и каждый — путь солнца, летевший в меня, чтобы солнце на солнце менять».

Очень часто появляется образ уходящей, ускользающей, убегающей женщины. У Хлебникова он всегда прекрасен, радостен и не овеян печалью: «Сияя невестой в белой сетке, черемуха моя!» И вдруг сюда же ворвется душераздирающий крик с набережной Невы — как эхо из Достоевского или Гаршина. Отзовется на этот крик Древняя Русь и всплывет из свинцовых вод знакомой русалкой:

И закричать, как девушка
 На набережной над темною Невой?
 Я отражена в его глазах неясной
 Могучею стеклянной синевой!
 Доверчивой и детской глубиной.
 В нем божеству русалка снится...

В хлебниковских женских портретах пылают звездное небо, горит костер. И всегда облик женщины начинается с описания ее взора. А потом взор разрастается и заполняет собою все. Если представить себе мерцающую мозаику Софийского собора, где каждый кусочек смальты отражает все и сквозь все плывут огромные всепонимающие глаза, это будет хлебниковская живопись:

Водю горною, бывало,
 Спеша, как девичий рассказ,
 Коса неспешно подметала
 Влюбленный сор прекрасных глаз.

В глазах курганы
 Ночных озер,
 В глазах цыганы
 Зажгли костер.

Иногда о Хлебникове можно услышать такое суждение: да, это поэт интересный, но слишком заумный, в нем нет лиричности, а без лирики любая муза мертва. Мнение это вытекает только из незнания, ибо лиризм Хлебникова поистине всеобъемлющ. Стихи становятся почти воркованием карамзинского голубка. В них дрожь цыганской струны, и протяжная лирическая песня, и по-детски обезоруживающий лепет. Поэтическая незащищенность и обнаженность — в каждой строке поэта.

Хлебников считал, что сфера обитания человека не только земля, но и вся вселен-

СИМОНОВ: ЛИЧНОСТЬ, ПИСАТЕЛЬ

Константин Симонов в воспоминаниях современников.
Составители Л. А. Жадова, С. Г. Караганова, Е. А. Кацева. М. «Советский писатель». 1984.
606 стр.

В тяжкие первые недели и месяцы войны в ее огне складывался и мужал К. Симонов — как личность и как писатель.

В блокноте, брошенном на колено, собираются сверхкраткие заметки, нередко сделанные в обстоятельствах, когда, казалось бы, никакое писание невозможно. Приезды в Москву заполнены до отказа работой для газеты. Но сверх этой заполненности, сверх усталости глубокой ночью Симонов надиктовывает дневники, в которых все, что он увидел, что пережил, о чем думал. Как бы ни было трудно, Симонов не оставляет дневников, и записи в них — от первого до последнего дня войны. Насколько я знаю, это уникальное явление в истории литературы. Десятки и сотни бессонных ночей, куча тетрадей — Симонов хранит и бережет их как зеницу ока, хотя до поры до времени полная неясность относительно их будущего. Можно ли не удивиться столь твердой решимости, выдержке, дальновидности, чувству ответственности, с какими писатель принял на плечи такое самозадание — и впрямь! Тут, думаю, мне, существенный момент в биографии Симонова.

Дневники явились как бы стержнем последующего творчества Симонова, основной темой которого стала война в самом широком смысле этого понятия, ее концепция, что ли. Здесь требовался не только талант художника, но и способность к истинно государственному мышлению. При этом Симонову, конечно же, пригодился огромный социально-политический опыт нашей революции. В книге воспоминаний, о которой я пишу, не раз справедливо говорится о том, что ни один историк не может не почувствовать, какими важными, интересными мыслями обогащают нас произведения писателя об Отечественной войне.

Усваивая уроки Толстого, Симонов ищет источник нашей победы в огромном нравственном превосходстве советских войск и советского народа над врагом. Но лишь пройдя трудный путь овладения современным военным искусством, новыми средствами ведения войны, наши полководцы смогут превратить нравственный перевес в перевес военный. Изображение этого составляет, думаю, мне, сильную сторону Симонова как художника.

В творчестве Симонова обнаруживается своя оригинальная система. Дневниковые записи, сделанные во время войны, обрастают уточнениями и дополнениями, полученными в архивах. Дневники переписываются автором таким образом, чтобы читатель мог сопоставить нынешние взгляды Симонова с теми, которые были у него в дни войны.

Но писатель остро чувствовал: советский солдат не занял в них того места, какого заслуживал. Требовались мемуары солдата. Как получить их такими, чтобы личность самого рассказчика предстала перед нами по-настоящему живой и значительной? Симонову приходит в голову мысль, которая сейчас уже кажется естественной: перенести мемуары в кино, чтобы писатель, выступая вместе со своим героем, искусно направлял разговор с ним на самое важное и характерное. Перед зрителем — беседа людей, каждый из которых достаточно хорошо знает, что такое война. И каждый играет свою роль без малейшей фальши — увлечен воспоминаниями, всем тем, о чем идет речь. (Некоторое время назад я снова посмотрел один из фильмов цикла «Солдатские мемуары», и, представьте, впечатление оказалось сильнее, чем в первый раз.) Так потребности содержания подсказали Симонову оригинальную форму.

Мы коснулись того, как текст дневников обогащался публицистической, комментирующей, документальной и кинодокументальной прозой. Другой путь — к прозе художественной, в первую очередь — к трехтомному роману. Роман питается всем увиденным и реально пережитым, опирается на факты сущего. Сама действительность, изображаемая писателем, достигла форм крайнего, предельного, она держится на уровне кульминации, которую превзойти силой воображения невозможно.

Эпический охват войны во всем ее ходе — по свежим следам происходившего! — вряд ли был бы возможен без фундамента непосредственных наблюдений и того, что было зафиксировано еще горячим. Не боясь ошибиться, скажу: не было бы дневников — и трехтомный роман не был бы написан. Достоин внимания: люди, читавшие роман, с охотой и острым интересом прочитывают дневники, а люди, знакомые

с дневниками, увлеченно следят за художественным воплощением известных им происшествий, щедро дополненных воображением писателя. Снова мы наблюдаем как бы непредумышленное достижение оригинальной формы.

Симонов знает: сдержанные слова, скупость эпитетов, ненапряженная точность определений помогут ему выразить то, о чем он повествует. Сдержанность эта — как скрепа, которая удерживает внутри страстное чувство, не дает ему расплескаться, потерять необходимую энергию. Своеобразное подтверждение этому — в рассказе о том, как диктовал К. Симонов надууманные за день очередные куски большого романа (о чем свежо и с удивительной достоверностью написала в книге Н. П. Гордон): «Диктовал с такой страстью с такой болью и горечью, иногда шепотом — о том ужасе который был в этом лагере под Сталинградом у немцев... Когда кончил диктовать — я взглянула на него. Он был черный и как бы опустошенный от всего только что пережитого». Вот что скрывается за внешней сдержанностью симоновского слова. И как много говорит это о личности писателя.

К сказанному нужно добавить: куски военной прозы, не вошедшие в первый роман, получили отдельную жизнь в повестях, которые затем образовали второй военный роман, где линия, во многом параллельная основному роману, приближена к собственной жизни автора.

Так десятилетиями создавалась архитектура художественного здания, ставшего одним из значительных памятников войны. Симонов ясным, твердым своим умом понимал, что все, касающееся этой войны, существенно, навсегда останется живым и волнующим. И с присущим ему волевым упорством, питаемым, поддерживаемым историческим осознанием совершившегося, стремительно и основательно осуществлял свою цель. Вот о ком никак не скажешь, что он хоть какую-то часть своей жизни проживал, не осознавая ее смысла!

До сих пор речь шла о Симонове в одном ракурсе: личность — писатель. Но он был не только писателем, но еще и природным организатором жизнестроителем. Соединение работы воображения с практической деятельностью представляло для него полноту бытия: переход от одного к другому был органической потребностью: в таких переходах писатель находил некую освежающую силу.

В воспоминаниях немало говорится о Симонове как редакторе «Нового мира», об

увлеченной веселости, с какими он пестовал журнал, отчеканивая его форму и придумывая новое, о легкости и строгости порядка, который в журнале установился. о тонком умении находить и расставлять людей, а в целом о том особом наслаждении, с которым подлинный организатор ведет коллективную работу. Но все это далеко от идеалии, немало было трудного, а случались и ошибки, о которых Симонов горько сожалел. В некоторых очерках предпринимаются искренние попытки оправдать их обстоятельствами. Но обстоятельства не решают нравственного вопроса. И сам Симонов не принял бы этих оправданий, он не прощал их себе и говорил о них открыто, с жестокой точностью.

Осуществление многих практических замыслов Симонова можно без колебания называть истинным творчеством. Один из них хочется вспомнить. Я имею в виду воспроизведение выставки Маяковского в том виде, в каком она была при жизни поэта. Нужно иметь особый талант, особый род фантазии, чтобы такое придумать. И нужно иметь спокойную горячность Симонова и его неутомимое упорство, чтобы пройти через все препятствия. Он не ждал, пока ему принесут новую жизнь, а с энергией истинного революционера участвовал где только возможно в ее созидании.

Как забыть, скажем, о том, что роман Булгакова «Мастер и Маргарита» впервые вышел с предисловием Симонова!

Нельзя не сказать об отзывчивости Симонова. Он приходил на помощь, как только возникал вопрос о ком-то несправедливо обиженном или об одаренном человеке, чьи возможности могли бы не реализоваться без своевременной поддержки. Скольким людям он выпрямил жизнь на ее критическом изломе. Конечно, это не было благотворительностью, для Симонова дело другого человека становилось своим делом, он на какое-то время уходил в него с головой, негодовал, требовал, страдал, радовался. Чем больше я вчитывался в очерки, написанные людьми, которым Симонов в чем-то существенном помог и которые стали его друзьями, тем больше меня волновал «феномен Симонова». Совершенно ясно, что в основе его — доброта и отзывчивость. Но подумалось и вот о чем: Симонов воспринимал свою популярность как некое обязательство перед людьми, чувствовал себя должником, которому долг необходимо возратить. Славу, обрушившуюся на него, как лавина, он воспринимал не столько как честолюбивую

радость, сколько как солидарность с людьми, которые ею одарили. Поэтому, наверное, она не стала для него бременем, и он достаточно легко выносил ее. Он жадно искал серьезной критики своих сочинений, был удивительно терпим к суждениям самым резким, если в них чувствовалась добросовестность, и строжайший критик Л. Лазарев стал одним из близких друзей Симонова. Чувство неудовлетворенности и внутреннее беспокойство, думается, снабжали его дополнительной энергией, заставляли работать сверх всякой меры, чтобы полнее осуществить задуманное, успеть сделать все, на что он был способен.

Пришло время сказать и о полосе кризиса, через который Симонов прошел в послевоенный период и который сопровождался серьезными художественными и моральными издержками. Л. Лазарев в очерке «Как будто есть последние дела...» рассказал о разговоре, который имел с писателем после выхода своей книги о симоновской военной прозе: «Он рассказывал, как несправедливый разнос повести «Дым отечества» и неоправданные дифирамбы по поводу пьесы «Чужая тень» дезориентировали его, внесли опасную сумятицу в его жизненные и литературные представления. Ему горько было все это сознавать, но он ничего не хотел смятчать, не желал самообольщаться и лукавить сам с собой».

М. Галлай в статье «Менялся и оставался самим собой» вспоминает о дне пятидесятилетия Симонова. В выступлениях на юбилее, по традиции, было много сладкого и ничего горького. Эту необходимую горечь принес сам Симонов в заключительных словах к празднику: «Он... сам отлично знает, что поступал в жизни не всегда безупречно. Есть поступки, о которых он глубоко сожалеет. Разумеется, и в будущем он, как всякий человек, не застрахован от ошибок. Но чего — он обещает — не будет никогда, это чтобы он пошел против собственных убеждений». Овация переполненного зала была не только одобрением тому, что он сказал, но и высоким признанием выбранного им способа действия. Не могу не привести отрывка из одного интервью Симонова. Читая, мы чувствуем, что перед нами человек, укрепившийся на позициях верности себе и честности с собою. Как представляла себе Симонов будущие мемуары? «Там, где оши-

бался... говорить, что ошибался, там, где нечестно поступил, говорить, что нечестно поступил, где струсил, говорить, что струсил...»

У Симонова нравственная инициатива помножена на возможность, открываемые популярностью и влиянием, — будто толкающая изнутри сила заставляла его, забывая себя, действовать на пользу множеству людей.

Считаю нужным сказать еще об одном значительном событии в жизни Симонова. В первой половине 70-х годов редактор «Дружбы народов» Сергей Баруздин, узнав, что Симонов продолжает работу над дневниками, предложил писателю показать их журналу. С этого времени началось печатание «Разных дней войны» в «Дружбе народов». «Сначала мы прочитали записки 1945 года. Позже шли годы 1942-й, 1943-й 1944-й. И лишь потом записки 1941 года», — пишет С. Баруздин в своих воспоминаниях. В расположении частей произведения был нарушен временной порядок, но это явно пошло на пользу делу. С. Баруздин, отлично понявший значение дневников и справедливо увидевший в них едва ли не главное произведение писателя, энергично занялся их подготовкой в печати. К началу 1975 года публикация огромной рукописи в журнале была завершена. Вскоре «Разные дни войны» вышли двухтомником, и на этот раз смена частей шла по ходу реального времени. Реакция читателей окончательно подтвердила правоту художника: «Разные дни войны» оказались в числе книг, которые с особой силой мобилизуют патриотические чувства людей, убеждают их в негибаемой моральной стойкости нашего народа и его способности решать труднейшие вопросы в труднейших обстоятельствах. Вряд ли кто-нибудь усомнится в том, что это книга большого оптимистического звучания.

Хотелось бы еще сказать о том, что Симонов был одновременно простым и сложным человеком. Что труд был его подлинной страстью. Что ему свойственно было безошибочное чувство порядка, вносимого во все, что он делал, — по этому поводу читатель найдет много ценного в сборнике И главное, о том, что он, несмотря на все трудное, прожил поистине счастливую жизнь.

В. ДНЕПРОВ.

Ленинград.



ОТ ПРОСТОГО К СЛОЖНОМУ

Николай Самвелян. Счастливчик Пенкин. Повести, рассказы. М. «Советский писатель». 1984. 352 стр.

О прозе Николая Самвеляна говорить трудно, ибо она проста и затейлива одновременно. Так в литературе бывает, но редко. У чистых романтиков подобный эффект достигался за счет некоей мистификации, на уровне приема, когда в обыденный сюжет искусно вплелась как бы потусторонний смысл. Это приятно щекотало нервы. Но это не про Самвеляна. Хотя в повести «Серебряное горло» он, пожалуй, подошел вплотную к такому условному изложению событий. Но и там загадка поверхностна и может напугать разве что дитя несмышленное. А тайна в романтической литературе всегда соседствует с темным намеком, в том как раз и есть ее воспламеняющий воображение фокус. Нет, Н. Самвелян вглядывается в жизнь без обмана, прямо, честно, никого не водит за нос, показывает ее такой, какая она есть на самом деле, сегодняшняя, вполне узнаваемая, со множеством будничных примет. И все же... И все же читаешь у него, скажем, историю о бывшем боксере, а задумываешься вдруг совсем о другом, о том, правильно ли, по совести ли ты сам живешь на белом свете. Впрочем, думаю, объяснять тут особенно ничего и не надо, это просто-напросто явление таланта, его странность и многоликость выражения.

Н. Самвелян немало поработал в историческом жанре. Здесь у него тот же самый сплав простоты и затейливости при незаметной усложненности стилистических средств. И тот же эффект неожиданного эмоционального воздействия. Однако в исторической прозе это вполне объяснимо: живые страсти, бушующие под пеплом давно минувших лет, вдобавок умело, сильно воспроизведенные, всегда воздействуют на человеческое сердце: словно в собственную смерть невзначай заглянул — и холодно и не оторвешься, манит...

Центральная повесть нынешней книги — «Счастливчик Пенкин», давшая название сборнику, — о сегодняшних днях. Любопытно именно к ней повнимательнее приглядеться. В сущности, это жизнеописание странного человека, искусствоведа Пенкина. Автор то с сочувствием, то с иронической улыбкой прослеживает его путь наверх, его карьеру. Полагаю, метаморфозы, которые происходят с героем повести Пенкиным, дают ключ к ряду других вещей писателя, вошедших в книгу, нередко причудливых по форме, затейливых в своей

структуре (читателя тоже надо увлечь, напрасно многие наши литераторы не умеют этого делать), но в конечном счете всегда точно сфокусированных. А что происходит с Пенкиным? Да ничего особенного и в то же время чрезвычайно много: он проживает долгую удачную жизнь, добываясь всего, к чему стремится, попутно с какой-то изысканной небрежностью отбрасывая, как от мухи отмахиваясь, лишнее, все, к чему у него не лежит душа. Такое действительно в нашей жизни мало кому удастся, разве что добытчикам всяческих благ, да и то до поры до времени. Но Пенкин отнюдь не добытчик ни славы, ни денег, он скорее растратчик и того и другого. Но вот поди ж ты, при расчете он всегда в барышах.

Другая героиня повести, сугубо прозаическая Елена Сергеевна поначалу пытается уверить себя, будто Пенкин юродивый. Ей не дают покоя удача Пенкина при кажущейся несурзности его поступков. То есть мучает это противоречие. Ее мучает непривычная странность Пенкина, который как-то выпадает из вполне понятного ей жизненного устройства. Ей с ним не совсем уютно, а без него вроде пресно. О Елене Сергеевне — ее глазами мы в основном и наблюдаем Пенкина — особый сказ. Если уж говорить о счастливости в натуральном виде, то по всем общепринятым меркам Елена Сергеевна тут на корпус впереди Пенкина. Это ведь только слова, что за счастье нужно бороться. Оно, как дар божий, нисходит хорошему человеку, иначе это уже не счастье, а добыча. Как раз Елену Сергеевну ничем бог не обидел. Она красавица, у нее любимый, умный, деликатный, высокопоставленный муж, чудесная дочь, интересная работа... Все ее, кажется, любят, и есть за что. Да что там: Елена Сергеевна — как принцесса в окружающем ее мире, и подданные не ропщут признают ее власть. Даже Пенкин признает, хотя по свойственной ему, видимо, дурости характера со всяческими ужимками. Ну что еще нужно женщине для счастья? А вот поди ж ты, страдает великолепная Елена Сергеевна, томится нежным, неутоленным сердцем. Откуда такая напасть? Ей представляется, что от Пенкина. Не будь его, не было бы и этой смуты душевной. Чтобы во всем окончательно разобратся — великолепная деталь! — она чуть ли не силком предлагает ему себя.

Дорогой подарок. Но Пенкин от него отказывается, проделывая это по возможности тактично. Елена Сергеевна не то чтоб оскорблена, но чуток раздосадована, чувствует себя как бы в тупике, куда ее завело собственное интеллектуальное своеволие.

А разгадка проста, и тупика никакого нет. Суть вот в чем. Бессребреник Пенкин ощущает жизнь как праздник, праздник движения к возвышенной цели. Елена Сергеевна, напротив, подобно многим упорно преодолевает одну преграду за другой, точно поднимаясь вечно по лестнице, у которой нет конца. Оба они, в сущности, хорошие люди, но вместе им неуютно. Речь идет о разных уровнях ощущения жизни. Пенкин не принял Елену Сергеевну, ее красотой и обаянием он искренне восхищен, ее стойкий характер готов уважать, но он отринул те ненужные, пустые хлопоты, которые переполняют ее дни и могут замутить ясное и ровное течение его дней. Может, все-таки Пенкин эгоист? А может быть, так и должен жить на земле человек? Пожалуйста, Николай Самвелян всегда оставляет простор для вариантов, в последнюю минуту с лукавой усмешкой как бы уклоняясь от окончательного вывода. Лукавство вообще заметная черта его прозы, начиная от фразы, могущей вдруг осветиться саркастической усмешкой, до сюжетных ходов, как это явлено в притчевой повести «Серебряное горло».

Но вот как раз в «Серебряном горле» он поступил иначе, расставив где-то ближе к концу все точки над «и» почти с прописной назидательностью. Милая и трогательная эта сказка так легко сделана, с таким увлечением читается, что чуда ждет и жаждет душа. А вместо чуда — на тебе, получи мораль. В поэтике Н. Самвеляна при всей его самостоятельности много от Грина: тот же солнечный, с буйными красками мир, та же ностальгия по несбывшемуся. Но представим себе на миг, что бы было с «Алыми парусами», если б в конце кто-то умный и строгий одернул бедняжку Асоль: дескать, хватит дурью маяться, детка, давай лучше честно работай, как все люди, и все у тебя образуется в лучшем виде. Ее, кстати, как и многих ей подобных, не раз и одергивали, и большей частью успешно...

В повести «Серебряное горло» Н. Самвелян размышляет о творчестве как о способе жить и о любви как об одной из непременных констант творчества. Замысел трудный, сам по себе вызывающий ува-

жение. Художник за такое берется или мало подозревая о глубине пропасти, в которую заглядывает, или, будучи достаточно в себе уверенным, чтобы рискнуть. Н. Самвелян в себе уверен, поэтому осторожен. Он и жанр выбрал осторожный, иносказательный — притчу. Жанр, вполне свойственный его писательскому темпераменту и манере. И нигде не переживает, с серьезным видом рассказывает о странном случае, когда несколько певцов с посредственными голосами вдруг обрели «серебряное горло». А ведь, по сути, в этом нет ничего необыкновенного: с горя или от радости, бывает, так запоешь — родные не признают. И главный герой, сам в прошлом певец, расследующий это чудное дело, поражен; пожалуй, в первую очередь не тем, что люди волшебным образом запели, а тем, что почему-то, обретя дар, снялись с насиженных мест... Не будем дальше пересказывать содержание, скажем напоследок несколько слов обо всей книге. Истинный литератор, какого бы ранга он ни был и о чем бы ни писал, говорит обязательно о двух вещах: как жить человеку на земле и зачем ему на ней жить. В творчестве отдельных писателей один из этих вопросов, как правило, доминирует. Для Толстого наиважнейшим было решить — как. Для Достоевского — зачем.

Книга Н. Самвеляна в какой-то степени связана с попытками ответить на второй вопрос. В своих романтических, но замешенных на множестве реалистических городских подробностей повестях и рассказах он постоянно озадачен именно этим вопросом. Отвечая, он идет от простого к сложному. Обыкновенные, житейские: «Зачем петь чужим голосом?», «Зачем заниматься спортом?». «Зачем летать на Луну?» — постепенно вырастают до общего, глобального: «Зачем мы все это делаем?» Там, где этот переход удается, Н. Самвелян добивается удачи, там же, где повествование провисает на уровне пусть живописной, пусть оригинально сделанной, с присущей писателю стилистической выразительностью прописанной, но все же банальной мелодрамы, там прокол, спад. Но это все реже. С Николая Самвеляна можно спрашивать по крупному счету. Потому что сам он, лукавый сочинитель, прекрасно чувствует, как под всеми этими «зачем?» исподволь, как цветок из-под асфальта, прорастает главное — как жить? И отвечает на свой вопрос: «Не иначе как по совести!»

АН. АФАНАСЬЕВ



Политика и наука

СЛАГАЕМЫЕ ПОДВИГА

А. И. Шахурин. Крылья победы. М. Политиздат. 1984. 240 стр.

Четвертого июля 1945 года газета «Правда» в передовой статье, посвященной награждению заводов авиационной промышленности и около 4,5 тысячи ее работников, отмечала: «В жестокой борьбе с авиационной техникой гитлеровской Германии, в напряженном поединке с промышленностью врага полным победителем вышла научная и инженерная мысль советского народа. Социалистическая индустрия создала истребители и штурмовики, каких противник не смог превзойти за четыре года войны. Работники авиационной промышленности Советского Союза сумели в короткий срок ликвидировать количественное превосходство врага в самолетах...»

О том, как была обеспечена победа в воздухе, рассказывает в своей книге Алексей Иванович Шахурин, занимавший в 1940—1946 годах ответственный пост наркома авиационной промышленности.

Большое внимание уделялось развитию авиационной промышленности в нашей стране в предвоенные годы. Создавали и запускали в серийное производство новые, отвечающие современным по тому времени требованиям истребители, штурмовики, бомбардировщики, двигатели, авиационное вооружение и приборы. Реконструировали старые и строили новые авиационные предприятия. Переходил на выпуск авиационной техники ряд заводов, переданных из других отраслей промышленности. Расширялись авиационные научно-исследовательские институты, создавались новые опытно-конструкторские бюро, укомплектованные молодыми талантливыми учеными и конструкторами. К началу войны, пишет А. И. Шахурин, выпускалось уже более 50 самолетов в сутки.

Но всего сделать не успели. Не успели закончить строительство новых заводов в Поволжье, на Урале, в Сибири, сдублировать базы снабжения. Автор рассказывает, как трудно сложился для авиационной промышленности начальный период войны. Враг в первые же дни вывел из строя значительное количество самолетов. Пришлось эвакуировать в глубь страны более 100 предприятий авиационной промышленности и организовывать производство на новых, большей частью мало приспособленных для этого местах. Трудности возникали и в связи с эвакуацией поставщиков материалов, сырья, комплектующих изделий. В

армию ушло много квалифицированных рабочих, а увеличение выпуска самолетов требовало все большего количества рабочих рук. На заводы принимали десятки тысяч подростков и женщин, ранее нигде не работавших, в считанные дни учили их осваивать сложнейшие операции. Перед промышленностью возникали все более сложные задачи, что потребовало перестройки производственного процесса и новых методов управления: внедрялись потоки, конвейерные линии, новые технологические процессы, шла постоянная настойчивая борьба за повышение производительности труда, сокращение циклов производства, экономии материальных и трудовых ресурсов.

С душевной теплотой рассказывает А. И. Шахурин о рабочих людях, на чьи плечи легла основная тяжесть работ по перебазированию заводов и выпуску продукции,— это они в суровых зимних условиях одновременно поднимали новые корпуса, монтировали оборудование и работали на станках, зачастую по нескольку суток не уходя из цехов. Особо подчеркивает автор вклад ученых: «Мы выиграли воздушную битву... и потому, что на протяжении всей войны не переставали трудиться деятели нашей науки». Зримым результатом их труда стало создание за годы войны 23 новых типов двигателей, 25 новых и модифицированных самолетов, качественно новой техники — опытных реактивных самолетов. Самой высокой оценки заслужил в книге героический труд большого отряда летчиков-испытателей — людей беззаветного мужества, исключительного мастерства, неутомимого трудолюбия.

За годы войны авиационная промышленность СССР произвела 136,8 тысячи самолетов (из них 112,1 тысячи боевых), а фашистская Германия, располагавшая ресурсами почти всей Европы, произвела 88 тысяч (80,6 тысячи боевых) самолетов...

Я впервые узнал А. И. Шахурину, тогда просто Лешу, шестьдесят лет назад в комсомольской организации Бауманского района Москвы. К тому времени он был уже членом партии, выделялся среди нас собранностью, организаторскими, волевыми способностями. А совместная работа в годы войны (я был директором Саратовского авиационного завода) дает мне право

сказать, что в успехах авиационной промышленности тех лет большая заслуга штаба отрасли — наркомата во главе с А. И. Шахуриным. Чему мы, директора заводов, многим из которых в то время едва минуло тридцать лет, учились у своего наркома? Партийности, большевистской настойчивости в выполнении заданий родины, деловитости, умению думать о дне завтрашнем, учиться, использовать передо-

вой опыт, постоянно заботиться о людях, условиях их труда и жизни.

Книга «Крылья победы» сразу нашла массового читателя, и не только среди людей, причастных к авиации. Ее читают, анализируют, о ней спорят. Она помогает, рассказывая об опыте военных лет, решать сложные задачи, поставленные сегодня партией перед авиационной промышленностью.

И. ЛЕВИН.



ГЛАВНЫЙ РУБЕЖ РЕВОЛЮЦИИ

А. Я. Грунт, В. И. Старцев. Петроград—Москва. Июль—ноябрь 1917. М. Политиздат. 1984. 280 стр.

Одно из достоинств этой книги — на редкость удачно выбранный сюжет. В нем как в фокусе сконцентрировались важнейшие проблемы Великой Октябрьской социалистической революции, ее героика и драматизм: подготовка переворота, вооруженное восстание, закрепление победы. И не где-нибудь, а в эпицентре политической, экономической, культурной жизни страны. «Взяв власть сразу и в Москве и в Питере, — писал В. И. Ленин, — мы победим безусловно и несомненно». Именно здесь, в обеих столицах, события разворачивались под непосредственным руководством вождя и его соратников В. А. Антонова-Овсеенко, Ф. Э. Дзержинского, А. В. Луначарского, Н. И. Подвойского, Я. М. Свердлова, многих других выдающихся революционеров.

Особенно сильное впечатление производят страницы, рассказывающие о деятельности Владимира Ильича. Вот, например, глава «Самый трудный день в Питере. Положение в Москве», посвященная борьбе с войсками Керенского — Краснова, с юнкерским мятежом в Петрограде, с попытками псевдосоциалистических партий лишить трудящихся их завоеваний. Ленин здесь — сама энергия, стукот воли и революционного оптимизма. Он организует оборону, следит за развитием событий в Москве, поддерживает уверенность в победе, добивается осуждения дрогнувших, готовых сдать позиции членов партии.

Как известно, день 29 октября 1917 года завершился полным торжеством пролетарской революции, большевики вышли из испытаний еще более сильными и сплоченными.

Сюжетно книга строится на противоборстве лагерей революции и контрреволюции, что делает ее увлекательной, не лишая в то же время достоверности. Не пожалев красок для «нашей части» картины, авто-

ры сочли невозможным написать лагерь противника одним цветом, представить его читателю сплошным серым пятном. Там, по ту сторону баррикад, были и опытные политики, и просто способные, сильные люди, сражавшиеся за старый мир с яростью обреченных. Их, наконец, поддерживал международный империализм.

Для книги Грунта и Старцева характерно отсутствие пустых деклараций, надуманных схем. В своих выводах авторы опираются на анализ тщательно отобранного, содержательного материала, на четкую, богатую достоверными деталями картину событий.

Как и положено популярному историческому изданию, книга богато иллюстрирована. На ее страницах можно увидеть фотокопии ленинских статей и заметок, декретов советской власти, газет 1917 года. Важно, что их много, что они воспроизведены крупно, легко читаются. Важно, что их содержание не дублирует основной текст, а дополняет и конкретизирует его. Интересен подбор фотографий, кадров из документальных фильмов. Некоторым из них (впервые публикуемым или несущим особую смысловую нагрузку) отведены целые страницы и даже развороты. Снимки массовых сцен (демонстраций, митингов, отрядов красногвардейцев, матросов на марше), портреты руководителей и активных участников восстания, выразительные, запоминающиеся жанровые зарисовки — все это лишний раз подчеркивает всенародный характер борьбы против Временного правительства, воссоздает зримый облик бойцов Октября, их лица, одежду, оружие..

Фотографии рассказывают, какими были в 1917 году улицы Москвы и Петрограда, позволяют увидеть исторические места, дома и целые кварталы, ныне исчезнувшие или перестроенные. Они сохраняют для

нас множество примет времени, приобщают к самой атмосфере эпохи.

Авторы сопроводили книгу именным и топонимическим указателями, списком переименований городов, площадей, улиц, вокзалов. Эти приложения очень уместны и говорят о высокой культуре издания.

Позволю себе несколько пожеланий в надежде, что они будут учтены авторами в дальнейшей работе.

Хотелось бы больше узнать о повседневной жизни москвичей и петроградцев в ту эпоху, их заботах и быте.

А как было бы хорошо увидеть в книге политическую карикатуру 1917 года! Наша революция умела смеяться, умела бить классового врага силой слова, острым сатирическим рисунком.

И последнее. Книга рассказывает прежде всего о борьбе за власть, о планах противоборствующих сторон, о подготовке к сражению и о самих боях, захватах и потерях стратегически важных объектов, обходах и контратаках. Для ясного понимания динамичной и сложной обстановки чита-

телю очень недостает подробных карт и схем. В рецензируемой монографии их явно мало — всего две.

Близится семидесятилетний юбилей Великой Октябрьской социалистической революции. Конечно, он порадует нас рядом новых научно-популярных изданий, посвященных этому поворотному событию в судьбах человечества. Опубликованная некоторое время назад книга А. П. Ненарокова «1917. Великий Октябрь: краткая история, документы, фотографии» выдержала несколько изданий, переведена на многие языки мира. Не найти на полках магазинов книг члена-корреспондента АН СССР Ю. А. Полякова, рассказывающих об октябрьском штурме. Думается, что к очередной удаче можно причислить и книгу А. Я. Грунта и В. И. Старцева. Она написана без скидок на жанр и будет одинаково интересна и для любознательного читателя-неспециалиста, и для историка.

А. РАЗГОН,

доктор исторических наук.



ПОХВАЛА ЗДРАВому СМЫСЛУ

Гилберт Кит Честертон. Писатель в газете. Художественная публицистика. Перевод с английского. Послесловие С. С. Аверинцева. М. «Прогресс». 1984. 384 стр.

Обнаружилось, что некая пожилая английская дама держит у себя свинью. Муниципальные власти потребовали от дамы выдворить свинью из квартиры. Дама ответила властям резким письмом, в котором заявила, что любит свинью и не желает с ней расставаться.

Прочитав об этом в газете, Честертон приходит в восторг и пишет эссе в защиту свиней и дамы. Он настаивает на том, что свиньи очень красивы, что их красота — «в сонном совершенстве формы», а затем возмещает, что свинья наравне с буком и меловым холмом составляет священный символ и великую суть Англии. Увлечшись, он призывает заменить львов, украшающих британский герб, на свиней, даже предлагает возложить четверку свиней вместо львов у подножья Нельсоновой колонны, заявляя, что «столь английскую святыню должны охранять четыре борова».

Кажется, довольно! Не слишком ли много позволяет себе эссеист? Кто этот бунтарь и мятежник, который смеет столь дерзко шутить? Мы хорошо его знаем с детства: многие из нас зачитывались детективами о романтическом преступнике Фламбо и еще более романтическом сыщике отце Брауне. Но это лишь «надводная» часть наследия Честертона, в то время как основ-

ная, «подводная» часть, прославившая писателя в его стране, — творчество мыслителя и публициста — до сих пор оставалась нашему читателю почти неизвестной. Как бы ни разнились между собой та и другая части, Честертон — и это подтверждает выпущенная книга избранной публицистики — остается Честертоном: во всем его творчестве есть цельность, обусловленная выбором жизненной позиции.

Существуют два по-своему последовательных отношения к жизни, рассуждает писатель, отвечая на упреки в непочтительности, переходящей порой в святотатство. Пуританские аскеты в старину считали, что «шутить нельзя, ибо жизнь слишком для этого серьезна». Честертон готов отнестись к такой концепции уважительно, но предпочитает другую: «...жизнь слишком серьезна, чтобы над нею не шутить».

В этом шутнике есть много от истинного бунтовщика: дерзость, неповиновение авторитетам, решительность и прямота суждений, равносильных поступкам, и, наконец, что не последнее, бесстрашие. Но в основу бунта положен, казалось бы, отнюдь не бунтарский принцип: Честертон выступает в защиту здравого смысла.

Здравый смысл — одно из наиболее бранных понятий в интеллектуальном лексико-

не последнего столетия, устойчивый синоним мешанской добродетели, обыденного сознания. Кто только не обрушивался и не обрушивается донныне на здравый смысл! Нужно было определенно сойти с ума, чтобы вступить за него в конце XIX века, когда в Европе распускались «цветы зла» и Ницше повел разговор о бесчеловечной красоте сверхчеловека. Вот когда Честертон заговорил о красоте свиней; парадоксалист в квадрате, он принялся защищать здравый смысл оружием парадокса, заимствованным из арсенала своих противников.

В «Автобиографии» Честертон рассказал о себе как о сложившемся предателе дела пессимизма. Побывав в юности в темных его глубинах, он пожелал страхнуть дурной сон. Это была спонтанная реакция, получившая впоследствии философско-религиозное обоснование: «...все прекрасно в сравнении с небытием». Связанный ниточкой благодарения с остатками детской веры, сознавая, как «глубок его (человека.— В. Е.) долг тому, что его создало и дало ему возможность вообще существовать», Честертон поставил целью духовной и творческой деятельности, «чтобы человек, попросту сидящий в кресле, вдруг понял, что жив, и стал счастливым».

Счастье, по Честертону,— это акт воли и вместе с тем целая наука, которую нужно постичь. Нет ничего более ошибочного, чем утверждать, будто честертоновская философия радости основывается на животном инстинкте, и представлять себе этого тучного гиганта (о внешности которого ходили легенды) здоровяком, у которого оптимизм буквально «прыскал» с лица. Напротив, как показал С. Аверинцев в послесловии к книге, Честертон был болезненным, если не больным человеком. Выбор жизнеутверждающей позиции был продиктован не физиологией, не легкомыслием, не равнодушием к человеческим страданиям, а нестерпимой ситуацией в области культуры, когда торжество скепсиса вело к параличу мысли, триумф изысканного субъективизма — к желанию «съесть горчицу без говядины» («...хотя,— подчеркивал Честертон,— я вовсе не считаю, что мы должны есть говядину без горчицы»).

Есть страдание и есть мода на страдание. В этом отличие Байрона от его эпигонов. У человека со здоровой душой, по мнению Честертона, «трагедия в сердце и комедия на уме». Радость не уничтожает страдание, но помогает его преодолеть. Проповедуя полезность философии радости, Честертон видит в ней мировоззрение, не только ответственное природе человека, но и по-

могающее ему выжить и жить. Мысль Честертона существует не отвлеченно, она изначально ответственна: писатель следит за ее последствиями. Вот почему он строг к Ницше и прочим еретикам мысли, которые свою истину предпочитают всеобщей. Когда Честертон заявляет, что в подобных случаях нова не сама идея, а полное отсутствие других, уравнивающих ее идей, за этим определением встает длинный ряд философских концепций...

Выступая за здравый смысл против не только бесплодных эстетических фантазий, но и беспочвенных надежд, политических утопий и прочей безответственной, чреватой катаклизмами чепухи, Честертон опирается на демократизм. Писатель не скатывается на этом пути к демагогии, он четко отделяет народ от черни, афористично определяя ее как «народ без демократии», а свободу в ее социально-политическом значении понимает как действительное влияние гражданина на государство.

Что ценно, Честертон о демократии умеет сказать демократично, сравнивая ее цель с целью гостеприимной хозяйки — «помочь неуверенным людям». В эссе, откуда взято это определение, Честертон повествует о том, как он вместе со случайным попутчиком — не то портным, не то часовщиком — оказался невольным свидетелем транспортировки заключенных. Реакция скромного попутчика совпала с реакцией самого Честертона, и в ней писатель отметил три основных черты: «...истинный юмор, искреннюю жалость и полную беспомощность».

Социальные извращения новейшего времени Честертон прежде всего видит в том, что смешались цели и средства. «Одному великому средневековому философу,— пишет он (опора на средневековую культуру вообще характерна для публицистики Честертона),— принадлежит мысль о том, что все человеческие беды происходят оттого, что мы наслаждаемся тем, чем следует пользоваться, и пользуемся тем, чем следует наслаждаться». Современные «умники», конкретизирует Честертон свою мысль, готовы «пожертвовать счастьем ради прогресса, тогда как только в счастье и заключается смысл всякого прогресса».

Честертон едва ли согласен с тем, что существует идеальная модель социального жизнеустройства. Однако он допускает, что существует оптимальная. Именно для ее достижения и необходим здравый смысл, этот «ныне отживший принцип психологии». Видя чудовищное отчуждение мысли от реальной жизни, Честертон находит беду механической цивилизации в том, что

она потеряла корни, а следовательно, и возможность плодоношения: «Мы вообще живем в эпоху, когда дом начинают строить с крыши. В наше время берутся расшифровывать сложнейшие коды, не обучившись грамоте... Наши отцы говорили не о психологии, но о понимании природы человека. И они в отличие от нас обладали этим пониманием. Они интуитивно постигали то, о чем мы благодаря нескончаемому потоку информации не имеем ни малейшего представления. Ибо в наши дни забыты самые основные и простые истины».

Мы привыкли думать, что защита основополагающих культурных ценностей по своей сущности тяжеловесна и дидактична. Читая честертоновские афоризмы, понимаешь, насколько, увы, непривычен для нас сам этот блестящий жанр. Поразительна здесь тесная связь между зрительным образом и отвлеченным словом, молниеносное сопряжение веселого пустяка и глобальной идеи. В этом отношении Честертон — учитель и виртуоз. Движение его мысли, будоражащей даже самого вялого читателя, невозможно заранее предугадать, но, по слову поэта, «чем случайней, тем вернее». «В наши дни к лежанию в постели относят лицемерно и неправильно, — начинает писатель очередное свое рассуждение, и мы ждем, что перед нами развернется шуточная апология праздности, но нет: автор преподносит замечательный моральный урок. — Много сейчас симптомов упадка, но один опасней всего: мы носимся с мелочами поведения и забываем об основах нравственности, о вечных узах и правилах трагической морали человека. Нынешнее укрепление третьестепенных запретов еще хуже, чем ослабление запретов первостепенных... Нам грозит большая опасность: механизм поведения работает все четче, дух слабеет. На самом деле мелкие, будничные действия могут быть свободными, гибкими, творческими, а вот принципы, идеалы — твердыми и неизменными...» Такое чувство, будто говорил наш современник. Как часто и сегодня в жизни бывает, что борьба за совершенствование принимает чисто показной, формальный характер, упускается вопрос содержания, в результате чего подрывается вера в возможность перемен!

Пример Честертона говорит о значении подлинной журналистики. Честертон считал откровенно и просто, что журналистика сделалась бы куда более честным занятием, откажись она от присущих ей резонерства

и важности. С точки зрения Честертона, журналистика по сути своей должна быть не апологетической, а критической и сатирической: «Все те, кто заявляет, что журналистика должна быть честной, по сути дела, хотят, чтобы она была респектабельной. Но честность не бывает респектабельной — респектабельно лицемерие. Честность всегда смеется, ведь все нас окружающее — смешно...» Смешно, заметим, не потому, что весело, а потому, что зачастую несурезно: «...в любую эпоху самым честным и искренним людям предъявлялось обвинение в том, что называется «богохульством» и что, в сущности, означает легкомысленное отношение к жизни».

О Честертоне-критике разговор особый, который едва ли может здесь состояться по недостатку места. Бесспорно одно: философия радости у Честертона должна соответствовать литературе радости — «бесконечно более сложное, редкое и незаурядное явление, чем черно-белая литература страданий». Первична литература радости, опять-таки не потому, что в жизни мало страданий. Честертон весьма грустно определил природу юмора. Он сказал, что после Сервантеса юмор «утвердился в своем наиболее очищенном виде: утвердился как признание слабости человека и сложности жизни, как ее великое таинство». Честертон пишет и о том, как изменились в литературе новейшего времени взгляды на нравственность, причем не в лучшую сторону: «Нравственность связана для нас со сладчайшим оптимизмом, с красотой. Теперь нравственная книга — это книга о нравственных людях. Но раньше считали как раз наоборот: нравственная книга — это книга о безнравственных людях... Честь велит нам говорить правду о потрясающей борьбе человеческой души. Если в книге нет плохих людей, плоха книга».

Честертон любил Чосера и находил у него «чисто английское свойство: он может одновременно смеяться над людьми и любить их». С полным основанием то же самое можно сказать о самом Честертоне. Внося коррективы в умонастроения своей эпохи, этот насмешливый бунтарь и человеколюбивый «богохульник» стремился к утраченному союзу мысли и живой жизни. Там, где в его творчестве этот союз получает свое законченное выражение, Честертон обретает непреходящую актуальность, граничащую с бессмертием.

Вик. ЕРОФЕЕВ.

КОРОТКО О КНИГАХ

ЕВГЕНИЙ РАТНЕР. Вверх по крутой лестнице. Роман. М. «Советский писатель». 1984. 342 стр.

В истории нашей страны немало славных страниц. К одной из них — Днепрогэсу, все-союзной индустриальной стройке первых пятилеток, — возвращает нас книга Евгения Ратнера. Документальность ее очевидна: приведены точные даты событий, известные имена. Среди них и начальник строительства Днепрогэса Вингер, и секретарь ЦК ВЛКСМ Косарев и Маяковский... Тем не менее книга по праву отнесена автором к жанру романа, ибо, опираясь на факты, Ратнер широко использует художественный вымысел, вводит в повествование лирического героя, журналиста Шаповаленко, от лица которого и ведется рассказ.

С тех пор и, видимо, на века Днепрогэс стал для нас символом трудового порыва, взлета инженерной и рабочей мысли. Вот как, выражая общее настроение днепростроевцев, пусть несколько наивно, но искренне говорит один из персонажей книги, Загидула Хусаинов: «Наши механизмы — простые лопаты, но есть один главный механизм — голова, чтобы думать... как лучше, как быстрее...»

После смены на импровизированные собрания собирались у котлована рабочие, мастера, инженеры, партийные и комсомольские руководители. Нередко именно здесь рождались починки «Сочиний обращение От всех нас...» — говорили журналисту, — после работы мы самооблизывались, чтобы ликвидировать прорыв... И впредь обязуемся — каждый выходной и два дня в шестидневку после смены...» Люди чувствовали личную причастность к большому историческому делу. Починки ударных бригад подхватывали по всей стране. Так, выступив за ликвидацию технической неграмотности молодежи, Днепрострой стал одним из первых наших предприятий, где неуемный чернорабочий последовательно проходил все стадии повышения квалификации — до техника и даже инженера с заочным или вечерним образованием. Скоро это стало нормой повсюду.

Автор вспоминает: когда газетчики той поры, освещающие ход строительства, собирались вечерами в номере корреспондента «Известий», говорили не только о Днепрострое. «Казалось, вся география первой пятилетки втиснулась в 24 квадратных метра этого номера. Звучали названия строек и заводов, которые не только не сходили со страниц газет, но жили в каждом доме городов и городков, в каждой хате, избе колхозников»

В этой насыщенной фактами книге немало интересного — в том числе и история покорения порогов Днепра, задуманного еще Петром I, а осуществленного советскими

строителями, подлинными героями нашего времени.

Ощущение полноты жизни, оптимизм, открытость — вот черты, присущие целому поколению, о котором рассказывает автор. А продолжает начатое в 30-е годы восхождение «вверх по крутой лестнице» поколение нынешнее — те, кто совершает научно-техническую революцию сейчас. Наследники опыта старших. Им и адресована книга Евгения Ратнера.

Ксения Бродер.



ВЛАДИМИР РЫНКЕВИЧ. Пальмовые листья. Повести и рассказы. М. «Современник». 1984. 301 стр.

Включая в состав книги повесть «Пальмовые листья», автор, видимо, особо дорожил ею — сборник получил ее название. Эта, надо сказать, довольно неровная повесть, основанная на непосредственных впечатлениях молодости, бережно хранимых человеком всю жизнь, послужила автору своего рода трамплином для дальнейшего поиска новых средств художественного выражения. В последующих вещах он обретает заметно большую художественную свободу, раскованность в выборе лиц, черт, обстоятельств, поступков и событий, чувствуется, что он как бы отрешается от магии факта, который порой не дает простора в подробностях, в создании художественного образа, тяготеет к характеристическим данным того или иного прототипа или первоисточника. Всякому пишущему хорошо известно это диалектическое противоречие художественного творчества. На наших глазах через него проходит и автор «Пальмовых листьев».

Особенно этот процесс заметен в повести «Любимые тревоги», где отображен тяжелый период жизни героя, старшего лейтенанта Алексея Бывальщикова. Демобилизованный из армии по болезни, он выбит из колеи, однако находит возможность реализовать себя в новых условиях. Психологически достоверно показан этот нелегкий переход от беды, от срыва к преодолению трудностей, казавшихся неразрешимыми, к восстановлению судьбы и характера. Тема любимой работы, которая сама себе награда, — вот что занимает здесь автора в первую очередь. И еще одно: вернувшись к делу своей жизни, герой возвращается и к людям, от которых отшатнулся в тяжелые дни. Теперь он стал терпимее, шире. Эта мысль не декларируется автором, а проведена через цепь происходящих событий без тени натяжки, органично.

В рассказах, входящих в сборник, В. Рынкевич заметно раскованнее, чем в повестях; проза его становится динамичнее, виднее, что здесь автор скорее рассказчик, чем

проводник той или иной художественной идеи. Так, герой рассказа «Наш капитан» Горленко—фигура вроде бы знакомая (службист, аккуратист, зануда), но В. Рынкевич находит для него ноту, задающую читательское сердце. То, что в капитане раздражало молодых офицеров, как становится ясно после его смерти, было своеобразным выражением его заботы о людях. Изображено это запоздалое прощание и прощание выразительно и человечно.

Смертью завершается и один из самых оптимистичных в сборнике по содержанию — «Семинар по философии». Он о московском юноше, погибшем в 1941 году в героическом ополчении под Волоколамском. Автору удалось передать напряженную атмосферу военной Москвы с ее бедами, тревогами и человеческим теплом. Особенно же хотелось бы выделить в сборнике две вещи — «Далекое голубое сияние» и «Тарусский ключ». В первой автор говорит о власти истории, о живом человеческом ощущении близости далеких времен, личной причастности к прошлому. А вот душа Олега, героя второго рассказа, выстужена как раз отсутствием одухотворенной человеческой памяти, без которой все его знания как таковые мертвы и вряд ли нужны.

Окидывая сборник повестей и рассказов В. Рынкевича единым взглядом, нельзя не заметить, что автор стремится выразить себя в разных пространствах реальности и мысли. Можно ли выделить определенную линию, определенный круг вопросов, дающих право причислить эту прозу к какому-то одному направлению? Думается, нет. Но происходит это, вероятно всего, оттого, что автор столь разноплановых рассказов и повестей главное для себя видит в повышенном внимании к человеку, где бы и кем этот человек ни был. Широта охвата жизненных тем и дает Рынкевичу тот импульс, без которого немислим творческий рост.

Часто в прозе Рынкевича вопросы, поставленные им, остаются открытыми, ибо не так просто поддаются решению. Поиск ответов продолжается, для успеха в этом поиске у писателя есть все необходимое — биография, дающая богатый материал, чувство времени, истории и интерес к сегодняшней жизни с ее наиболее важными нравственно-этическими проблемами.

Александра Спаль.



ВЛАДИМИР АДМОНИ. Из долготы дней. Стихотворения. 1925—1983. Л. «Советский писатель». 1984. 87 стр.

Предо мной первая книга поэта, однако стихи, в нее вошедшие, писались в течение почти шестидесяти лет. Автор сборника — известный литературовед, лингвист, переводчик, профессор Института языкознания Академии наук СССР, чьи научные работы получили признание во всем мире. Владимир Адмони избран почетным доктором философии в Швеции, ему присуждена в Мюнхене большая золотая медаль Института имени Гёте. Он переводит Г. Ибсена и Н. Грота, занимается исследованием твор-

чества Пушкина и Блока, Анненского и Цветаевой... И пишет стихи.

Мария Петровых, друг Анны Ахматовой и Владимира Адмони, сама прекрасный поэт, в январе 1975 года писала Адмони: «Очень жду Ваших стихов. Мне дорого помнить, как любила Ваши стихи Ахматова. «Истинный поэт», — говорила она о Вас. Это ее точные слова».

Книга Владимира Адмони посвящена памяти Тамары Сильман, другу и жене поэта, соавтору по многим переводам, любовь к которой он навсегда сохранил в своем сердце.

Здесь все ушло и все живое,
Здесь мир, в который я вхожу,
И все мое, и все чужое,
И память, сложенная вдвое,
И узел, связанный тобою,
Который я не развяжу.

Естественно, что в книге, где многое обращено к памяти любимой женщины, ушедшей из жизни, немало грустных строк, но такая грусть гораздо больше говорит уму и сердцу, чем многословная, выпендренная и риторическая радость, лишенная подлинных чувств и мыслей, а следовательно, и поэзии.

Рядом с темой любви, переплетаясь с ней, вырастает тема преклонения перед родным городом, где прошла большая жизнь и пришла прекрасная любовь: «Вновь поднимается Нева. Ее сегодня слишком много. Но нет мне города иного, чем тот, в котором ты мертва. Чем тот, в котором ты жива».

Город этот Владимир Адмони защищал — как воин и как поэт. В окопах Ленинградского фронта Адмони писал пропагандистские стихи на немецком языке, и наши громкоговорители передавали их немецким солдатам. Некоторые из этих стихов недавно опубликованы в Германской Демократической Республике, а несколько стихотворений автор переложил на русский язык и включил в сборник «Из долготы дней». Вообще в этом сборнике выделяются стихи, написанные Адмони в годы Великой Отечественной войны. Запоминается образ солдата, пропавшего без вести: «Никто не видел, как он пал. И в плен он тоже не попал — нет, он пропал без вести». Последняя строка, став рефреном, звучит проникновенно и трагически:

Он, может, был весельчаком,
Ему все было нипочем —
Но он пропал без вести.

А может, он героем был,
Он, может, девушку любил —
Но он пропал без вести.

Стихи последних лет в книге Владимира Адмони подтверждают несомненное его поэтическое своеобразие.

Мы помним то, чего не помним,
И лишь не подбираем ключей
В запаснике души своей
К вещам упрямым и укромным.

Они не вовсе позабыты,
Но ты не знаешь наперед,
Какой виток какой орбиты
Их снова к жизни призовет.

Верится, что поэт еще не раз подберет ключи «к вещам упрямым и укромным», которые интересны автору и нам, его читателям.

Марк Лисянский.



ПРЕКРАСНАЯ ДАМА. Из средневековой лирики. М. «Московский рабочий». 1984. 459 стр.

В эпоху зрелого средневековья, в X—XIII веках, была создана та законченная, замкнутая в своей цельности художественная система, разные национальные варианты которой объединяются теперь литературоведческим термином «куртуазная литература». И хотя, как писал американский поэт У. К. Брайант, эпоха средневековья в отличие от классической древности и Ренессанса не дала ни одного великого поэта, она, по словам Пушкина, стала истоком всей европейской поэзии Нового времени: «Поэзия проснулась под небом полуденной Франции — рифма отозвалась в романском языке; сие новое украшение стиха, с первого взгляда столь мало значащее, имело важное влияние на словесность других народов».

Издательство «Московский рабочий», словно продолжая традиции «Библиотеки всемирной литературы», издает антологии, знакомящие широкого читателя с шедеврами мировой поэзии разных времен. Не остались незамеченными книги «Родник жемчужин» (персидско-таджикская поэзия), «Парнас» (античная лирика), «Классическая басня». Новый сборник «Прекрасная Дама» ввел нас в куртуазную лирику средневековья.

Составители книги О. Смолицкая и А. Парин собрали воедино все интересное, что было издано по-русски за последние годы из поэзии трубадуров и миннезингеров, и впервые ввели в наш обиход лирику северофранцузских труверов. Читая книгу «Прекрасная Дама», мы не только наслаждаемся поэзией как таковой, но и приобщаемся к духовным ценностям иной, далекой поры.

Законодателями в куртуазной лирике стали трубадуры — ими были заложены основы тех жестких правил, по которым создавалась песнь (почти все произведения предназначались для пения). Труверы и миннезингеры продолжили традицию, развив ее на свой лад. При чтении мы постоянно ощущаем целостность художественной системы, но улавливаем и личные интонации поэтов, чему немало способствует мастерство переводчиков: при всей разности их методов чувственный элемент романской поэзии и рефлексивность, морализаторство миннезанга и дух времени переданы очень убедительно. Раскованные, зачастую уводящие в современные слои языка переводы А. Наймана компенсируются академичными переводами В. Дынини, жестковатые, предельно чуткие к интонации оригинала работы В. Микушевича соседствуют с пластичными строками О. Чухонцева и Ю. Морица... А. Парин, переводчик на русский поэзии труверов, выполняет непростую задачу: придерживаясь необходимой для труверов сухости письма, он сумел наделить стихи художественным своеобразием; с равной поэтической яркостью прозвучали и мотивы «высокого служения», и декоративные, прихотливо-узорные мелодии.

Куртуазная литература в наши дни во многом недооценена. Между тем в русской

поэзии, как явствует из книги, можно обозначить весьма устойчивую ее традицию. Глубина связей русской культуры с культурой европейской отчетливо прослеживается — от Жуковского и Огарева до Блока и Эренбурга. Достаточно вспомнить «Сцены из рыцарских времен» Пушкина, «Розу и Крест» Блока и другие стихи. Отошло в прошлое мистическое служение русских символистов отвлеченной вечной женственности, но хотя сами слова «прекрасная дама» произносятся сейчас с оттенком доброй иронии, тема рыцарства, бескомпромиссной преданности идеалу все же не встретит отклика в сердцах современных людей. Как и книга «Прекрасная Дама».

Наталья Булгакова.



ИГОРЬ ПОПОВ. Почему «город» пал? Страницы истории американского радиотеатра. М. «Искусство». 1984. 151 стр.

У этой книжки интригующее название — «Почему «город» пал?». Но уже в первой главе автор объясняет происхождение броской фразы: «Это слова из радиопьесы Маклиша (известнейшего американского поэта и радиодраматурга.— С. О.) «Троянский конь». Созданная в 1950 году и до эфира не допущенная, она открыла новую веху в судьбе американского радиотеатра. Начинаясь пьеса так: «Скажи, певец, скажи, старик незрячий, как случилось, почему тот город пал?..» Речь в пьесе вроде бы идет о Трое. На деле — о «городе» американской демократии».

Книга И. Попова рассказывает о зарождении в 30-е годы американского радиотеатра, о его истории, о взлетах и падении искусства, чья аудитория и теперь, в век телевидения, все еще остается самой массовой. «Это было новаторство, обусловленное временем, новаторство, уловившее дух времени». О крупнейших драматургах, чьи произведения звучали в эфире, а часто и писались специально для него, — Оболере, Маклише, Корвине, Ростене, Андерсоне, Брэдбери, Шоу, Сарояне... Об актерах, работавших на радио, лишь звездный перечень имен которых свидетельствует о значении радиои искусства в те годы: Поль Робсон, Бетт Дэвис, Орсон Уэллс, Грета Гарбо, Генри Фонда, Алла Назимова, Кэтрин Хепберн, Марлен Дитрих, Спенсер Трейси, Дина Дурбин... Об исследованиях, посвященных американскому радиотеатру... Наконец, книга отвечает на вопросы, что есть радиопьеса, какова ее специфика, был ли радиотеатр временным явлением и закономерно ли он отступил, покинул семью искусств под натиском телеатра.

Книга насыщена самой разнообразной информацией, кажется, еще чуть-чуть — и начнется кристаллизация. Но ощущение этого «чуть-чуть», за порогом которого мог оказаться интерес неискущенного читателя, тонущего в потоке имен и сведений, весьма присуще автору, как присущи ему разговорная легкость стиля, ассоциаций, емкость изложения такого количества сведений, аннотаций, биографий, которых достало бы на издание куда более увесистое. Все, вместе взятое, позволяет назвать книгу интересным явлением в исследовании радиотеатра, а че-

рез него и важных черт американской культуры 30-х и последующих годов.

Сегодня «говорящие ящики», уменьшившиеся до размера табакерки, по-прежнему остаются нашими постоянными спутниками. Мы прослушиваем, слушаем, реже — вслушиваемся. Как и любому искусству, радиотеатру надо постоянно завоевывать свою аудиторию. И то, что общественное бытие и радиотеатр (а шире — все радиоискусство) влияют друг на друга активно и постоянно, — естественный вывод, который подсказывает книга. Так, бурный успех американского радиотеатра в 30-е и 40-е годы во многом объясняется его зрелой социальной драматургией, его антифашистской ориентацией. С начала 60-х «город» американского радиотеатра постепенно теряет свои демократические позиции, все более правая, все более увлекаясь массовой культурой. «Город» пал — этот факт признал в письме И. Попову и сам автор «Троянского коня» Маклиш. Факт печальный, конечно, но показательный. Уроки расцвета и упадка американского радиотеатра становятся важными не только для того государства, чья культура стала объектом исследований автора...

Книга И. Попова интересна. Не такое уж это малозначимое свойство для читающего человека. «Почему «город» пал?» прочтут не только специалисты. И пусть, по словам известного русского публициста Николая Шелгунова, «всякий идет и берет, что ему нужно». А нужного в книге много. Можно даже сказать, что ненужного в ней нет.

С. Овчинникова.



А. БАТАЛОВ. Судьба и ремесло. М. «Искусство». 1984. 255 стр.

Баталова у нас знает стар и млад. Уже у нескольких поколений есть свой любимый «фильм с Баталовым». Даже не так: самые разные по возрасту, склонностям, интересам зрительские аудитории выбирают из множества баталовских ролей наиболее себе близкую. Кто Бориса и Гусева («Летят журавли») и «9 дней одного года», кто доктора Устименко («Дорогой мой человек») или Гурова («Дама с собачкой»). Для огромной массы зрителей он теперь Гоша («Москва слезам не верит»). Всего не перечислишь, да и не нужно: пусть каждому вспоминается свое.

«Судьба и ремесло» хорошо вписывается в издавна привлекательный круг чтения, составляемый книгами, в которых рассказывается о кровном деле, ремесле. Как ни поворачивай, а получаются размышления о большой жизни, особенно если пишущий осознает собственный путь связанным с событиями и духом времени, истории. У Алексея Владимировича Баталова это чувство развито в высокой степени. Кажется, он постоянно ощущает нити, протянутые между ним и теми, с кем щедро сводила его личная и актерская судьба.

Многолетняя дружба с Анной Андреевной Ахматовой, встречи с Михаилом Михайловичем Зощенко, работа с Верой Петровной Марецкой, Марком Семеновичем Донским... Книга густо населена замечательными людьми. Читатели будут благо-

дарны автору: так, как рассказывает Баталов, больше никто не расскажет, и то, что он рассказывает, тоже ниоткуда не узнаешь, потому что это подлинно личные наблюдения и воспоминания, в них нет общих мест, общих слов, в них простая конкретность, единственность, уникальность каждого факта. Может быть, именно плотность описаний выдает в Баталове и на чужом поле художника, артиста.

Одна из коротеньких историй — сказка, рассказанная на ночь Михаилом Михайловичем Зощенко:

«Приезжий, совершенно незнакомый нам гость, вошел в комнату, прикрыл дверь и, сев между кроватями, сперва долго молчал. Мы с Петькой прикинули, что родители послали нам то, что самим негоже, но из вежливости терпеливо ждали. В наступившей тишине через коридор было слышно, как весело и шумно разгорается застолье».

Дальше сюжет развивается с нарастающей скоростью. Мальчишка (Алеше Баталову и Пете Петрову, ныне кинооператору Петру Евгеньевичу Катаеву) повезло: прямо перед ними в темной детской из привычного, обыденного, вовлекая в действие живое и неживое, творил неимоверное, фантастическое удивительный писатель.

Баталову не только запомнились вечер, сказка, Зощенко — событие частной жизни стало фактом жизни художника. Алексею Владимировичу пригодилась зощенковская история, когда он во время войны выступал в концертных перед ранеными солдатами. Они смеялись.

Первое слово баталовской книжки — «война». Война определила судьбу, сознание, мироощущение. Словом «война» заканчивается и глава «Сибирский Гамлет» — об Иннокентии Михайловиче Смоктуновском. Статья о Смоктуновском написана вскоре после выхода на экраны фильма «Берегись автомобиля», то есть почти двадцать лет назад, но и сегодня ничуть не меньше, чем тогда, привлекает ее искренность, взволнованность автора, уважение к коллеге.

В книгу «Судьба и ремесло» включены специально для нее написанные материалы, и опубликованные раньше. Они легко соединились, ужились. Видимо, потому, что связаны и темой и интонацией. Кроме того, это еще и свидетельство неизменности нравственной позиции автора. Серьезность и уважение к профессиональному мастерству и работе — основной баталовский мотив, лад повествования. Предложив читателям разговор о себе, он больше рассказывает о других — артистах, писателях, режиссерах, о партнерах, друзьях, сотрудниках. У всех — судьба, у всех — ремесло. Все причастны к единой ответственности. Годы, когда началась — стремительно, ярко — кинобиография Алексея Владимировича Баталова, определялись особым отношением к этому понятию. Ответственность воспринималась как формула жизни. Каждый — за себя, за всех, за все. Никуда оно и не делось, даже стало в чем-то острее: мы должны сохранить память, мы отвечаем перед будущим за нашу историю. Такую живую книгу и создал А. В. Баталов.

В. Иванова.



ИСТВУД АТВАТЕР. Я Вас слушаю... (Советы руководителю, как правильно слушать собеседника) Сокращенный перевод с английского. М. «Экономика». 1984. 111 стр.

Мы чрезмерно заняты собственной речью. Поглощены самими собой. Не слушаем потому, что не хотим. Не слушаем потому, что не умеем. Ошибочно думаем, что слушать значит просто не говорить. На самом деле слушание не только активный процесс, но зачастую и тяжелый труд. А непонимание, вызванное неумением или нежеланием слушать собеседника, чревато в лучшем случае недоразумением, в худшем — неоправимыми последствиями вплоть до человеческой трагедии. И если мы хотим правильно общаться (а мы не можем не общаться), мы должны уметь слушать, а если мы этого не умеем (как правило, не умеем), мы в интересах дела и ради собственного блага должны этому учиться.

Книга Иствуда Атватера может в этом помочь. Американский психолог предлагает практические советы и упражнения не только руководителям (как указано в подзаголовке), но и всем вступающим в деловое общение, ибо «потери от неумения слушать в хозяйственной деятельности огромны». Оно, неумение, может обернуться чем угодно: «испорченным телефоном» устной информации, утратой контакта руководителей с подчиненными, разным пониманием достигнутых договоренностей и т. д.

В книге хорошо освещены конкретные «технические приемы» разных видов общения. Но автор справедливо предостерегает против излишнего увлечения приемами в ущерб общей установке. Самой важной из установок он называет эмпатию. Это, по его мнению, ключевой фактор успеха в торговле, обучении, управлении — там, где особую роль играют межличностные контакты. Что же такое эмпатия? Коротко говоря, чуждость к другим. Понимание любого чувства — гнева, радости, печали, страха, — переживаемого другим человеком, и ответное выражение (вот главное!) своего понимания. Такое поведение часто путают с полным одобрением, но эмпатия не соглашательство, а возможность истинного согласия или плодотворного диалога.

Эмпатия прямо противоположна «эгоцентрическому равнодушию, так распространённому в наши дни». В то же время автор предупреждает, что люди, обладающие чрезмерной эмпатией, рискуют «поставить под угрозу свое бытие, беря на себя непосильное бремя забот других людей». То есть нам предлагают держаться золотой середины — правило, пригодное почти на все случаи жизни Читатель не раз столкнется в книге с такими общеизвестными положениями, впрочем всегда уместными в ее нетривиальном контексте.

Надо подчеркнуть, что автор преследует не просветительские а чисто утилитарные цели (отсутствие у него «четкой теоретической платформы» отмечает в послесловии кандидат психологических наук Ю. М. Жуков). Поэтому закономерен вопрос: какова может быть практическая отдача от индивидуальных занятий по книге Атватера? Ю. М. Жуков сравнивает тренировку навыков общения в одиночку с обучением плаванию на берегу, указывая на большую

эффективность групповых занятий (такие занятия в нашей стране ведутся, опыт их обобщается). Обучение же «по Атватеру» целиком основано на читательском самоанализе и самоконтроле: «Сначала выберите правило или правила, которые Вы всегда соблюдаете по привычке, затем те, которыми Вы пользуетесь иногда, и, наконец, те, которые Вы никогда... не соблюдаете. Попробуйте их применить при первой возможности и продолжайте тренироваться до тех пор, пока это правило не станет частью Вашего стиля общения». Выходит, что, несмотря на оптимизм автора («Научиться слушать лучше может каждый!»), книга поможет только такому читателю, у которого ярко выражена воля к самосовершенствованию...

К сожалению, перевод книги на русский язык оставляет желать лучшего. «Эмпатия помогает балансировать (?— А. И.) собственный интерес с заботами о других», — читаем в одном месте. Древнегреческий стоик Зенон в переводе почему-то превратился в Зино Стоика. А на сколько и за счет чего сокращен авторский текст? Это следовало бы оговорить в кратком примечании. И еще хочу заметить: может быть, издательству стоило проявить больше инициативы и организовать издать подобное и даже лучшее пособие отечественными силами? Советский вариант такого пособия вполне отвечал бы растущему читательскому интересу к многообразным проблемам человеческого (в том числе и делового) общения.

А. Ирин.



ГЕРМАН ХАФНЕР. Выдающиеся портреты античности. 337 портретов в слове и образе. Перевод с немецкого. Предисловие и редакция доктора исторических наук Г. Б. Федорова. М. «Прогресс». 1984. 311 стр.

Волевой и властный Цезарь, спокойный и величественный Софокл, самовлюбленный Нерон и любвеобильная Мессалина, задумчивый Демосфен, пылкий Пирр, мудрый Сократ... Вглядываясь в портреты этих людей, созданные тысячелетия назад, вчитываясь в их жизнеописания, составленные нашим современником, умеем ли передать в слове тонкий, как запах розового масла, аромат античной истории, постепенно ощущая ее, что... все это на самом деле было! Была пиррова победа, был переиен Рубикон, были речи знаменитого оратора, проносимые с камешками во рту под шум морских волн. Легенды, в которые с веками превратились многие персонажи этой книги, их мысли и фразы, давно ставшие крылатыми и потому как бы вневременными, обретают конкретные исторические черты. Такова сила портрета, магия художественного изображения.

337 портретов деятелей Древней Греции и Древнего Рима на монетах, фресках, статуях, геммах и т. д. собрал и свел в своеобразную энциклопедию (по алфавиту) западногерманский исследователь античности профессор Герман Хафнер. Здесь императоры и поэты, полководцы и философы, тираноубийцы и художники... Каждый из портретов автор книги снабдил кратким комментарием.

Этот комментарий не биографическая статья в словаре. Скорее статья по истории

портрета, его искусствоведческая трактовка. Последняя в эмоциональной и очень личностной версии Хафнера часто перерабатывает в своего рода историческую физиогномистику, порой весьма спорную, но всегда увлекательную. «К несчастью, он сохранил свои художественные интересы и тогда, когда стал императором. В Риме это считалось подозрительным и недостойным... в то время как в Греции его поездки с выступлениями встречались бурным ликованием. Был ли он плохим певцом, как это утверждают, неизвестно. Даже хороший певец на римском троне пришелся бы не к месту. Его поворот в сторону ужасных преступлений явился, видимо, результатом несоответствия между интересами и обязанностями, а также следствием его неограниченной власти как императора». Это Нерон, перемены характера которого Хафнер проследживает, опираясь на документы и портреты глиптотеки в Мюнхене, Национального музея в Риме, частных коллекций...

Впрочем, читатель волен делать выводы сам. Глядя на портрет пожилого Августа — решать, свидетельствует ли он о душевной трагедии этого баловня императорской судьбы. А любуясь мраморной головой Ганнибала — определять, было ли в его внешности нечто ужасное.

Есть, правда, ситуации, когда двух мнений быть не может. Достаточно взглянуть на чеканный профиль царицы Египта. Той самой — возлюбленной Цезаря и Антония, заслужившей лестный отзыв Плутарха и ядовитый — Горация, воспойтой Шекспиром, Шоу и другими. Изображение на монете безжалостно разрушает легенду о «цыганской» красоте Клеопатры. Увы, она была просто удручающе нехороша. Но она была царица! В этом, по-видимому, ключ ко многим тайнам и романтическим событиям ее жизни.

Бесспорно, что немало преданий античности, под обаяние которых мы попадаем с детства, соотносятся с действительностью точно так же, как «божественный» портрет в период поздней Римской империи с отнюдь не богоподобным оригиналом. Облагороженный мифологической традицией и искусством нового времени, окутанный той-то столетий, древний мир как бы скрывает от нашего глаза свои изъяны — жестокость, измены, удары кинжала, чаши яда на семейном пиру. Даже великий Александр Македонский, заслуживший поклонение современников и потомков, расправился со своим другом Парменионом и его сыном Филотом, собственноручно — пьяный — пронзил копьем Клита. Привычное, так сказать, дело для диктаторов. Становится страшно, пишет Хафнер, когда узнаешь, кто творил историю, и тем ярче блистают на этом мрачном фоне имена философов, поэтов, художников с их идеалами добра и гуманизма.

История античного мира окрашена кровью. Портреты его выдающихся деятелей нередко приукрашены. Как, однако, они менялись в течение тринадцати веков (до падения Рима) на огромной территории, охватываемой в пору расцвета Римской империи землей трех континентов? Автор книги пытается — хотя бы вкратце — дать ответ и на такой вопрос. А углубляет и дополняет его выводы насыщенное информацией пре-

дисловие к книге, написанное историком и писателем Г. Б. Федоровым. Динамичное, изящное и компактное, это предисловие тоже, по сути, портрет в слове. Триста тридцать восьмой. Портрет выдающейся эпохи античности.

А. Белорусец.

★

Э. М. МУРЗАЕВ. Словарь народных географических терминов. М. «Мысль». 1984. 653 стр.

Широкому читателю советский географ Э. М. Мурзаев известен как автор научно-популярных книг. Скажем, выходила в свое время в Географгизе серия «Путешествия, приключения, фантастика», объединявшая, в общем-то, несовместимое. Тонко почувствовав это, Мурзаев написал книгу «Путешествия без приключений и фантастики», рассказывавшую о том, зачем и как путешествуют современные географы. Однако его перу принадлежит также немало научных трудов и монографий, посвященных Средней и Центральной Азии, которую ученый за многие годы исследований буквально исследовал и исколесил.

С первых же экспедиций Мурзаева привлекла топонимика — наука о происхождении географических названий, ставшая его вторым призванием. Собирая материалы по этой теме, занимаясь изучением, так сказать, «видов» (как выразились бы ботаники или зоологи), он заинтересовался и «родами» — народными географическими терминами, каждый из которых представлен на карте большим или меньшим числом названий, а нередко и не представлен вообще. Итог двадцатидвухлетнего труда ученого (в какой-то мере предварительный, потому что работа еще не завершена) представлен в 3878 статьях «Словаря народных географических терминов».

Словарь Мурзаева полон неожиданностей. В нем можно встретить огромное число совсем неизвестных и малоизвестных по значению слов, с которыми, однако, то и дело сталкиваешься в художественной литературе (особенно в описаниях природы). Вот цитаты с наугад открытых страниц: «Взъем — состояние снега в горах, определяющее трудность передвижения на лыжах (Урал, Сибирь). Плохой взъем, когда лыжи тонут глубоко; хороший взъем, когда они легко скользят по поверхности. Из терминологии снеговедения», «Зарянка — ранние утренние и поздние вечерние ветры на Байкале, быстро меняющие свое направление», «Мачижина — низкое влажное место (Смоленская обл.)», «Машат — источник, ключ, обычно выходящий на дневную поверхность из каменистой почвы (кирг.)».

Возьмем слово, проще которого, кажется, и не найдешь — «вода». Ему посвящена одна из самых больших (более страницы) статей словаря. Казалось бы, какой же это географический термин, да еще народный? Однако из статьи выясняется, что существует много народных географических терминов, производных от слова «вода» или включающих его: вечерняя вода — вечерний морской отлив; матерая вода — глубокая, вполне безопасная для плаванья судов (Архангельск); коренная вода — второе половодье в реках Сибири от таяния горных снегов в июле (на Урале — земляная вода),

Наряду с географическими терминами, прочно вошедшими за последние десятилетия в наш обиход (такими, как сель, загор), в словаре содержится немало слов, которые читатель-непрофессионал увидит впервые: куд, кудо — хижина, жилище; куйвикуй — наледь на реках, ледник. В основном это термины, пришедшие из языков различных народов нашей страны.

Словарю Мурзаева предпосланы два высказывания. Одно из них принадлежит выдающемуся советскому географу академику Л. С. Бергу, которого автор называет своим учителем. Еще в 1915 году Берг писал: «Будучи результатом многовековых наблюдений постоянного местного населения и продуктом творчества такого гениального коллектива, каким является народ, народные термины заслуживают самого внимательного отношения как филологов, так и в особенности географов... Распространение народных терминов и те видоизменения смысла, которые они претерпевают в различных местностях, дают немало указаний на ход колонизаций, перемещения народных масс и взаимные влияния соседних народностей».

Можно пожалеть, что в этой ценной и полезной для всех книге имеются некоторые изъяны. Слова-термины даны без ударений, не проставлены точки над буквой «ё». Не отнесешь к полиграфическим достижениям фотографии, иллюстрирующие отдельные термины. Однако сам факт появления такого словаря (учитывая, что до сих пор остается неудовлетворенным читательский спрос на топонимический словарь — негде узнать, что означает то или иное слово, начертанное на географической карте) безусловно примечателен.

Ю. Дмитриевский,
доктор географических наук.



В. ШТРУБЕ. Пути развития химии. В двух томах. Перевод с немецкого. Т. 1. От первобытных времен до промышленной революции. 239 стр. Т. 2. От начала промышленной революции до первой четверти XX века. 279 стр. М. «Мир». 1984.

Мы знаем, что развитие химической индустрии не только «сдвинуло с места автомобиль, подняло в воздух самолет», не только помогло накормить и одеть растущее земное население, но и породило разрушительные взрывчатые вещества, ядовитые газы, внесло свою лепту, и немалую, в загрязнение нашей общей среды обитания... Химия ли в этом повинна?

Ядовитый хлор, главное и самое массовое из боевых отравляющих веществ первой мировой войны, незаменим в производстве тысяч полезнейших продуктов, в том числе и лекарств. Нитроглицерин — взрывчатка, но и медикамент, прекращающий сердечный приступ...

Кому и как служат мысль, озарение, творчество и повседневный целенаправленный труд сотен тысяч химиков прошлого и настоящего? Ответ на этот вопрос пытается дать довольно обширная литература по истории химии.

По-своему отвечает на него и книга

Вильгельма Штрубе, известного ученого из Германской Демократической Республики.

В отличие от большинства предшественников и современников В. Штрубе не только и не столько излагает историю идей и открытий — он ищет корни и находит их в неизменной взаимосвязи химических истин и практических потребностей общества.

Автор стремился уйти от частных историй. Тем не менее даже искушенные в химии и ее истории специалисты найдут в книге то, что им неизвестно и интересно. Профессионально интересно! Хотя в трактовке отдельных событий, подборе и оценке фактов с автором не всегда соглашаешься.

Возьмем, к примеру, укрощение нитроглицерина. Это вещество, впервые полученное Асканио Собrero, чрезвычайно легко взрывается от малейшего толчка. Промышленным взрывчатым веществом оно, как известно, стало благодаря работе многих химиков, и прежде всего Альфреда Нобеля. Чрезвычайно интересный факт приведен в работе В. Штрубе: после многочисленных взрывов ни одна церковная община не разрешала строительство новых нитроглицериновых производств на своей земле — Нобель продолжал эксперименты на пароме, поставленном на якорь посреди озера Меллар. Однако только из примечания переводчика читатель узнает, что интерес к нитроглицерину возник у молодого Нобеля в бытность его в Петербурге, при знакомстве с лабораторией и исследованиями выдающегося русского химика Н. Н. Зинина.

Точно и четко изложена в книге история получения динамита из нитроглицерина и кизельгура (разновидности кремнезема), но ни словом не упомянуто, что первым этапом укрощения было исследование растворимости нитроглицерина и приготовление безопасных при перевозке растворов этого взрывчатого вещества в огнеопасном и ядовитом древесном спирте. Минус на минус дало, как в математике, плюс...

Впрочем, частных замечаний такого рода можно, вероятно, сделать множество любой книге. А этой меньше, чем многим другим. Ибо о путях развития важнейшей области естествознания автор рассказал выразительно и точно, показав моменты ее развития с почти кинематографической наглядностью.

Иллюстрирована книга сугубо документально. Большинство гравюр, заимствованных из старинных химических и алхимических трактатов, несут не только смысловую нагрузку, заставляя переводить таинственную вязь забытых знаков в современную химическую символику. Они произведения искусства своего времени.

Эпиграфом ко второму тому В. Штрубе выбрал слова выдающегося химика нашего столетия, лауреата Международной Ленинской премии, Нобелевских премий (премии по химии и премии мира) Лайниса Полига: «Я убежден, что изучение естественных наук, широкое распространение научной методологии помогут в конце концов человечеству при решении важных общественных и политических вопросов». Этой мыслью, вселяющей веру в силу и гуманизм науки, хочется закончить разговор о хорошем и полезном для всех издании.

В. Станцо.

КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

А. Афанасьев. ...И помни обо мне. Повесть об Иване Сухинове. («Пламенные революционеры») 315 стр. Цена 1 р. 20 к.

Л. Корвалан. Мы верим в победу. Воспоминания, размышления. Перевод с испанского. 248 стр. Цена 50 к.

Ф. Таурин. Баррикады на Пресне. Повесть о Зиновии Литвине-Седом. («Пламенные революционеры») 349 стр. Цена 1 р. 30 к.

Т. Цопа. Командировка в бессмертие. 78 стр. Цена 25 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

Б. Блинов. Личное дело. Повести. 279 стр. Цена 95 к.

В. Быков. Собрание сочинений. В 4-х тт. Т. 1. Перевод с белорусского 414 стр. Цена 1 р. 80 к.

Г. Касмынин. Не говорю «Прощай!». Стихотворения. 110 стр. Цена 50 к.

В. Крупин. Дорога домой. Повесть, рассказы. 272 стр. Цена 95 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

Ю. Аракчеев. Зажечь свечу. Рассказы, повести. 447 стр. Цена 1 р. 90 к.

А. Каштанов. Коробейники. Повести. 272 стр. Цена 1 р.

В. Лихоносов. Люблю тебя светло. Повести, рассказы. 447 стр. Цена 2 р.

Б. Окуджава. Свидание с Вонапартом. Роман. 286 стр. Цена 1 р. 10 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

Данте Алигьери. Новая жизнь. Перевод с итальянского. 168 стр. Цена 3 р. 50 к.

М. Каррион. Сфинкс. Роман. Перевод с испанского. 192 стр. Цена 90 к.

Т. Ружевич. Стихотворения и поэмы. Перевод с польского. 222 стр. Цена 1 р. 10 к.

К. Чапек. Рассказы. Перевод с чешского. 447 стр. Цена 2 р. 60 к.

«РАДУГА»

Т. Миура. Блуждающий огонек. Рассказы. Перевод с японского. 174 стр. Цена 85 к.

Однажды непременно. Стихи современных поэтов Турции. Перевод с турецкого 242 стр. Цена 1 р. 20 к.

Эра Трульс. Роман о Хельге Хауге. Перевод с норвежского. 287 стр. Цена 1 р. 20 к.

Н. Хайтов. Капитан Петко-воевода **Р. Михайлов.** Отрава. **К. Кюлюмов.** Парень и горы. Повести. Перевод с болгарского. 414 стр. Цена 3 р. 10 к.

«ИСКУССТВО»

В. Божович. Рене Клер. («Жизнь в искусстве») 240 стр. Цена 2 р.

А. Столяр. Происхождение изобразительного искусства. 298 стр. Цена 7 р. 10 к.

А. Устинов. С «лейкой» и блокнотом 160 стр. Цена 1 р. 60 к.

А. Чегодаев. Эдуард Мане. 223 стр. Цена 6 р. 40 к.

«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»

С. Алексеев. Главная специальность. Рассказы о первых советских пятилетках, о том, как возвели на берегах Амура город юности — Комсомольск, рассказы о Стаханове и стахановцах. 112 стр. Цена 50 к.

Н. Кальма. Заколдованная рубашка. Джон Браун. Исторические повести. 511 стр. Цена 1 р. 20 к.

Публицисты «Современника». 255 стр. Цена 75 к.

А. Яблоков. Мир эволюции. 128 стр. Цена 1 р. 60 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

Ф. Кривин. Миллион лет до любви. Повесть, рассказы. Ужгород. «Карпаты». 152 стр. Цена 55 к.

Ю. Смуул. Добрый Заступник моряков. Перевод с эстонского. Таллин. «Ээсти раамат». 400 стр. Цена 1 р. 60 к.

К. Столяров. Проверка на прочность. Роман. («Современный городской роман») «Московский рабочий». 384 стр. Цена 1 р. 80 к.

Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах журнала обращаться в типографию «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова: Москва, 103791, Пушкинская пл., 5.

Всеми вопросами подписки и доставки журнала занимаются местные и областные отделения «Сокзпечати».

Главный редактор **В. В. Карпов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (зам. главного редактора), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, А. Н. Жуков, В. Г. Казаков, А. И. Коваль-Волков, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **Д. Мулдагалиев, А. И. Овчаренко, Б. И. Олейник, Г. И. Резниченко** (ответственный секретарь), **А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин**

Адрес редакции. 103806 ГСП Москва К-6. Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 15.08.85 г. Подписано к печати 05.10.85 г. А 10456.

Формат бумаги 70×108^{1/4}. Высокая печать Объем 17 п л (23,8 усл.-печ. л.) 27,06 уч.-изд. л.

Тираж 422 000 экз. (1-й завод 1 — 200 000 экз.). Зак. 3117.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР» 103798. Москва К-6. Пушкинская пл., 5

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва. Пушкинская пл., 5.

Цена 1 р. 20 к.

70636